

КОНТИНЕНТ

2000

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

№ 105



Стареет время. Близкий юбилей
Конструкцию из десяти столетий
Придавит жерновами трех нулей
И безнадежно упокоит в Лете...

Ирина Дугина

Меня очень беспокоят так называемые глобальные проблемы. Я давно на эту тему начал думать и должен сказать, что не без влияния Петра Леонидовича Капицы, на которого сильное впечатление произвели в свое время выводы «Римского клуба»...

Вячеслав Вс. Иванов



2001. Я была на суде. Адвокат недурно знал свое дело и вытащил из упорно молчавшего клиента обоснования для смягчения приговора. В результате вместо двенадцати Фальстафа Ильич получил семь...

Ольга Кучкина



«Охота на ведьм» внутри Русской Православной Церкви продолжается. Не стихают угрозы по адресу тех православных священнослужителей Москвы, которые призывают к диалогу с инаковерующими...

Анатолий Красиков



Я не знаю, что будет в XXI веке, — и в искусстве, и вообще, но в итоге своей жизни я стал скорее пессимистом. И для своей страны тоже не вижу ничего хорошего. Страна дивная, а государство подлое, не знаю уже сколько лет... Видимо, за все, что мы сами сделали с этой страной, удивительной страной, надо платить...

Евгений Колобов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:
Стихи Бориса Викторова и Марины Тарасовой
Повести Ольги Постниковой и Юрия Турчика
Воспоминания Марка Барбакадзе
Статьи Николая Злобина, Андрея Крылова и Андрея Новикова



...Особенно Параджанова восхитило, что я была в шляпе — ибо шляп в то время никто не носил, и он все время приговаривал:

«Ну вот, теперь наши кикелки будут все в шляпах. Как это красиво — шляпы! Я заставлю их всех в шляпах ходить. Шляпы. Шляпы...»

Алла Демидова

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК РОССИИ И СНГ!

В предыдущих 102-м, 103-м и 104-м номерах «Континента» уже сообщалось, что в связи с тем, что институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) свертывает свою программу помощи библиотекам в подписке на толстые журналы — в том числе и на «Континент», — библиотеки России в 2001 году уже не будут получать наш журнал по этой программе. К сожалению, редакция «Континента» не будет иметь возможности обеспечивать библиотеки в 2001 году и собственной бесплатной подпиской, как это было раньше, а отчасти и в прошлом году.

Поэтому мы хотим заранее предупредить руководителей библиотек о том, что если Ваша библиотека по-прежнему заинтересована в получении нашего журнала, Вам следует позаботиться о том, чтобы оформить подписку на «Континент» обычным путем — через почту, в любом отделении связи, по каталогу «Роспечати», где наш журнал имеет индексы:

73218

и

71682

(годовая подписка)

Обращаем в это связи Ваше внимание на то, что стоимость всей годовой подписки на «Континент» (включая сумму, взимаемую почтой за доставку журнала адресату) в 2001 году не будет превышать для любых подписчиков

130—140 рублей

Обращаем при этом Ваше внимание и на то, что «Континент» - единственный из толстых журналов, который в каждом номере дает подробные аннотационные библиографические обзоры художественной прозы и литературной критики в российской периодике за предыдущий квартал, а раз в полгода (в нечетных номерах) — такие же обзоры публикаций в российской печати по философии, истории, культурологии и религии.

Это дает читателям «Континента» уникальную возможность быть постоянно в курсе всего культурного процесса в стране, получать надежную информацию об интеллектуальной жизни России.

Нашего дорогого друга,
бессменного члена редколлегии «Континента»
с первого дня его основания в 1974 году,
выдающегося русского поэта и прекрасного человека

НАУМА КОРЖАВИНА

мы сердечно поздравляем с его славным 75-летием
и желаем нашему замечательному юбиляру еще долгих и долгих лет
жизни, здоровья и новых творческих свершений
на радость всем почитателям
его неувядающего таланта



Редакция «Континента»

выражает искреннюю признательность

Маргарите и Виктору Бернштейнам, Жану Бонамуру,
Лидии Брон, Катерине Герасимовой, Герберту Данзеру,
Изабель Депре, Клоду Кастлеру, Михаилу Копелиовичу,
Ирене Лесневской, Марине Никитянской,
Мишелю Окутюрье, Жоржу Нива, Эдуарду Саруханяну,
Валентине Синкевич, Валерию Сойферу и Татьяне Хоффер
за финансовую поддержку журнала,
способствовавшую, в частности,
и выходу настоящего номера.

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

105

2000, № 3

июль — сентябрь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

*Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ*

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”»**

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, строение 1

E-mail: dzirl@cityline.ru (Москва)

E-mail: continent@home.com (США)

Телефон редакции:

(095) 924-91-51

Internet: <http://www.members.home.net/continent>

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала “Континент”»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНЕВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ

Ежи ГЕДРОЙЦ

Густав ГЕРЛИНГ-
ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Яков КРОТОВ
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ

Наталья ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ

Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ

Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Nashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ

Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА

Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША

Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek
nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ

Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США

Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ

Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalign, 75116 PARIS,
FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА

26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ

Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

Татьяна ХОФЕР-НИКОЛАЕВА

15 Ch. de la Rochette
1202 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-14-82

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Ирина ДУГИНА	
Еще чуть-чуть — и завершится век... <i>Стихи</i>	9
Ольга ПОСТНИКОВА	
Роман на два голоса.	15
Борис ВИКТОРОВ	
Незабываемая осень. <i>Стихи</i>	84
Юрий ТУРЧИК	
Лестница. <i>Повесть</i>	89
Марина ТАРАСОВА	
В полутьме, на обочине, с края... <i>Стихи</i>	129
Ольга КУЧКИНА	
Послание к римлянам, или Жизнь Фальстафа Ильича	133

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Николай ЗЛОБИН	
Америка и Россия на пороге XXI века: новая холодная война?	242

Беседы в редакции

Вячеслав ИВАНОВ	
Социальные проблемы — ахиллесова пята современного глобального капитализма	255

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Марк БАРБАКАДЗЕ	
Экзамен на гражданскую зрелость	263

РЕЛИГИЯ

Анатолий КРАСИКОВ	
Назад к единомыслию? <i>/Религиозные свободы в России конца XX века/</i>	281

ГНОЗИС

Андрей НОВИКОВ	
Конец света с последующим симпозиумом. <i>Эссе</i>	306

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Андрей КРЫЛОВ

О трех «антипосвящениях» Александра Галича 313

ИСКУССТВО

Алла ДЕМИДОВА

Три портрета из книги «Бегущая строка памяти» 344

Беседы в редакции

Евгений КОЛОБОВ

Я не верю в конечное торжество добра,
но делаю всё, чтобы его стало больше 365

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 382

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ

Памяти Ежи Гедройца 395

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ — И ЗАВЕРШИТСЯ ВЕК...

Цифирь

Ещё чуть-чуть — и завершится век.
Какие устрашающие даты!..
Штык единицы, устремленный вверх,
За ним в строю девятки, как солдаты,

А следом двойка с кольцами нулей —
Драконом, выходящим на поверхность
Из тайных нор — в сознание ли, в земле —
Из тех глубин, которым имя Вечность.

В девятке — предвкушение конца,
Тревожность жизни и незавершенность.
В нуле — покой, безликая краса,
Смертельная краса и отрешенность.

Стареет время. Близкий юбилей
Конструкцию из десяти столетий
Придавит жерновами трех нулей
И безнадежно упокоит в Лете.

Поскольку в мире царствует число,
Могильный холодок щекочет нервы,
Чтоб слаще восклицалось: «Пронесло!»,
Когда наступит год 2001-й.

**Ирина
ДУГИНА**

— родилась в 1960 г. в Калининграде (быв. Кенигсберг). Окончила театроведческий факультет ГИТИСа и — вольнослушателем — исторический факультет МГУ. Работала литературным редактором в московских журналах и газетах. Автор многих статей по проблемам театра и цирка, а также стихотворных переводов. Стихи публикуются впервые.

1.

Поле расчерчено клеткой оград,
роща прижалась к набухшему небу.
Вот он, тебе отведенный квадрат,
яма, открытая мокрому снегу.

Спирт обжигал, но от ветра и слез
только усиливал чувство озноба
и осознание, что это — всерьез:
траур, гвоздики, толпа возле гроба.

Снег, не касаясь заплаканных лиц,
таял в траве, где лежали лопаты
да металлический титульный лист —
имя и две окончательных даты.

Голос, усмешка, дыханье, судьба —
всё стало прошлым. Жизнь двинулась мимо
непроницаемо-мертвого лба
в ярких заплатках телесного грима.

Маятник стал. «Никогда», «навсегда» —
эти понятия теперь неделимы.
Ты уже вечен. У нас здесь среда,
ветер и комья кладбищенской глины.

2.

Промозглый день, унылый майский снег...
Так тщательно подобрана погода,
Что верится: забыла о весне,
Оцепенела и скорбит сама природа.

Мысль жалкая, но сердцу дорога,
Когда ты понимаешь, ежась зябко:
Мир нам сочувствует не больше, чем долгам
Своих жильцов — квартирная хозяйка;

Когда и декорация судьбы,
И сценка горя в пасмурном режиме
Вдруг предстают уловкою судьи,
Безжалостной насмешкой над живыми...

3.

Я помню себя, ошалевшей от счастья и муки,
Слепой от обиды, безжалостно нежной и нервной.
Я помню безмерное горе двухдневной разлуки,
Тупое отчаянье помню — разлуки трехдневной,

Когда опьяняла несбыточность горького счастья
И мысль, что любовь — только повод красиво расстаться.
Теперь не поправить, не высказать, не докричаться —
Вот разве придти и в траве над тобой распластаться...

Я помню себя молодой и по-детски отважно
Судьбы не жалеющей ради стиха или там афоризма.
Я многое помню... Да только всё это неважно,
Когда позади и любовь, и обида. И тризна.

4.

Когда переносимей станут дни,
Привычной мысль, что ты уже в земле,
Какие-то безвестные «они»
Порядок наведут в твоём столе.

Внезапный стыд сжимает, как тиски:
Неужто кто-то через столько лет
Найдет мои влюбленные стихи!
Но горше мысль, что их давно там нет.

Как больно мне, что ты их не хранил!
Как сладко — что старательно сберег!
...Твой стол открыт, и кто-то из родни
Лист за листом из ящика берет.

Дачное чтиво

«Ни дня без строчки!»

Лозунг швеи-мотористки

С Бродским вдвоем вечера коротаю,
кроме него ни черта не читаю,
в долгих стихах монотонность черпаю —
это дает мне завод.

Дачные дни, словно книгу, листаю,
сплю до полудня, часов не считаю...
Мне бы с налету, подобно Чапаю,
взять эту жизнь в оборот!

Бродский подобен медлительной попытке —
мастер куделью запутывать нитки
в ткани трехсложной. Ишь, петель в избытке,
нет бы попроще строчить!

Морщусь, но не оставляю попытки
рифмами сшить своей жизни пожитки —
признанный способ остаться в убытке,
чтобы себя излечить

от застарелой, заслуженной лени,
мыслей о вечном отсутствии денег
и неспособности стихотворений
кроя судьбы перешить.

И буратиною, спящим в полене,
дремлет во мне гладиатор-бездельник,
знающий твердо, что смерть на арене
легче, чем жизнь, пережить.

* * *

Ночь дальних поездов. Тревожный запах —
Дорог и ветра крепкий перегар.
Из снежной мути возникают наспех
Летающие огни по берегам,

Обрывки мест, обрубки... И чужая —
Строки короче — жизнь. Напрасный зов!
Ночь дразнит, бесконечно ускользая,
Ночь, долгий спутник дальних поездов...

Перроны. Ожидющие в залах.
Размеренный цветной водоворот.
Снег. Стук колес. И нестерпимый запах
Случайных судеб и чужих дорог.

Пасьянс

На снегу, желтоватом, как ватман,
Пятна солнечной акварели.
Город взмок в одеянии ватном
И капелью исходит в апреле.

Летом крыши обветрены солнцем,
Тротуары прозрачны под ливнем.
День насыщен бессилием сонным,
Пахнет детством и зноем пчелиным.

В феврале — пробужденья истоки,
Передышка для нового старта.
О февраль, замирающий в стойке
Перед яростным натиском марта!

Нежный месяц зеленого неба,
Продувного весеннего ветра
И надежды, питающей немо
Соком жизни древесные недра.

Жизнь — случайный набор впечатлений.
Тасовать их огромное счастье.
Редкий козырь еще вожденней,
Если прячется в бросовой масти.

Драгоценная эта колода
Для того и дается с рожденья,
Чтоб полетом казалось паденье
В пустоту временного колодца.

Песенка

Снова в Малиновке август
пахнет арбузною коркой.
Псы мои Аспид и Альбус
мчат вдоль забора за кошкой.
Еду по улице рыжей,
ливнем распаханной косо.
Чавкают глинистой жижей,
в лужи сползают колеса.

Не прививается лето
нашим осенним ландшафтам,
небу угрюмого цвета,
полю, понурым лошадам,
мокрой полыни... Но к даче
плавно свернула дорога.
Я подзываю собачек
и открываю ворота.

Снова в Малиновке август
тяжко вздыхает о зное,
псы мои Альбус и Аспид
дружно несутся за мною.

РОМАН НА ДВА ГОЛОСА

1

Была предосенняя свежая ночь, и, когда он вошел во двор, держа легкий топорик в твердой ладони, ни одного звука не было слышно в темноте, ни одно окно не светилось.

Он взошел на гнилое крылечко старого двухэтажного дома и, почти не боясь шуметь, выломал доски, которыми заколочен был с улицы вход. По темной и крутой лестнице поднялся наверх, остановился, на ощупь отыскав обитую мешковиной дверь, и открыл ее, просто отогнув здоровенные гвозди. Он оказался в квартирке с очень низкими потолками, едва освещенной зеленоватым светом уличных ламп.

Он постоял, переводя дыхание, потому что пыль, взметенная его решительными движениями, забивала нос и было слишком сухо в груди, даже горько, запах пересохшего старья, вещевого праха не давал дышать. Распахнул окно, в подгнивших рамах стекла держались плохо и звякнули тихонько. Когда глаза его привыкли к скудному свету, он увидел развороченный гардероб, груды хлама на полу, большой раскрытый чемодан, содержимое которого не мог разглядеть. Он пробыл в заброшенном доме всего минут двадцать, пройдя ряд комнатушек взад-вперед несколько раз. Со сдерживаемым ликованием затворил окошко, вышел, закрыл дверь, обухом топора пригнетая кривые гвозди, и бодро спустился на улицу.

Ощущение сонливости и умиротворения, какое наступает в улицах старой Москвы после одиннадцати часов, захватило его. Кривой переулочек спускался с горы к бульвару. Купы лип были подсвечены редкими фонарями, поражая сочетанием зеленых до прозрачности ветвей и черных неосвещенных лиственных масс. Мертвенный свет ламп ртутного давления выделял серые плоскости тротуаров по контрасту с темными гранитными их краями.

**Ольга
ПОСТНИКОВА**

— окончила Московский институт тонкой химической технологии. Работает в области сохранения культурного наследия, инженер-реставратор высшей категории. Автор нескольких поэтических книг («Високосный год», «Крылатый лев», «Понтийская соль», «Бабы песни»), а также стихов и рассказов, печатавшихся в журналах «Новый мир», «Знамя», «Согласие», «Дружба народов», «Континент» и др. Живет в Москве.

Кое-где вековые деревья смыкали кроны над мостовой. Мощные корни выпирали, разрушив асфальт, невольно притягивая взгляд к сети жестких подземных побегов, от упрямства которых обнажилась земля, покрытая сейчас мелкими камешками, блиставшими в ночном свете, и тончайшим слоем серебристого песка с разводами прошлых дождей. Каменные заборы на крепких фундаментах ограждали здания и те казались таинственно защищенными.

Распугивая компании кошек и никого не встретив по дороге, он дошел до метро, любуясь двухэтажными особнячками под высокими тополями во дворах.

2

В центре города, где всегда жили тесно, в сырых комнатухах, по сто лет без ремонта, любая каморка тотчас же после выезда прежних обитателей бывала захвачена плодящейся молодежью, отделяющейся от родителей, прибиралась к рукам ушлыми старушками, которые вызывали родню из деревни на освободившуюся площадь. Но этот дом уже полгода стоял без жильцов. Первый этаж заняло под бытовку строительно-монтажное управление, днем там переодевались и обедали рабочие. А квартиру во втором этаже не заселил никто, слишком свежа была в памяти история ее жильца, худого непьющего Леши, монтера по лифтам. Он подолгу пропадал на работе, слыл человеком денежным и, когда в запертую изнутри квартиру долго не могли достучаться, то, высадив дверь, нашли его скрючившееся и уже начавшее разлагаться тело в сидячей позе с жесткой проволоочной петлей на шее, которая почти отрезала ему голову. Потолки в комнате были так низки, что даже при своем малом росте он не мог повеситься по-человечески. Конец проволоки был прикреплен к толстому, вбитому в деревянную подпорку штырю. Монтер влез в петлю и присел на корточки.

На столе стояла недопитая бутылка водки, пара стаканов. Окаменевшая селедочная голова лежала на клочке бумаги. Денег в доме не нашли, и почти ничего из вещей не было ценного, кроме монтерского инструмента. Парень жил в грязи, как свинья. Для порядка отодрали обои, но и за ними ничего не оказалось, кроме сухих, еле движущихся клопов.

Но герой моего повествования, возможно, не знал этой истории. Острое чувство необходимости привело его в район города, где он когда-то родился, в это оставленное строение, в котором в течение нескольких месяцев никто не зажигал огня по вечерам.

3

Он твердо решил, что в армию не пойдет. Несмотря на худобу и плоскостопие, герой мой был довольно вынослив, но после Бауманс-

кого училища с крепкой военной кафедрой ему хватило одного месяца лагерей в Тульской области, чтобы понять, что, попадись ему армейский командир такой, какой был в соседней части, он просто его убьет, не станет терпеть хамства и пойдет под трибунал.

4

Она числилась студенткой химико-технологического института, но училась плохо, так что дважды уже побывала в академическом отпуске из-за хандры, которую в медицинской справке научно поименовали астеническим синдромом. В свое время хотела она поступить в МГУ на историю искусств, но отец сказал грубо: «Не время эстетствовать!», и был прав, потому что учительствовавшие родственники уже отсидели свое, и только сестра отца, окончившая Высшие женские курсы, благоденствовала, работая начальником цеха на мыловаренном заводе. И моя героиня как послушная дочь отправилась сдавать экзамены на факультет «технология резины». И поступила. Ходила туда редко, прогуливая лекции, но тем не менее как-то, по чужим конспектам сдавая зачеты.

5

В воскресенье они встретились рано-рано, пришли в Гагаринский, поднялись по деревянным высоким ступенькам и попали в кухню, которая начиналась прямо на лестнице, и с тяжелой газовой плитой, балками и воробьиными гнездами прилепилась сбоку дома, держась на одном высохшем добела, расщепившемся сосновом столбе.

Отворив старую дверь в лохмотьях кожи, встали на пороге, оглядываясь. Из крохотной передней, которую он даже не заметил в свой ночной приход, открытые двери вели в низкие комнатки. Вошли в боковую, чистенькую, с оранжевыми простыми обоями. Потолок тоже был заклеен бумагой, по углам сероватой от прошлой сырости. Квадраты дубового паркета, набранного широкими плахами, были покрашены красно-коричневой масляной краской.

Печь занимала целый угол и была тщательно выбелена, а кирпичные горизонтальные выступы зачернены пылью, так что особенно видна была стройность печи, выложенной строго по отвесу, с зеленоватыми медными вьюшками.

Окошки выходили во двор, на соседние крыши. Голубая стена ближнего дома как будто синила воздух в комнате. В передней стояла старомодная эмалированная раковина на ножках. Он открыл кран, и вода полилась, похрипев, — сначала ржавая, а потом — серебристая толстая струя. И они напились из-под крана, и вода была холодная, по-родному вкусная, пройдя через допотопные фильтры с гравием, с песочком, добросовестно сработанные умершими уже мастерами чуть ли не в тринадцатом году.

Она знала вкус этой воды, знала с рождения, это потом родители перевезли ее в Измайлово, в новый дом-«хрущобу», где скользкая на ощупь пресная влага даже за десять лет не оставляла накипи на чайнике. Как птица, почти инстинктивно, она стремилась в то место на земле, откуда вынула ее когда-то судьба.

Он подобрал ведро, целое, но почему-то никем не унесенное. Она начала мыть окна, растирая стекла газетой и радуясь бронзовым шпингалетам на рамах.

Вторая комната была по-особенному мрачна и грязна, и он стал убирать мусор, и как-то все, что нужно, подвертывалось под руку: истертый веник, и совок, и мешок с черными клеймами. Всю рухлядь, что могла гореть, он сложил в печь, выдвинул заслонку и подпалил. Немного дыма попало в комнату, но потом печка разгорелась и вдохновенно загудела. Он отсек кусачками безобразную проволоку, спускавшуюся с потолка, исправил перерезанную проводку и ввинтил лампочки в патроны.

Она мыла пол и вдруг нашла обрывок серебряной цепочки, и умилилась находке, но, пока возилась с уборкой, снова потеряла и жалела, как о своей вещи. Из пяти метров купленной бязи она сделала занавески и, продернув шпагат, отгородилась от города жестко накрахмаленной клетчатой хлопчаткой.

Управившись, они умылись (от холодной воды, почти не смачивавшей лицо, стянуло кожу) и ушли из квартиры, навесив замок, смешной своей малостью, едва видный меж мощных скоб (он философски сказал, повторяя дедовскую фразу: «Замок — от честных людей»), и с радостью унесли крошечный жалкий ключ от своего будущего.

Шагая по переулку об руку со своей девчонкой, — мимо банного павильона и деревянного стилизованного под избу дома с резными наличниками — он вдруг вспомнил свою маму, какая она была, когда отца арестовали. С тех пор у него так и запечатлелся этот ее взгляд с выражением скорби, которое он невольно перенял навсегда, и невинный сдержанный рот, какой сын увидел много лет спустя на картине «Спящая Венера», слишком поздно разгадав свою мать. В пятидесятом собирались сделать в их доме паровое отопление, да не успели к зиме, а дрова не были запасены. Так что мать после работы ходила с ведром и собирала щепки по окрестным помойкам. Помнил еще, что когда включали радиоприемник, загорался зеленый зрачок и в комнате как будто делалось теплее.

Они хотели есть. Было утро, и в шашлычной на Арбате никого. Официантки сидели группкой у окна и косились на них. Можно было заказать только баранину на ребрышках, и им принесли большую красивую тарелку, а на ней длинненькую металлическую сковородочку с мясом, украшенным кружком красного перца. Он не ел мяса, а снова

пил воду и, так как она мялась, стесняясь есть одна, стал брать по ку-сочку за косточку и кормить ее из рук, а когда она ела лук, постепенно забирая в рот зеленые стебельки, смеялся и говорил: «Как козочка».

И когда сентиментальной парочкой они медленно вышли на ули-цу, официантки почти с сожалением провожали их глазами, лишившись развлечения.

6

Дом качался от старости, и если по мостовой ехал грузовик, со сто-ла падали яблоки. Из окон не видно было ни одного нового дома и даже ни одного дома начала века — только вершины тополей да ни-зенькие особнячки, с крыш которых снег не убирали.

Оставшийся от прежних хозяев маленький шелковый абажур на веревочных блоках можно было поднимать на разную высоту и опу-скал почти до полу. Предметы намекали на тайны иной жизни, откры-вался целый мир утраченных ныне движений.

Квартира долго была необитаема, мыши и насекомые покинули ее, не находя пищи. Но потом к ним в жилище стала переселяться живность с первого этажа, из бытовок рабочих. Их развлекало шуршание малых тва-рей, лазавших за отставшими обоями, хрустенье краденных мышами корок. Здесь впервые в жизни она увидала больших черных тараканов, мисти-ческие существа со множеством мелких роговых члеников и объемным брюшком, которые поначалу казались очень страшными.

Иногда, проснувшись на рассвете, он видел мышку, балансирующую на ребрах холодной батареи. Чувствуя его взгляд, та стремительно пада-ла на пол и убегала в угловую дыру. Но молодое поколение мышей не было таким пугливым, и однажды за ужином они слышали беззастен-чивое шуршание пергаментной бумаги, а когда взялись узнать, отчего это, из сверточка с маслом вышел сытый мышонок — чистенький, боль-шеголовый, с нежными розовыми ушами, на которых был виден каж-дый микроскопический белый волосок. Он нескоро соскочил со стола и стоял в световом пятне, не убегая. Казалось, его можно схватить рукой, и они с азартом пытались поймать это малое, безбоязливое существо, но зверенок был уверлив. Тогда положили посреди комнаты варежку, зах-лопали разом в ладоши, и мышонок юркнул в шерстяную норку, откуда был извлечен и посажен в трехлитровую банку. Ему положили сыру, но он не ел, пытаясь карабкаться вверх по гладкому стеклу.

Мышонок был до странности искусно, подробно сделан, можно было легко разглядеть фаланги пальцев, прозрачные коготки, живот с тон-чайшим пухом. Детеныш был созданием таким же красивым, как нецке, которые они видели в Музее восточных культур на улице Осипенко. Там в витрине помещался человек из слоновой кости, который та-

шил огромный заплатанный мешок, а сверху, не видимые ему, согнувшись с удовольствием от хлебного веса, сидели мыши, уцепившись за мешковину, другие выглядывали из дыр и, верно, весь мешок был полон ими. Их зверек выражением беззлобности и тонкостью изготовления был сродни той столетней штучке.

7

Утром множество людей, как муравьи, спешили от метро в учреждения. Здесь, в центре, находилось несколько десятков исследовательских и проектных институтов со строгими черными с золотом вывесками на фасадах. Но везде были проходные с вертушкой, непреодолимые заборы и вооруженная охрана. Каждый институт работал на оборону и числился в министерских списках как «почтовый ящик» номер такой-то, собирая под крыши свои до тысячи человек. Все они, прежде чем быть принятыми на работу, заполняли анкету с графами, которые моему герою казались дурацкими («Имеете ли родственников за границей?», «Были ли вы или члены вашей семьи на временно оккупированной территории?» и т.п.). Потом, после беседы в первом отделе, нужно было дать подписку-обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Когда бабушка нашего новоиспеченного инженера, благодаря которой они с матерью вернулись в Москву после высылки (она сохранила комнату), узнала, что ее внук на секретной работе, она очень возгордилась этим. Ей сделали внушение, что болтать об этом нельзя, а сам он не имеет права рассказывать о своей службе. Она же безапелляционно заявила: «Но маме-то можно!», демонстрируя, какой разлад существует между представлениями разных поколений. На это мать молодого специалиста, за несколько лет до того неимоверными хлопотами добившаяся посмертной реабилитации мужа, так и не вернувшегося из заключения, умоляла ее: «Молчи!».

На работе одних интересовали только чисто научные проблемы и было все равно, как используются впоследствии плоды их трудов. Другие ничего не делали, отбывая в присутственном месте свои восемь часов двенадцать минут ежедневно.

Были и такие работники, что во весь многолетний срок сиденья в конструкторском отделе не сделали ни одного чертежа и разучились извлекать корни второй степени на логарифмической линейке.

Попавший при распределении после института в престижный «ящик», мой герой понял скоро, что если война все-таки грянет, вряд ли такие кадры будут на что-то годны после многих лет безделья и питья казенного этанола...

Накануне ноябрьских и первомайских праздников, когда по закону рабочий день кончался на два часа раньше, нарядные и суетливые, запи-

рались в отделах и устраивали застолье, разливая спиртное из бутылок, которые никогда не ставили на стол. Осенью выезжали на уборку картошки, и уж тут спирт брали с собой канистрами.

Объясняя наивной подружке сущность своей трудовой деятельности, он рассказывал ей старый анекдот о человеке, который работал на заводе, производящем швейные машины. «Ты принеси домой детали и собери себе машинку», — советовали тому. «Пробовал, — отвечал трудяга, — каждый раз, как соберу, получается пулемет».

«У нас скрытая безработица, — говорил он своей дурочке, — людей собирают в конторы, чтоб они были под присмотром, а работы нет».

8

Он ходил на службу пешком, чтобы не ехать в метро, где ему было тошно от тесноты и плотного прижимания тел, от периодически появляющегося напряженного недовольства в лицах пассажиров, когда люди тискались перед остановкой.

Он шел по утренней серенькой Москве, по снегу, который еще не успели разгрести и затоптать, к набережной, где ехали нескончаемой вереницей порошние грузовики, взбирался на Большой Каменный мост и, с усилием раздвигая густой встречный воздух, несясь вдоль чугунных перил, в этом движении остро ощущая жизнь своего тела. Иногда ветер был так плотен, что застревал в глотке, не идя в легкие. Так бывает, когда откусываешь большой кусок антоновки, и пропадает дыхание. Старое пальто болталось вокруг худых телес, полы высоко взметались, и холод костянил спину, но щеки были горячи, а льдистый ветер раздирал их, как наждак. Он шел, неглубоко и часто дыша, крепко прижав к туловищу руки, засунутые в карманы.

Она знала, что он мерзнет, и из старого слежавшегося ватина сделала подкладку на спину, вычистила и отгладила старое пальто из сукна, набранного разноцветными ворсинками, такими тонкими, что оно казалось серо-фиолетовым.

И теперь, когда ветер был особенно сильный, он поворачивался к нему спиной и несколько шагов мужественно пятился, потому что никто не ходил по мосту в это время и не видел его, а машины, мчащиеся мимо, были такие темные и металлические, забывалось, что в них сидят люди.

9

Он ненавидел свою службу так, что в понедельник утром подруга пугалась его мрачности. Ненавидел бравое мужское приветствие «Как стоит?», обращенное к нему вместо «Здравствуй», и брутальное бахвальство сослуживца: «Пять палок!»

От восьмичасового безделья в комнате, набитой людьми, которые играли в морской бой и решали кроссворды, он выматывался до бледности и, когда в отделе бросали клич убирать снег во дворе или ехать рыть траншею в подшефный совхоз, с радостью заменял свое бессмысленное отсиживание под охраной на физический труд.

Он мучился от вечных сплетен, от блеска полированных столов, от унылости окон с проволочной сеткой, откуда видны были только линии проводов и белые фаянсовые ролики на электрическом столбе. Страдал от вечного запаха разбавленного борща в столовой, от вида серого водянистого пюре, по которому, наложив его на тарелку, подавальщица проходилась ложкой, делая волны.

И в проходной до жути, до отвращения к самому себе, к человечеству вообще, доводили его тупые лица вохровцев, особенно, когда дежурила немолодая женщина-вахтер с мелкими кудряшками, прямыми форменным беретом, и с круглыми белыми клипсами. Ее ноги в модных сапожках-чулках, выглядывавшие из-под шинели, были тверды и окатисты, как перевернутые горлышками вниз бутылки. Она, автоматически заклинив профессиональным движением никелированную вертушку, деловито обыскивала его, требуя: «Откройте портфель!», и прижимала ему ногу коленкой, как будто боясь, что он проскочит через загородку. Он однажды слышал, как охранница говорила о нем тов-варке: «Падло, всегда нос воротит!».

Он был существом, как-то не подходящим для этого места. Его обтянутое бледной кожей лицо с отсутствующим взглядом, с губами, которые не умели смеяться производственным шуткам, неприятно выделялось среди окружающих физиономий, хоть он стремился быть незаметным и всегда молчал, научившись не выдавать своих чувств. Но эта оболочка плохо оберегала его. Он ничего не мог поделать со своим лицом. И профорг отдела, плотная красивая дама, у которой от безмужней жизни кожа на лбу была в нежных буграх, говаривала: «У него такая рожа, как будто он всех нас презирует».

Естественно, его недолюбливали, правда, большинство сослуживцев да и вообще людей, с которыми сводила моего героя жизнь, не любили никого. Не любили и своей работы с обязательным авралом в конце квартала. Честно сказать, эти люди не любили и самих себя. Они соглашались провести треть жизни взаперти, за железным забором, ради жалкой зарплаты и, казалось, не мечтали ни о чем, кроме двухдневной рыбалки или отдыха в пансионате по профсоюзной тридцатипроцентной путевке.

В зале с квадратными окнами стояли рядами кульманы с приклепанными листами ватмана. На некоторых из них было нечто вычерчено, другие месяцами оставались пустыми. Большинство сотрудников не сидели на месте, а шныряли по комнатам, курили и болтали.

Все как-то устраивались в этой системе: женщины вязали и снимали выкройки из журналов на казенную кальку, один младший научный сотрудник разрисовывал цветными карандашами картинки в книжках для своего сына, лаборантки квасили выдаваемое за вредность молоко и делали творог. Но читать художественную литературу было не принято и осуждалось не только начальством.

Паровиков, которого все называли «шеф», непосредственный начальник моего младшего инженера, можно подумать, за всю жизнь не прочел ни одной книги. Он был из тех наиболее активных институтских деятелей, кто для продвижения по службе влез в партию, преодолев ограничения, существовавшие при приеме в КПСС интеллигенции. Хотя, как видел наш разумник, никакой интеллигенции в партячейках «ящика» не водилось...

Герою моего повествования удалось безгласно отвоевать себе угол и умело отгородиться чертежными досками, но от непрерывного человеческого гула с женскими взвизгиваниями он не мог изолировать себя и, случалось, заклеивал уши хлебным мякишем...

Он понимал, что бессмысленное принудительное безделье, сменяющееся гонкой, вкуче с бытовыми трудностями и нехваткой самого необходимого обессиливало и растлевало людей. Его окружали среднестатистические типы, не терпящие ничего непохожего на них самих. А ему их лица казались почти одинаковыми: склонностью к ранним морщинам, ноздреватой пористой кожей, всегдашним выражением настороженности.

Его угнетала бесцветная, полная газетных оборотов речь сослуживцев, этот жаргон посредственности. Метафора или преувеличение тут были невозможны, иностранные слова характерно перевирались, точно язык с трудом ворочался в мясной тесноте зева. Остроты черпались из телевизионных шуток, из реплик Райкина и повторялись так часто, что вызывали у нормального человека отвращение. «Как вы себя ощущаете?» — слышалось отовсюду, после того как знаменитый актер показывался с очередным спектаклем на телеэкране. «Слушай, Люлек,» — приговаривали перед каждой фразой. «Вообще», — цитировали все к месту и не к месту. Анекдоты рассказывали либо в женском, либо в мужском кругу, часто — в уборной. Они были грязны и примитивны, но матерные слова произносились вполголоса. Слово «халтура» обозначало здесь не плохо выполненную работу, а полузаконный («левый») приработок.

Смеху и хохоту сослуживцев присущи были звуки неживой природы: бульканье, металлический писк, треск, какой бывает при шлепках по фанере. Человек весь на виду, когда смеется. Слишком широко раскрытый рот, трубное горловое выдыхание или беззвучная тряска, когда колышется живот, — все раздражало моего мизантропа, но и вызывало странный болезненный интерес.

Он не привык, чтоб его как-то любили. Выросший в скудном месте, в нищете, без отца, с ежедневными истериками измученной матери: «На что жить?», он и не ждал от этого мира сочувствия, да и сам не собирался жертвовать ради кого-то своими силами. Его порой мучила совесть, что и мать свою он не любит. С трудом скрывая раздражение, он старался промолчать и не поддерживал скандала, когда она, например, упрекала его, что вот, мол, истратил всю стипендию на пластинки, а есть нечего. Он никогда не думал о еде и не хотел есть.

Он не видел врожденного благообразия матери и воспринимал ее существование рядом с собой как неизбежную данность. Ну вот, мечется такое существо, ругается. А когда у нее однажды нарывал палец и боль была невыносима, он сказал жестко: «Ты можешь не стонать?» Обреченный жить с матерью в одиннадцатиметровой комнате коммунального дома, он считал, что она не должна вмешиваться в его жизнь, и не выносил поучений.

И материнскую судьбу с клеймом дочери врага народа и жены врага народа он не хотел впускать в свою душу. Он не считал такие чувства эгоизмом, потому что к себе был еще более равнодушен, чем к остальному человечеству.

Он научился такому равнодушию давно, впервые осознав необходимость без жалоб терпеть боль еще в детстве. Он помнил, как его били малыши чуть ли не всем детским садом, жестоко. Так, что повредили носовую перегородку, и, дожив до поры, когда стали проявляться вторичные мужские признаки, он замечал, что возле искривленной ноздри, которая после той драки почти не дышала, щетина хуже растет, чем на другой стороне лица. Две-три дружеских связи за целую жизнь держались на добровольном его подчинении людям, которых безоговорочно он признавал выше себя: учителя в студии живописи, иногда приглашавшего его к себе в холостяцкое жилье посмотреть альбомы с репродукциями, а позднее, в болезни, просившего приносить из аптеки лекарства, да сверстников, которым он невысказанно завидовал (у них были отцы!), тех, в ком угадывал он умственное превосходство над остальными одноклассниками.

Вообще же он не хотел ни с кем контакта и от неинтереса к ровесникам, и от нежелания возмутить своим прикосновением чей-то мир, чужой ему не волею людей, а объективно, по некоему закону.

Он и в школе отличался особой замкнутостью и болезненной застенчивостью, которые стопорили его речь. В десятом классе на уроках он держал в ладони твердую пластмассовую расческу, и когда учительница математики, всегда его задиравшая и старавшаяся подчеркнуть, что он тугодум, приближалась к его парте, он сжимал кулак, перетерпевая боль вонзавшихся зубьев, и сдерживал желание даже не ударить,

мало! — убить, просто убить, не конкретизируя, каким образом, так что гневно надувалась жила над глазом.

Ему порой приходило в голову: что его связывает с этой девочкой, которую из боязни одиночества он увел из родительского дома? Со слабым этим созданием, испорченными кинокартинами, чтением Хемингуэя (сам он не мог его читать) и популярных брошюр о Фрейде, существом с птичьей повадкой, тягой к теплу (спрятаться, угреться!), с любовью к темноте и покою, когда она закрывалась с головой одеялом, съезживалась в клубок, уткнув лицо ему в живот и принимая некрасивую позу человеческого зародыша из школьного учебника биологии...

Она любила лизаться, невольно копировала фильмовые любовные сцены, говорила с придыханием, закатывая глаза, стонала и ахала, много разглагольствовала о любви, и это представлялось ему литературщиной и фальшью. Она вечно подозревала его в скрытности, сама себе придумывала всевозможные фантастические унижения, якобы исходившие от него. До истерики. И не будь всего этого, он больше бы верил в ее любовь. Иногда он говорил себе даже, что не любит, уж совсем ничемна эта балаболка, но надежда вскипала иногда: как хорошо будет, когда я полюблю ее.

11

Из-за троек стипендию ей не давали, и родители вечно упрекали за то, что учится она плохо и сидит у них на шее. Но теперь, когда их непутевое чадо приезжало к месту прописки, в измайловскую «хрущобу», то увозило домой целую сумку еды — и варенье, и десяток микояновских котлет, и гречку, которую мать ее получала по особому талону в магазине как диабетик. Вообще-то материнский диабет в определенном смысле выручал семью: ей один раз в месяц полагался продуктовый заказ, который выкупали в районном гастрономе, — он содержал не только дефицитную крупу, но и тушенку, и оливковое масло.

Моя героиня успокаивала родителей, мол, все хорошо, финансов хватает, а у нее самой есть небольшой заработок. На трофейной машинке «Идеал», которую перетасили в пречистенское гнездо, она довольно бегло печатала, а заказы приходили через приятельниц: кулинарные рецепты, прописи лекарственных травяных сборов, руководства к похудению. Получая описания диет (обычно, слепой шестой экземпляр), ее подруга острила: «Знаешь две главные проблемы советской женщины? — Где достать поесть и как бы похудеть?»

Мать, страшная перестраховщица, беспокоилась из-за ее машинописи. Это считалось в общем-то незаконной деятельностью с извлечением нетрудовых доходов. Да и отец, когда однажды ей досталось перепечатывать стихи (книгу «Камень» поэта Мандельштама), всполошившись, долго ее поучал быть осторожней: говорят, шрифты всех маши-

нок есть в КГБ. И тот экземпляр стихов, который она радостно принесла в отчий дом, спрятал в самый низ книжного шкафа в папку с надписью «Трест «Энергохладомонтаж».

Она потешалась над родительской боязливостью, понимая, что замордованные души так и не отогрелись «оттепелью». А сама она, на выпускном школьном экзамене по истории отвечавшая по билету «Культ личности И. В. Сталина» и никогда не читавшая газет, принадлежала к тем непуганым идиотам, которые и через несколько лет после снятия Хрущева не догадывались, что в России по-настоящему кончилось счастливое царство Иванушки-дурачка.

В институте на занятиях по научному коммунизму она, не скрываясь, потешалась над тихогласным преподавателем с фамилией Белоглазов, который на ее вопрос, как же при коммунизме будут обходиться с преступниками, искренне отвечал: «Люди не любят, когда над ними смеются. При коммунизме с человеческими пороками будут бороться юмором».

Мать же по поводу ее невоздержанного языка и этих ее машинописных заказов говорила гневно: «Ума нет! Посадят — тогда поймешь».

12

Вся жизнь нашей девицы заключалась в ожидании. Она начинала ждать своего возлюбленного с той минуты, когда утром за ним закрывалась нижняя дверь. Уже в шестом часу она была взволнована до бледности, до головокружения, оглядывала комнаты и выбегала в прихожую слушать шаги, а когда петли наружной двери сварливо скрежещали, медленно проворачиваясь в ржавых гнездах, стояла в низеньком коридоре, чувствуя странную пустоту в животе, какую-то предвзлетную легкость.

Ей очень хотелось быть красивой, и перед тем, как он приходил, она надевала собственноручно сшитый и простеганный желтый атласный халат, чтоб встречать его в этом длинном златом одеянии, украшенном роговыми пуговицами, споротыми со старорежимного, унаследованного от бабки пальто.

И случались такие дни, когда он, возвращаясь с работы и еще не дойдя до поворота, откуда был виден дом, внезапно представлял его заранее, опережающей фотокамерой воображения — в сумерках, среди синих сугробов, в апельсиновом свечении соседних окон.

И на этом месте исчезал хмурый отшельник, не умевший улыбаться, так что когда в обед пересказывали фильм, который накануне шел по телевизору, и все ржали, замечено было, что и смеется он, силком растянув губы пальцами поставленных на локти рук. Он превращался вдруг в ласковое, наивное существо и взлетал по лестнице, сдерживая дыхание и чувствуя, как вся кровь сбегается к губам, все тепло, чтобы быть отданным в поцелуе. Странное умиление грело лицо и растепляло

глаза, делая взгляд блестящим. Он стучал, и ему тут же открывали, и такая тишина была в этот момент приникания к родному телу между звуком открывающейся двери и тряпочным мягким ее захлопыванием.

13

По субботам они просыпались рано, чтобы день был длинный, и завтракали калачом и сыром, вырезая из куска кубики и ромбы. Потом читали, лежа — каждый свое. Иногда она воодушевлялась текстом и читала ему отрывки — низким голосом, чуть завывая.

Прилетали желтые синицы, усаживались на ветках под окном и пищали, и она слышала «тень-теньк», а он «иньк-инь», и они дурашливо спорили, кто прав. Синицы получали от калача, иногда им вывешивали на нитке кусочек колбасы, и тот быстро превращался в розовое решето, когда птицы выклевывали сало. Колбасы обычно было мало (покупали не каждый день), и она просила: «Мне оставь!», а он смеялся: «Ты большая, а синичка маленькая!».

В полдень они пили молоко и снова ели сыр с черным хлебом и радостно, многозначительно — яблоки, вспоминая и воспроизводя античную сцену, где женщина ловит яблоко в вырез платья на груди, и оно, еще теплое от бросавшей руки, скользит во впадине и застревает, сдерживаемое поясом.

Потом они ждали темноты и дремали на раскладушке, и, казалось, та для того была так стара и продавлена, чтоб теснее лежать. И когда дыхание учащалось, делалось слышным и глубоким, было сладостно прикасаться друг к другу оттого, что одежда мешала, устраняя гладкость, и желанное тело ощущалось по-особому горячим от сопротивления ткани... От любви они ненадолго уставали и отлеживались на подушке, чтобы вновь дразнить друг друга нежными укусами...

И когда потом они пробуждались, изможденные и снова алчущие единства, то в наступающих сумерках долго не могли оторваться друг от друга, мелкими поцелуями впивая родство, когда в приступе доверчивости она захватывала губами его руку, бугор в основании большого пальца, младенчески забывшись в своей брезентовой колыбели. И его обволакивало успокоение, только бы слышать этот еле угадываемый свист ее слишком узких ноздрей.

Вечером, часов в девять, он выходил и покупал в дежурном магазине на Арбате еду, приносил бутылку сока, иногда кислое вино. Они раздевались и ужинали в постели. И когда она, хохоча, отказывалась от кислятины, он поил ее вином насильно, изо рта, и она тянула вяжущую влагу и острила потом, цитируя романс: «Лобзай меня! Твои лобзанья мне слаще мирра и вина». И странная бессловесная связь была ночью между ними, когда он внутренне задавал вопросы, а она вслух отвечала между поцелуями.

От невозможности успокоиться они уходили на улицу, где уже никого не было и тонкий слой свежего снега покрывал подоконники темных домов, тротуар и переполненные мусорные контейнеры.

14

Мебель их состояла из двух стульев и раскладной кровати, привезенной ею из дому. Стол, гардероб и множество самодельных полок осталось в квартире от прежних хозяев. Он наташил теса и смастерил просторный топчан, такой длинный, что не хватало одеяла прикрыть концы досок; свежих, с остатками пахучей коры. Правда, спал на этом, похожем на нары, твердом ложе он всегда один и никогда не мог заманить сюда свою полуночницу, за что и звал ее принцессой на горошине.

Десятки домов дореволюционной застройки в районе между Арбатом и Кропоткинской были доведены небрежением до такого состояния, что их уже невозможно было отремонтировать. Жильцов, по большей части одиноких коренных москвичек, потерявших семью в перипетиях истории, постепенно выселяли из трущоб. Было две или три волны переселений. Сначала, как говорили в ЖЭКах, выводили людей из подвалов, потом переезды были приурочены к празднованиям пятидесятилетия революции и столетнему юбилею Ленина.

По вечерам наш герой отправлялся обследовать дома, назначенные на слом. Приносил вещи, старые и ненужные уже владельцам, но милые своей стариной, добротностью и необъяснимой подлинностью, непохожие на нынешние недолговечные, слишком легкие и безразличные к людям предметы. В тех был виден труд и сам человек, не штампуемая машина, не унылый придаток конвейера, повторяющий полжизни одни и те же движения, а мастер, который все умел, и умел хорошо, не жалея для другого своего ремесла.

Однажды он притащил кресло павловских времен, раскоряченное и тяжеловесное, с почерневшей фанеровкой красного дерева и подлокотниками, как будто с трудом гнутыми.

В большинстве домов взять было нечего, ремонтники-рабочие сами забирали хлам, оставленный жильцами, а иногда просто крушили все ради потехи. Он отвинчивал красивые оконные задвижки, снимал печные заслонки, сортируя скобяные изделия по назначению. Брал выбитые изразцы. И вечером они любовались находками. А старые двустворчатые двери своей комнаты, изуродованные многократным врезанием замков, он выкрасил белой масляной эмалью и поставил парные бронзовые ручки на место давно утраченных.

Как-то раз она умолила его отправиться вместе. Выбрали дом, куда было легко забраться. Двухэтажный особняк стоял в безлюдном переулке, от ветра хлопая оконными рамами. Поднялись по замусоренной

лестнице и, светя фонариком, входили в незапертые квартиры, в помещения с поваленными дверями, с кучами бумажек на полу.

В узкой комнате увидели огромный дубовый стол с крышкой из квадратов темного и светлого дерева. Должно быть, когда-то за этим столом садилась обедать большая семья, которую потом уплотнили. Столовая и зала превратились в ряд маленьких проходных клетушек. А стол, задвинутый в угол, уже нельзя было вынести, не рубя стен. В темноте стол этот представлял основой здания, как будто весь дом держался на нем. Там же они нашли склеенную китайскую вазу с чешуйчатыми красно-синими драконами на боках, заполненную крышечками от молочных бутылок.

На подоконнике, рядом с нестандартными банками она увидела алоэ в горшке. Она не любила комнатных цветов, жалких пленников, живущих фильтрованным светом, но этот согнувшийся столетник с худосочными листьями спрятала на груди, расстегнув пальто, и унесла с собой.

Обычно его походы давали мало трофеев: треснувший фаянсовый абажур с зелеными птицами, почерневшие держатели лампад, пыльная этажерка с чернильными кружками, — но милы были сами эти беззаконные прогулки, проникание в высокие комнаты с лепными потолками. Почти в каждой квартире оставался комод, и он наглядился самых разных — светлых из ореха и отделанных красным шпоном громоздких комодов, с пустыми ящиками, выстланными бумагой. Из старых шкафов были вынуты зеркала.

В деревянном длинном строении, где полы в помещениях были на разной высоте и коридор шел ступенями, нашел он два стула с красивой резьбой на высоких, мореного дуба спинках. Обивка их была так засалена, что казалась в темноте черной кожей. Он взял стулья домой, радостно и неумело занялся реставрацией. Дерюжкой коврового рисунка обтянул сиденья, набитые конским волосом, прижав ткань мебельными гвоздями с золотистыми головками, которые удалось купить на скобяном развале у рынка.

Как правило, в брошенных домах не оставалось ни одежды, ни тряпок, порой крашенные полы были невероятно чисты, и только квадраты, где стояла крупная мебель, выделялись шершавостью и особым оттенком краски.

Лампочки всегда были вывинчены. В одной совершенно пустой квартире он заинтересовался медной люстрой. Потолок был высок, и чтоб снять ее, пришлось притащить туру с улицы, с ремонтного участка. На широком, красной меди обруче выгибались три змеи из светлого металла с петельками вместо пастей, куда продеты были бронзовые цепочки.

Ему нравилось все старое. И он возликовал, когда нашел небольшой сундучок, окованный оловянными полосками в ромб с пластинками разноцветной слюды на крышке.

Он даже не брал всех вещей, которые находил, только рассматривал, восхищаясь их незнакомым обликом и долговечностью.

Дома были разные, но в каждом своеобразие и особенность. Лестницу в парадном неряшливо оштукатуренного особняка, где на площадках стояли вечно переполненные мусорные ведра, украшали дубовые панели с зеркалами в простенках, указывая, что не всегда здесь жило по пять человек в каждой комнате, были времена получше.

Кое-где печки, уже не используемые с вводом парового отопления, были по-мещански заклеены обоями, но в большинстве случаев белые кафели блестели, как новые, а в кухнях самых старых домов огромные русские печи были облицованы крупными изразцами, с бирюзовой обводкой по краям.

15

Их дом был деревянный и потому в нем всегда было хорошо: зимой, когда натоплено, жарко, прохладно летом, благоуханно весной. Отопление работало, нельзя же было отключить один дом из круговой системы теплоцентрали, но где-то прикрутили вентили так, чтоб только-только не рвало от мороза батареи. Топлива, которое он набирал во время ночных прогулок: щепок, старых досок, остатков мебели — хватало. Каждый вечер он сидел перед открытой печной дверцей на самодельной низкой скамеечке, любуясь огнем и удивляясь, какая энергия заложена в дереве, как много жара дает какой-нибудь кружок старого бревна.

Он клал ковровую подушку на пол перед печью и звал свою мечтательницу. Она садилась лицом к огню, прямо между его раздвинутыми коленями, и он выдыхал тепло на узкий островок шеи между воротником и стриженными волосами, а она вдыхала ореховый солоноватый мужской дух и эфирный аромат горящей смолы, похожий на запах ночного поцелуя, этой ротовой влаги, испаряющейся с горячей щеки, и смотрела, как кудрявится кора на поленьях в печи и зеленым пламенем вспыхивают цветные страницы старых журналов.

И потом ночью она вслушивалась в скрип половиц под чьими-то неровными шагами, но никому не рассказывала о странных звуках, которые называла про себя ангельским говором. Перед сном или в тихом одиночестве возникала успокаивающая мелодия, сладостное завывание, как воркованье незримого голубя с неповторимым ритмом: «Мгуа-мгуа-мгуа» — уговаривание и счастливый плач.

Порой, входя в квартиру с улицы, она боковым зрением видела разбегающихся серых зверьков — то ли зайцев, то ли узкотелых ласок — и принималась искать их, никогда не находя. Он смеялся таким ее рассказам, и она таила теперь подобные происшествия, понимая, что это похоже на симптомы психопатии.

Иногда, засыпая, она чувствовала себя лежащей на каменной белой плите, похожей на огромное надгробье и разогретой желтым светом, и ощущала себя такой большой, с тяжелыми руками и ногами, крепко прижатой к плоскости, что будто даже не могла шевелить пальцами от рыхлости тела.

Как-то она читала допоздна в постели и вдруг была увлечена танцем неизвестно откуда взявшегося птичьего хвостового пера. Стоямя поднявшись на полу, оно распушилось от сквозняка, и его лакированная ость согнулась раза два, вычурно ей кланяясь. Но когда она встала, чтоб схватить эту не в меру расшалившуюся мизерию, ничего не оказалось, и она долго ползала в недоумении на коленях, заглядывая под стол.

16

Она писала стихи и, как говорили однокурсницы, гениальные. Но с публикациями ей не везло.

Время от времени она ходила по редакциям журналов в надежде пристроить свои опусы. В коридорах там обычно слонялись ждущие приема авторы. Поэты охотно предлагали, а иногда просто навязывали ей посмотреть свои произведения. Немало было среди них людей психически явно нездоровых, с путающейся речью и судорожными движениями. Как-то изможденная немолодая женщина с прической «ракушка», в сером, козьего пуха платке на плечах, жаловалась ей: «Не печатают, а мне надо в Союз вступить!»

В знаменитом комсомольском журнале («цекамовском», как говорили тогда) поэтов принимал лохматый прокуренный человек с ироническим взглядом.

Моя поэтесса входила, глубокомысленно потупившись, и садилась, пряча под стул ступни в старых ботинках. Консультант брал стопку стихов и сначала, зажав листы в правой руке, шелкал пачку по ребру, как бы оценивая, не много ли. Потом быстро и равнодушно читал, иногда сосредоточенно выверяя рифмы, и вдруг вскидывался: «Ваши стихи?» Она кивала, боясь сказать, что уж она не в первый раз приходит. Он читал все до конца, решительно откидывая прочитанное, в то же время глубоко затягивая в бронхи сигаретную теплую отраву. Затем метил особым знаком — крестом и минусом — две-три страницы, упирался лбом в собственную ладонь и, тыча тупым концом карандаша в текст, говорил басом: «Это банально. Это свежо, но не ново. Не дотягиваете вы до современного уровня, хоть вы и не графоманка. Попробуйте что-нибудь эпическое. Мне вот это нравится, но ваши стихи очень уж беззащитны. Как их защищать перед редколлегией? Их надо подпереть. Может быть, у вас есть другие стихи?» — «Какие другие?» — не понимала она, пугаясь. «Давайте договоримся, я беру вот эти, а вы пришлите мне в конверте пару гражданских стихов. Подборке нужен паровозик,

такое стихотворение, которое вывезет остальные». Это был самый благожелательный консультант, и она, радостная, шла по улице, хоть и знала, что послать ей в журнал нечего, а гражданские стихи ей были известны из школьного курса литературы: «Люблю отчизну я, но странною любовью».

В других местах ее встречали гораздо хуже. Как-то случился такой эпизод. В редакционном предбаннике бледный и весьма уже немолодой человек читал стихи о том, как он видит свою любимую — трупом со снятой кожей («плоть как разбитый арбуз»). Когда подошла очередь моей стихотворицы, он вскочил в святая святых впереди нее с криком «Напечатайте ее!» — должно быть, в благодарность за то, что она сочувственно выслушала его коридорные завывания. На это ответственный сотрудник журнала, взревев: «Мы — профессионалы!», выхватил из рук нашей барышни ее листочки и, выкрикивая по одной начальной строчке каждого стихотворения, возмущенно вопрошал: «Это напечатать? Это напечатать?». И затопал на нее, бедную, ногами: «Мы не допустим эротики в молодежном журнале!»

Действительно, все ее стихи были о любви, и все они были посвящены одному лицу, которое представало как некто длиннопалый и смуглолицый. Красота адресата особенно отвращала от стихов вершителей поэтических судеб. Да еще ее строки пестрели старомодными оборотами и чуть ли не цитатами из Библии («Глаза твои голубиные»), и хотя ссылок она не делала, в журналах нюхом чуяли что-то опасно архаическое в тексте.

Но и ее возлюбленный стихов этих не знал и даже когда она пыталась прочесть ему вслух («Новое придумала»), говорил: «Не надо, я в этом ничего не понимаю». Он не обольщался насчет ее даровитости, а поэзии вообще не любил и относился к стихам слишком рассудочно. И переспрашивал желчно, когда она читала вслух Пастернака: «И таянье Андов вольет в поцелуй»? Это как-то противно и получается: холодные слюни. А разве не унизительно для женщины: «Он вашу сестру как вакханку с амфор поднимет с земли и использует»? »

17

Однажды на свалке железного лома у Киевского вокзала он нашел старый печатный станок, выкупил его у сторожа и привез домой, подрядив на вечер фруктовую тележку. Долго возился с наладкой, вызолотил бронзовкой дату «1875» и рельефные листья, украшавшие чугунную станину и, наконец, обильно смазав черную машину маслом, опробовал пресс.

Он всегда любил рисовать и в Бауманском, куда срочно поступил, чтобы не попасть в армию после десятилетки, легко сдавал бесконечные чертежи, быстро справляясь с проекциями, над которыми кряхтело большинство его сокурсников.

Еще в школьные годы, когда вернулся с матерью в Москву, он занимался в студии и ходил с папкой ватмановских форматов в районный дом пионеров. Там, в светлой комнате с высоченным потолком, стояли на обитых кумачом подставках гипсовые слепки с античных голов под сатиновыми черными накидками, и учитель, задав юным дарованиям рисовать кувшин или чайник, ходил медленно между столами, монотонно повествуя о своем гимназическом детстве.

Технику гравюры на дереве мой герой представлял из разговоров студентов, когда подрабатывал позированием в Строгановском училище. Надо было сделать такие плахи, чтоб дерево при высыхании и хранении в тепле не коробилось и доска всегда оставалась плоской. Сначала он заказал доски и договорился с работягой о сосновых по три рубля за штуку. Но, когда рассмотрел полученные изделия, понял, что они склеены неправильно, что от краски, от сырости доска пойдет горбом, и решил делать сам, начитавшись дореволюционных брошюр по художественным ремеслам.

18

В «ящике», где он работал, кроме планового оборонного производства во всю кипела «левая» созидательная деятельность. Стеклодувы, запаяв сотни ампул со стратегическим содержимым, отправлявшимся в хранилище, занимались изготовлением смешных глазастых фигурок и даже рюмок. И в разгаре производственного романа с какой-нибудь лаборанткой влюбленный мастер делал даме сердца традиционный подарок, стеклянного чертика с характерным отростком, — внутрь чертика можно было наливать воду, «чтоб прыскал». Из иностранных пивных темных бутылочек, размягчив стекло нагревом в муфеле и специально смяв «чекушку», делали занятные пепельницы с длинными ручками.

Слесаря вытачивали всякие необходимые в хозяйстве металлические детали, которые в нашей, самой передовой по производству чугуна и стали стране, невозможно было купить ни за какие деньги. Эти вещи никогда не делали серийно, потому что вынести их на продажу через проходную было трудно. Изделия курсировали внутри самого предприятия. Обычной платой был спирт, который являлся эквивалентом всему. Все имело свою таксу, от наладки лабораторного оборудования по наряду до смоления лыж и починки утюга. Денег не брал никто, даже обиделись бы, если спросить, сколько стоит работа, но за двести или пятьсот граммов этанола творили чудеса.

Если у сотрудника была какая-нибудь хозяйственная надобность (человек знал, например, что официально наточить ножницы — дело абсолютно нереальное, частники-точильщики, такие обычные персонажи московского быта еще в шестидесятых, как вымерли), составлялась

служебная записка о необходимости тех или иных спиртоемких процессов: экстракции примесей из рабочей жидкости агрегата либо протирания стекол в микроскопе. Обычно острили, что типовая просьба — на протирку оптических осей.

Мотивация заявки была строго научной, но и хозлаборант, оформляющий требование на спирт, и начальник, подписывающий бесценный квиток, и зам. директора по хозяйственной части, налагающий резолюцию «выдать», прекрасно знали, что предназначена жгучая влага совсем не для того, что понаписано в бумаге, и что спирт будет отдан человеку за услуги и обязательно выпит. «Не подмажешь — не поедешь», — говорили в «ящике», органично связывая прежний опыт Руси с новым содержанием жизни. И заботой отдела техники безопасности, особенно после того, как в соседнем заведении ослепли, хватив метанола, двое электриков, было обеспечить такое качество реактива, чтобы от принятия его на рабочем месте сразу никто не умер.

Технический спирт, который, как говорится, гнали из елки («из табуретки»), брали охотней, чем абсолютизированный, отдающий ацетоном, и даже предпочитали его ехидно пахнущему медицинскому, который полагалось держать в производственной аптечке.

Кстати сказать, слухи о запасах спирта, хранящихся в сейфах лабораторий, неизменно будоражили воображение охраны, которая ненавидела ИТР не только за то, что те сидят в теплых помещениях целый день, но и за особую близость, как считала вохра, к благоуханному источнику радости. Однажды под утро, при плановом обходе этажей, сторожа, у которых, как видно, душа горела, не сумев подобрать ключей к малому лабораторному сейфу, где, как они знали, был спрятан спирт, так неистово трясли и кувыркали стальной коричневый шкафчик, что заветная бутылка разбилась и удалось-таки опохмелиться, собрав вытекающую из щелей «огненную воду».

И все, не только работяги, но и респектабельные старшие научные сотрудники не гнушались присваивать веселящую жидкость, правда, понемногу, хотя рассказывали об особой дерзости одного деятеля, сварившего из стальных пластин полый пояс-флягу с пробкой, позволявший выносить на животе сразу до литра.

Большинство сотрудников уверено было, что государство не подведет, считалось, что продукт обязательно контролируется на предмет питья.

Даже «лорды», сотрудники лаборатории ядерного магнитного резонанса, не гнушались приложиться к бутылке во время рабочего дня, правда, предварительно сняв спектр реактива, и тот, в котором был ацетон или альдегиды, не пили.

А практичные дамы-инженеры, сэкономив ежемесячно выдаваемые им на аналитические определения сто граммов, заказывали умельцам

различные изделия, например, столовые ножи комплектами по шесть и двенадцать штук, прекрасно режущие, с полосчатыми пластмассовыми ручками, техника изготовления которых шла из традиций уголовного мира. И во вполне приличных домах появлялись при сервировке стола эдакие кинжалы, острые, как финки уркаганов.

19

Он заказал штихели с желобками полумесяцем и долота разного сечения, через два дня получив их в обмен на поллитра спиртяги.

Из книжки по истории литографии и пособия по распознаванию и собиранию гравюр, наш герой уже знал умозрительно, как различаются глубокая и высокая печать, что в обрезной гравюре волокна дерева лежат в плоскости рисунка, а изображение получается черным штрихом по белому полю. Он пьянел от названий «меццо-тинто» и «сухая игла» и по-новому увидел вдруг любимые гравюры, понимая, сколько труда вложено, например, в «Святое семейство с тремя зайцами». Но фигурировавшие в описаниях вещества, такие, как рыбий клей, исчезли из человеческого существования и надо было придумывать что-то новое взамен.

Планки от фруктовых ящиков — розоватый бук из Палермо, очень плотный — такой и нужен, чтоб после резки не заваливались края линий — он склеивал, зажав их в струбцину, потом выравнивал рубанком, шлифовал наждаком до нежной гладкости, затем проходил еще куском сукна. Наносил на полированную поверхность слой пчелиного воска, ошалева от медового аромата, натира л бархоткой поле доски, так что оно казалось желтым зеркалом, и когда клал скалькированный рисунок на эту сверкающую поверхность, тот отпечатывался на ней, чудно освещаясь цветом древесины.

Чтоб этот зыбкий отпечаток на доске стал выпуклым, надо было ножами вынуть фон. С обеих сторон черты он делал наклонные резы навстречу друг другу, сметая щеткой продолговатые кусочки дерева и углубляя поверхность доски вдоль линий изображения. Потом, легко постукивая по долоту деревянным округлым молотком, он начинал выщербливать те места, которые должны остаться белыми. Наносил на рельеф тампоном типографскую краску, ставил доску под пресс и притискивал к ней бумагу в станке.

В первой гравюре штрихи от неумелости были слишком грубы, а изображенные воины держали мечи в левых руках. Некоторые выступы скололись, краска неряшливо затекала в промежутки между линиями, а в местах, которые должны были быть черными, обнаруживались мелкие пролысины, но радость от этого труда была так велика, что он, не прощая себе технических промахов, предвосхищал успех: «Я сделаю!»

Он добыл уже и угловые стамески, и рубанок с острым скругленным лезвием, и рубанок с волнистым режущим профилем, и набор шлифовальной бумаги — от корундовой грубой до бархатистой.

Вдруг все: зрение, осязание, даже наблюдения за движениями собственных мышц, — стали служить придумыванию гравюрных сюжетов, измышлению приемов резания, усовершенствованию техники. И теперь каждый литературный текст разворачивался картинками и по-новому выставлял живописные детали.

У него не было взгляда художника, к любому предмету он подходил как конструктор и мысленно анализировал, разглядывая свою прелестницу, единственную его модель: как нога крепится, где центр тяжести при таком-то наклоне вперед? И на грудь смотрел, удивляясь полусферам, смотрел, как ей казалось, оскорбительно изучающим взглядом, не помня, кто перед ним, и смотрел без любви. Каждую вещь хотелось нарисовать, и он мысленно членил предметы на сопряженные друг с другом цилиндры, конусы, торы...

20

Она рассматривала похожих на манекены женщин на его рисунках и спрашивала: «Это физика твердого тела?.. Но почему гравюра, чтобы тиражировать?»

«Я — инженер, — отвечал он. — А здесь много технических задач».

Он понимал, что гравюры в манере Дюрера или японцев бесперспективны для нынешних сюжетов. При всем пиетете к старым мастерам он не мог им подражать не только потому, что не обладал должным мастерством. Чувствовал, нынешний мир не выносит, не хочет принять того вглядывания художника, той пристальности в подробностях, которые есть в старинных работах. «После Сезанна, — говорил он, — все изменилось, каждый предмет перестал быть самим собой, он часть общей материальной формы. Квадратная бутылка — воплощение всех стеклянных прозрачных кубов. Для дерева неважно, какой оно породы — только объем и конфигурация кроны. Сезанизм совпал с техническим прогрессом и машинной эстетикой, и в живом стали искать сходства с неживым».

Он сотворил несколько удачных ксилографий и украсил ими комнаты, приклеив к обоям узкими полосками лейкопластыря. Представил в этих картинках всю свою жизнь: любимую комнату, печь с заслонкой, комод с ореховыми завитушками, старую лампу и кресло возле стола без скатерти, и будильник под стеклянным колпаком.

Затем он сделал портрет загубленного своего отца — строго, лаконичным штрихом, поставив собственные инициалы, как монограмму художника, в крестовине тюремного окна над родительской головой. Чтобы воспроизвести отцовский облик, который возникал только в секундных вспышках памяти, мой мастер подолгу разглядывал сберега-

емые матерью фотографии. Среди них, между прочим, было и его собственное фото. На снимке, который в свое время сделали в арбатской мастерской, чтобы послать отцу в лагерь, наголо остриженный хмурый второклассник сидит в кресле, а на коленях у него огромный альбом репродукций и открыт альбом на странице с картиной Репина «Не ждали». Может, случайность, а может, фотограф о чем-то догадывался.

Он пробовал сделать торцовые гравюры, выбрав линии рисунка штихелем, так, чтоб оставалась углубленная канавка на поверхности доски. Бесконечная стружка вилась и вилась из-под резца. Прорезанная бороздка получается столь узкой, что не заполняется потом краской и дает белый штрих по черному фону. В такой технике он отпечатал «Изгнание из рая»: бегущие фигурки Адама и Евы и гигантское тело змея, мощными извивами опоясывающее темное поле листа. В этом змее читались и натуралистические формы пресмыкающегося, и продолговатая плоть поезда, где едут спрессованные люди, и гигантская, с регулярными утолщениями цепь. Эту кулаковую цепь грехов она, единственная свидетельница творческих мук художника, помнила в новгородской иконе. Правда, наш гравер не был удовлетворен технической стороной дела, фон испортило мельтешение тонких линий, пропечатались горизонтальные швы в местах склейки планок, а на бумаге таинственно проявились годовые кольца дерева.

Его автопортрет, считала она, был самой лучшей гравюрой: четырехугольный череп, беспощадно диагностирующий перенесенный в детстве рахит, неестественно изогнутые брови и складки на переносице. Днем, в приступе тоски, она смотрела на этот его лик с нарочито несимметричными тревожными глазами и резкой шетиной, которую тонким долотом свирепо выдолбил он, потому что фактура древесного среза была сродни природе его лица и мускулистой шеи. И грубый свитер из рижской пряжи, связанный ею самую, тоже был запечатлен резцом с такой тщательностью, что шерстяные соты казались выпуклыми.

И все же техника гравюры на дереве не давалась ему настолько, чтобы получить то, что он хотел. Тогда он попробовал сделать офорт. Уплотнил под прессом металл старого медного кофейника, зачистил поверхность шкуркой, чтобы на этой единственной металлической доске сделать портрет своей возлюбленной.

Он нанес на поверхность тонкий слой лака из бараньего жира, а затем быстрыми точными штрихами, не отрывая руки, вывел грустный профиль, взгляд в бесконечность, чувствительный неправильный нос... И самую тонкою притупленной иглой вокруг и поперек лица, поперек всего медного листа — длинные тонкие волосы, из верхнего левого угла книзу вправо, перечеркнув ее личико и оттенив худобу прозрачной шеи и легкую припухлость горловой железы. Протравил рисунок азотной кислотой, терпеливо ожидая эффекта, чтоб каждая бороздка

стала глубже и заусеницы краев хорошо смачивались краской. Вымыл доску и скипидаром удалив лак, намазал поверхность металла типографской сажой, долго осторожно втирая ее кожаной подушечкой, сделанной из старой перчатки, чтобы впадины заполнились черным, а плоскость оставалась абсолютно чистой.

Положил пластину лицом на сыроватый бумажный лист, прижал их друг к другу под прессом, пропечатывая до малейшего штриха, и вынул оттиск, на котором бумага от черноты линий выглядела зеленоватой. Но от неумелой подготовки краска все же слабо держалась в тонких впадинках, как будто нежность и страстная осторожность, которые водили его рукой, помешали сделать царапины достаточно решительными. Линии были с рваными краями, серым пунктиром передавая белесость близорукого взгляда и маленький клювик в середине верхней губы, и складки уныния по сторонам губ — все, что он знал уже безоценочным, безразумным зрением и всем своим естеством. Отпечатки, сделанные на мелованной бумаге, были невзрачны, пестрели внеплановыми точками, но художественное несовершенство изображения вдруг открыло всю сущность этой женщины, беспомощной и кроткой до мазохизма.

Она радовалась этим листам, с горделивостью и благоговением смотрела, как он, не поднимая глаз, точными движениями режет дерево, смахивая мягкой щеткой спиральки стружки, похожей на кудри у мадонн Кранаха. И хотя втайне она ревновала предмет своей любви к этой работе, из-за которой он по несколько дней как бы не замечал ее и забывал с ней разговаривать, его преданность делу вызывала в ней уважение. И она любила тогда по-другому (не как ночью, эгоистично), это напряженное лицо с вспухшей синей жилой слева на виске, с высунутым пылающим языком, на которое она в такие минуты смотрела с восхищением.

Дни пролетали как бы без промежутков сна, когда он механически выключался, а потом думал, думал, бился над одной и той же задачей — ракурс, композиция, сечение резца. Это была большая умственная работа — придумать изображение и воплотить его в обратном виде на доске. Таким образом он освобождался от отвращения к себе. А ведь, бывало, созерцая свою физиономию в зеркале во время бритья, хотелось перерезать себе горло от вида угрюмого дегенерата с набрякшими надглазьями. Освобождался от своего вечного безволия в страшной мешанине жизни, забывал о себе и в то же время радостно ощущал себя и любил все далеко вокруг себя.

На Пасху наша хозяйственная героиня красила яйца луковой шелухой, которая давала тона от светло-желтого до густого красно-ко-

ричневого, и карандашами рисовала на них ягоды и листья земляники, длинные завитки зеленых усов, выкладывая потом крашенки в плетеную тарелку из болгарской соломки. Он подарил ей узорчатое эмалевое яичко с золоченым барашком сверху, на штифте. Яичко разнималось и внутри было белым, с сетью мельчайших прожилок на стенках. В полости его лежали свинчивающиеся половинки крошечной ложки с витым стерженьком. Эта штучка, превращающаяся из безделушки в рюмочку, сохранена была его матерью и, должно быть, связана с памятью о деде. Он взял яйцо без спросу и оправдывался потом перед родительницей, говоря, что все равно вещь осталась в семье.

В мае в раскрытое окошко залетел маленький попугай, субтильное создание с зеленоватым ободком вокруг короткого клюва. Он сел на стол и больше не хотел улетать. Крылья, слабые от житья в клетке, не могли носить его, и он остался в кукольном жилище, внося заботы о просяном корме, рано-рано просыпаясь и радуя наивным тарахтеньем хриплого голоса. Он сочетал в оперении несколько голубых оттенков: почти белый пух головки становился сероватым волнистым узором на груди и под лапками, а маховые и хвостовые перья поражали свежестью тропической лазури. Потягиваясь и томно расправляя поочередно то одно, то другое крыло, он давал хозяйке любоваться тайными цветными перышками, обычно скрытыми от обозрения. Грациозное тщедушное тело еле держалось на четырехпалых сухих ножках. По клетке он ходил вприпрыжку и скользил, как неумелый конькобежец, по одеялу ковылял с трудом и вообще был существом скорей ползучим, нежели летучим. Вечером, когда они читали вслух, он садился на руку хозяйки, обхватив когтями ее большой палец, и грелся под лампой, тараща оранжевые зенки.

Попугай погиб странно. Через улицу в консульстве Индонезии, в доме, почему-то набитом детворой, постоянно сидевшей в окнах, несколько раз в день играли на необычном инструменте. Трагические, невероятно низкие ноты звучали так, что слышно было на целый квартал. В это время с птицей что-то происходило: развесив крылья по сторонам малого туловища, с раскрытым клювом, попугай сидел во все время сеанса игры (как подозревали мои герои, работы радиопередатчика), закатывая зрачки под старческие белесые веки, и приходил в себя только после того, как музыка замолкала. В августе, после очередного концерта их любимец уже не открыл глаз: инфразвука его dokonала.

22

Вишня перед домом у них давно отцвела, пчелы успели опылить ее цветки, и она дала россыпь ярких ягод. Они налились на солнце и краснели на спущенных до земли ветках. Вокруг старых пней во дворе поднималась молодая тополиная поросль, так что трескалась серая земля.

Острые ростки пасынков, расталкивая песчинки, вылезли вверх, пахучие, с лакированными листьями.

Этот пустырь в самом центре огромного города на месте снесенного дома зеленел свежим бурьяном и лебедой с крахмальным налетом на листьях, изредка радующей взгляд малиново-красным листком. Пастушья сумка прозрачно поднимала треугольники семенных коробочек, белесо цвел овсюг. Одичавшая сирень вся была в коричневых ржавых сгустках увядших соцветий. Высокая благородная полынь настаивала воздух горечью. Кусты выродившихся «золотых шаров» были так высоки, что можно было спрятаться под ними и невидимо сидеть среди желтых головок, синхронно качающихся от ветра.

Как-то они договорились, что она встретит его после работы. Она убежала в проходную при первых раскатах грозы и стояла у вертушки, наблюдая, как народ радостно вываливается наружу. От корпуса научных лабораторий до выхода ему надо было пройти минут семь. Дождь, начавшийся в последний момент рабочего дня, окатил нашего героя холодной равнодушной волной. Несмотря на то, что он пробыл под ливнем совсем немного, плечи стали мокрыми, и когда он проскочил контроль, с волос текло. Совершенно не отдавая себе отчета в том, что кругом люди, она бросилась ему на шею, блаженно подставляя глупую рожицу под струйки воды, стекающие с его головы. Они вышли на тротуар. Дождь внезапно прекратился и на солнце серебряно блистала омытая листва тополей. Последние капли висели у него на мочках ушей, нереально сверкая, и она целовала его, пытаясь поймать открытым ртом эту радужную пресную жидкость.

Возле метро он купил ей две невероятно крупные гвоздики — розовую и белую — с мясистыми чашелистиками на длинных стеблях. В их аромате было тонкое различие, которое сам он не мог уловить. Она же, закрыв глаза, узнавала цвет по запаху, когда он подносил к ее лицу то один, то другой цветок. Не веря в такую, недоступную для него чуткость обоняния, он ворчал, что она подглядывает. И если в миг между ее вдохом-узнаванием и выдыханием названия успевал подменить цветок, перед тем, как она размыкала с усердием смеженные веки, то смеялся над ее обидой и такой упорной уверенностью в точности своего нюха и покрывал мелкими поцелуями ее разочарованное личико, потому что, не чувствуя разницы в запахе гвоздик, он знал, как раз по-разному пахнут губы и щеки, и ее грудь у подплечной впадины. И все это любованье цветами происходило прямо на улице, на виду у публики, которая смотрела на них во все глаза. А они ничего не замечали, занятые только друг другом.

Летом в субботу отправлялись за город и ехали по Киевской дороге до Лесного городка, где почти никто не сходил с поезда. Шли вдоль

заброшенной одноколейки, любуясь земляничными листьями. Они доходили до лужайки, садились на траву, и она плела гирлянды из собранных цветов, обматывая себе ими плечи и шею. Все шло в дело — и лютики, и фиолетово-желтые иван-да-марья и бледно-голубые султаны вероники. Его голову она увенчивала зеленью, а он пытался таскать ее на руках, как Дафнис Хлою, и баюкал, уложив ее голову себе в колени. И, оберегая от холода земли, просил «Ляг на меня!», чтоб она покоилась, легкая, на горячем его торсе и укрывала распущенными волосами обе головы. И сквозь рыжеватые пряди можно было, не шурясь, смотреть вверх, слушая высоко повисшее трепыханье жаворонка.

Еды с собой они никогда не брали. Пили из деревенских колодцев, если к цепи ворота было привешено ведро, рвали выродившуюся вишню там, где высывались из-за заборов ветки. Набрав в горсти ягод, ложились на солнце где-нибудь посреди поля. И когда он брал вишенку в рот, она шутиливо отнимала ее, вытягивая ягоду губами и настигая кислый кругляк ищущим языком.

Возвращались, отыскивая направление по самолетному гулу, разглядывая огороды за неряшливыми изгородями: плети огурцов, цветки чеснока, черепки битой посуды на оголенных грядках, ветошь, вывешенную сушиться, — и он видел, как по-рембрантовски живописно старье. Глядя на пыльные цветущие кусты по обочинам дороги, она останавливалась и, обдувая щеточки тычинок на кустах жимолости, приговаривала: «Я хочу, как жалости и милости...»

Множество собак, собравшись стаей, ходили кругами в ореховом подлеске, не лая и не рыча и вообще не обращая внимания на людей.

На свету она очень шурилась и улыбалась ему и, когда, усталые, они возвращались в Москву, садилась напротив него на желтую, деревянными планками набранную скамью вагона, глядела, мысленно окликая его по имени, а он смотрел на нее и вспоминал рисунок Дюрера, улыбающуюся женщину с двойным подбородком и складкой удовольствия на шее.

Вблизи города за окном электрички лежала поруганная развороченная земля, с которой содрали травяной покров, превратив в кладбище отходов человеческого существования — изрытая канавами, захламленная ржавым железом, отторгнутая от живого мира. «Человек уничтожает природу ради нейлоновой сорочки или консервной банки с яркой этикеткой, а может, из охоты долбить один кусок металла другим куском металла, убивая все по-настоящему живое, засевая мир ущербным среднестатистическим потомством», — проносилось в голове моего критически настроенного героя.

Иногда она везла с собой из леса букет таволги или липучей смолки, а он ворчал, что она жадностью губит природу. Однажды, когда они вернулись из-за города, на выходе со станции «Кропоткинская» к ним бросилась какая-то девушка, спросила, указывая на ее букет крупных

колокольчиков: «Где вы купили?», и заметалась по площадке перед метро, где обычно продавали цветы, смотря по сезону, — то ландыши, то белую ветреницу, то купавки. Видно, девушке очень нужны были цветы, и наша счастливица, догнав, протянула ей свой букет: «Возьмите!» Восхищенный этим жестом, он обнял подружку: «Давай, все отдадим!» Но ничего, кроме этих фиолетово-голубых колокольцев с зелеными пестиками-хоботками отдать они не имели.

24

Ей нравилось есть жареные пирожки на улице, пить газировку из автомата, она любила дешевое фруктовое мороженое. Ее тянуло в забегаловки, где стоя едят пельмени с уксусом. А на вокзале она жалостливо вглядывалась в лица мешочниц и морщинистых матерей, тащивших огромные авоськи и прикрикивающих на своих замурзанных отпрысков. Она подавала нищим, полупьяным калекам, проходящим по вагонам, и оправдывалась: «Это не ему, это мне нужно, и мне больше, чем ему». Слушала старух в очередях. Его злило такое ее любопытство, он называл это плебейством.

Как-то, вернувшись домой, она обнаружила на лестнице перед входом в квартиру мужчину, лежащего на полу, так что ноги свисали вниз со ступеней. Мужик загородил узкий проход и пришлось осторожно переступить через его руку. Кадык, весь в черных точках щетины, торчал кверху и дергался. Слава богу, живой!

Она вцепилась ногтями в «чертову кожу» спецовки и втянула его в кухню, боясь, что он свалится вниз с крутой лестницы. Протащила всего полметра и больше уже не могла сдвинуть с места тяжелое квелое тело. Она понимала, надо человеку помочь, но инстинктивно отскочила от его шарящих ладоней. Потом отперла дверь и принесла воду в миске, пачку ваты и стала обмывать ему ссадину на лбу, отбрасывая красные грязные тампоны. Он открыл глаза, поглядел снизу вверх на нее и закатил зрачки, ничего не соображая. Кислый запах, подергивание лохматой головы, сбившиеся кудри на висках — все в крови. Он попросил слюняво: «Дай попить!» Приподнялся и напился, заливая воду за ворот заношенной рубахи. После этого попытался встать, и она помогла ему, но, минуту постояв посередине кухни, повалился вперед и ударился о доски пола лицом, так что через мгновение плахи обагрила, затекая в щели, кровяная жижа. Нужно было скорей вызвать врача.

Она услышала, как застучали ножищи по деревянной лестнице. Двое низкорослых работяг в заскорузлых робах ворвались в кухню, тяжело дыша, и тут же стали поднимать лежащего своего товарища, оглядываясь на хозяйку: «Не надо скорую! Это выпили мы, зашибли его нечаянно». И загромыхали вниз, таща безвольного собрата так стремительно, что тот не успевал перебирать ногами и съезжал по ступенькам на ягодицах.

Когда вечером, рассказывая о происшествии, она проговорила о том, что побежала, было, за «скорой помощью», не заперев дверей, повелитель ее взъярился: «Вечно лезешь не в свое дело! Что тебе до него?» Она расстроилась от такой несправедливости, не догадавшись, что это ревность.

25

Однажды она упросила его пойти на танцы. Парк культуры и отдыха тянулся заасфальтированными дорожками вдоль реки, от которой не исходило прохлады. Пыльная зелень кустов шуршала жестяными листьями, по всей территории тошнотворно несло пивом. Отвратительный запах аммиака смешивался с табачным дымом.

Веранда для танцев стояла в болотце, на деревянном настиле, окруженная желтушным забором с коричневыми столбами. Уродливый бетонный трилистник кровли защищал ее от дождя, но и там пахло человеком, прокисшей сыростью и куревом. Сквозняк обдавал плечи, а истощенное сияние неприкрытых ламп резало глаза.

Оркестр состоял из краснолицых молодых людей, которые не знали в точности ни одной мелодии, так что любая пьеса выходила у них такой затянутой, такой унылой, что для придания ритма потный ударник принужден был без конца дергаться над своими инструментами, одновременно отбивая барабанный такт и срывая звуки с визгливых тарелок.

Плотная толпа танцующих на истертых досках площадки сначала удивила невыразительностью физиономий. От слишком яркого верхнего света зловещий серый оттенок лежал на лицах и делал черными глазные орбиты и углы ртов, а лбы и щеки отпугивающе блестели жирной белизной.

Тщедушные четырнадцати-пятнадцатилетние девочки с волосами, протравленными перекисью водорода до желтизны, и грубо обведенными карандашом глазами, были в танце почти угрюмы. Взгляд уставлен в пространство чуть выше плеча партнера. Их облик вызвал у нашей героини жалость: острые ороговевшие локти, куцые юбки, бледные ноги с синим отливом гусиной кожи и по-птичьи сухими подколленными углублениями. Сквозь майку едва угадывалась неразвитая грудь, лопатки и вертикаль позвоночника.

Несколько блондинок постарше — в белых водолазках и с распущенными волосами, эдакие феи, — демонстрировали выразительные выпуклости, мощный бюст, недержимый лифом, вывороченные губы. Щеки красавиц, лишенные плотской упругости, мотались по сторонам лица, чуть отставая в плясовом движении от остального тела.

Серые обветренные руки девушек с плоскими широкими ногтями, покрытыми ярким лаком, вжимались в предплечья кавалеров. Одна из танцорок красовалась в замше; полоска бахромы, едва прикрывая яго-

дицы, болталась, невольно привлекая взгляд к этому нервно переступающему с ноги на ногу хилому существу.

Прыщавые длинноволосые юнцы с неподвижными плечами, в брюках-клеш или джинсах, отделанных понизу полоской от металлической «молнии», отплясывали, не глядя на своих дам.

Некоторые пары танцевали, тесно сдвинувшись и сомкнув лбы. Их лица, разомлевшие от близости, выделялись в толпе румянцем, блеском глаз и размазанностью очертаний ртов, набухших нежностью.

Жутко было смотреть на эту толпу, колышашуюся в чудовищно искаженных банальных мелодиях.

«Страшная молодежь!» — говорила она по пути домой.

«Какое нам дело!» — отвечал раздосадованно ее строгий возлюбленный, не прощая ей впустую потраченного вечера, этого ее интереса к низменному.

«Я чувствую вину. Это мой народ!» — темпераментно возражала она ему со своим дурацким народническим пафосом.

«Это не народ, а население».

«Они несчастны».

«Нет, они все счастливы, но не по-нашему», — отрезал своей спорщице наш утроец.

26

Сам он разглядывал и сортировал лица в транспорте, выискивал колоритные типы — то старуху в глухом темном платье, с челюстями, по-брейгелевски окостенелыми, то в германском духе голову мужчины: крупный благородный нос и борода с пятном седины. Когда они увидели этого человека на улице, вдруг вместе в один голос вскрикнули: «Гольбейн!», пугая прохожих. И посещение танцплощадки, вид людей с печатью пропащей жизни на полупьяных лицах не прошли даром. Он задумал вырезать и запечатлеть это ощущение комка тел, но так, чтоб видение не было сатирическим. Он не хотел шаржа, той издевки в изображении страшноватых масок, какую знал в приемах немецкого экспрессионизма. Тут надо было, чтоб читалась трагедия.

Вернувшись в свою кукольную квартиру с коричневыми разводами на потолке и щелястыми полами, они снова и снова искали друг друга руками в темноте. И тогда, смешивая воспоминания с толкованием недавних событий, ощущая значительность внезапно выплывавших из памяти эпизодов своей судьбы, она говорила, что давно, заранее готова была к этому чердачному бытию, что всеми пристрастиями была предопределена такая романтическая жизнь. И чужие стихи расцветали в ней, это «таянье Андов». И он видел, как уходила ее фальшивость, привитая целой системой стандартной педагогики и советского искусства, и он дожидался глупого, почти неприличного, хмельного ее

лепета, несуразных и смешных слов и похвал его телу, когда, отвержая себя, она ступнями держала его, чтоб теснее прикинуться. И этот выдох радости — почти беззвучный, сильный поток воздуха, вытолкнутого из легких стенанием «Боже мой!»

27

Иногда она читала ему вслух, он не любил того, что она читала, но терпел. Мои герои оказались людьми в общем-то разных взглядов, хотя раньше он никогда не думал, что у нее могут быть стойкие представления о жизни. Она притащила «Иностранную литературу» с «Женщиной в песках» Кабо Абэ, и он слушал историю энтомолога, которого принудили жить в деревне, засыпаемой песком, используя как необходимую рабочую силу, и возмущался неправдоподобностью описанного. «Но ведь и мы так живем», — сказала вдруг премудрая его подруга. «Когда уроды не выпускали его из пустыни, он мог убить их!» «У-у-бить? — спросила она с расстановкой. — Да разве можно убить? Ты мог бы?»

Они были совершенно не похожи друг на друга — особенно в отношении к материальному миру. Он терпел жизнь, она жизнью наслаждалась, — даже бытом, даже стиркой.

Нашего художника раздражало ее усердие в организации уюта, когда она украшала дом черными пупырчатыми ветками лиственницы или, за неимением вазы, укладывала цветы в тарелку, опирая белые их головки на покатые края.

Он не замечал вкуса пищи, привыкший к режиму недоедания с детства. Она любила еду и относилась к каждому яблоку как к подарку природы. Сначала были у нее восклицания по поводу таких вещей, как трехслойный мармелад или мандарины, и выкрикивания вроде «В трюмо испаряется чашка какао!», но она стала сдерживаться, видя, как его раздражает изъятие радости по поводу жратвы.

Она превращала в церемонию и заваривание чая, и нарезку овощей для салата (все пичкала его витаминами), а он и не замечал, как торжественно она подает ему ломоть «бородинского», и не догадывался, что когда она разламывала пополам этот кусок хлеба с зернышками тмина на черной корке, совершалось некое священнодействие...

Он же не выносил запаха кухни, бульонного жирного пара, вида жареного мяса. Он сам не понимал себя, но ему не хотелось, чтобы создание, причастное его бытию, упивалось славой насыщения, было плотоядным, тогда как от одной мысли об убоине его самого мутило.

Он был дневным существом, а у нее к десяти вечера разгорался румянец на щеках, мотыльковое ее сознание вступало в фазу особенной восприимчивости, речь становилась четкой, и сообразительность удваивалась, так что задачи по физхимии, которые не давались днем, к ночи она могла щелкать, как орешки.

Как ее восхищало его тело, как умиляло всякое отличие от ее собственного облика! Она пряталась от внутреннего своего одиночества меж теплых и упругих его ног, точно в гнездо.

28

Днями, без него, она томилась. Поэтому, когда стала приходить ласковая большеглазая кошка, легче сделалось терпеть дневное время. Кошка почти ничего не ела и ничего не весила, но от избыточного пуха казалась большой. Сзади, на лапах ее, висели комья тончайших волосков — как штаны. Еще зимой, в страшные морозы у нее появились котят, и она, полуживая, длинная, с увеличенными сосцами залезала на кухонное оконце, выходившее на лестницу, и стучала в стекло.

Два родившихся у нее котенка долго жили на чердаке, к весне они подросли и, вылезая на крышу погреться, играли дрожащими ветками ясеня, внезапно выпрыгивая из слухового окошка и прижимая листья крошечными лапками. В один прекрасный день они слезли с чердака по деревянному столбу вниз и остались нахлебничать.

Узнали, кто отец котят, но узнали потом, когда они выросли — по точному повторению раскраски его в потомстве. В кошачьих детях сказалась генетическая формула: котик был весь в мать, очень пушистый, с волокнистыми боками, кошечка — гладкая, черная с белыми кончиками лап, задняя правая нога как бы в высоком белом носке. По расположению и форме этих пятен и вычислили потом родителя, огромного кота, свирепо навешавшего дом ради съестного и, как видно, совсем не чувствовавшего отеческой ответственности.

Ели котятка мало и хлеб в молоке охотней, чем колбасу. Когда же они выросли, а мать исчезла, ловили воробьев возле помойки. В холод прижимались друг к другу и сидели целыми днями на деревянной ступеньке.

Один из них, котик, всегда отнимал у сестры пищу. Стоило той поймать мышь, как он мгновенно хватал добычу и проглатывал почти целиком, но мышей было очень много, и кошечка успевала насытиться. Она была умна и вежлива и не бросалась на еду, а сначала благодарила мурлыканьем, терлась о ребро открытой двери, а потом скромно и изящно начинала есть, подлизав сначала капли с пола.

Однажды в пролом забора к ним во двор влез лохматый мужчина в голубом выгоревшем плаще. Передних зубов у него не было, и улыбался он необычайно располагающе. Представившись дрессировщиком с Мосфильма, он спросил, указывая на лохматого хищника, в которого успел превратиться чердачный котенок: «Чей?»

Оказалось, что он незадолго до этого выманил кота куском колбасы и тот рванул через улицу, не обращая внимания на мчащиеся машины. «Такой мне и нужен, чтоб света не боялся. У меня был котяра, так тот

за шмат колбасы прыгал на ходу в карету. Прыгал в ведро — так приучен был, но в фильме получалось — в карету. Хозяину, — сказал киношник, — будут платить сто рублей в месяц на время съемок». Помня, что на зарплату в девяносто восемь рублей живут они целый месяц, наша простофиля проговорила: «У него нет хозяина».

Таким образом будущее кота было устроено с инженерным окладом, и тот больше никогда не показывался на Кропоткинской.

Черная кошка продолжала приходить — и ластилась, если наш эстет, сняв башмак, гладил ее ступней. Ему нравилась эта кошачья кротость при независимом характере. Когда ее пытались оставить жить в доме, она становилась скучной, мяукала и просилась наружу либо убегала через форточку. Второй этаж не слишком был высок для нее.

29

Вечное безденежье не огорчало моих героев. Они почти не чувствовали его, так углублены были в свои переживания. На одежду не тратили ничего.

Он являлся на работу всегда в одном и том же коричневом пиджаке, и все настолько привыкли к его облику, что никто не замечал проплешин у карманов и заштопанных локтей. Этот пиджак из шерстяной рогожки она чинила так искусно, перекрещивая нити черной и коричневой штопки, так терпеливо, что он рад был бы носить его до скончания веков, только бы видеть по вечерам ее сосредоточенное личико под лампой, длинные ладони, разглаживающие материю, и темно-розовую дырочку от иглы на среднем пальце, когда она, забыв про наперсток, с нежностью латала разъезжавшуюся ткань.

Себе она шила из старья, собранного у родни. Очень любила придумывать наряды и хотя денег на платья не было, от фантазий, от мысленного конструирования деталей отделки, у нее все время было ощущение богатого гардероба. Она любила свои старые вещи и чувствовала себя в них моложе, как будто глядела на себя прошлую, когда те еще были новыми.

С удовольствием носила серое, перешитое из материнского зимнее пальто — толстый драп с чернобуркой. И над поредевшими прозрачными волосьями воротника так румяно было ее лицо в обрамлении пушистого шарфа. Он смотрел, смеясь, как по-королевски она выступает в своих старых сапожках, всегда вычищенных и умашенных касторкой. Она и его обувь каждый вечер, вынув стельки, сушила и один раз сожгла ботинки, поставив их в горячую духовку.

Свое единственное черное платье перешивала без конца, то украшая большим белым воротником, то делая вырез или облагородив длинными вертикальными полосами кружев, связанных когда-то ее провинциальной теткой на коклюшках. На лето она сшила льняную хла-

миду и украсила ее до подола вышивкой, отрезав край от украинского старинного полотенца, бабушкиного приданого. В холстине было всегда прохладно и после стирки, накрахмаленное, одеяние это как-то по-особенному свежо пахло и хранило, будто в светлом футляре, ее собственный сладковатый запах, собранный в ложбине на груди.

30

Несмотря на их нищету, мой герой все-таки покупал книги, обходя букинистические магазины по субботам один за другим — Арбат, Столешников, улица Горького... Приносил иностранные альбомы, с глянцевого страниц которых смотрели благообразные сосредоточенные люди в сложных головных уборах, с подробно прорисованными фестонами воротников.

Как-то однажды в «Метрополе» купил пачку листов Пикассо, очень дорогих, из серии «Коррида», где изображения быков были рассечены аналитическими линиями, как коровьи туши на таблице, висящей в магазине «Мясо» на Метростроевской.

Ее удивил рисунок Рембрандта «Монах». Там тощий человек, задрав полы сутаны, восседал между раздвинутых ног женщины, чье лицо едва виднелось под склоненными ветвями ивового дерева. Была и такая ксилография, называвшаяся, кажется, «Аристотель и женщина», на которой среди виноградных лоз изображен был ползущий на коленях толстяк, раболепно обращающий лицо к сидящей на нем верхом нарядной молодой матроне. А та — в широченном платье и с шишчатой накладкой на волосах — зажимала ему шею деревянным двузубцем. Впоследствии эта картинка воспроизводилась в ночных отношениях наших любовников. Во время шуточной борьбы его хитрюга, почти побежденная, спрашивала смиренным голоском: «Хочешь быть Аристотелем?», и, обессиленный смехом, опрокинувшись навзничь, он терпел ласковые издевательства своей наездницы.

Насладившись роскошным ужином после зарплаты, они потом до конца месяца ели только гречку. И она острела: «Мы в злчное место не пойдем, мы будем есть злчную кашу». Когда однажды он купил старинный альбом Дюрера в узорном переплете с вензелем, долго пришлось питаться одним хлебом с синеватым шестнадцатикопеечным молоком.

Целая серия гравюр с названиями по-немецки, которых они не понимали, представляла сцены из рыцарской жизни с неизменным присутствием в сюжете отвратительного старика, то стоящего с песочными часами над ложем влюбленных, то взгромоздившегося на плечи юного рыцаря, который, в свою очередь, сидел на коне, увешанном пластинами брони. Старца сопровождали изображения человеческих черепов. «Это смерть!» — сказал тихо мой коллекционер, и подруга замерла от ужаса.

Чтобы сделать цветную гравюру, он изготовил несколько строго одинаковых по размеру досок, вырезав на них разные детали общего рисунка. Каждую мазал краской определенного цвета и оттискивал по очереди, применяя красную, синюю и черную гуашь. Готовый рисунок особенно ярко и свежо выглядел, пока просыхала сажа, но такая техника отнимала очень много сил. Он пробовал раскрашивать черно-белые оттиски, но получалось грубо, изображенные предметы уплощались и выглядели раздавленными, даже цветы не удавались, приобретая базарный вид.

Она раньше него поняла бесплодность таких экспериментов, указав, что только лубок, в котором не нужны полутона, имеет смысл размалевывать.

Он увлекся изображением лилий. Дорогие благоуханные цветы, которые, не жалея получки, покупал он на Центральном рынке, в композициях соседствовали с грубыми атрибутами действительности: угрожающе черными огромными клещами, частями коленчатых чугунных труб, вспухших от ржавчины, и отвратительными ложками-скребками, гинекологическим инструментом (он купил его, было, для резьбы, но тот не пригодился). И она, боясь выпытывать, что за идея заключена в изображениях, вслух вспоминала, глядя на царственной формы шестилепестковые цветы: «Посмотрите на лилии полевые, они не трудятся, не прядут...»

На какое-то время он оставил технику ксилографии, которая, как он считал, связывала размах руки, и взялся за линогравюры, ковыряя и рассекая пластик заостренной велосипедной спицей. Он изобразил ближайшую церковь, Ильинскую, на набережной — с ее малой луковкой и невысокой колокольней. Оспенно грозное небо, серые дома с черными зевами окон, а возле самого храма — продолговатое тело барака, страшного, стены в крапинах и трещинах. Он так сильно выдавливал на поверхности линолеума линии горбатого тротуара и камней, вымостивших дорожку, что те вышли нарочито выпуклыми. Как будто, представлялось его вдохновенной подруге, одна земля и была прочной, неся на себе зыбкие массы зданий, а булыжники выдавались из плоскости, как лещадки на иконах.

Насмотревшись слепков в музее изящных искусств, он и сам рисовал античные головы и воинов в шлемах, и беспорядочно сваленное гладиаторское оружие, и отдельно — мужские руки, держащие щит или сведенные судорогой от ощущения рукоятки палаша в ладони.

Он отпечатал несколько групповых картинок в манере Мунка, потом гладильщиц, работающих за общим столом — углы плечей и локтей, большие чугунные утюги, которыми теперь уж и не пользуются, утрированная гибкость острых членов, затупленные концы решительных штрихов.

Но дольше всего бился он над изображением кентавра, существа, трагического в своей силе и неприкаянности. Мощным торсом тот прикинул к высокому телу женщины, наполовину ставшему древесным стволом, опоясав грубым охватом ее деревянные бедра. Эта композиция долго, мучительно не получалась. Кентавр, нарисованный в фас, воспринимался как козлоногий человек, лошадиное тело жило как-то отдельно от головы, поворот в пространстве не давал целостности фигуры. Рисунок вышел внезапно, точный в каждой детали. Поставив туловище человекоконя вполоборота, развернув в треть листа его надутую отчаянным вдохом грудь, художник наш добился наконец должного запечатления: кентавр упирался копытами задних ног в бугры дубовых корней, выпяченными губами тянулся к шее отпрянувшей и не способной убежать дриады, обнаруживая такой напор могучего жаждущего паха, что для вырезывания обильных мускулов этого мифологического существа не хватало возможностей ксилографии.

32

Она не понимала его пристрастия к античности, к этому миру, незнакомому понятию греха, как она думала, неразвитому в части таких чувств, как жалость и сострадание. Ее возлюбленному неведомо было это раздвоение, это противопоставление духовного и плотского. А она ела себя изнутри сомнениями и в самые сладостные минуты их близости чувствовала, что возмездие будет сурово.

В редкие свои наезды к родителям на их осуждающие слова и требования узаконить супружеские отношения, она говорила: «Мама, если люди друг друга любят, зачем ходить в милицию?» Но она совсем не была уверена в том, что он ее любит.

А он не понимал быстрой смены ее настроения, внезапных необъяснимых слез. Его тяга к этому единственному существу — ведь внутренне он признавался себе с тоской, что и к матери равнодушен, — включала радость оттого, что им так хорошо вместе, что они прекрасны и соразмерны, как говорилось в апулеевых «Метаморфозах», но мыслей о том, чтобы жертвовать ради нее чем-то, о сладости умаления ради другого человека, у него не бывало.

И она все это знала со слов и без слов — слабым умом, истерическим чутьем, и даже успокаивала своего избранника, чтобы не будить в нем душевного разлада: «Физическое единство — самое главное». Но как она хотела, чтоб он возражал, чтоб говорил именно те слова, которые она давно придумала за него! И чуть ли не плакала, когда он брал в горсти, взвешивая в ладонях, ее тяжелые гладкие волосы, за полгода отросшие ниже плечей, и не могла утешиться от его успокаивающих поглаживаний.

С беспокойством и почти раскаянием грешницы вспоминала она потом их неаскетические ночи, и впитывание поцелуев, соприкосновение языков

невидимыми чувствительными клетками плоти, и смех, и поддразнивание, и эта цитата из «Золотого осла»: «Приняла его без остатка».

33

Новоиспеченный наш график вошел в состояние непрекращавшейся фантазии. Его жизнь теперь в любую минуту служила измышлению гравюрных композиций. Он преображал в рисунок любой вычитанный сюжет и часто постороннее, не относящееся к нему самому событие, подсмотренная пошлая сцена таила многозначительные намеки, и он любовался низменным и усугублял банальность ситуации в воображении, мысленно выпячивая неявные, но способные стать выразительными детали. Все работало на него, и работало постоянно, как будто мир вздумал ему позировать и поворачивался, как натурщица во время перерыва, — без напряжения, держа жадно сигарету и расслабляя наспех прикрытые стареющие мышцы.

Когда он увидел внезапный ливень на пляже, полутолых людей, бегущих, прижимая к себе одежду, отчаянно лающих собак, женщину с распушенными волосами, тащившую нагих детей, укрывая их пляжной подстилкой, синкопы молний и градины на зернистом песке, подпрыгивающие среди камней берега, и потоки грязной воды — его осенило, как сделать «Казни египетские», и он представлял это себе, с неизбежным плагиатом из «Гибели Помпеи». Бегство людей и скота от разящего огня, ткани, рвущиеся из рук от ветра, лавины вскипающей воды и тонущие животные, поломанные деревья и спешка обезумевших, побиваемых гигантским градом баб, роняющих схваченную впопыхах драгоценную утварь, топчущих упавшего в лессовую грязь старика ...

34

За месяцы сидения в «ящике» он невольно запомнил лица институтских служащих, хотя фамилий их не знал, и почти ни с кем, кроме непосредственного начальства и сотрудников, находящихся с ним в одной комнате, и словом не обмолвился.

Он нередко опаздывал на службу, считая абсурдным то, что люди нервничали и просто бегом бежали в девять к дверям проходной, а потом в помещениях многочисленных лабораторий изнывали от скуки. У опоздавшего обычно отбирали служебное удостоверение. Охрана, не способная по малограмотности записывать фамилии, просто передавала пропуск провинившегося в отдел кадров, где и готовили приказ о наказании. За два опоздания человеку объявляли выговор, а коллектив терпел урон при дележе квартальной премии, когда учитывались результаты соревнований между подразделениями института. Однажды наш строптивец стал свидетелем составления социалистических обя-

зательств и подивился усердию, с каким трудились Паровиков и профорг, буквально из пальца высасывая казенные формулировки. Хотя никто всерьез этой ерунды не принимал, тех, из-за кого каждый мог потерять тридцатку премии, сослуживцы не жаловали.

Чаше всего нарушение моим героем дисциплины засекал утрюмый вохровец, который, едва стрелка на циферблате в проходной переваливала за девять часов пять минут, с каким-то садистическим восторгом, выхватывал у него из рук пропуск-удостоверение в коричневых с золотом «корочках».

С этим типом связан был такой эпизод. В буфет, куда от служебной тоски неодолимо влекло сотрудников, уже с двенадцати часов дня выстраивалась очередь. Не раздражаясь медлительностью буфетчицы, люди вполголоса разговаривали. Не раз комсомольские рейды вылавливали нарушителей институтского установления, которые тратили на еду гораздо больше, чем положенные полчаса обеденного перерыва. Однако, традиция такого общения не затухала. Однажды, когда наш герой уже подходил к стойке, вперед него протиснулся, поздоровавшись, ненавистный вохровец, точно рассчитывая, что тот по-приятельски займет ему очередь. Инженер наш понял вдруг, что для охранника все работники, вовремя проходящие через турникет, не кажутся знакомыми, и лишь он, вечно наказуемый, запомнился вохре как свой человек. После этого случая моему рафинэ пришло в голову, что друзей у него в институте так и не появилось.

Начались августовские дожди, и, так как ливневки на институтской улице не было, к «ящику» мешали пройти бурлящие потоки коричневой воды. Лишь некоторые молодые парни преодолевали стихийное препятствие, перелетая через дорогу в два прыжка и, как казалось, не замочив ног за счет невероятной скорости. Однажды затоплена была не только вся мостовая, но и часть тротуара. Женщины-лаборантки простодушно снимали босоножки, а степенно шествующие с пузатыми портфелями научные сотрудники шли напрямик, ступая в воду в обуви и не замедлив шага.

Наш инженер, несшийся на всех парусах в надежде перепрыгнуть пенящуюся уличную реку, увидел вдруг дамочку с жалобным лицом, не сразу узнав свою гонительницу из отдела кадров, у которой после очередного опоздания получал он назад свой служебный пропуск, что сопровождалось нотациями. Она же готовила приказы о дисциплинарных взысканиях. В доли секунды пережив злорадство и досаду на себя за низкое чувство, он подскочил к этой с бородавчатым лбом женщине и, взяв под ручку, повел ее по кромке тротуара, так что она заскребла каблуками по бордюрному камню, а он, ступая по икры в воде, вдруг подхватил ее, как примадонну в балетной сцене, понес и переставил на сухой островок асфальта.

Наступила осень. Целыми днями моросил дождь, северный ветер измочалил ветки ясеней. За ночь осыпалось столько листьев, что асфальт во дворе стал невиден. Потом листья опали совсем и только грозди семян, мелких весел, собранных в метелки, болтались на поникших деревьях.

Потолки в доме протекали и провисли от влажной тяжести. Приходилось подставлять тазы и миски под капель, и было слышно мелодичное позвякивание струек. Ночью двигали раскладушку от стены на середину комнаты, где еще было сухо. Мой герой придумал усовершенствование, сколько-то уменьшившее течь: на чердаке под видимыми дырами крыши поставил старые большие посудины. В них собиралась вода, потом она утекала по длинным резиновым шлангам, упертым в донья корыт и выведенным через чердачное окно на фасад. «Сообщающиеся сосуды!» — радовалась наша блаженная. Но дом все равно сильно промок.

Строительно-монтажное управление свернуло работы, двери и окна первого этажа забили листами жести. В доме не стало света, вырубили электричество. В Плотниковом переулке, в керосиновой лавке, которую они знали с детства, удалось купить очень белые толстые свечи из стеарина, дающие пахучее жирное пламя. Свечку укрепляли на блюде, пока не был найден на помойке, точно нарочно подбросил кто-то, большой фарфоровый подсвечник, изображающий скалу с кратером, куда и вставлялась свеча. По золоченому белоглиняному склону карабкались пасторальные дети, правда, не сохранившие некоторых рук и ног. Пастушка, по-видимому, убежала в гору от неистового кавалера, а он, подползая снизу, хватал ее за край обрызганной голубой глазурью юбочки.

Отопление было отключено еще с весны. Воду набирали, попрошайничая в соседних домах. Жить становилось труднее, и они философствовали, что эмансипация стала возможной только при появлении водопровода.

Как хорошо было по вечерам у печки, розово светящейся, теплой! В полутьме можно было долго разговаривать, и это располагало к доверию. Ему как-то пришлось в голову, что выхолащивание речи связано с введением электричества. Люди стали больше работать и не могли уже спокойно слушать изустные рассказы, с которыми раньше коротали время в сумерки. Приход телевизионной эпохи прикончил словесную стариковскую традицию. Теперь темы разговоров возбуждались программами телятника, словарь усреднился. Отчасти стандартизировалось и восприятие людей, ведь все слушали изо дня в день одинаковую речь. Когда у его царевны-лягушки возникла идея покупки телевизора, герой мой грубо воспротивился.

Как-то наша любопытная особа попала в нижний этаж назначенного на слом соседнего особняка, в недавно оставленную жильцами квар-

тиру. Увидела, что полы там вскрыты и все страшно разорено. Но женщина, к которой она повадилась ходить за водой, рассказала, что так было и при последних хозяевах жилья: те искали клад от дореволюционных времён, поднимая доски пола, года два ходили по следам, как только ноги себе в темноте не переломали. — «А нашли клад?» — «Конечно, нашли, но никому не сказали, а отдали в музей Пушкина, — пела ей соседка. — Получили по закону половину. А то на что бы они купили мебельный гарнитур? Купили, а потом вывезли на новую квартиру. Здесь во всех домах клады, у кого в камине, у кого на чердаке, но пока не найдены».

36

Она все время приставала к нему со своей любовью и в общем мешала работать. У нее появлялись свои завиральные идеи, которым он не придавал значения, но поневоле выслушивал. Рассматривая долгоногих красавцев на одной из картин в музее изящных искусств, она все дознавалась, почему тут три человека с одинаковыми лицами. «Художник всегда пишет самого себя», — пояснял он снисходительно. «Но почему они все похожи на тебя?»

В стекляшке напротив музея кормили супом «харчо», вермишелью и киселем. А посуду убирал со столов нестарый, в очках, человек. И по лицу, и по деликатности, с которой тот спросил, можно ли взять тарелки, они поняли, что человек этот здесь — белая ворона. «Отказник, — объяснил наш умник, кое-что уже понимавший в действительности. — Подал, небось, заявление на выезд и вылетел с работы».

В конторе ходил тогда слух о бывшем его однокурснике: мол, собрался на постоянное место жительства в Израиль. Такие события всегда вызывали много толков, но в их заведении подобные инциденты считались невозможными. Задолго до распределения специалистов, еще когда в училище у них формировали группы, определенной инстанцией были изучены все анкеты студентов. И его мать, — инстинктом чужая, что с испорченной биографией ее детище на всю жизнь останется прокляженным, не получит ни образования, ни нормальной работы, — недаром силы тратила на добывание справки о реабилитации мужа.

В МВТУ долго тасовали личные листки по учету кадров прежде, чем каждому выпускнику определить возможности судьбы: кто для какой степени секретности годен. Учитывали не только анкетные данные, но и информацию от осведомителей. Были такие в каждой группе обязательно, а набирали их не столько из истовых комсомольцев, сколько из тех студентов, которым грозило отчисление за неуспеваемость.

В последние годы среди специалистов, попадающих на закрытые предприятия, практически не было евреев. Тщательно просвечивали даже тех, у кого в анкете в графе «Национальность» значилось «рус-

ский». Личные дела анализировали, выявляя родню до третьего колена. В графе «члены семьи» перечислялись и деды, и бабки с обеих сторон, и уж тут никто не мог утаить компрометирующих имен и отчеств. Принадлежность к семитскому племени остроумцы называли инвалидностью пятой группы. Человек, которому государство доверяло свои тайны, не должен был иметь никаких таких родственников, даже гипотетической связи с границей. Кстати, моему правдолюбцу думалось иногда, что главные тайны — страшная бедность населения и беспорядок в промышленности. Но что он понимал, у него пока была лишь третья форма секретности. А те, кто имел нулевую, как говорили, точно крысы, трудились под землей.

Отделы института заполняла отборная публика, однако, проколы все-таки были. «Железный занавес» прошибала любовь. Так случилось — сотрудник наисекретнейшей лаборатории женился на еврейке, а та получила приглашение из Израиля. У начальства начались неприятности. Сам молодожен, несмотря на прогнозы сослуживцев, еще и не заикался о поездке за кордон, а уже нашли недочеты в его работе, понизили в должности. Портрет потенциального отступника тут же сняли с доски почета, так что на месте фотографии некоторое время оставался только приклеенный наскоро прямоугольник серого картона.

Зав. лаборатории получил крупный втык, а в «ящике» наблюдался взрыв антисемитизма. С проштрафившимся коллегой никто не разговаривал, многие перестали здороваться, и в курилке, где стояли ободранные, сбитые по четыре вместе «списанные» кресла, один только герой наш беседовал с ним о футболе и ободрял, прощаясь: «Ну, старик, будь!» Он с удивлением заметил, что кляли юдофила, поминая михалковское «А сало русское едят», не из идейных соображений, а из зависти, что, вот, они, люди первого сорта, за рубеж выехать не могут, а эти евреи заимели вдруг право под предлогом воссоединения семей отсюда свалить.

37

Моя стихотворица с новой порцией виршей (при их чтении подруги ободряли автора возгласами «Здорово!» и даже «Шедеврально!») опять обивала пороги редакций. Величественно, точно на ней были бархатные покровы, неся ватные плечи лицованного пальто, в шарфе, когда-то купленном в художественном салоне и порядком вылинявшем, она не осознавала, как жалко выглядит в своем тряпье. В то же время она не догадывалась поддерживать романтический образ поэтессы и однажды весьма разочаровала молодого фривольного сотрудника «Юности», явившись с авоськой, в которой бодро болтался батон ветчинорубленной колбасы (мать велела купить для передачи родственникам в провинцию). Снующие по редакционным покоям длинноволосые, похожие друг на друга литературные мальчишки в разноцветных водолаз-

ках, которых она про себя называла крысиками, порой пытались назначить ей свидание, но наша героиня обычно глупо махала руками: «Мне некогда. Я на двух работах».

Действительно, она нашла себе работу. В институте научно-технической информации — ВИНТИИ — пристроилась в редакции реферативного журнала «Химия» писать структурные формулы к предметному указателю. Ей давали насаженные на металлическую спицу стандартные карточки, и она, ловко расправляясь с замысловатыми названиями веществ, чертила связи и вырисовывала латинские буквы радикалов. Работала споро и быстро выполняла норму. А вечером, после ужина важно объявляла: «Пойду винтитийствовать».

Правда, в одном журнале у нее появилась как-то надежда на публикацию своих опусов. Квадратнощекий сотрудник отдела поэзии, поинтересовавшись сначала, что за украшение висит у нее на цепочке на шее (это был крестик), не отверг принесенных ею стихов и несколько дней она ходила, что называется, с улыбкой Джоконды на курносом лице. Дальше он как будто издевался над ней: возвращал тексты и срочно требовал принести еще, и снова возвращал все, что она приносила. Как-то сказал, что стихи уже «на собаке», как оказалось, перепечатаны на специальный бланк для подачи редколлегии. Тем не менее велел опять: «Давайте встретимся, добавьте новое».

У метро «Кропоткинская», получив подборку ее новых стихов, стал читать тут же, на бульварной скамейке, и на одном стихотворении вдруг остановился: «Это мне посвящено?» Она опешила, а его руки, не стесняясь, при всем честном народе, устремились ей за пазуху, и он со странной деловитостью, почти безэмоционально спрашивал: «У вас высокая грудь?» Она вскочила и, не взяв своих страничек, понеслась через дорогу вверх по переулку.

38

Вообще-то наш герой не расценивал самую попытку творчества своей подружки как нечто особенное. Казалось, стихи писали все. И у него в «яшике», и у нее в вузе было до невероятности много стихоплетов. Почти все они числились не вполне нормальными и только за одним-двумя утвердилась слава настоящих поэтов. Эти пользовались постоянным успехом у девушек, были желаннейшими участниками вечеринок и загородных туристических слетов, происходивших с обязательным сентиментальным пением под гитару у костра и крупной попойкой в итоге сборища.

Пишущие сочиняли не от скуки и в большинстве своем совсем не от несчастной любви. Мой философ считал, что выкормыши двадцатого съезда партии, так и не узнавшие по-настоящему текста хрущевского доклада на этом съезде, были запутаны перепадами в идеологии-

ческих установках и ждали от кого-то изречения некоей истины. Из-за душевной инерции, в силу которой в человеке долго сохраняются представления, сформировавшиеся в юности, молодые технари все надеялись найти нравственную опору в словесной культуре. В кругу заведомо лояльных государству отборных комсомольцев, в котором индивидуалист наш очутился по службе, самиздат, о существовании которого ему, конечно, стало известно, был недоступен, хотя и передавалась в «ящике» от одного младшего научного сотрудника к другому поэма Бродского «Шествие». Сами описываемые мною трушобные жители из подпольной литературы прочли только «Собачье сердце» да письмо Раскольникова Сталину, благодаря тому, что дальние знакомые в свое время попросили перепечатать это на машинке.

Восседа в кресле с высоченной спинкой и с отштампованным на жестянке инвентарным номером районного суда, которое выбросили при ремонте казенного дома, мой резонер поучал свою поэтессу, объясняя ей сущность духовных исканий пишущей братии, страдавшей стихом даже и без всякой надежды на публикацию: «Тут у человека один путь — делать все самому: взять не у кого, прочесть негде. Приходится все извлекать из себя, самому написать обо всем. А получается убожество». Обычная ее покорность, когда на каждое его высказывание она отвечала, кротко иронизируя: «Да, мой судия!», тут исчезала. «А Евтушенко, а Рождественский!» — защищалась она именами. «Тоже убогая писанина». И когда его стихотворица приходила, воодушевленная, после поэтических вечеров, наслушавшись своих кумиров, безжалостный критикан, с сарказмом выслушав ее восторги, пытался обличить романтическую подругу: «Тебе хочется в стадо, радоваться вместе со всеми. Ничего они не стоят, твои леньки королевы». «Но неужели правда и искренность ничего не стоят?» «На черта мне их простая советская искренность! Я сам по себе», — отмежевался он и читал, действительно, только «Письма темных людей», книжицу в розоватом коленкоре, купленную в «Книжной находке». Правду сказать, ее чердачный гений понимал, что такие филиппики можно отнести и к нему самому, пытающемуся вырезать на досках свои эпохальные бредни. Но его резкость не могла поколебать любви нашей героини к поэтам, в чьих стихах была нота исповедальности, искупающая примитивность текста.

«Ты пойми, — говорила она, поражая вдруг его своей мудростью, — после исповеди в церкви человек очищается, а мы становимся все грязней, все больше грехов на нас нарастает, и невозможно стать лучше, если прошлые проступки не прощены».

39

В течение нескольких месяцев изнывая от безделья, каждый день взглядом спрашивая Паровикова: »Когда же?«, молодой наш специа-

лист наконец получил задание. Работа была срочная, впрочем, в «ящике» было системой: полгода спячка, а потом гонка. Вычерчивая узлы механического устройства, сопрягая в расчетах стандартные детали и уплотнители, которые придется изготовить по спецзаказу, мой герой почувствовал себя частицей большого содружества людей, делающих одно грандиозное дело. Он очень устал, но был по-настоящему увлечен и только досадовал, что в институте запрещено оставаться после работы, что нельзя вынести ни одной бумажки из первого отдела. Все эскизы надлежало помещать в особую тетрадь с прошитыми суровой ниткой, пронумерованными страницами и сургучной блямбой-печатью на предпоследнем листе. Засекречено было все. Когда перед командировкой на подмосковный завод ему вручили бумажку-допуск, наш механик понял, что статус его вырос.

Во время этих трудов до него дошло вдруг, что толпы мужчин и женщин, спешащие по утрам в проходные по всей стране, отдают свою силу и сноровку не на постройку домов или другое какое-нибудь полезное деланье, необходимое их семьям, а на производство бомб, оружия и военных самолетов. И он представлял теперь, как стоят на дежурстве в глубоких своих обетонированных шахтах стратегические орудия, к производству которых имела отношение и его контора. И, не обманываясь относительно нашей военной мощи, якобы превосходящей силы противника, понимал, что и там, за океаном, и по всем пограничным территориям готовы к пуску несущие смерть, направленные в сторону СССР ракеты. «Тяга у них реактивная. Стоят вертикально, на бетонной платформе», — растолковывал он своей зануде. «На цыпочках?» — догадалась дурочка, услышав об амортизаторах.

Защита сработанного институтом проекта, к которому присоединили и его чертежи, происходила в небольшом, обшитом вагонкой зале, куда впускали строго по списку. На заседание технического совета явились представители заказчика, демонстрирующие уверенность в себе мордастые мужики в добротных костюмах, к которым и обращали лица докладчики. Наш инженер напряженно ждал, что и по его части зададут вопросы.

Вечером того дня, когда сдан был проект, подружка, вместе с ним пережившая нервотрепку спешки и ответственности, встретила возлюбленного простонародно накрытым столом. Разлила вино и начала было торжественно возглашать поздравление проектанту, но он вдруг так ударил по столу кулаком, что тарелки задребезжали на фанере, и страшно, со спазмами в голосе завопил: «Т-ты понимаешь, идиотка, что я сделал? Я сделал... т-такую штуку, чтобы д-давить людей! Рассчитали зоны непоражения, так там носа не просунешь, тотальная гибель всего живого! Дикари были человечнее и добрее нас, они били камнями, дубинами. А тут один снаряд сразу убивает и калечит сотни людей —

математически точный расчет. Не приходится и в глаза глядеть человеку, когда его убиваешь».

После защиты проекта та работа, которой он так жаждал, исполненная, стала вдруг ему ненавистной. Казалось, задачи были чисто техническими, далекими от человеческого мира. Термины скрывали цель этого задания, осуществленного десятками инженеров, а потом подписанного к исполнению тысячам рабочих на военных заводах.

По ночам, сквозь верещание глушилок мой конструктор слушал радио, тот самый зеленоглазый ламповый приемник, отцовское наследство, который отчасти объяснял происходящее. Но порой он улавливал в голосе «из-за бугра» ноту злорадства.

Он чувствовал, жизнь настолько искажена в главных своих целях, что на судьбу каждого человека легло проклятье планируемой бойни. Каждое новое открытие приспособляли на службу военной промышленности, и мой герой связывал свою депрессию и пьянство сослуживцев с тем, что все они работают на ведение неминуемой войны.

Особенно, как видел он, гибельная эта предопределенность давила мужчин. Результат работы не давал удовлетворения. Заповедь «Не убий», которая звучала в советском обществе только разве что в рассмотрении уголовных дел, непроизносимая, вдруг ожила в его замученной материалистическим учением душе, и он пытался уловить отражение хотя бы слабых импульсов подавленной совести в тревожных опустошенных лицах окружающих.

На него порой находило что-то: ему хотелось умереть. О страшном этом желании, которое побеждалось лишь в неистовстве поспешных совокуплений, он никому не говорил. И никто никогда не сказал этого вслух, но он читал то же в других: в донной тоске зрачков, надрывных пьяных жалобах, угрюмых скабрезностях, которые выкрикивали мужики «под мухой».

Он и сам, как видел, дошел до той кондиции, которую на его глазах один за другим приобретали мужчины в отделе и мастера цехов на заводе. Ему стало понятно, удивлявшее поначалу патологическое безразличие рабочих кадров к собственному телу, почти нарочитое нанесение вреда своему здоровью. Все, кто не ставил карьерных целей и просто отбывал одну треть жизни в этих огромных комнатах с крашенными масляной охрой стенами, терпели судьбу, в конце которой их ждала либо пенсия и труд на садовом участке, либо довольно мучительная кончина от профзаболевания.

Его вообще по размышлении поразило странное обстоятельство: в обыкновенной московской школе, которую он закончил, было немало умных и начитанных ребят, сколько-то по-настоящему одаренных личностей, в институте доля талантливых была гораздо меньше, а в «ящике», главном отраслевом институте страны, подобных особей были еди-

ницы и, как правило, самые способные отличались цинизмом и своеобразной бесчеловечностью по отношению к подчиненным.

Таким образом, люди, которых он наблюдал на работе, делились на две категории: те, которые не жалели себя, и те, которые не щадили никого, и себя в том числе. И, независимо от того, был ли работник на престижной должности или высиживал в мэнэсах до лысины, даже самые бодрячки, пропагандировавшие бег трусцой по утрам, поражали его выражением усталости на физиономиях, когда на все, что происходило, была одинаковая реакция: «До лампочки!» Один из внешне преуспевающих старших научных сотрудников, когда довелось вместе работать в ночную смену и спирт весьма располагал к откровенности, признался: «Все надоело, и жена надоела, и ребенок надоел». Каждый был как будто самим собой обречен, но наш разумник видел, что вырождение больше сказывается в представителях сильного пола.

В определенном смысле советская женщина была гораздо счастливее. Страхнув с себя воспоминание служебных забот, она могла реализоваться в домашнем хозяйстве, у нее имелись плоды труда: каждодневный обед, для которого надо было порядком побегать по магазинам, но который благодарно съедала семья за общей трапезой, и горы заштопанных детских колготок, и домашнее консервирование, когда, бывало, закручивали десятки стеклянных банок, — все это являлось не просто латаньем дыр семейного бюджета, но служеньем с положительным результатом. Психотерапия, отвлечение от античеловеческих задач, на которые ежедневно направлена была работа. «Настираю, наглажу белья — и так хорошо!» — подслушал он как-то разговор сослуживиц из своего угла. Но он понимал, что тысячи отцов и матерей не могли похвалиться перед потомством своими деяниями, хотя и считалось, что все работают на оборону, и детишки уверены были, что папа кого-то защищает.

И (сначала нашего думателя это поражало, а потом и он заразился подозрительностью) этим людям мерещилось, что все телефоны прослушиваются и что за каждым безгласно следит и знает все обо всех тот самый Комитет Государственной Бодрости, истинное название которого опасались произносить вслух.

40

Порой институт сотрясали катаклизмы вроде невыплаты премии, когда дебатировали в курилке, «будет или не будет и почему не будет».

На далеких полигонах, куда изредка ездил кто-то из начальства, применялись их создания — продукты и устройства, — но обычно они узнавали о запуске ракеты или каком-нибудь научном космическом испытании из газет, и некоторые женщины-техники во всю жизнь не осознавали, что их организация тоже приложила руки к полету спутника или межпланетного корабля.

Когда же случалось встречать бывших однокашников, те спрашивали: прогрессивка, сколько процентов? Один раз кто-то посочувствовал: «Ваша дура грохнулась, небось, теперь тринадцатой зарплаты не видать», — о ракете, которая взорвалась на старте. На это следовал ответ: «Это двигатель, нас не касается». Каждый «ящик», как знал мой герой, разрабатывал что-то отдельное для всепоглощающего военного производства: корпуса боеголовок, или топливо, или электронику, или двигатели, или бериллиевые сплавы (персонал там ходил в белых тапочках, получал бесплатный обед на девяносто копеек, а до пенсии почти никто не доживал). Но режим молчания соблюдался так строго, что сотрудники не знали, чем занимаются в соседнем отделе.

Иногда он говорил себе вслух: «Я не хочу этого делать». Но не более того. Положено было отработать по распределению три года после института в возмещение государственных затрат на учебу. И ни разу не пришло в голову, что можно уволиться.

Теперь ему стал отвратителен даже вид здания, в которое он ежедневно входил: глухо оштукатуренное, с толстенными каменными перегородками, где всегда было холодно, точно эти оголенные стены ненасытимо высасывали из людей жизнь до последней калории. На сквозные чугунные решетки непреодолимого забора изнутри были прибиты листы жести. Озирая громады бетонных корпусов, он почему-то представлял те впадины и пустоты, которые остались в земле, откуда извлекли известняк и глину, чтобы построить эти утрюмые искусственные горы.

Однажды между влюбленными случилась размолвка. Наивная героиня причитала, поддавшись, как видно, пафосу институтской политинформации: «Какой ужас! Американцы бомбят Северный Вьетнам!» И была поражена реакцией: «Хватит пропаганды!» — «Но там убивают детей!» — с упорством праведницы закричала она. «Что, не понимаешь, мир поделен! Все страны вдоль наших границ держим насильно. Ты одних детей пожалела, но есть другие дети, в Южном Вьетнаме, и американцы по договору должны тех защищать, как мы защищаем этих».

После публикации в «Известиях» статьи о Филби, работавшем на советскую разведку (газету подсунул ей отец), она удивлена была резкостью своего друга в отношении англичанина: «Как можно предать свою страну!» Он не принимал ее соображений, что тот, мол, действовал по идейным убеждениям.

В новой серии его ксилографий формы страшно упростились. Он все изображал мадонну с младенцем как два существа, похожие на песочные часы. С яйцеобразной головой безволосая богоматерь и на левой стороне ее плоской груди — другие, маленькие песочные часы, глазастые сферы, соединенные узким перешейком. Только из верхней в нижнюю не песок сыпался, а капала кровь.

Безалаберная героиня моя искренне радовалась тому, что она — женщина, напрочь опровергая научные представления о тайной зависти слабого пола к сильному. Она считала, что все служит выражению любви: и домашние обязанности, и бытовые действия. Когда она обметывала истертые края манжет на рубашке своего возлюбленного и представляла его запястья с синими разветвлениями вен, то будто свершался некий обряд, и она чувствовала каждый стежок как свое секундное прикосновение к его руке там, во враждебном пространстве, куда он уходил по утрам.

Она прекраснодушно мечтала, как будет работать, чтобы он, как она считала, великий мастер, не мучился на службе. И приговаривала: «Я могу шитьем прокормить обоих. А ты будешь художник». Но и на такое ее мурлыканье реакцией был взрыв раздражения: «Осчастливила! Художники живут лет на десять меньше нормальных людей. Бедные ли, богатые, — раз и скопытился. Эмоции дорого стоят. Ты подойди статистически: и до полувека не доживают. Репин потому дотянул до восьмидесяти лет, что в Финляндии скрылся, а то бы она и его сожрала, Россия, как Васильева, и Левитана, и Крамского. При этом у него, заметь, отказала правая рука — так вот продлил жизнь на тридцать лет. Это хроническое, это не связано ни с революцией, ни с войной, это национальная хворь».

Она требовала, чтоб они менялись одеждой, и ей в его вытертой до прозрачности шерстяной фуфайке было теплее, чем в собственном толстом свитере, который она напяливала на своего возлюбленного. Так преодолевались материалистические законы природы, и вещи, ей верилось, источали сверхестественную теплоту. Словосочетание «эманация радия», которое она узнала из лекций, она переделала в понятие «эманация любви», когда уверяла, что только в его обноскиах ей тепло. И, узкоплечая, носила эти тряпки, туго засупонивая полы его выцветшей ковбойки.

Однажды они рассматривали старинные вещи в комиссионном на Арбате, и ему понравился деревянный Будда, полулежащий с выражением высшего довольства и стоивший недорого, пятьдесят рублей, из-за трещин в основании сандалового ложа. Она решила подарить ему эту фигуру и проговорила, утопически пообещав: «Когда я получу гонорар». Но гонорара в обозримое время не предвиделось, и в подарок ему ко дню рождения она купила за два рубля темную керамическую кружку с выпуклыми кляксами орнамента. И когда в первый раз налили в нее кипятку, кружка запела, потому что медленно стала растрескиваться полива на внутренних стенках. Уцелел от перегрева только верхний край, перламутрово-серый ободок, там, где должны были губы драгоценного ее ворчуна касаться чаши. И в эти секунды неожидан-

ной музыки она подумала внезапно, что ничего ей не надо, только бы не отняли того, что есть.

Он не умел принимать подарки, всякое проявление внимания к его особе корбило и даже устрашало. Первым побуждением при этом было отвергнуть и убежать, только бы не раскиснуть от благодарности и не выйти из состояния отдельности.

42

Старое здание института с высокими колоннами в вестибюле и новый многоэтажный корпус соединялись остекленным переходом-коридором, расположенным в уровне четвертого этажа. Там назначали встречи и вели треп о перспективах перемещения в должностях. Однажды какой-то изнывающий от бездеятельности инженер, простояв у прозрачной стены полчаса, разглядел у дальнего забора, по верху которого шла, как водится, колючая проволока, два странных одинаковых предмета. Кто-то из ребят поглазастей определил, что это человеческие ноги, зацепившиеся носками сапог за край ограды. Сообщили в охрану, и затем обнаружилось, что несчастный висит вниз головой, втиснутый в щель между гаражом и кирпичной кладкой. Внутренний двор со складскими помещениями, где нашли мертвеца, не просматривался из соседних домов, так что неизвестно было, сколько времени находился здесь, среди невывезенного железного лома, труп молодого солдата. Тело так закоченело, что вытащить его не смогли, и ржавые стенки гаража резали ацетиленовой горелкой.

Это событие, никем не прокомментированное, скоро забылось, но для героя моего оно не прошло даром. Подруга с недоумением рассматривала эскизы, которые десятками возникали и твердо запечатлевались на больших листах мелованной бумаги: люди, стоящие вниз головой, с огромными остановившимися зрачками, были зажаты гигантскими просвечивающими кубами и сами такие прозрачные, что у них прорисовывались внутри сердце и печень, а сквозь тела читались очертания автомобилей. Рядом стояли безликие металлические роботы с палками-паяльниками в руках, тянулись, извиваясь, черные кабели. А там, где электрический щуп касался силуэта прозрачной жертвы, вырывалось пламя, которое наш художник на оттисках потом вручную раскрашивал сангиной.

43

Что-то изменилось в моем герое. Когда пришло время переаттестации и сотрудники писали сами на себя характеристики от имени начальства, он не ерепенился, но не стал пользоваться стандартными фразами, которые все списывали друг у друга («политически грамотен,

морально устойчив, скромен в быту»), а автоматически приписал после названия должности «стаж работы — 1 год». Вообще-то он присмирел, и на работе решили, что он сломался: «Укатали сивку крутые горки». Но он не покорился, он просто пытался всех понять.

То, над чем сослуживцы смеялись, по-прежнему не было для него смешным. Больше всего потешались над тем, что вытворяли в пьяном виде. Рассказывали бравые истории, где нетрезвый человек обычно выступал смельчаком, а начальство выглядело по-идиотски. Вершиной удалства, о чем говорили шепотом, утробно похохатывая, был случай с одним старшим инженером, который гнался, теряя полуботинки, за машиной директора и грозил: «Я вас всех выведу на чистую воду!», после чего и был мгновенно уволен по соответствующей статье.

Его поражало, что человек, которого он безусловно уважал, серьезный конструктор, повествуя о разных случаях из своей жизни, неизменно переходил к воспоминаниям о том, как хорошо выпивал он с тем или другим и какой был антураж. Очевидно, только алкоголь давал этим людям чувство успокоения, а кураж, который появлялся в подпитии, снимал ощущение несвободы, давящее каждую минуту — на работе, в метро, в собственном доме.

Ему жаль было этих людей, но он не мог с ними слиться. Его раздражало, когда сухопарая сорокалетняя женщина подпрыгивала, в восторге от колбасы в первомайском заказе: «Вкусненькая, копчененькая!», когда завхоз лаборатории, плечистая бабища с нагло-сентиментальным лицом, стенала, получив бюллетень по болезни: «Не хочется дома сидеть, в коллективе жизнь проходит быстрее!». Он испытывал сострадание к их ограниченности, ему было как будто стыдно, точно он был тоже виноват в том, что они нечутки и пошлы. Но само слово «сострадание» было незнакомо массе молодых и здоровых мужчин и женщин, не только оттого, что они твердили избитую истину «Жалость унижает», но и от какой-то брезгливости и раздражения чужим несчастьем.

У одной из сотрудниц без конца хворал годовалый ребенок, и, когда она после десятидневного отсутствия, отдав недолеченное свое дитя в ясли, приходила на службу, толстуха-профорг говорила гудким неприязненным голосом: «Господи! Опять болел!» Когда принятая на работу по распределению девушка-инженер как-то быстро оказалась матерью-одиночкой («не доглядели, что она с пузом») и попала в клинику вместе с грудничком, бабы злорадно высказывались: «Говорили, зачем тебе этот ребенок!», — хотя и собирали рубли на фрукты и посылали страх-делегатку в больницу. Ему вдруг стало безразличным чужое горе, но помочь он никому ничем не умел. Только спрашивал безмужнюю эту мамашу: «Ну, как наследник? Ты не стесняйся, если что...»

Перед праздниками полагался укороченный рабочий день, но уже с утра никто не работал, а готовили общий стол. Отмечали Первое мая

и Новый год. Перед днем Советской армии сотрудницы суетились и готовили мужикам-сослуживцам подарки, всем одинаковые: авторучки или коньяк, каждому по забавной маленькой бутылочке-шкалику. Потом женщины ждали Восьмого марта, когда получали от коллег мужеского пола по открытке и веточке сухой мимозы.

Его ставило в тупик то, что все эти люди очень мало жили проблемами своей службы. Несколько одержимых научными идеями диссертантов были не в счет, хотя их разработками и держались отделы. На его обличительные тирады он услышал дома ответ-цитату из наблюдений западных психологов: «Двадцать процентов работников делают восемьдесят процентов работы».

Парадоксально, но даже при полном безделье большей половины персонала на его предприятии производство вертелось во всю, и наш доморощенный мыслитель знал о немерянном множестве оружия разных видов, сходящего каждую минуту с конвейеров необъятной державы. Продукция эта не имела названий и именовалась и в документации, и в рабочих разговорах «изделие номер такой-то» и «изделие номер этакой-то».

Сотрудники-мужчины не очень-то старались для семьи. Матери-служащие, напротив, все время промышляли в поисках еды и часами висели на телефоне, помогая своим чадам делать уроки. Рыскали по книжным магазинам, покупая детям классику, нередко вынужденные в нагрузку, к «Войне и миру», например, приобретать какие-нибудь «Решения съезда — в жизнь!».

Замужние дамы, как правило, заботились о своих половинах и стояли в очередях за импортными рубашками и кепками. Одежду покупали часто без примерки, а мужи богатырских статей иногда за всю жизнь практически не имели пиджака, обходясь доморощенными свитерами «под Хэма».

О супругах было принято говорить в грубоватой манере. Правда, были исключения. Паровиков, ворочавший проблемами автономных блоков, склонный к матершине и не спускавший провинностей подчиненным, женился на красуле-инженере из соседнего отдела. Взял молодую, и она, испытывая гордость оттого, что такого отхватила мужика, не могла скрывать нежности. «Котеночек, — говорила она ему по местному телефону, — пойдем обедать!». Прозвище пристало. И даже директор орал однажды по селекторной связи: «Если Котеночек опять саботирует с документацией, я его уволю».

Когда желчный наш мыслитель слышал из-за выгородки похвалы лаборантки: «Повезло, купила суповой набор!», у него сердце ныло от жалости, но его и коробило оттого, что можно так радоваться килограмму говяжьих костей. Он невольно задумывался, чем живут эти люди? Но когда в своем скворечнике пытался заговорить об этом, услышал:

«Почему ты отвечаешь за весь народ?» — «Потому что я понял, что творится, а никто не понимает» — «Я понимаю», — важно заявляла его эмансипэ. — «Ты — не народ». — «Я — народ».

Раньше он был безучастен, даже если к нему обращались, теперь он прислушивался к разговорам товарищей по работе и мысленно пытался влезть в ситуацию каждого.

44

Раздумывая над чужими жизненными историями, которые одна за другой прояснялись для него, он догадывался теперь: то, что способны люди проявить в любви — жертвенность, великодушие, творческое воодушевление — не зависит от внешних обстоятельств и даже от достоинств объекта привязанности, а лишь от самой способности человека любить. И тот отбор, какому подверг подданных «отец народов», был такой, что извели не только самых умных и даровитых, но и тех, кто способен был к подлинной любви. Эти или не дали потомства, или были изолированы от семьи, так что их детям не удалось перенять образ любящих супругов и родителей.

Он чувствовал по себе, в рефлекторных реакциях у него отсутствует нечто необходимое, и начал страдать от того, что не был достаточно выучен внешним проявлениям чувств.

Он даже не сказал «спасибо», когда она купила в Мосторге шапку из крашеного нещипаного кролика. Его полысевшая старая ушанка глухо сидела на большой голове, козырек вздрагивал от каждого шага, и появление новой, пушистой, должно было его обрадовать. Но дарительница встречала лишь протест всем ее заботам, а этот его приказ «Думай только о себе!» обижал и грозил ей вечным одиночеством.

Он никогда не говорил о любви и не верил, что его действительно можно любить. Ее возгласы радости при встрече всегда приводили его в смущение. Он кривил лицо, потому что оно стремилось отозваться ответным сиянием, так что кожа губ и щек, обычно недвижимая, растягивалась в улыбке-grimасе. Он не мог понять этой ее тяги к нему и апологий его телу, как не мог вынести ласкового прикосновения, доводящего его до слез. Поэтому он часто не разрешал к себе притрагиваться, тем страшно обижая ее. И к ее стихам, к бормотанью и густо исписанным бумажным лоскутам он относился с иронией, в лучшие минуты снисходительно шутил: «Ну и писуча!», точно это была безобидная придурь. И часто она думала, если бы он стихи эти читал, то больше бы верил в ее любовь. Ведь он много понимал в идеальных чувствах. Показывал ей японскую гравюру, где юноша держит флейту у губ, выдыхая воздух, а девушка тоненькими пальцами закрывает по очереди чуткие отверстия. И вся мелодия этой сцены, единство двух существ, вызывали зависть у бедной нашей влюбленной.

У нее не было терпения ждать любви, она ее невольно требовала, но только отталкивала этим от себя. Ей хотелось приручить то одинокое недоверчивое существо, каким был ее избранник, но она хотела, чтоб он говорил, как он ее любит. Случалось, он с ней не здоровался по утрам, и она думала, что вызывает отвращение, такая низменная и утром некрасивая. Не могла догадаться, что у него спазм дыхания от радости ее видеть, от неостывшей памяти ночи. Внезапная, до оцепенения, застенчивость не давала ему говорить и даже смотреть на нее, и он отводил взгляд. А ей мерещилось, отворачивается, не любит, не хочет смотреть.

Как естественно и полно было их ночное телесное единство и как трудна была словесная связь! Однажды он даже попытался объяснить ей это, рассказав что-то вроде притчи: собака и кошка никогда не понимают друг друга, потому что, если собака приветливо машет хвостом, кошка принимает это за признак гнева, ведь у кошек именно так, подрагиванием хвоста, проявляется озлобление. Но дурочка, выслушав его, поняла далеко не все.

Он останавливал ее чрезмерно бурные проявления чувств, прикрикнув «Без эмоций!», и осаживал ее рвение, когда во время его вечных простуд она слишком уж входила в роль сиделки при больном и допекала медицинским уходом. Бывало, ему надоедали ее бесконечные поцелуи под предлогом определения, есть ли температура. В таком случае он отмахивался, иронизируя: «Не устраивай «Новой Элоизы!», имея в виду того персонажа Руссо, который жаждал заразиться оспой из солидарности со своей пассивностью».

Днем возникала у нее фальшивость в голосе — от неуверенности в себе, но ее манера держать себя была окрашена ненавистным ему актерством, когда она не говорила того простого и искреннего, что чувствовала, а капризничала и вела себя склочно, в основном выговаривая ему, что он ее не любит, и доказывала эти свои подозрения, так что один раз он даже сказал в сердцах: «Ты убедила меня, что я не люблю». Да, убеждала она талантливо, дар слова у нее был, что ни говори. Ей и днем хотелось мгновенного преображения, той душевной внутренней слаженности, какая воплощена была в их ночных соединениях.

Порою она раздражалась гневным монологом, больно укоряя его. Ей хотелось вывести его из себя, чтоб любой ценой нарушить являемое им равнодушие. Она мстила за мгновения безучастности. Ей как будто каждую минуту потребна была атмосфера страсти и даже противоборства. Те чудовищные обвинения, которые она выпаливала во время таких сцен, доводили его до отчаянья, и только позднее, по его измученному виду она понимала, что в приступе негодования сделала нечто недопустимое, и раскаивалась. Тоска — до боли в груди, до стенаний — охва-

тывала наших комплексантов. И таких ее проступков накапливалось все больше, она хотела просить прощения у своего страдальца, но точно запечатывали сургучом рот. Не могла преодолеть своей идиотской горделивости. И он оказывался загнанным в круг угроз и непониманья: и на работе, и с ней.

Тяга к боренью, воплощенная в поведении его мучительницы, была ненавистна ему, человеку, знавшему эту культивируемую идеальную любовь из отечественных кинокартин: какой-то садо-мазохизм, обязательное демонстративное женское самопожертвование и всегда борьба любящих — с врагами, с обстоятельствами или между собой. Конфликт как главное содержание жизни.

Из-за психологических обострений он чувствовал в эту зиму себя особенно одиноким, но вот в чем она была неправа: ей мнилось, любил, а теперь охладел, а на самом деле раньше он ее не любил, а теперь любил сильно. Он долго ждал ее, не зная о ней, хотя в школе они учились в параллельных классах, и выбрал для себя ее, голубоокою, потому что она чем-то похожа была на его мать: волнистыми волосами и глазами навывкате, и выражением мировой грусти, симптомом увеличенной щитовидной железы, и этими ласковыми низами речи, тем родным до трепета тембром голоса. Голосом, который называл его по имени и не стеснялся произносить слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами... Этот ее причитающий говор почти на грани слез...

В минуты сосредоточенности, по дороге на работу, например, когда он брел по обледеленному тротуару вдоль перил моста, украшенных аляповатыми снопами чугунного литья, он видел вдруг внутренним беспощадным зрением, что в любви, как будто отдавая друг друга самым сокровенным, они оба делали лучше, чем были прежде. Если раньше, случалось в тягостной досаде, он думал, не нужна она ему, одному было бы проще, и цитировал вычитанную сентенцию, дескать, художник не должен приносить себя в жертву одному человеку, а только человечеству, то сейчас он уже без сомнения знал, что нельзя ее оставить, и твердил себе: «Надо нести свой крест». Но бывало и так, что там, на дороге, он вдруг смеялся сам с собой, вспоминая, какой у нее комичный вид в самодельном, из суконных обрезков, берете, который налезает ей на глаза при ходьбе: «Как малыш у Брейгеля на первом плане!»

Было ведь что-то загадочное в этом создании. Тело ее, как будто предназначенное служить ему каждую минуту, в жаркие июльские ночи было прохладным, а когда он, замерзший, приходил зимой с мороза, она отогревала его огненной волной прикосновения, так что ответный порыв его сердца заполнял теплотой все кровеносные сосуды, и он чувствовал толканье своей крови везде — от кончиков нижних пальцев до чувствительного темени.

За последние месяцы он заметно утишился, перестал злиться на Паровикова, и «шеф», только что перенесший операцию по удалению почечных камней, как будто тоже помягчал.

В «ящик» пришла разнарядка послать несколько человек в Университет марксизма-ленинизма. Наш герой, понимая, что стоит в списке номером один, довольно успешно прятался от глаз комсорга и, чтоб освободиться от обязательного для молодых специалистов промывания мозгов, записался на курсы повышения квалификации по технике безопасности. Но и там он с трудом высидел только одну лекцию и, зарекавшись посещать эти сходки, дал стрекача: лектор, например, рекомендовал улучшать условия труда тем, чтоб в горячих цехах вешивать на стенах зимние пейзажи.

Однако, на работе стали замечать в нем и агрессию. Так, рассказывали в курилке анекдот о беременной: «Это женщина, которая не понимает шуток, с ней пошутили, а она надулась». Он выскочил с белыми глазами, как потом смеялись мужики, и его тошнило от пошлости.

Как-то две девушки, младшие научные сотрудники, болтали, не обращая на него внимания. Одна девица описывала другой встреченную в очереди в магазине старуху с изумрудным перстнем и добавила с нотой классовой ненависти в голосе: «Зачем он ей? Так и хотелось ее пришибить». Наш неврастеник мгновенно предстал перед барышнями, выбежав из-за чертежной доски, и заорал: «Как это — пришибить?» Они на миг замолкли и вдруг, несмотря на его разъяренный вид, дружно захохотали. А когда он пополз назад в свой закут, понимающе переглянулись, и одна долго крутила пальцем у виска, оценивая его выскочку.

Не стерпев в другой раз рассуждений коллег о том, что США начнут-таки против нас войну, строптивец мой резко отреагировал: «Да на что мы им нужны! Это все предлоги чтоб кормить вояк и держать народ в черном теле, дескать, все — на оборону». Сам он произносил «Соединенные Штаты», никак не мог согласиться со звучанием «сэ-шэ-а». Высказался, а потом ругал себя: «Дурак, дурак!»

У него начался психоз с симптомами, которые наблюдаются обычно у работников через год-два от начала трудовой деятельности на закрытом предприятии: он стал бояться, что потеряет пропуск. Страх принимал его постыдной дрожью в проходной, когда он шарил по карманам в поисках проклятой картонки, удостоверявшей его личность. Страх будил его ночью, усугубившись после того, как замордовали выговорами одну нерадивую сотрудницу за такой проступок. «Ведь так можно в дурдом загнать!» — осознавал он происходящее.

Он сходил с ума в этом загоне для людей, понимая, что собрали их здесь для того, чтобы под надзором они не успевали думать о себе. Он

невольно, почти вслух говорил себе самому: «Сколько же еще придется жить! Ведь нельзя лечь к стенке и умереть!»

46

В родительском доме по-мещански волновались за репутацию своей дщери. Когда она приходила в отчужденную пятиэтажку, отец смотрел на нее с грустью, а мать звала единственное свое дитя не иначе как «юродивая».

Никто не сказал толком моей дурочке ни о планировании семьи, ни о противозачаточных мерах. Она полагалась во всем только на своего избранника, совершенно снимая с себя ответственность за происходящее. Когда же задумалась о том, что будет, если... было уже поздно.

В районной женской консультации немолодая врач-гинеколог после определенных манипуляций сказала довольно равнодушно: «Есть подозрение на беременность. У вас ранняя явка, приходите через две недели».

В простушке сразу поубавилось инфантильности. «Что же делать?» — спрашивала она себя, вдруг осознав временность их безмятежного существования. И удивлялась, что так долго суровый возлюбленный не покидает ее, тогда как он полушутливо клялся ей: «До могилы!»

Она понимала, что для выживания в этом мире недостаточно просто любить друг друга, что одна моногамия не может уберечь их навсегда. Совсем недавно он сам с раздражением говорил о своих сослуживцах, одна за другой уходящих в декретный отпуск, что они размножаются с упорством трески, добавив в сердцах: «Преступление иметь детей в наше время!» Теперь, когда она с надеждой произносила: «Может быть, это еще ошибка», то встречала вдруг такой напор чувств, которого и ждать не могла: «Нет, я уже чувствую себя отцом. Если сейчас нет, то и никогда не будет». На ее речи о том, что если их ребенок окажется похож на своих родителей, то обречен на одиночество, он вне всякой логики твердил, бережно обнимая укутанные в шерстяные рейтузы ее бедра: «Но ведь я нашел тебя!».

В тягучие ночи она не могла спать, мучимая сомнениями, растравляя воображение картинami будущего, теми самыми прогнозами, которые раньше слышала от него, не придавая им значения. Ей представлялась, точно в черно-белых кадрах документального кино, оскверненная природа, обшарпанные древесные стволы без ветвей, белые горы полиэтиленового мусора и в речных руслах потоки зеленоватой воды с кислотными испарениями — это уже проворачивались в мозгу виды с натуры, задворки химических заводов, когда по институтской программе ее возили на экскурсию. Она так живо воспроизводила в фантазиях детали, что ей разъедало до кашля трахеи.

И когда видела в метро на «Киевской» и «Арбатской» металлические задранные двери бомбоубежища, все это ужасом откликалось в

ней и имело какое-то отношение к судьбе будущего ребенка.

Несколько раз она испытала во сне потрясение: привиделись красно-черное небо и руины домов, и она понимала, что это война, а спасением было пересечь взрытое бомбежкой поле. Но она как будто не знала, в какую сторону ползти, не ориентировалась, потому что потеряла очки и, почти ослепшая, натыкалась кулаками и коленками на горячие камни-гольцы по краям пашни. Сон возвращался не раз, иногда она переживала ощущение, что за ней гонятся, и пыталась оторваться от земли, взлететь, раздвигая руки, как во время плавания стилем «басс». И, оттолкнувшись пятками, летела низко-низко, так что сердце заходилось в ужасе, потому что преследователи почти хватали ее за ноги.

А раньше такими блаженными были эти летания во сне, когда она парила в воздухе, точно девушка на картине Шагала, только поза удобнее, менее экзотична: кротко лежа на спине, летишь вперед ступнями, согнув в коленях нижние конечности.

Как и большинство людей, которых знала, она ждала войны с Америкой, и страх этот глубоко укоренился в сознании. И хотя на семинаре по научному коммунизму бодро намекали: «Война будет, но победит СССР», она понимала, что не уцелеет никто.

Вывешенные на кафедре военной подготовки цветные плакаты учили, как при ядерном взрыве ложиться в доме под окно на пол, чтобы спрятаться от потока радиации, как надевать противопылевой респиратор и завязывать тесемки бахил. И ей особенно запомнилась картинка, где мужчина и женщина несут на руках ребенка, все трое в противогазах.

На учениях по гражданской обороне, где устраивали соревнования, кто быстрее переправит «раненых» на носилках и забинтует условно пробитые головы, переименовав название предмета «гражданская оборона» в аббревиатуру «Гроб», острили: «Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

47

Начальник первого отдела полковник Хубаткин, наводивший на сотрудников страх угрюмым видом, по характеру своему не был злодеем. Все знали, что он пьет, от него за версту пахло хорошим коньяком. Говорили, что в кабинете Хубаткина смонтировано было специальное устройство, позволяющее ему без компрометирующих рюмок и бутылок вкушать веселящий нектар. Сосуд якобы ставился в специальный держатель, сквозь ящик начальничьего стола шел чистый полиэтиленовый шланг, кончающийся мягким загубником. Начальник, не сходя с рабочего места, время от времени потягивал живительную влагу, удовлетворяя, по Фрейд, свой не избытый в младенчестве сосательный рефлекс. А дирекция института боролась с пьянством сотрудников, ежедневно выставляя на выходе дежурных, нюхом чующих алкоголь.

После училища по итогам дипломной работы у специалиста нашего вышла публикация в Журнале теоретической физики. В адрес института пришло письмо из Бельгии от одного исследователя, имя которого наш молодой автор, едва разбиравший печатный текст по-английски, даже не мог транскрибировать. Не подозревающий, конечно, о том, что институт имеет еще и постась засекреченного «ящика», иностранец просил выслать ему оттиск статьи. Моему инженеру вручили сие послание во вскрытом конверте, где марки были уже оторваны, и передали приглашение явиться к заместителю директора по режиму.

За двойной дверью, обитой искусственной кожей, находилась уже известная ему комната исполнителей, длинное помещение, которое при видимой чистоте и беспыльности отвращало запахом застарелых окурков. В комнате этой было пусто. На письменных столах, покрытых желтым винилпластом, змеино изгибая пружинные стойки, стояли старые, послевоенного образца настольные лампы. Они были странно деформированы, и в перевернутых абажурах, похожих на солдатские каски, росли полуживые белесые традисканции, комкая корни в скудном объеме земли.

Хубаткин позвал из своего кабинета (дверь в него была отворена): «Заходите, Батулин», — взял из его рук письмо, отыскал на столе среди разложенных бумаг отпечатанный на машинке перевод, имеющий даже какой-то номер, и пробежал его глазами. «Нам это не нужно», — сказал шеф секретов и разорвал буржуйское посланье. Потом продолжал почти доброжелательно: «Я тут узнал, что вы как-то аполитичны, из комсомола выбыли за неуплату взносов, допускаете непозволительные высказывания. Как же с такими настроениями вы собираетесь дальше работать на оборонном предприятии? Подумайте, молодой человек, и двадцатого числа приходите на беседу».

Рассказывая вечером дома об этом эпизоде, мой герой-неудачник принялся вдруг описывать заморенные традисканции в черных чашах светильников. В этом увидел он вдруг символ того, что вещи окончательно потеряли свое первоначальное назначение. Все тяготело выломиться в противоположность себе. «Ты помнишь «451 градус по Фаренгейту»? — яростно вопрошал он. — Пожарные не тушат пожары, а сами их устраивают. А у нас врачи не лечат, а только дают справку о том, что человек не может работать. Милиция не охраняет, а выслеживает и ловит нас. И атомные станции не для того строят, чтоб энергию качать, а чтоб делать плутоний, начинку для бомб. Эта страна обречена. Когда все работают на войну и основная цель труда — убивать людей, человек не может нормально жить».

Обхватив мышцы его рук у локтевого сгиба, заполнив длани этой нежной плотью, она не могла остановить наката горлового стога, потому что видела беззащитность сурового своего друга, им самим неосознаваемую.

«Тебе так плохо оттого, что ты некрещенный», — сказала она. Это было нечто новое. «Ты крещенная? Ну и что?» — саркастически вскинулся он на ее заявление. «Я чувствую защиту, каждую минуту чувствую, что не одна».

48

Несмотря на то, что она выглядела теперь совсем неважно, у него возникало какое-то умиление от одного ее вида, хотя он не упускал случая поиздеваться над ее вдруг обнаружившейся медлительностью. «Была такой одухотворенной, а стала такой оплодотворенной», — иронизировал он и уверял, что больше всего мужчина любит жену, когда она брюхата. Она еще надеялась, что обойдется, не подтвердится беременность, а он все повторял: «Как я хочу!» и ночью вдруг заговорил: «Вот я его в тебе чувствую», ощутив, как юная плоть ее облекает и его самого, и младенца. Словно у этого нелюдима из всех вариантов жизни могло сбыться только одно предназначение — быть отцом. И действительно, у него были сильно развиты лобные бугры, как она знала, признак педагогических способностей.

Через два дня он прилетел с работы с новой идеей: «Ты должна слушать музыку. Ребенок слышит уже с первых дней после зачатия». И на допотопном стереопроеигрывателе «Аккорд» все ставил «Страсти по Матфею», приговаривая, что Бахов было оттого так много, что каждый выучивался композиции еще в утробе матери, так как в семье постоянно музицировали.

Он размышлял о странности человеческой природы: половое влечение людей друг к другу совсем не связано с задачей продолжения рода. Животные в этом смысле гораздо честнее людей, думал он. И говорил своей возлюбленной среди неистовых, с трудом сдерживаемых позывов страсти: «Пойми, это инстинкт, самый главный инстинкт жизни!» И с малым существом, которое должно родиться и которое он представлял губастеньким, с синими круглыми глазами, как будто хотел прожить то, чего не было дано ему собственным ущербным детством.

Чердачная моя мечтательница нередко задумывалась, почему они не такие, как все, где был поворот, определивший нетривиальность судьбы. «Где я свихнулась?» — спрашивала она себя, побывав в гостях у только что вышедшей замуж однокашницы, которой родители купили кооперативную квартиру. И не находила объяснения, не могла назвать момента, как будто всем предыдущим существованием, даже выучкой штопать, готовилась к жизни в скрипучем домике с мезонином и топке печи по утрам.

49

Она вспоминала, как все начиналось, а помнила до пустяков.

Когда людям негде остаться наедине, им трудно встречаться. Они выматываются от одного вида друг друга, почти раздражаясь от нежности, от неутолимого желания прикасаться.

Как-то вечером на Гоголевском бульваре при июльской, с маслянистым светом луне, истомленные чувством бездомности, когда они прошли уже дважды от Арбатской площади до Смоленской, на зеленой гнутой скамейке, он обхватил ее руками и, посадив к себе на колени, крепко-крепко, в замок сомкнув пальцы, прижался к ее спине, к вискозной белой блузке, и неподвижно замер, забывшись. Она, напряженно кося глазами на редких прохожих, сидела минуту, но потом, виновато стая, высвободилась: «Я для роли Саскии не гожусь».

Однажды он договорился с приятелем, что тот даст на ночь ключ от своей мастерской. Надо сказать, что друзья у него были исключительно выпускники Строгановки, которым он когда-то позировал для курсовых и дипломных работ. Пока те были студентами первых курсов, он получал за свои сеансы в студии полтора рубля в час. Но позднее он так подружился с некоторыми, что когда будущим скульпторам нужна была обнаженная натура, работал даром, и стоя нагишом на сквозняках, не раз простужался. В качестве дипломной работы строгановцы должны были представлять барельефы и пластику для парков культуры и домов пионеров и во всю эксплуатировали нашего технаря. При этом оформляли крупные договоры на оплату позирования, но денег он ни разу не получил. Их присваивали творцы и благополучно пропивали, иногда потчует и самого натурщика.

Мастерская ваятеля, как вспоминала наша сентиментальная особа, располагалась в подвале кирпичного дома. В ней пахло сырой глиной, на истертом линолеуме валялись деревяшки, которые, оказываясь, нужны для армирования моделей. Посередине помещения стоял проволочный осто́в гипсовой скульптуры, с ребрами и ступнями, только что не было черепа — все равно страшный. Железные стулья с сиденьями из расслаивающейся фанеры, у стены — обшарпанный диван... Первое, что он сказал: «На стулья не садись, на них голые натурщицы сидят». Снял рубашку, застелил диван и усадил ее. Но кругом было грязно и чувствовалось какое-то непотребство. И после нескольких минут поцелуев он вдруг поднялся, схватил старый журнал, как бы оправдываясь, что вот надо было сюда зайти, и увел ее. А ведь хотел уговорить остаться на всю ночь, улаживал это с приятелем, который сначала отнекивался: «Занято. Можешь нарваться на конкурента».

Весной они поехали за город на чью-то дачу. Там во дворе под кленками стояли незаконченные статуи — печальные женщины и мальчики без рук. В доме тоже было много скульптуры: каменные бюсты и глиняные неряшливые фигурки, изначалие замыслов. В одной из мраморных голов она узнала своего возлюбленного — по прическе и круп-

ным ушам, с несвойственным ему романтически энергичным растяжением рта. Поэтому она, взревновав, поняла, что любим он не только ею.

С собой они привезли государственный двухрублевый кулич, именуемый «кекс весенний», к которому от избытка чувств не притронулись, а на обратном пути скормили пристанционным собакам.

Он принес в ведре воды из колонки, на полке нашлась початая банка сгущенки, подсохшей с поверхности. Они были голодны, но есть не могли, так тревожно было. Он стал кормить ее сгущенным молоком с ложечки и целовал, облизывая с ее губ сладкие капли и одурманивая своим запахом, ароматом кукурузного молодого початка. Хотел включить приграватель: «Я поставлю Вивальди», — но звукозаписчик был неисправен и музыки не получилось, чему она была рада, потому что странным ритмом, собственной мелодией напряглось тело, и мешались мысли в голове.

Они стояли друг против друга в полутемной комнатенке, и он вдруг шагнул вперед и обнял ее с такой силой — отдающейся и в то же время требовательной, — что почти вмял в стену ее плечи. Сзади нее на гвозде висели угольники и ножницы, и это все как будто воткнулось ей в спину и стало прочной болью преданности, жалости и падения. И в холодной чужой постели она все еще чувствовала эту боль, и было стыдно своей крови, и забота о стирке не давала ей забыться.

50

У них уже было прошлое! Они были подлинными детьми Москвы, своего приарбатского угла и вернулись сюда не только потому, что негде было жить и осточертели родители. Ей противен был современный дом с узкими дверями и низкими потолками из бетонных плит, где каждое движение соседей вызывает отклик вещей в твоей комнате и беспокойство посуды в шкафу. Одинаковые жилища, настаивала она, делали и людей, видящих свет сквозь сетку капроновых штор, неотличимыми друг от друга. Она не осознавала того, что он знал уже из опыта нахождения в «ящике»: мимикрия была спасительной в этом мире, где яркая индивидуальность всегда вызывала неприязнь, а теперь и подозрение в нелояльности.

Она любила Москву, эти горбатые улочки у набережной, с многочисленными обезглавленными церквями, переделанными в мелкие фабрики. Они ходили по знакомым со школьных лет переулкам, переименованным теперь и названным улицами, но от этого не потерявшим ни своей тихости, ни кривизны. Ветхие дома с клеточками дранки за отставшей штукатуркой, рыжие потеки у водостоков и разнообразные лепные украшения: лукавые, усталые, а то и грозные львиные морды, женские лица в стиле «неогрек» с характерной полуулыбкой...

Светлый фриз четырехэтажного дома в Могилицевском украшал рельеф с фигурами в тогах. Присматриваясь, не сразу, а после нескольких прогулок, они узнали в некоторых персонажах Пушкина и Гоголя. Хотя и понятно было, что те в античных одеяниях, у классиков был весьма банный вид.

И как всегда, как он помнил, всю жизнь, в Чертольском переулке вспучивало на перекрестке асфальт, и тот проламывался от столетиями длящейся работы ручья, не желавшего прятаться в трубу на своем пути к Москве-реке. Эти дыры в дорожном покрытии вызывали в нашем герое прилив немотивированного оптимизма. Перешагивая через черные щели мостовой, он думал, адресуясь к невидимой власти: «Не все вы можете задавить!»

Рядом со школой, построенной, как знал он от матери, на месте знаменитой церкви, возвышалась беленая палата семнадцатого века, где теперь устроен был склад. Железные жиковины дверей казались аспидными от свежего кузбасслака. И страшна была легенда здешних мест: мол, в древности складывали в эту камору подобранных зимой на улице мертвецов и держали тут, замерзших, чтобы потом всех невостребованных родней покойников похоронить весной в общей могиле.

Ее влекло к тому дому в переулке, где прошло детство. Она входила под арку в затхлый дворик с немногочисленными тополями, которые сызмальства знала все наперечет, и теперь убыль их с печалью замечала. В углублениях асфальта стояли извечные нефтяно-черные лужи, а в чугунной ограде поубавилось завитков и пик. Но за оградой все-таки стояли клены, которые, как с детских лет помнилось ей, сплошь засыпают в мае желтенькими цветками тротуар.

Они вошли в подъезд, где она ребенком выстаивала часами у батареи, грея обледеневшие варежки. Дверь была та же, и латунная длинная ручка сохранилась. Со стен вестибюля, облицованных квадратами шоколадно-коричневой плитки, смотрели смеющиеся рожицы фавнов с кудрями из винограда и девические головки с колокольцами-подвесками. Рельеф плафона изображал колесницу, влекомую белыми лошадьми, и, схватившись за ее край, почти горизонтально вытянув тело в благородном лете, неслась в пространстве богиня, и восхищенный возница оборачивал к ней гипсовое лицо, не ослабляя натяжения поводьев.

Шли на Арбат, где после одиннадцати часов фонари уже были приглушены, разглядывали витрины книжных магазинов и вышивки за стеклом, а потом любовались узорной изморозью, выкристаллизовавшейся тропическими листьями на стекле «Галантереи».

Она мерзла, но когда он обнимал ее, отстранялась, чтоб не выгнелся теплый воздух из пальто, и тогда он старался ее согреть, дышал усердно ртом в один и в другой рукав, надувая щеки и схватывая плотно ее запястья, чтоб не ушло тепло. Ей хотелось вдруг спать, дремота

одолевала прямо на улице. На ходу пристроив голову к нему в суконное предплечье, закрывала глаза и, плотно прижавшись бедром, потихоньку ковыляла. И он шел кособоко, не двигая плечом, крепко обхватив ее спину рукой наискось.

Но когда они возвращались, то долго не могли уснуть, потому что касание родной плоти мучило новой жадой. Она рассматривала трогательные его недоразвитые соски, искала их в темноте, этот намек на забытое единство женского и мужского, как-то связанное и с кормлением ребенка. И когда она просила: «Уходи», — то врозь они засыпали мгновенно, чтобы снова соединиться в утренних сумерках, когда их лица, и вещи в комнате, и город за окном были серыми, как недодержанное фото.

51

Что-то с ним происходило непонятное. Ему всех стало жалко. Он не узнавал себя, такая обуюла сентиментальность. Вдруг пришло в голову, как по-свински всегда он обращался с матерью. И теперь он звонил ей на работу с дежурным вопросом «Как дела?», не в силах произнести другие, человеческие слова, которые, казалось, уже были найдены, но стопорились дурацким стеснением.

В милицию, между тем, шли доносы из окрестных домов, дескать, живут без прописки, за квартиру не платят, а женщина не занимается общественно-полезным трудом. Пришел пожилой техник-смотритель. Он и она показали ему свои аккуратные, в темно-зеленом текстиле, паспорта. И так как значилось в штампе его документа «Прописан: Хрущевский пер., д. 4», а фактически они жили в том же микрорайоне, то техник-смотритель Алексей Иванович сказал: «Живите!» Хоть и отнекивался, ему всучили десять рублей. Когда явился участковый милиционер, первой панической мыслью обоих было: «Выселят!». Тот проверил документы, и наш глава семейства сказал: «Жить негде, жена беременная». Мильтон смутился и вдруг вскинулся, указывая на гравюру: «А почему у змеи корона?» — «Это королевская кобра», — смело нашлась моя красotka. Страж порядка приходил и в следующий месяц и уже не требовал паспортов. Десятки делали свое дело, а доброты Алексея Ивановича была неисчерпаемой.

Легализовавшись таким образом, законопослушный мой герой рассудил, что имеет право пользоваться электричеством, и умело сделал подводку. Теперь его затворница, оставаясь одна днем, могла обогреться старой электроплиткой, любуясь алыми завитками раскаленной спирали.

Наш вольнодумец ждал двадцатого числа, нового разговора с начальником режимного отдела, к которому надо было как-то приготовиться, хотя бы узнать, кто на него наступал. Он был недоволен собой после того вызова к Хубаткину и предвидел неприятности. Считал, что

если мысли его прознают, ему несдобровать. Когда же дома заикнулся о том, что вот каждый в чем-то виноват, заботница его заорала, потрясая кулаками: «Что за идиотство! Не вздумай себя оговаривать! Ни-когда ни в чем ты не виноват!»

У него появилась мания преследования. Даже тот постовой, который сидит в «стакане» у Малого Каменного моста, казалось, знает его и с подозрением смотрит сверху сквозь стекло. Ему жгло спину, когда он, перейдя мост, сворачивал в переулок, хотя умом понимал, что регулировщик не станет его ловить. Но вопрос, могут ли взять человека на улице или поимка ведется по другой схеме, очень мучил молодца.

В последние дни, когда она внутренне стала называть себя его женой, донимало ее предощущение беды. Кроме пляшущих мелочей, которые она видела боковым зрением постоянно, успокаивая себя тем, что это не сумасшествие, просто, по слепости ее, все невидимое дополняется на сетчатке изображениями прочитанного, — кроме пляшущих мелочей, были и другие явления. Однажды, взглянув из передней в дверной проем комнаты, она увидела вереницу гигантских уток, которые, переваливаясь, пересекали освещенный участок крашеного пола. Лапы их были очень толсты, а сами птицы похожи на кургуzych старух, перемещающихся на полусогнутых ногах, вроде актрисы Немоляевой в спектакле «Кавказский меловой круг», который шел когда-то в театре Маяковского. У нее зарождались дурные предчувствия, и она говорила себе: «Как сейчас хорошо и какой катастрофой все это кончится!».

52

В течение нескольких суток у него тупо болела башка и распухшие верхние веки нависали над зрачками. Болячки обметали губы. Глаза его вдруг как-то потеряли чувствительность, и он смотрел на лист ватмана, исполосованный лекальными кривыми, и не мог сосредоточиться, а все как будто усмехался — такая только осталась у него реакция. Его заботило, что на еду требуется теперь больше денег, но заработать не мог. Просто стал отказывать себе в пище, почти насильно укармливая беременную свою красавицу, от которой когда-то требовал невыполнимого постничества.

Он устал от этой зимы, от того, что вечно ходил с мокрыми ногами, что дни были коротки и резать приходилось при электричестве. Иногда он засиживался до трех часов ночи и только блески во взгляде, мешающие сосредоточиться, заставляли его лечь. Он устал от чередования пустых тягостных дней и наполненных болезненно-экстатическим трудом ночей. Знал, что сделает нечто грандиозное, но ежедневная попытка пребыванием в «ящике», чувствовал он, обескровила его, хотя большущие ладони, которые он весь рабочий день держал на крышке стола, были работоспособны и неистово спешили, как только дотра-

гивались до инструмента. Он резал с точностью автомата, зная, что одушевление, которым создан исходный рисунок, было настоящим, и даже без сегодняшних эмоций, без примеривания руки делают все хорошо.

Он забывался неглубоким сном, а под утро, когда начинало светать, уже не спал и мысленно все надеялся на чудо: что не пойдет на работу. Стаж у него был маленький, по бюллетеню полагалась половинная плата на время нетрудоспособности. Этого он не мог себе позволить, тех девяноста рублей, которые он в общей сложности получал, и так было недостаточно.

Каждый день, высиживая в людной комнате почти девять часов, он невольно перебирал в памяти детали короткого разговора с Хубаткиным и гадал, где же он допустил оплошность, проговорился и выдал себя, по сто раз на дню представляя, что же будет двадцатого числа. Чтоб утишить гул от ламп дневного света, он прижимал ладони к ушам, с трудом вытерпывая последние полтора часа и задыхаясь от соленой слизи, забивавшей ему бронхи.

Когда выходил на улицу, от свежести сначала становилось легче, но, пройдя несколько метров, он чувствовал: весь дым страшного города, все, что выдохнула Москва из высоченных труб теплостанций и дворовых котелен, кормящихся антрацитом, заполняет его грудь сжигающей волной. «Что они со мной могут сделать? Уволить? Можно работать грузчиком», — пытался он победить безотчетный нутряной свой ужас.

Он долго не признавался дома в своей болезни и, когда она, чувствуя его огневицу, просила своего кормильца остаться дома хоть на один день, успокаивал ее, монотонно повторяя: «Пройдет!», и уклонялся от объятий.

Она срезала самые полнотелые листья алоэ и, выдержав их дня три в темноте, чтоб усилить действенность жизнетворного растения, приготовила лекарство, смешав горький сок с кагором и медом. Она поила его на ночь отваром бузинового цвета, и после испарины на целый час лобная боль отпускала и он чувствовал блаженную слабость. Она промокала ему марлей влагу со лба и дула на лицо, чтоб охладить жар, и ее дыхание со странным этим одуванчиковым запахом сушило чувствительную его кожу. Но утром он опять вставал и шел через мост, не принимая во внимание уговоров, и даже отталкивал ее равнодушно, но шел ради нее, повинуюсь идиотскому, как он говорил себе, супружескому долгу.

И за день у него опять набoleвала грудь от кашля, и шум в голове был такой, что он не слышал слов, с которыми к нему обращались. Он чувствовал, как разбухло у него горло, видя его мысленно: красное, мясистое, через которое уже не мог пробиться голос.

Ночью она приходила на дощатый топчан согреть тощего своего возлюбленного, и он успокаивался. Боялся на нее дышать, чтобы не

заразилась. Но она настойчиво тянулась к его лицу, и целительными были эти ее поцелуи, заживляющие лихорадки у него на губах. Обняв со спины, она прижималась к нему, повторяя собою изгиб его трясущегося тела и обвивая руками так, что он как будто сидел у нее на коленях. Ее грудь касалась его лопаток. И сквозь жар и бредовый шепот благодарности, больше не сомневаясь в ее искренности, он сказал внезапно: «Я подумал — нам бы обвенчаться». — «Но для этого надо тебе сначала креститься», — кротко отвечала она.

53

«Батурин — в первый отдел!» — сказал шеф после короткого разговора по местному телефону. «Разве уже двадцатое?» — подумал несчастный мой герой...

Он вышел из проходной и медленно побрел по переулкам. Впервые ему не хотелось идти домой. Он вспомнил, так птица в случае, если близко к птенцам подойдет хищник, кружит и кружит, не приближаясь к гнезду.

Он досадовал на себя за то, что произошло в разговоре с Хубаткиным. Опять и опять мысленно возвращаясь в обстановку мерзкого кабинета, осознавая, что объяснил далеко не все, он теперь переживал в воображении произошедшее и подбирал более точные слова. Минутами ему казалось, надо было сказать все, что думает, до конца. А потом в приступе малодушия с тошнотой вспоминал он, как в ответ на угрожающие нравоучения начальника его неожиданно для себя самого, прорвало: «Я вообще против». — «Против чего?» — «Против всего этого. Не хочу, понимаете, не хочу...»

Инстинкт самосохранения ему отказывал, он вышагивал машинально, слушая, точно отвлеченные звуки, скрежет тормозов у себя за спиной. Он обнаружил, что забыл шарф, но не стал возвращаться, тем более, что на территорию института после окончания рабочего дня его бы и не впустили. С крыш текло, но он не отстранялся от струй, и талая вода попадала ему за ворот, обжигая шею. Он то ли улыбался с неподвижными прищуренными глазами, то ли горько жмурился, постигнув неожиданно, что ничего не страшится больше. «Разве я боюсь умереть? Разве я не хочу того покоя, который... На кладбище хорошо!» — подумал он на минуту.

Зеленоватый пар стоял над рекой. Она колыхала серые льдины в грязной воде. Кое-где виднелась белая пена, будто наплевано. Он все это видел, не глядя, словно помнил кинокадры. Какая-то сила извне так сдавливала ему голову, что он чувствовал звоночки в висках: вдруг трещало и сразу теплело, и он подумал, лопаются капилляры.

Он стал спускаться к набережной, в тень от моста, и хотя впереди, он знал, находился лестничный сход, прямо перед лицом его, как бы поднявшись стоймя, была хлюпающая беспокойная вода. И тогда, в гневном приливе сил он выбросил вперед руку, чтоб кулаком пробить

это грязное водяное марево, которое застило ему взгляд. Качнувшись резко вперед и пропустив последнюю ступеньку, он не удержался на ногах и упал, даже не пытаясь схватиться за каменные перила и только бессильно помавая пальцами в воздухе.

Когда он очнулся, немощь и боль в затылке мешали ему сориентироваться. Ему представилось, он в темноте, в постели, но мигание огней светофора и невнятные сотрясения грунта привели его к реальности. Он уперся головой в гранит, хотел сесть и не смог. Редкие прохожие не обращали на него внимания. Так лежал он, должно быть, очень долго.

Девочка, которую он не увидел, запомнив только ее голосок, привела людей, и когда через некоторое время он снова пришел в себя, то безвольно закрыл глаза: его втаскивали в белый фургон, и он с облегчением подумал, что ему больше не надо самому печься о себе. И хотя его ощутимо толкали под бока и голова моталась из стороны в сторону на бессильной вые, он не почувствовал обиды. Его приняли за пьяного и везли, по всей видимости, в вытрезвитель.

Машина ехала очень долго, убаюкав его пением мотора. Потом она остановилась, его выволокли, хотя ему и не хотелось вылезать, наконец-то согрелся. Взяв под руки, повели. За казенного вида дверью он увидел просторное помещение, часть которого занимала клетка, крепкая загородка из стальных полос-дюймовок с частой сеткой, вроде той, которой затягивают лифтовые шахты.

Посадили на жесткий диван под лампочкой и больше не обращали на него внимания. Был сквозняк и такой яркий свет, что он стал руками защищать глаза, тычась лицом в дерматиновый валик дивана.

И когда долгожданная тьма пришла к нему, еще до того, как дежурный врач осмотрел беднягу, ворча, что нет нормального зрачкового рефлекса, до того, как был записан какой-то диагноз со знаком вопроса, еще до всего этого, крепкие планки грушевого дерева замелькали у него перед глазами, розово-коричневые, и он мысленно соединял их в паз, и даже слышал постукивание, радуясь широкому полю доски. Туловище его подергивалось время от времени в ритме этих ударов, и, наконец, он затих в беспомощности.

54

С утра было ей худо, не могла есть, и даже не могла себя заставить умыться водой из-под крана. В пасмурные дни всегда было не по себе. Звуки падающих капель, казалось, сводят с ума. Она пряталась с головой под одеяло, но тоска не проходила. И не только от протекающего потолка...

Когда в семь часов он не пришел домой, немного прождав, она оделась и пошла под дождем встречать, несколько раз пройдясь взад-

вперед по переулку и на пятках обходя лужи, обрамленные желтоватым льдом, потому что туфли ее не годились для такой погоды.

Она поднималась к себе и, не снимая пальто, стояла в кухне, чтоб согреть руки над плиткой, и снова шла на улицу. В полночь позвонила из автомата, без монеты, с трепетом набрав «02». «Тридцать четвертое слушает». Она объяснила, что пропал ее муж, чуть затруднившись, назвала адрес, где он прописан. Но когда дежурный узнал, что тот с утра был на работе и, видно, задержался где-то, он, смеясь, успокоил ее: «Придет!»

За час она успела преодолеть путь от дома до его института и обратно, пролетая по тем ступеням, откуда его взяла дежурная бригада. У нее останавливалось сердце от ужаса перед темнотой, пока она пробиралась по безлюдной набережной, сквозь хлорноватистокислый морочный туман бассейна «Москва». Вспомнила вдруг по дороге: когда ломали трущобы в Большом Афанасьевском, она видела, бежит под горку крыса — по мостовой, вдоль тротуарного бортика — с трагическим писком. И сейчас, несясь среди враждебных громад города и шаркая пятками по гудрону, как это присуще обычно ходьбе слабовидящих, она ощущала себя самое ополоумевшим в горе зверьком.

Она звонила в милицию снова, каждый раз преодолевая застенчивость, осипнув от волнения и холода. Уже не спрашивая ни фамилии, ни адреса и, как видно, узнавая ее по голосу, диспетчер говорил, чтобы от нее отделаться: «Он отдыхает, не беспокойтесь!» Ей ни разу не нагубили.

Она зажгла все лампы в обеих комнатах и то и дело бегала к окну, выходящему на улицу. В течение ночи дважды высказывала в пустой переулочек, в коричневую от грязи мглу, потому что мерещилось: он зовет ее снизу. Она уже отчаялась просить помощи в милиции и ждала утра, решив искать его сама. Прибежала в опорный пункт охраны порядка у Крымского моста ни свет ни заря и пыталась узнать, куда отвозили людей, которым, как она выразилась, стало плохо на улице. «Он совсем больной!» — приговаривала она, успев надоесть дежурному, который только-только заступил на сутки.

Весь день она ездила из одной больницы в другую, измученная и почти безучастная, сжимая два рубля в кулаке. Мелочь у нее скоро кончилась, и, пересаживаясь с троллейбуса на трамвай, потом в автобус, она уже не брала билета, сберегая намокшие рублевки, чтобы потом везти домой на такси ее ненаглядного Сашу.

Она ехала по однообразным улицам, осознав вдруг, что наступил вечер. Троллейбус как будто кружился на одном месте, так похожи между собой были дома. Наконец объявили нужную ей остановку, она соскочила с подножки, ступив неосторожно в воду. К больнице вела разбитая асфальтовая дорога, идти надо было по уложенным в грязи доскам. На ветхих темных зданиях висели таблички, но стало уже темно, а ос-

вешение не включено, и по близорукости она не могла прочесть надписей. Лишь от далеких новых корпусов клиники доходило немного света в закоулок, куда она попала, к моргу. Две девочки-санитарки без пальто, беленькие, везли на каталке трупик новорожденного и первые заговорили с ней: «Вы в гинекологию?»

Когда она тащилась назад по расхлябанной дороге, где уже не было машин, то не думала ни о чем. И потом на «Кропоткинской», в подземном тепле, шагая по отполированному граниту, умом цепенея, внезапно почувствовала, что все внутренности отделились от нее и каким-то мощным давлением выталкивается через горло горькое месиво рвоты... Пьянея от дурноты, она схватилась за колонну, мраморную, прохладную, сочащуюся меланхолическим светом. И, вспомнив вопрос: «Тошнит?», который без конца задавала ей мать, догадывающаяся, что дочка «в положении», сказала вдруг о себе самой в тех пошлых выражениях, какие слышала от подруг: «Залетела, уже не рассосется! Теперь уже точно!»

Она быстро пошла по Гагаринскому, чуть наклонившись вперед и строго посередине тротуара, словно по нанесенной на асфальт черте. Задержавшись на миг возле огромной липы, выдвинувшей ветви до середины мостовой над дорогой, хоть и ходила мимо нее почти каждый день, впервые заметила, что та расщеплена надвое и обнажилась белая плоть дерева над напитанной водою потемневшей корой ствола.

Зрение ее как будто вдруг обострилось, и в темноте она увидела, что верхнее боковое окошко в их доме светится, и занавеска отдернута. Окно сияло, ей казалось, во все небо. Задыхаясь, она летела по переулку в гору и думала только, скорей бы добежать до дому, где ее любимый, она была уверена в этом, уже ждет ее.

Она бежала неграциозно и косолапо, радостно загребая воду ногами и слыша, как чавкает у нее в туфлях, и думала, что вот сейчас грянет какой-то главный момент их жизни, и они скажут, наконец, — простодушно и открыто, — те слова, которые до сих пор так и не сумели сказать друг другу.

1978, 1998

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ОСЕНЬ

Под одним небом

Пятеро. Под одним
Небом, как мешковина, пористым, рваным,
где-то на свалке загородной стоим,
живем на равных.

Пятеро. Под одной
крышей сарая
ждем, когда кончится дождь грибной,
добрые, точно в преддверье рая.

Рыщем, через Иню
бежим по мосткам качающимся, как зыбка,
макуху скармливаем стреноженному коню,
стрекозы в цыпках.

Четверо... У стены
дома — уже покинутого отчасти —
молчим, не помним своей вины;
разлукой воздух стреножен, сны
трефовой масти.

Глазницы окон черны, когда
судьба нас, верящих в жребий, сводит.
И нашей молодости звезда
в Иню, как девка шальная, сходит!

Плывет, и дразнит, и помнит всех,
кто, не раздумывая рванется
на скорбный зов и счастливый смех!...
И не вернется.

**Борис
ВИКТОРОВ**

— родился в 1947 г. в г. Уфе. Окончил Высшие литературные курсы. Подборки стихов печатались в журналах «Дружба народов», «Юность», «Сельская молодежь»; в альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Студия» (Берлин). Автор сборника стихов «Каркас» (1979). Живет в Москве.

* * *

Е. Блажеевскому

Тянуло в ночь, в зверинец белоглазых
звезд, что смотрели жадно на него,
как если б распахнулись тыщи пазух
и космоса живое существо
приблизилось, сошло к нему и сразу
облапило со всех сторон...

И протрезвели гости за столом
в доме, где вновь распахнута сырая
окованная изморозью дверь,
и страждет Марс над остовом сарая,
благословив наш век и презирая
своих певцов, как сжалившийся зверь.

1996

* * *

Он здесь, он с нами, горбит плечи,
спешит к подножью по холмам.
В таверне пир, в часовне свечи,
кагор и горе пополам.

Продрог. И если по щетине
судить, в пути уже давно.
Не отвернулись. Пощадили.
И все равно

он там, в дожде, идущем косо,
в прекрасном страшном далеке.
Пирамидальный тополь — посох
в его руке.

1999, май

* * *

Поздний час. Ни товарищей,
ни подруги, ни брата...
Ты среди забывающих.
Наступает расплата.

Оглянусь — два заката
над тайгой и в Арыси.
Как зрачки умирающей
Немигающей
рыси.

Подсолнухи у реки

Блуждал в снегах, заночевал в стогу,
мне мнился юг, подсолнухи стоглаво
толпились на июльском берегу
неведомой реки — у переправы.

Я догадался, что поводырем
у них закат; с окраины тревожной
он их манил огромным фонарем
за оком — дорогой невозможной.

Подсолнухи толпились у реки,
ступали в воду гиблую по плечи,
и на ветру дрожали лепестки,
как слезы или гаснущие свечи.

В реке неодолимой, нефтяной,
внезапно подступающей под горло,
подсолнухи угрюмой чередой
ступали за фонарщиком покорно.

Толпой, не останавливаясь, вброд
шли через воды на закат кровавый...
Но почему-то не было подвод
обычных и коней у переправы.

Смеркался расширяющийся круг
пульсирующей, сомкнутой оравы...
Но почему-то не было разлук
и долгожданных встреч у переправы.

Я понял, что с окрестных пустырей
подсолнухи сошлись не для забавы,
и содрогнулся — не было людей,
как водится у всякой переправы...

Я утра ждал, в отрепье и грязи,
в безвестности, под крышей небосво
у переправы взорванной, вблизи
чужой реки; стояла ночь у входа.

Шли по реке, переходили вброд —
подсолнухи, вцепившиеся в плечи
людей, которых нет; водоворот
захлестывал их горла человечьи.

Во сне я думал: «Боже, все они —
прямая ветвь оставшейся на свете
моей всечеловеческой родни,
и за спиной растерянные дети...»

Подсолнухи толпились у реки,
я вместе с ними ждал конца облавы,
и на снегу дымились лепестки,
и обрывался след у переправы.

* * *

Очнусь в некошенной, высокой
траве, как стража, синеокой,
сойду к светающей Оке,
увижу лодку вдалеке,

пойму, припав спиною к вербе,
что одинаково легки
звезда в руке и камень в небе,
и покаянье у реки,

скажу: не плохо б окунуться
в лес околдованный — в Оку,
щекой плакучих ив коснуться...
Да конвоиры начеку.

Путем Харона сквозь деревья
плывут удача и беда,
как лодка с веслами во чреве
по воле Божьего суда.

* * *

Жизнь, завоеванная в драке,
в чужом саду, в глухом овраге;
не подходи, не прекословь! —
неизгладимая любовь.

Обходит Радж Капур бараки,
благословляет мир, и вновь
(«Аб-ба-ррая!») смываю кровь
в ручье с единственной рубахи.

Афиши, лозунги, девахи,
шпана — приветствуют: «Держись!»...
Незабываемая жизнь.

* * *

Борт смолят, бакланят до утра
моряки со шхуны «Балаклава».
Хорошо видны прожектора
и в дождевиках погранзастава.

Шторм постайвазовский по ночам
паруса изорванные гонит
в сторону жестоких янычар;
и луна родимая потонет...

Прыгают собаки в гуши брызг,
лизжут звезд соленые крупичицы,
и готовы горло перегрызть
каждому, кому еще не спится.

Занавешу темное окно,
Разливай, Георгий, по стаканам
доброе домашнее вино,
чтобы не досталось басурманам!

ЛЕСТНИЦА

Повесть

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

О. Мандельштам

Ходить меня учила бабушка. Об этом мне рассказывали моя тетя Женя, младшая и любимая дочь бабушки, и моя строгая мама. Вернее, мама только подтверждала сказанное Женей, подтверждала неохотно, молча, ревниво, но затем, с воспитательной целью, обращала сказанное, поскольку это уже было сказано, против меня таким образом, что, мол, даже бабушкины старания не пошли мне впрок — я всегда ходил не так и не туда, как и куда следовало. Тетя же, которую я и мой двоюродный брат всегда называли по имени и на «ты», всякий раз, до последних своих дней, умилялась, вспоминая, как это было, — как бабушка водила меня за руку по комнатам нашей квартиры, по лестнице дома, по двору, и я говорил: «Ёт Енин, пибитый фостиком!.. Ёт дугой Енин, пибитый фостиком!.. А ёт естница!..» Женя повторяла мои слова, слезы выступали у нее на глазах, и переводила непосвященным: «Вот Ленин, прибитый гвоздиком! Вот другой Ленин, прибитый гвоздиком!.. А вот лестница!..»

Я не помню этих портретов Ленина, «прибитых гвоздиком». Зато хорошо помню, как мама повесила в нашей комнате большой портрет Сталина и как бабушка вошла в комнату и увидела его. Она ничего не сказала, сразу повернулась и вышла из комнаты, ничего не ответила маме, спросившей у нее: «Что ты, мама?..» Потом, помню, портрет этот быстро исчез, на стене вместо него появился Ворошилов, и этот портрет мне очень понравился — такого округлого, доброго, спокойного лица очень не доставало в нашей комнате, вообще в квартире, если не

**Юрий
ТУРЧИК**

— родился в 1926 году в Харькове. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. закончил филологический факультет Харьковского университета, преподавал в средней школе, работал на телевидении и в кинематографе. Печатается с 1964 г., автор нескольких повестей и рассказов в киевских, крымских, московских и петербургских изданиях. В «Континенте» выступает впервые. Живет в Ялте.

считать бабушки. Но и бабушкино лицо тогда становилось другим — было начало тридцатых годов, это время я помню хорошо...

Иногда мне кажется, что я помню себя и совсем маленьким, когда бабушка учила меня ходить: вот мы медленно поднимаемся на наш четвертый этаж, на каждой площадке останавливаемся, бабушка садится на низенький подоконник, отдыхает, а я смотрю в окно и вижу, как все меньше становятся те, кто находятся во дворе, и это зрелище, как уменьшаются люди там, внизу, меня почему-то страшно волнует, доставляет какое-то пугающее наслаждение... Но вряд ли это подлинное воспоминание... Мне, конечно, нетрудно представить себе и нашу крутую, всегда темноватую лестницу, и высокие, узкие готические окна, промытые внизу и запыленные наверху, куда не дотягивались руки, а тем более глаза Ульяновны, нашей мучнолицей, подслеповатой, огромной и кроткой дворничихи, низко кланявшейся при встрече с моей бабушкой, бывшей хозяйкой, владелицей всего нашего дома, и саму бабушку, маленькую, белогловую, тихую, ее темные глаза, напоминавшие мне воду в глубоком колодце посередине пустыни или высыхающей степи... Но это все уже из другого времени — когда я уже пошел в школу и бабушка тогда уже не спускалась во двор, вообще не выходила из квартиры. И, конечно же, уже не пела мне на ночь тихонько:

По саду-садочку
Тачку я катаю
И белым песочком
Грядки посыпаю...

Теперь, когда я пошел в школу, бабушка со мной почти не разговаривала, только смотрела на меня молча, как будто вглядывалась и не узнавала во мне своего прежде любимого, болезненно-тихого и любящего внука. Это злило меня, и я старался досадить бабушке. Однажды я пропел при ней такие частушки:

Хаим едет на свинье
Защищать Европу,
А жена ему в окне
Выставила ж..у...

Я очень ярко представлял себе эту картину: нашу огромную Ульяновну в окне своего низенького домика в углу двора и ее мужа Ивана Абрамовича на свинье, и меня просто распирало от смеха, больше всего — от вида сутулого Ивана Абрамовича, выражения его срамного лица с длинным висячим носом — такого выражения, как будто он сидел на горшке и никак не мог закончить своего дела. Это выражение никогда не сходило с его лица, даже когда он гонялся за нами, поносил нас матом, лицо его только багровело, напрягалось сильнее, отчего нам становилось еще смешнее. «Я тебе покажу «жида»! — кричал он тому из ребят, за кем бросался в погоню. — Я тебе покажу, сука! Мать не узнает!..»

Мы понимали, что Иван Абрамович никакой не еврей, но мы знали и то, что он люто ненавидит евреев, особенно за то, что многие его принимали за еврея, так что распевая под окошком Ульяновны эти частушки, мы попадали в точку: дверь деревенского домика неожиданно открывалась и, если из темноты не появлялся Иван Абрамович, то выплывала его большая белолицая жена и ласково говорила нам: «Идись, детки! Иван Абрамович вжэ послулы!» Или: «Ивана Абрамовича немає дома, детки!..» Она была доброй, Ульяновна, набожной, всех жалела: детей, собак, кошек, и, как я потом узнал, своего двоюродного брата, Ивана Абрамовича, который, похоронив жену и детей, умерших от голода, бежал из деревни в город и женился на своей сестре, Ульяновне... «Фу, дурачок! — смеялась Женя, явно получая удовольствие от моих частушек. — Какой же он Хаим?.. Он же не еврей, дурачок ты!..» Гневно отзывалась моя мама: «При чем тут «еврей» или «не еврей»?.. Важен факт издевательства над человеком! И — похабщина, конечно!.. Антисемитизм — само собой!.. Я права, мама?..» Бабушка не отвечала, не смотрела на меня, но не видела, казалось, и своих дочерей, темные ее глаза были неподвижны. «Антисемита нам в семье не хватало!» — продолжала моя мама, и я понимал, что тут имелся в виду и мой лихой отец, никогда не выбиравший слов, но, конечно же, никакой не «антисемит», что не мешало маме приклеивать к нему различные ярлыки так же щедро, как и ко мне. «Несчастные, больные люди!» — тихо, как бы самой себе, сказала бабушка. «Кто, мама? — спросила Женя. — Ульяновна?.. Ее родной муж?.. Почему они «несчастливые»?.. Живут в свое удовольствие, наслаждаются!.. Для них грех сладок!.. Можно только позавидовать!». «Женя, прекрати свои шуточки! — сказала мама гневно. И уточнила: Твои шуточки не для всех ушей!». «Несчастливые, больные люди!» — так же задумчиво повторила бабушка. «Если они несчастные и больные, — гневно возразила моя мама, — то по собственной вине! Удрать из колхоза, чтобы здесь предаваться разврату, наслаждаться — винить некого, кроме себя! Там же не переставая пьют! Ты же не знаешь!.. И по ночам собираются всякие темные личности! Куда только милиция смотрит!..». «Веселая жизнь!» — так же, улыбаясь, как бы с завистью, сказала Женя. «За эту «веселую жизнь», — ответила ей мама, — они и получают!.. Не очень веселую! Уже получают: думаешь, Ульяновна болеет просто так?..» И тут бабушка сказала уже не тихо: «Все разворотили, вот и разврат!.. И болезни, и ненависть, все!..» Очень хорошо помню, как моя мама побледнела. Женя же ярко порозовела. «Выйди! — резко скомандовала мне моя мама. — Что за манера слушать разговоры старших? Откуда столько пороков у этого ребенка?..»

Последний мамин вопрос был риторическим — всем был известен мамин же ответ на него: все мои пороки от отца. Что касается манеры слушать разговоры старших, то тут моя мама, как обычно, пересалива-

ла: к великому сожалению, у меня не было такой манеры, она была у моего двоюродного брата. Меня же, обладавшего какой-то болезненно-точной памятью в отличие от брата, эти разговоры старших буквально выталкивали из гостиной, где обычно велись они, я, помню, просто задыхался от них, и не потому, что не понимал их до конца, а потому, что они были бесконечными, как мне тогда казалось и как было на самом деле, — это были разговоры «политические». И если уж говорить о происхождении моих «пороков», по маминой терминологии, то этот, какое-то болезненное нежелание слушать разговоры взрослых, происходил скорей от мамы, чем от отца: мама страдала от этих разговоров! И как страдала! Но, в отличие от меня, вынуждена была терпеть их. И принимать в них участие. Бедная моя мама! Всю свою жизнь она ожидала ареста! Готовилась к нему, как к Страшному суду, о чем рассказала мне перед самой своей смертью. Рассказывала, счастливо улыбаясь, по-детски радуясь тому, что избежала его, «Страшного суда»!.. «А бога мне бояться нечего!» — говорила еле шевеля губами, уже бескровными, неразличимыми... Многое открыла мне мама в свои последние дни и ночи, открыла во мне самом, назвала своим именем то, что хранилось на дне моей памяти неподъемным, казалось, грузом. И не только это: я, как в зеркале, в счастливой, детской маминой улыбке, в том, как она рассказывала о прошлых страхах и страданиях — освобожденно, издали, даже радостно, увидел себя, десятилетнего маленького бога, казавшегося себе бессмертным, непричастным к страхам и заботам взрослых, жадно упивавшегося свободой и простором Вселенной, открывшимися ему после долгих детских болезней, — эйфория, которая овладевала тогда и многими взрослыми людьми, вообразившими себя самими здоровыми и молодыми в мире... Тогда, к концу 1936 года, я уже не спускался по нашей лестнице — я съезжал: сначала — лежа на перилах, затем — сидя, за несколько секунд! За десяток же секунд я взбегал и наверх, на четвертый этаж. Уже умел прыгать с моста в реку, а зимой, верней — ранней весной, на льдину — с моста же, с тем, чтобы, перепрыгивая с льдины на льдину, добежать до берега, успеть добежать, ведь льдины несло к плотине, откуда они рушились вниз с грохотом в облаках снежной и водяной пыли! Я уже прыгал на лыжах с десятиметрового трамплина, запросто садился на трамвай и спрыгивал с него на полном ходу — в ногах была моя сила, не было никого быстрее меня на нашей улице и в школе... Я ходил в одиночку на гадюк в деревне, куда меня летом отвозила мама, это было особое наслаждение: ранним утром выйти из дому, сразу же попасть в тихий высокий бор, медленно идти по нему с чувством, будто кто-то за тобой наблюдает, как это бывает в пустынном бору, зарываясь ногами в уже нагретый песок, съехать по крутому скату к лиственному лесу, еще темному, сырому, пробраться сквозь чащу к изумрудной опушке с цве-

тушим подорожником, напоминающим и бенгальские свечи, и змеиные головки, замереть, прислушиваясь, и наконец осторожно шагнуть туда, откуда послышался шорох, к солнечному пятну на глубокой траве, куда наверняка уже притекла тонкая длинная тень, сама ночь, смерть... И, конечно же, учился драться. Учителей вокруг было предостаточно.

Ценилась, помню, не столько сила, сколько смелость, бесстрашие. И я был не последним учеником... Не забуду никогда непрерывные драки взрослых у нас на углу — не драки, убийства! Под вечер, чаще — в праздничные дни, кто-то с кем-то сводил счеты. Станция «скорой помощи» была недалеко, рядом с нашим двором — возможно, это и определяло выбор места для «поединков». Во всяком случае, когда все заканчивалось и один или два трупа или полутрупа, окровавленные, замирали на тротуаре, подъезжала *каре́та*, как тогда говорили, «скорой помощи» и увозила пострадавших. Милиция в нашем районе не показывалась — то ли ее было мало, то ли опасалась появляться... И все это происходило на наших глазах, уже, надо сказать, не расширявшихся от ужаса...

«...Кто не любит бога, любит смерть!» — сказала бабушка, когда я уже выходил из гостиной, и я не слышал, что ответила ей моя мама. Но — ответила, бабушкины речи о боге мама не оставляла без ответа, тут она была со мной заодно. Конечно, она не говорила бабушке, что она отстала, что обманывала своего внука, рассказывая ему об Иисусе Христе; это позволял себе заявлять я, мама только просила бабушку не говорить на такие темы в моем присутствии. «Я же тебя просила, мама!» — повторяла она в подобных случаях. Но однажды и мама заявила бабушке: «Бога нет». Я услышал звонкий мамин голос и вошел в гостиную. Бабушка сидела в своем глубоком низеньком кресле и, улыбаясь одними глазами, смотрела на маму. Маму не остановило мое появление, даже прибавило ей пыла. «Нет! Понимаешь?» — продолжила она громко. Тогда бабушка сказала: «Если бога нет, почему же ты кричишь об этом?.. Нет, так нет!» И мама, не найдя, что ответить, как-то обмякла, словно футбольный мяч, когда из него вдруг вырвется воздух, повернулась и вышла из комнаты. И в глазах у бабушки сразу погасла улыбка. Она и не взглянула на меня. И я не подошел к ней, не положил голову к ней на колени, как когда-то... Да я уже и не смог бы — чтобы положить голову ей на колени, мне самому теперь пришлось бы опуститься перед ней на колени, ведь я уже вырос, стал одного роста с бабушкой... И сколько мне пришлось еще расти, чтобы захотеть и смочь упасть перед бабушкой на колени и попросить у нее прощения за все обиды!.. Ведь я понимал и тогда, что бабушка ждет, что я подойду к ней! Я понимал, видел это! Как понимал и то, что не «веселая жизнь» царит в убогом деревенском домике Ульяновны, а горе, что живут там действительно «несчастливые, больные люди»!.. Но чем лучше понимал, тем меньше хотел понимать! Могу сказать еще определенной: чем больше я понимал

жизнь, людей, тем быстрее бежал от этого понимания... Такая вот тактика. Полной противоположностью мне в этом был мой двоюродный брат: он не просто любил слушать разговоры взрослых, он мыслил: сопоставлял, сверял, подвергал сомнению... Уже в пятом классе он твердо знал, что будет историком, и готовился им стать: много читал, делал выписки и, хотя не стал им, до сих пор не утратил этой страсти все подвергать проверке, уточнению, так, правда, и не приходя к окончательным выводам — что, вероятно, и подобает профессиональному историку. Но вот что удивительно: брат мой все позабыл! Или — почти все, что было в нашем детстве! Те же разговоры взрослых, даже имена!.. Он и сам, хотя и не очень, удивляется этому, говорит: «Надо было все записывать!.. Все мы задним умом крепки!..»

Последняя фраза брата, как солнце, осветила во мне довоенную комнату, где мы жили с мамой (отец только появлялся в ней), ее зеленоватые, «салатные», стены, портрет Ворошилова на одной из них, мой веселый зелено-рыжий диван, белоснежную постель на широкой кровати мамы, коричневый платяной шкаф, темно-красный письменный стол у окна, такого широкого и высокого, что четвертой стеной комнаты можно было считать само небо, если смотреть в окно, лежа на диване или на кровати, и нашу речку, и город до горизонта, если смотреть сидя или стоя, и затягивающую в себя бездну нашего двора с кукольными фигурками людей, если приблизиться к распахнутому окну, к его низенькому подоконнику — наверное, с этим были связаны мои детские сны о падении с огромной высоты, когда я болел, продолжавшиеся до тех пор, пока я не стал летать, выздоровев и научившись плавать (я и летал во сне «брассом»); осветила и тот день (комната наша тогда была наполнена солнцем), когда мы с братом жестоко подрались — так, как не дрались никогда... Я и до этого помнил о той жестокой, безобразной драке, но только сейчас, под конец жизни, вспомнил, откуда у меня взялась такая жестокость, ненависть к брату: я утверждал, что все смогу, когда вырасту, что буду всем, кем только пожелаю, что побываю во всех странах, даже на других планетах, что уже теперь могу такое, чего не могут многие мои ровесники, например, он, мой брат, что, наконец, никогда не умру, если сам не захочу (последнее я доверял брату как тайну, которую не мог выразить иначе как таким одиозным образом); брат же упрямо и насмешливо возражал мне, твердил, что такого не бывает и не может быть, что человек становится кем-то одним: или моряком, или летчиком, или инженером, или историком; и — это смешно, что я никогда не умру; и — что я могу далеко не все, а что могу, то может и он или скоро научится этому... Как мы били друг друга! Особенно сильно и беспощадно — я! Ведь я был сильнее, чем он! Он же только отвечал ударом на удар, и чем сильнее бил я, тем сильнее старался ударить и он, и тем еще сильнее бил я... Не знаю, чем бы все у нас закончилось, если бы не появилась бабушка — в

квартире никого, кроме нас и бабушки, не было, я и сидел дома потому, что бабушка заболела, лежала в своей комнате... Она появилась в дверях вся белая: волосы у нее были распущены, ночная сорочка до пола, она встала с постели, черные ее глаза смотрели с ужасом... Мы вытирали кровь с лица и смотрели на нее... «Вон!» — прошептала она, глядя на меня. «А мне мама сказала, чтоб я сидел дома!» — ответил я грубо. «Вон!» — повторила она тихо, не отрывая от меня своих глаз... И мы с братом вышли, стали медленно спускаться по лестнице... Хорошо это помню: медленно!.. Ведь я должен был сидеть дома! И мама приказала мне, и Женя просила меня об этом — бабушке могла потребоваться помощь!.. Я и вернулся скоро. А брат ушел домой, он тогда жил уже в другом доме на нашей же улице, хотя все время проводил у нас, в нашем дворе или у нас в квартире. И этим, возможно, тоже можно объяснить то, что в памяти брата не все сохранилось — родным для него становился другой дом!.. Но я все же не решаюсь спросить брата, помнит ли он ту нашу драку — он уже перенес инфаркт, его жена оберегает его от лишних волнений, да и он сам старается избегать «нештатных перегрузок», как он со вкусом говорит; он работает на оборонном заводе, продолжает работать, хотя мог бы уже уйти на пенсию...

Однако что-то он, конечно, помнит, вспоминает с удовольствием смешные фамилии, клички жильцов нашего дома, «Хаим» (Иван Абрамович), «Бурьян» (*Бурьен*, толстовская фамилия француза, веселого человека, жившего на втором этаже с женой по фамилии *Заверюха*), имена, хоть и не все, наших друзей, но судьбы этих людей его не очень интересуют. Верней, ему нужны, так сказать, доказательства, что все, что с ними случилось, было именно так, а не иначе. Доказательства же у меня, в частности, нет, как нет уже и очевидцев, а тем более самих героев тех давних событий, и они для брата как бы и не происходили вовсе, возникли в чьем-то испуганном воображении. Правда, я не знаю, не представляю себе, что изменилось бы, получи брат какие-нибудь доказательства, разболелось бы сердце? Но сегодня перед ним предостаточно всяческих «доказательств» подобного рода, он много читает, и ничего, слава богу! Впрочем, ему и теперь не хватает доказательств — и в отношении Сталина, и — 37 года, и он сохраняет спокойствие, остается историком «по существу», как он объяснил мне. «По призванию!» — попробовал я уточнить. «Нет, по существу! — сказал он, как бы застенчиво улыбаясь, давая понять, что не шутит. — Ведь в чем смысл дотошности, скрупулезности историка? В том, чтобы возведенное здание истории было именно таким, каким оно было! Мы же, что делать — судьба!, работаем над его завершающей частью, так сказать... Как оно называется в архитектуре? Фронтон?...» Мне нечего было ему ответить — все мы, так или иначе, работали над «завершающей частью» истории, старались покончить с ней, со временем, и чем, спрашивается, отличалась моя хорошая память

от плохой брата? Ничем. Или тем, чем отличается бегство от планомерного отступления: я не хотел вспоминать, он просто забывал...

Лестница нашего дома — лучший для меня образ моего бегства, в котором, я уже говорил об этом, скорость спуска возрастала прямо пропорционально степени понимания того, что происходило за дверьми квартир, мимо которых я пролетал (с тех пор, как стал «летать») или — «проныривал» (с тех пор, как научился плавать), и для меня долго оставалось загадкой: откуда же бралось это «понимание», ведь я не заходил в эти квартиры, за исключением двух-трех, где жили мои друзья, хотя видел, знал всех их обитателей?

Первый этаж: две квартиры напротив друг друга, образ «дна» для меня: здесь я, оттолкнувшись, «выплывал» во двор. Одна квартира — фанерная гулкая пустыня, напоминающая выгородки какой-то театральной декорации, прежде — контора нашего домоуправления. Чуть ли не каждую ночь, верней — каждый поздний вечер, там разыгрывался какой-то не очень понятный мне спектакль: что-то грохотало, трещало, рушилось, там пытали, убивали — звериный хриплый вой вырывался оттуда, он то ослабевал, то нарастал, затем следовал пронзительный женский вопль, казалось, последний, предсмертный, но спустя небольшой промежуток времени все повторялось в той же последовательности. Стонала, выла и вопила «Надька», Надежда Николаевна, высокая томная алкоголичка с прекрасными синими глазами, с тонкой талией, широченными бедрами и задом, бывшим ей явно в тягость — так и с таким выражением на лице она двигалась по двору, страдальчески и горделиво: как будто хотела, но не сумела оставить дома эту часть своего тела и теперь тащила ее за собой, как упирающуюся собаку. Сравнение это, с собакой, не для красного словца — собака в нашем доме была, так сказать, эмблемой благополучия, богатства, значительности, породистая, понятно, собака, и такие жили только в одной квартире, бело-рыжая хищная борзая, черная добрая легавая и черно-белый веселый спаниель, хозяин которых и сам был олицетворением породы и благородства — наружно: высокий, седой, с чуть отвислыми, по-собачьи, щеками, величественно отвечающий на приветствия; бедную же, прекрасногозую алкоголичку этот охотник презирал, грозил выселить ее из дома «за безобразное поведение», и Надька ненавидела его и боялась. Положиться же на своего мужа как на защитника Надька, видимо, не могла — он и сам, маленький, костлявый, бывший кавалерист, никогда не ходивший по двору неспешно, только «рысью», торопился вернуться домой только, казалось, для того, чтобы наказать свою вечно хмельную подругу. И когда начиналось «избиение» и вой достигал нашего этажа, я страшно жалел, что дома нет моего отца, тоже в прошлом кавалериста и тоже проходившего по двору «рысью» — уж он-то, думал я, сумел бы поговорить с этим Носиковым, мужем Надьки,

дал бы ему, как следует, мой отец это умел. Так мне думалось, пока однажды отец меня не разочаровал: в ответ на мамино возмущение («До каких пор будет продолжаться это безобразие!..»), отец, сидевший за письменным столом с книгой, резко бросил тоже непонятное мне: «Успокойся, Вера! У сучки течка. И точка.» И мама оскорбленно, как будто задохнулась, умолкла... А Женя, моя тетка, в таких случаях лишь усмехалась. «Они же муж и жена!» — говорила она, и мне казалось, что ей нравились эти сцены, этот спектакль. А бабушка уходила в свою комнатку и, я слышал, молилась, просила Бога простить «их, грешных», но, случалось, и спускалась на первый этаж, и тогда шум и вопли смолкали...

Такое случалось, когда я еще не ходил в школу и бабушка еще выходила во двор, сидела на скамейке, и все, кто проходил мимо, почти-тельно с ней здоровались, спрашивали о ее здоровье, приглашали к себе в гости. И теперь я понимаю то, о чем прежде лишь догадывался или смутно припоминал: когда бабушка гуляла со мной, учила меня ходить, она приводила меня в те квартиры, где потом мне уже не приходилось бывать, но которые я запомнил, как оказалось, на всю жизнь, — даже ту, другую квартиру, на первом этаже, чья дверь вообще никогда не открывалась, а те, кто входил туда и выходил оттуда, протискивались в чуть приотворенную дверь, и дверь тут же захлопывалась и, было слышно, запиралась на несколько замков. В квартире этой всегда было темно — и в коридоре, и в комнатах все пространство заполняли чемоданы, баулы, саквояжи, по виду переполненные, а еще — в комнатах — кровати, много кроватей, как в больнице или в тюрьме, если учесть, что все окна были зарешечены, и невыносимо пахло лекарствами: в семье была болезнь, менингит, болели мать и ее взрослая дочь, прекрасная черноглазая Мифа. Я видел ее выходявшей во двор всего два-три раза в своей жизни, это было событие для всех. Помню крик: «Мифа вышла!». И — как снег летом: неправдоподобно белолицая, белорукая, с горящими черными глазами, поистине мифическое существо, спящая царевна!.. Как горели, переливались ее глаза! Как она вся светилась, сияла! И — смущалась, не я один не мог оторвать от нее глаз! Да что я! Я для нее и не существовал, она была старше меня лет на пять, семь — она улыбалась своим ровесникам, бывшим одноклассникам, — она ведь не училась больше в школе, не могла, — с ними и разговаривала, пока ее отец, белоголовый, статный и черноглазый, как его дочь, не выходил во двор и не уводил ее домой, в темницу. Говорили, что семья собирается куда-то уехать, и так, вероятно, и обстояло дело — сколько можно было жить в этой тюрьме, за решеткой, в соседстве с орущей Надькой, в вечном страхе ограбления? Но, увы, так они и не собрались в дорогу, родители Мифы, их собрали — в последний путь, на казнь, как всех евреев в городе, — немцы...

Еще три еврея из нашего дома погибли в гетто: мать нашего рыжего Изьки и супружеская пара, обитавшая в той же квартире, где жила Надька со своим Носиковым! Да, именно там они жили, в комнатухе с окном во двор, улыбающиеся пожилые люди, тихие, как тени, всегда в одной и той же, как мне казалось, одежде, — он в шляпе, она в шляпке, тоже вроде бы готовые к дальней дороге, и когда с кем-нибудь останавливались поговорить, то как будто конфузились — оттого, что отнимают время, спешили раскланяться, спрятаться у себя в комнатке, в этом фанерном аду... Так они и сохранились в моей памяти, как на фотокарточке: стоят в своем окне, наблюдают за игрой в футбол, например, улыбаются... Рассказывали, что они подкармливали вечно алчущую Надьку и ее Носикова. Не знаю. Но когда немцы уводили их вместе с другими евреями дома, Надька, рассказывал мне впоследствии Изька, бросалась на немцев, кричала, что они, эти двое, не евреи, а ее, Надьки, дядя и тетя, плакала и орала, пока один солдат не ударил ее так, что она упала... Надо однако сказать, что какую-то роль сыграл тут и наш Охотник, назову его так; он сказал немцам, по-немецки, что Надька говорит неправду. Проходил вроде мимо, приостановился величественно этак и сказал. Не это, конечно, решило судьбу двух несчастных, у немцев уже были списки, и водил их по дому наш Хаим, Иван Абрамович, но... Какую-то, подобную этой, роль сыграл наш Охотник и в судьбе самого Изьки и его матери — подтолкнул падающего... Но об этом чуть позже, нам еще предстоит подняться на третий этаж, где жили и охотник, и Изька с матерью, глухой Марусей...

Второй этаж нашего дома был таким же контрастным, как и первый. Одна квартира казалась мне ожившей иллюстрацией к русской народной сказке, верней — к нескольким сказкам, с Бабой Ягой и Иванушкой-дурачком, с королевичем Елисеем и злой царицей из пушкинской сказки о мертвой царевне и семи богатырях, с зеркалами в золоченных окладах, с бархатом всех цветов, с шелками, драгоценностями на шее, на руках у злой царицы, с ее визгливым пением и лаем Бабы Яги. Но преобладал здесь все же темно-красный цвет, на стенах, портьерах, в нарядах злой царицы, Дуси, Евдокии Евграфовны, официантки самого большого и популярного ресторана в городе, женщины моложавой и милостливой, но очень худой («от злости», говорили в доме), матери Иванушки-дурачка, Графика, Евграфа Дмитриевича, как величала своего внука его бабка, Пелагея Ивановна, Баба Яга. Она, Пелагея, не позволяла ему, кукольно красивому и беспомощному, холеному и хвастливому отпрыску, играть с нами, вообще выходить во двор, когда мы были там, водила его сама, как породистого щенка, гулять в скверик — по соседству с нашим домом, на травку, и он для нас не существовал, мы старались его не замечать, хотя это было для нас нелегко; но никто не хотел связываться с «Пелагеей», как называли во дворе его бабку, — ее язык, ее голос

не хуже, чем вопли пьяной Надьки ночью, сотрясали наш дом днем. С утра до вечера, выходил ли ее внук во двор или не выходил, она, и внешне — сказочный персонаж, большая и костлявая, как дочь, с редкими громадными зубами, сидела у окна, раскрытого или закрытого, и смотрела во двор. Ничего не ускользало от ее цепких глаз и зубастого языка, и взрослых она задевала своими ядовитыми репликами, а в войну, рассказывали, во время оккупации, сыпала со своего насеста и на немцев, приходивших во двор; видимо, ее не пристрелили только потому, что не понимали, что она там говорит, эта старуха. Только бабушку мою она почитала, Пелагея. Высовывалась из окна, здоровалась громко, когда бабушка бывала во дворе, выходила из своей квартиры, когда бабушка поднималась по лестнице, кланялась, и меня нередко окликала своим лаем: «Как там Анна Осиповна чувствуют?..». Пелагея с мужем сняли квартиру у бабушки еще до революции, были самыми старыми жильцами в доме... Но когда Изька бежал из гетто, именно Пелагея спрятала его у себя. Хотела, правда, и Надька, ее муж, Носиков, был на фронте, его призвали в начале войны, но Пелагея не позволила ни ей, ни Изьке. «Она ж тебя в постель к себе положит! — объясняла она Изьке. — И алкоголиком исделает!». И правда, Надька, не просыхавшая и в оккупацию, объяснила Изьке, что выдаст его за своего мужа. «Ну, в крайнем случае, за сына, если не поверят!», — говорила она ему. Бедная Надька, ее судили после войны за связь с оккупантами — она, естественно, приводила к себе немецких солдат, без этого не могла, и там она и сгинула, в заключении...

Королевич же Елисей, отец Графика, был прекрасен собой: статен, красив, молод. Я хорошо помню его в кожаном длинном пальто, в шляпе, вид европейца. Он вечно находился в разъездах, говорили, что он служит в НКВД, но поскольку эти сведения исходили от Пелагеи, им не очень верили, не хотели верить, не могли — уж очень он был хорош собой: открытый, веселый, свободный, — как не могли понять (в частности — моя тетка, Женья), «как такой мужчина может жить с этой выдрой-официанткой и поварихой-Бабарихой?» Пелагея в прошлом, до революции, тоже работала в ресторане, поварихой. И теткинны слова находили отклик во мне, но в другой редакции: может быть, он, Королевич Елисей, не знает, что под ним, на первом этаже, в темнице, томится спящая царевна? Он редко бывал дома, отец Иванушки-дурачка, мог и не знать!.. Поверили же — что он служит в НКВД — в 1937 году, когда из квартиры напротив, одного за другим, «забрали» двух ее обитателей...

Она была тиха, эта квартира, как квартира Мифы, и пустынна, как та, где жила Надька со своим кавалеристом. Но тишина эта и пустынность были, так сказать, бодрствующими — в квартире царили покой, чистота, разум. Жильцы, француз Бурьен, «Бурьян», быстрый, маленький человек с большим, лошадиным лицом, всегда улыбающимся, его жена,

милая, приветливая женщина, больше похожая на француженку, чем ее муж на француза, оба люди уже немолодые, радиоинженеры, и учитель истории в нашей школе Яков Львович, «Яша» (как мне представлялось, жених моей тети Жени) днем обычно отсутствовали, возвращались домой под вечер, но и тогда, когда в квартире загорался электрический свет, казалось, что день здесь продолжается чуть ли не всю ночь, день ясный, тихий, осенний... Как мне описать его, Яшу? Ведь именно он олицетворял «разум» в этой квартире! Его окно горело чуть ли не всю ночь — Яша читал и писал... Хотя, если представить себе его одного в квартире, без его чутких и тонких соседей, с одними книгами, с которыми он беседовал, вслух!, не стесняясь присутствия кого бы то ни было, а вернее — при непременно присутствии живого слушателя, живой аудитории, необходимой, так сказать, для резонанса, то этот «разум», думаю, приобрел бы какое-то другое качество, попросту погас бы, как свеча, — Яша не мог не говорить и ему требовались слушатели. Или его погасили бы, как свечу, — в доме знали, что Яша ночью «разговаривает сам с собой» — что, впрочем, и произошло в результате... Ему было за тридцать, «возраст Иисуса Христа», как любил отмечать он: округлое детское лицо, седая выющаяся шевелюра, голубые, немного нависшие, невидящие глаза... Он и не видел, верней — не замечал, тех, с кем не мог поговорить. И смотрел так, как будто не мог понять, кто они и откуда. Преподаватель истории в школе, он и на детей смотрел так, точнее — видел их как бы на очень большом удалении от себя, и — не детей, собственно, а взрослых дальним планом. И школьники чувствовали его «высоту», относились к нему как к «своему», видели в нем, скажем так, ребенка-вундеркинда и уважали. И его соседи так же: «Бурьян» выслушивал Яшины речи восторженно, радостно скидывал свою большую черноволосую голову, показывал большие желтые зубы, повторял вслед за Яшей его словечки; жена же его, Заверюха, улыбалась — ласково, тонко, душевно, по-матерински. И бабушка моя его любила, Яшу. И моя мама была явно равнодушна к нему, этому «умнице и благородному человеку», как она говорила, хотя речи Яши приводили маму в немалое смущение. Но маме казалось (так мне виделось, чувствовалось), что эти «речи» в Яше не главное, что их можно и вычеркнуть, погасить! И тетке моей, Жене, тоже так казалось. Больше того, она, Женья, и «гасила» их игриво: «Яшуня, не резонерствуй!» — останавливала она, случалось, Яшу, и он останавливался и смотрел на улыбающуюся, в ямочках, округлое, как у бабушки, Женино лицо так, как будто вдруг потерял очки и не мог понять, что с ним случилось, где он и кто с ним рядом. Правда, в таких случаях он быстро приходил в себя и продолжал свои речи, иногда — с помощью моей мамы. С помощью в кавычках — мама как раз хотела «погасить» Яшу, возражала ему: «Но вы же не можете отрицать, Яша, что в начале, в двадцатых, был какой-

то расцвет, энтузиазм!..». «Какой расцвет? Расцвет чего? — вспыхивал Яша с новой силой. — Расцвет новых злодеяний? Убийств? Лжи? Идиотизма?..». Мама моя бледнела. Но не смела возражать — родители Яши, мы знали об этом, были вырезаны под Одессой котовцами. «Но что теперь делать? — продолжал Яша. — Как ее преподавать, историю? Раньше было бессмысленно: история завершилась! Теперь — невозможно: все, оказывается, в прошлом стремилось к коммунизму, все дороги вели к нему!.. В одну, братскую, могилу!.. В первобытные пещеры — на новом витке спирали! А? — Яша торжествующе улыбался. — Как, Анна Осиповна, просил ваш брат? — Яша обращался к бабушке, и бабушка улыбалась ему в ответ одними глазами. — Верно я говорю? — «Вольдемар, не берите власть!»... Бабушка чуть заметно кивала Яше. «Ну, вот, — продолжал он удовлетворенно, — а он не послушал никого! Как же не брать, когда она сама плывет в руки! Надо «взять», а там будет видно! И увидели!..». Тогда я не знал, о каком «Вольдемаре» идет речь, и долго не знал, лишь перед смертью своей мама рассказала мне, что брат бабушки, тоже революционер, как и мой дед, муж бабушки, так обращался к Ленину, они были хорошо знакомы по границе... Помню, как вошел в гостиную отец. «И правильно сделал! — рубанул он сходу. — Раз у других кишка была тонка брать власть, взял он! Пока такие умники, как вы, — он хищно улыбался Яше, — философствовали! Ручки боялись замарать!..». Отец, как я понимал, в общем не расхохотался с Яшей, они, случалось, пели вместе, когда собирались за столом, русские и украинские народные песни, отец — тенором, Яша — баритоном, и чаще всего — эту:

Чуєш, брате мій,
Журавлі летять,
Улітають журавлі...
Тільки «Кру-кру-кру»,
В чужині помру,
Через море не перелечу,
Крилонька зітру...»

Но к речам Яши отец относился иронически, за глаза называл его «наш Спиноза», «наш раввин», что вызывало у мамы бурную реакцию протеста. Как и экстремистские речи отца, пугавшие ее еще больше, чем нескончаемый распевной монолог Яши, его, так сказать, речитатив. «Куда мы идем?, — передразнивал отец Яшу. — Нет больше «мы»! — голос отца взлетал, как будто он командовал. — Нет!.. Есть рабы и их новые хозяева! Хорошо усвоившие, что рабов надо держать в страхе!.. И — недобитые! Те же рабы — своей вековой привычки уравнивать себя с народом!.. А народа больше нет! Есть армия рабов! Стадо!..». Он бывал неприятен мне, отец, в такие минуты — резкое, жесткое лицо его еще больше заострялось, ноздри костистого носа раздувались, темно-русые волосы падали на глаза, и он отбрасывал их рукой

так, будто замахивался. Руки у него были могучие, ширококостные, свою именную шашку он держал в руке легко, как деревянную палку, как художник — кисть. Он любил подчеркивать свое рабочее происхождение, что он — москвич, и я помню, сколько раз он обещал повезти меня в Москву, познакомить с другой бабушкой, его матерью, (отец его умер до революции), но так и не выполнил своего обещания. Потом уже мне стало известно, что мать отца была тяжелобольным человеком, алкоголичкой, спившейся после смерти мужа и умершей перед самой войной в больнице... Но иногда мне становилось жалко его, я чувствовал, что он страдает — мы-то, дети, еще были «мы» и не были «стадом», и никто нас еще не держал в страхе. И бесстрашие наше, мое, в частности, возросло и потому, что это наше «мы» расширялось — в то время круг моих друзей уже начал увеличиваться: я медленно сближался с ребятами из класса, но зато, как тогда, до войны, казалось, — навсегда...

Высказавшись подобным образом, отец либо уходил, либо обращался к бабушке, резко меняя тон, либо ко мне — почти не меняя тона; а Яша умолкал, сникал, улетучивалась его торжественность, главная, может быть, конституционная черта его облика, его души, он как бы не находил себе места, беспомощно оглядывался по сторонам и, как ребенок, льнул к моей бабушке: подходил к ней, кружил вокруг ее кресла, и бабушка, чувствуя, видимо, его состояние, брала его за руку и говорила: «Садитесь, Яша». Или: «Закусите, Яша». И они беседовали: «Расскажите мне, Яша, что нового в школе». И Яша охотно рассказывал. Слушая его, я не узнавал нашу школу — это был взгляд с какой-то очень уж большой высоты, лица учителей и детей сливались в одно растерянное обличье с выпученными от удивления и растерянности глазами, глазами самого Яши, и этот разбухший до невероятных размеров лик и был в устах Яши нашей школой, где никто ничего и никого не понимает.. Он с удовольствием цитировал украинские стихи, которые мы заучивали в младших классах:

Наша вулиця широка,
Наша вулиця нова,
Зліва, справа тротуари,
В середині — мостова.

«А? — восклицал он, улыбаясь, оглядывая окружающих. — Какова первозданность! И написал же неплохой человек, интеллигент!.. Как нам хочется в пещеры! Бедные дети! Бедный народ!..». Последние слова однако не означали действительного сострадания к «бедным детям», к «бедному народу» — это была скорей риторическая фигура, поскольку отдельных людей Яша, как я уже говорил, просто не замечал. Так, например, для него не существовало понятия «болен», «нездоров», «голоден», только — «умно» или «глупо», «талантливо» или «бездарно». Он нередко приговаривал: «Если человек болен, пусть полечится» (тогда,

мол, будем разговаривать). Нередко повторял пушкинское: «Наука первая — чтить самого себя». И пояснял: «Именно — наука: чтить себя не означает думать только о себе, стараться сберечь свою душу, тот-то и потеряет ее, но так заботиться о себе, чтобы быть в силах помогать другим!..». Это мне было понятно, но я сомневался в том, что сам Яша вполне постиг эту «первую науку» — когда бабушка болела, переставала выходить из своей комнаты, она как бы переставала существовать для Яши, он даже не справлялся о ее здоровье, правда, несколько понижал голос, когда начинал свой «речитатив». Так и теперь — рассказывая негромко о школе, он ждал момента, чтобы опять заговорить во весь голос, обводил взглядом песочные стены гостиной так, будто видел их впервые. Но момент все не представлялся, и он, как бы продолжая разговор с бабушкой, адресуясь к ней, а на самом деле, чтобы привлечь к себе внимание, громко и раздельно, нараспев произносил евангельское: «Соблазнам суждено прийти в мир, но горе тем, через кого они приходят». И прибавлял, уже от себя: «Этим все сказано: рай на земле есть ад!..». Но, увы, ему и тут никто не откликнулся, только бабушка смотрела на него с нежной улыбкой в глазах. И вдруг по радио начиналось: «Чуют правду!..», ария Сусанина, и Яша вставал. «Опять! А? — говорил он оглядывая всех. — Кто чует правду? Кто?.. Какую правду? А?.. Что это означает?..». Люди моего возраста не могут не помнить, как часто до войны звучала эта ария по радио, и теперь я размышляю: в самом деле, что означало это чуть ли не ежедневное исполнение ее? Вождю нравилось? Провоцировал кого-то? Кто-то так подавал весть, напоминал, призывал? Ведь затем шло достаточно двусмысленное: «Ты, заря, скорее заблести, скорее возвести спасение царя!..». И Яша продолжал: «Какого царя? А?.. Что это значит?.. Полный идиотизм!..». Но ему и тут не откликались, закусывали после выпитого, однако не мешали говорить, слушали поневоле. Только Женя раздраженно, но не зло, останавливала его: «Яшенька, голубчик, дай послушать — Михайлов же!..». «Ну, слушай своего Михайлова, — отвечал Яша демонстративно, всем. — Дослушаетесь!..» Женя и мама обожали оперное пение.

Но Женя, в отличие от мамы, увлекалась и эстрадной песней. Когда в городе появлялись знаменитости — то ли Козин, то ли Виноградов, Юрьева, Шульженко — Женя не пропускала их концертов и, конечно, тянула за собой Яшу, хотя он очень сопротивлялся, называл эстрадное пение «козлиным». Моя мама, жаждавшая меры во всем, возражала Яше, говорила с этакой ласковой, кокетливой укоризной: «Ну, почему же «козлиное», Яша? У них, конечно, нет голосов, но они поют неплохо, с душой!..». И Яша, радуясь случаю, объяснял маме и всем присутствовавшим, что «козлиное пение» — не знак исполнительского качества, но — родовая черта подобного, «душевного», пения, по сути — «трагического

пения», что «трагос» по-гречески — «козел», «трагедия» — козлиное пение, бление приносимого в жертву животного. «Так что нами, — победно подводил черту Яша, — возвращается словам их первородный смысл — нашего излюбленного цвета, крови!..» Мама, помню, побледнела, но не сдалась. «Как вы, Яша, легко, даже весело, толкуете об этом: «жертва», «кровь»! — сказала она, поджав губы и откинув голову. — И... как-никак, это все же искусство, и оно понятно народу! Оно не решает жизненных проблем, но как-то утешает людей!..» И Яша принял удар — его глаза, казалось, стали зрячими, потемнели, потеплели. Он шагнул к маме так, будто хотел взять ее за руки, и мамино лицо порозовело. «Вера, — сказал он проникновенно, — не я легко и весело толкую об этом, о жертве и крови, но — искусство, настоящее искусство, которое как раз и занимается только неразрешимыми проблемами, и легкость, и веселость эти происходят из того, что в настоящем искусстве открывается бог, вернее — приоткрывается!.. И этим-то оно и спасает нас от действительных жертвоприношений и крови!.. Но нам всегда почему-то не хватало воображения — то ли от трусости, нашего *себе на уме*, то ли от нашего дикарского, оглушающего и ослепляющего ощущения своей громадности, богоподобности... И сейчас, когда этому потакают, подталкивают народ к самоубийству, превращают страну в концлагерь, утешать и утешаться...» Тут уже моя мама не выдержала: краска у нее на лице сменилась бледностью, она извинилась и вышла из гостиной. И позвала меня...

Последний раз я видел Яшу у него в комнате. Был выходной день, утро. Мама разбудила меня и сказала: «Спустись к Яше, скажи Жене, чтобы шла домой — бабушка что-то себя неважно чувствует...». Я спустился на второй этаж, позвонил. Открыл мне «Бурьян». Сразу же заулыбался, галантно поклонившись (так он шутил), пропустил меня в прихожую. И я услышал... Арию Сусанина — в исполнении Яши!.. «Да-да!..» — звонко ответил он на мой стук в дверь. Он стоял посреди комнаты в трусах, белый, как молоко, а Женья лежала в кровати под одеялом. Она смутилась, покраснела, но тут же стала смеяться. «Чего ты приперся, дурачок?..» — говорила она смеясь. Ее длинные, распущенные волосы накрывали всю подушку. Я сказал. «Иди! — скомандовала она. — Я сейчас приду!». Она все смеялась... А Яша, видно, все же усмотрел какой-то смысл, для себя, в арии Сусанина, в этом: «Ты взойдешь, моя заря! Настало время мое!». Он хорошо пел...

Когда его «забрали», а вслед за ним, через несколько дней, и «Бурьяна», и до Пелагеи дошли разговоры о том, что это дело рук ее зятя, Королевича Елисея, она спустилась во двор и стала кричать всему дому, что их Дима, ее зять, никакой ни энкавэдэшник, а экспедитор в ресторане, что им, ей, в частности, «а Димочке еще больше», «эти инородцы» не нужны и за три копейки. «Чего мне, ихняя жилплощадь нужна, а? — вопрошала она. — Что ж мы — звери ненасытные какие? Нам и своего

хватает!.. А если кто их выдал, так наверняка Богини — они ж партийные, им все до рук прибрать надо!.. Маруську с дитем выселили, надо же!..». Кричала она, как резаная, полчаса, не меньше... И убедила всех в своей непричастности к аресту «инородцев» — в искренности и бесстрашии Пелагеи никто не сомневался. Но и обвинения ее были в общем неосновательны: так, Яшу, например, и незачем было «выдавать», он сам выдавал себя с головой, верней — головой, своим «разумом», он ведь еще и писал, и посылал свои сочинения в различные издания, то есть сам же предоставлял «вещдоки» своей «преступности». Что, о чем он писал?.. Женя, много лет спустя, когда Яши давно уже не было в живых, по сведениям, добытым ею в МГБ, рассказывала мне, что то были сочинения философские и, как я понял, главная их идея заключалась в том, что — как это сегодня выразить без словаря, лексики Хайдеггера или, скажем, Фромма? — человек, соблазнившись своей властью над природой, окончательно утратил Бога, что непременно приведет его к самоуничтожению; даже в русской литературе, после Пушкина, он усматривал рост (или — отражение) этого «соблазна» — у Льва Толстого, Бунина — что в результате лишило и Слово его божественной свободы... И «важнейшее из искусств» ему представлялось последней ступенью этого «соблазна», падением и творческим, и нравственным, и даже физическим, или — образом этого падения, сужения человеческого духа под видом его расширения, буквальным погружением в сновидческую ночь. И это писалось в тридцатые годы, в разгар индустриализации!.. Кстати, и Хайдеггер, кажется, начинал в те тридцатые годы — идеи же носятся в воздухе, — даже, видно, и там, где почти нечем дышать... Вряд ли что-то сохранилось от сочинений бедного Яши, а вдруг?.. Где-нибудь?.. Наверняка это было бы интересно и сегодня, во всяком случае, понятнее, проще, чем Хайдеггер — ведь это сугубо наше: святая душевная простота!..

Что же касается Богиных — они жили на третьем этаже, занимали, после «выселения» Маруси с Изькой, квартиру полностью, как, впрочем, и сама Пелагея с семьей, и Мифа, и наша семья, — то это было слишком уж огульное обвинение: во-первых, Богини не могли «выдать» Яшу, да и «Бурьяна», поскольку не смогли бы Яшу понять, если бы и слышали его, а он с ними не разговаривал, верней — они, Богини, не разговаривали ни с ним, ни с «Бурьяном», да и ни с кем в доме, за исключением нашей семьи. Во-вторых, Богини не посмели бы претендовать на «жил-площадь» на другом, втором, этаже — с этим в нашем доме было строго, как будто дом находился под каким-то сверхприсмотром: освободившаяся комната тут же опечатывалась и сразу же заселялась новыми жильцами, в основном — военными, хотя, действительно, Богин, глава семьи, майор, начальник военной типографии, сумел переселить «Марусю с дитем» из комнаты в своей, теперь уже целиком своей, квартиры в

такую же точно комнату в квартире напротив, в логово Охотника — там умер старик-музыкант (Пелагея тогда кричала во дворе: «Еще неизвестно, чего он вдруг помер! Кто ему подмог помереть?...»). Но Богину удалось осуществить этот ход с согласия Маруси, которую уговорили перейти — к великой, но затаенной ярости Охотника, метившего на эту комнату. Однако у Богина росла семья, его жена, маленькая, уже очень немолодая, или казавшаяся мне такой, напоминавшая кроткую, усталую козу, покорно продолжала рожать, а у Охотника и у его жены если и предвиделось прибавление, так только собак...

Они не только не разговаривали друг с другом, эти семьи, они даже не здоровались, хотя смотрели друг на друга при встрече, не отводя глаз, и напоминали мне шахматистов, ведущих нескончаемую молчаливую борьбу. И после такого пешечного хода со стороны противника — «Маруся с дитем»! — Охотник явно не собирался сдаваться, как раз тогда он приобрел третью собаку, красивую злую борзую. В чем же был смысл, причина этого враждебного противостояния? Я понимал: это были две власти, минувшая и настоящая. Охотник, в прошлом княжеский егерь, ни больше, ни меньше, и теперь что-то значил, руководил обществом охотников, точнее — был заместителем Председателя этого общества, за ним нередко приезжали на машине большие начальники по виду, и он уезжал с ними и своими собаками. Конечно, кому-то он был нужен со своей профессией, и он сохранялся если и не во всей своей первозданной красе княжеского егеря, то частичной: его высокие кожаные сапоги, куртки, шляпы, ружья, вся охотничья амуниция так и излучали великолепие прошлой роскоши, и комнаты его сверкали, темно золотились этим прошлым, но не казались музейными — с прекрасными картинами, мебелью — они жили, продолжали жить, мощно, уверенно, спокойно. Таков был и сам он, Охотник, очень уже немолодой, но не старик. Подстать ему была и его жена, Екатерина Петровна, и в ней моментами проглядывала царственность, как ее, царственность, видимо, понимала жена Охотника: открывая, например, дверь своей квартиры, она делала шаг вперед, заполняя собой весь дверной проем, и гневно спрашивала того, кто звонил: «Чего надо?» И по двору она ходила так, высоко держа голову, не спеша, озираясь вокруг гневными своими маленькими зелеными глазками. Ее побаивались. Кроме, понятно, Пелагеи, которая, как я понимал, видела в ней, «Катьке», как она называла жену Охотника, ровню себе, только «зверее» себя. Самого Охотника она, Пелагея, правда, не задевала, но достаточно ему было пройти, скрыться с глаз, как она начинала сыпать: «Цари! Из грязи — в князи?.. Надеются, вернется все?.. Не надейтесь — Богини тебе скоро башку снимут!.. И собак твоих сдадут на живодерню!.. Поразвели зверья в доме! Будто они одни тут! Князья!..». Правда, говорилось все это без особой злости, как бы автоматически, по инерции — Пелагея не

могла не говорить. Но люди эти были ей понятны, свои, они и общались: Екатерина Петровна, жена Охотника, заходила к Пелагее, Дуся, «злая царица», бывала у них, у Охотника. Другое дело Богины. Туг Пелагея выбирала слова, как мне казалось; ее злоречие становилось, так сказать, косвенным: то она прохаживалась насчет одежды, поведения детей Богина, старшего Сеньки и младшего Тольки, моего ровесника, то задевала их мать, жену Богина, выходявшую во двор с девочками, одна — в коляске, другая — трехлетка, но задевала, как бы проявляя участие: «Чего сама коляску тащишь? — орала она. — Мужиков нету в доме, что ли? Вот зверье, все на бабу нагрузить норовят! Так хоть бы в теле, здоровая была, а то ж нету ничего, одна кожа!..». Или: «Чего ты ее так укутала, малую?.. Упрет, схватит насморк и помрет!.. Думаешь, еще нарожаешь? Не думай! Это твоему кобелю нестрашно: подрыгался и пошел... Другими командовать!.. А тебе еще детей растить, вон они какие бандиты, вылезли уже с мячом своим, покоя нету!..». Мать Тольки слушала эти речи так, как будто не слышала, даже не улыбалась, усталость и кротость не сходила с ее узенького удлиненного лица.

Толька тоже, как и все мы, не обращал внимания на Пелагею, но иногда пытался огрызаться, учился разговаривать с Пелагеей у своего старшего брата, ровесника Мифы, десятиклассника, который тогда, в начале 1937-го, был похож внешне на своего отца, в отличие от Тольки, курносенького и щупленького, и явно, в свою очередь, подражавшего отцу. Он, Сенька, мощный, курчавый, темно-русый, останавливался в таких случаях перед Пелагеей, красивые его, ярко-карие глаза улыбались, и спокойно так произносил, басовито, как его отец: «Пелагея Ивановна, вы сами закройте свой рот или вам помочь его закрыть?». Это бывало очень эффектно, поскольку звучало очень многозначительно. Так однажды и сам Богин, отец, но — без позерства своего старшего сына, сухо и деловито: «В чем дело, Пелагея Ивановна?». Он остановился перед ее окном, с трудом, казалось, поднял свои карие библейские глаза, неподвижную, похожую на прижатые рога шевелюру над низким лбом. «А?.. Почему вы не можете жить спокойно, Пелагея Ивановна, как все люди? А?..». Это был голос Сталина, эхо его голоса, его интонации — они все кому-то подражали, Богины: отец — Сталину, Сенька — отцу, Толька — Сеньке. Пелагея не ответила, скрылась в своем окне. (Когда Богин проходил по двору, шел домой, машина привезла его, Пелагея не удержалась, бросила сверху: «Фон барон!..»). Мы — я, Изька, Толька — были свидетелями этой сцены, и когда Толькин отец ушел, стали спорить: что сказала Пелагея? Изька утверждал, что она сказала: «Вон баран!», на что Толька возражал: «Если бы она сказала «баран», отец бы ей такое сделал, что...». Изька, тонкий, умный, чуткий наш Изька, спросил: «А, по-твоему, «барон» лучше «барана»? И Толька не нашел ответа сразу: наморщив свой маленький, как у отца, лоб, наконец нашел: «Все же барон —

человек, а баран — нет...». «Но от барана есть какая-то польза, — продолжал тонко иронизировать Изька, — а от барона нет!». «Что ты хочешь этим сказать, рыжий? — взорвался Толька. — Клоун несчастный! У самого нет отца, вот и завидует!..». Следующим логическим ходом у Тольки был бы кулак, но при мне он не решался это себе позволить...

Когда Изька с матерью еще жил у Богиных (как говорил Толька: «жил у нас»), я бывал там, в их квартире, чуть ли не каждый день, в основном — у Изьки, в его комнате, чистенькой и бедной. У Богиных — реже: там невозможно было долго находиться — маленькие дети, беспорядок, повсюду разбросана одежда, постели не убраны, немытая посуда на столах, на подоконниках, казалось, они тоже, как семья Мифы, собирались в дорогу, но — только начали сборы. И сам Толька чаще приходил к Изьке, чем Изька к нему, нередко готовил уроки у Изьки, читал — у Богиных не было книг, только газеты, газеты, газеты и учебники. И детские книжки с картинками.

Приходили они и ко мне, чаще — Изька. Бабушка моя непременно угощала его чем-нибудь, иногда заставляла пообедать со мной, а Женя вообще обращалась с ним, как с маленьким — смолоду, видно, в ней жила неутоленная жажда ребенка, так и оставшаяся неутоленной: долго она надеялась на возвращение Яши, а потом было уже поздно... Изька и был маленьким, меньше нас, его друзей, и младше на год. Темно-рыжий, белотелый, загар к нему почему-то не приставал, он был и слабее нас с Толькой, но никому не позволял брать над собой власть. Когда он переселился в квартиру напротив, я, помнится, вообще перестал бывать у Богиных, у Тольки. Это объяснялось прежде всего тем, что Толька все больше становился похожим на своего старшего брата. Не внешне — он оставался таким же курносеньким, болезненно-худеньким — но... Его курносый носик (такой же, как у его дяди Ионы, комдива, как объяснял Толька) все более задирался (у его старшего брата нос опускался, как у отца, поднималась все выше голова), Толька все чаще подчеркивал свое и своей семьи превосходство над нами, вообще над другими, «всеми недобитыми», как он говорил вслед за своим братом. Удивительно все же, что эти амбиции, в общем объяснимые у мальчика, носили такой, политический, характер. Мы, дети, и тогда понимали их происхождение, этих амбиций, но — чтобы до такой степени! С таким возрастом!.. Да, шел 1937 год!.. Но... Это был ребенок, десятилетний мальчик!.. Так, однажды он заявил мне, что если бы моя бабушка не была женой красного командира, погибшего в боях с Колчаком и награжденного орденом Красного Знамени, ее бы давно «пустили в расход» как «помещицу и буржуйку, и к тому же дворянку в прошлом»; а то, что она сама отдала свой дом государству после революции, оставила себе одну квартиру, ничего, мол, не значит, не отдала бы — забрали бы. И мой отец, в прошлом — комэска, награжденный

именным оружием, шашкой, за храбрость, теперь ничего не значил, по мнению Тольки, поскольку уже не служил в Красной Армии, а «занимался неизвестно чем». Я понимал, что Толька повторяет речи взрослых, но ярость моя разгоралась тем сильнее, чем больше то, что говорил Толька, походило на правду: отец почти не жил дома, ездил по стране в поисках «интересной работы», как объясняла мне моя мама, и не мог найти себе места, как я понимаю теперь. Может быть, эти странствия и помогли ему избежать ареста в те тридцатые годы? Хотя не помогли в дальнейшем, уже после войны... Ярость моя разгоралась, я не находил ей выхода — это было после какой-то военной картины, возможно, «Чапаева», которую мы обсуждали, тут же были и ребята из соседнего двора, мне надо было как-то ответить. Бить Тольку я не смог бы — и не потому, что боялся его старшего брата, как казалось Тольке, а потому, что я был значительно сильнее его и, хотя смутно, чувствовал какое-то страдание в нем, в его близоруких глазах, какую-то болезнь, ущерб — и я ответил: «Мой отец, — сказал я, — вырубил за войну эскадрон, а твой?..». Тольке нечего было сказать, он лишь промямлил: «Это надо еще доказать!». Я не стал доказывать, я был мерзок себе, ибо не сказал всего, большего: отец был пьян и плакал, что-то говорил маме, Жене, затем достал шашку из шкафа, вынул ее из ножен и сказал: «Я вырубил за войну эскадрон! Зачем?.. Для чего?.. Для кого? А?..». Помню, как Женя гладила отца по голове, целовала его, успокаивала, а мама стояла бледная у моей кровати, я тогда еще болел...

А когда приходили праздники, они, Богины, устраивали настоящие демонстрации в доме, на лестнице и во дворе — после общей, городской демонстрации — хотя, демонстративно же, никого не замечали вокруг: пели до ночи, танцевали — и во дворе, и на улице, больше — молодые, друзья, одноклассники Сеньки, бегали вверх и вниз по лестнице, кричали, смеялись, и собаки Охотника то и дело заливались лаем. Они демонстрировали свою власть, Богины, открыто, уверенно, победно. «Сволочь» — было их любимое слово. И «сволочи» у них были все, кто не был с ними. Собаки Охотника тоже. Но удивительно — или не удивительно, — что и Толька, и его старший брат не считали себя евреями, но — просто советскими людьми. Нация, твердил нам Толька, устарелое, буржуазное понятие. Однако находил нужным уточнять, что «Богин» — фамилия русская, и тут его не смущало то, что корень этого слова не очень согласовывался с его антирелигиозными убеждениями. На это как-то обратил внимание Изька. Поддержал Изьку мой брат, большой любитель, как я говорил, проверять, сопоставлять, анализировать. Он высказал предположение также, что это не настоящая фамилия родителей Тольки, что они, возможно, были «Коганы». И Толька бросился на него, моего брата. Началась драка, верней — борьба, и брат повалил Тольку. В этот момент во дворе появился Сенька. Одним рыв-

ком он оторвал моего брата от поверженного своего и залепил ему сильную пощечину, у брата пошла из носа кровь. Тогда я прыгнул на Сеньку. Он легко стряхнул меня со своей спины и, ухватив за руку, выкручивая ее, положил меня на землю. И придавил мою грудь коленом. Тут моя рука нащупала камень, обломок кирпича. Я рванул вверх и ударил Сеньку камнем по голове. Помню, как выступила кровь у него на виске. Он схватился за голову, а я вскочил. «Еще?» — спросил я, держа камень наготове. Брат стоял рядом со мной. Уже орала Пелагея — понятно, в нашу с братом защиту, — уже выглядывали из окон другие соседи. Сенька молча, многообещающе взглянул на меня, повернулся и ушел. С Толькой... Но расплатиться со мной Сеньке не пришлось — вскоре, спустя недели две, Тольке и его брату был нанесен такой удар, от которого они уже никогда не оправились — «забрали» их отца... Тогда для Тольки и кончилось детство, раньше, чем для нас, еще до начала войны, и он изменился и внешне; стал тихим, молчаливым, потолстел, уже постоянно носил очки...

Когда Изьку с его глухой мамой Богины переселили в квартиру Охотника, мой дотошный брат высказал предположение, что Богины это сделали для того, чтобы ни у кого не возникло мысли, что они, Богины, евреи, — Изька, надо сказать, был немного похож на Богинотца, так, как, скажем, новорожденный ягненок похож на старого барана. Я же не думал, что причина была в этом. Зато я хорошо представлял и знал, в отличие от моего брата, какую «радость» испытывал Охотник и его жена от своего нового соседства — это было написано у них на лицах. Можно было это услышать и в их голосах: теперь из-за их дубовой входной двери раздавался не только собачий лай, но и крики — с глухой Марусей иначе было нельзя, она не слышала. Кричал, разговаривая с матерью, и Изька, но — редко, он умел объясняться с ней жестами, мимикой, Охотник же и его жена кричали, так сказать, навзрыд, это отчетливо слышалось в их голосах — вначале. Потом, видно, смирились с такой долей — жить с этими, глухой и ее рыжим сыном, и тоже научились, как Изька, общаться с Марусей не одним криком. Но вели себя, понятно, как хозяева квартиры, но — добрые хозяева. Екатерина Петровна, Изька называл ее «тетя Катя», случалось, подкармливала его — на кухне, конечно, в комнаты их, ни сына, ни мать, не приглашали, зато разрешали, именно так это выглядело, выгуливать собак Изьке, хотя сами в этом были заинтересованы больше, чем Изька. Изька все понимал, все чувствовал, но как бы прощал их, «хозяев», немолодых все же людей. «Они так привыкли», — объяснял он мне. Страдал он за мать, за ее робость, униженность перед новыми «хозяевами». Или — старыми. Такой же она выглядела, Маруся, и на прежнем месте, у Богиных, всегда извиняющейся, с жалкой улыбкой, но здесь это было особенно рельефно. Она работала ткачихой на швейной фабрике, глухота

поразила ее давно, еще в молодости, до рождения сына. Отца своего Изька не знал, мать рассказывала ему, что это был очень красивый, очень высокий мужчина... И все. И — пропал, исчез неизвестно куда. Сына она обожала, жила для него. Когда его обижали или ей казалось, что обижали, плакала. И только.

Я уже говорил, что после переселения Изьки я почти перестал бывать у Богиных, у Тольки. Причина заключалась не в том лишь, что Толька глупел, становился невыносимым со своей манией величия, превосходства своих родных, «рабочих и крестьян, рядовых бойцов Красной Армии в гражданскую войну, а теперь крупных военачальников», как он по-газетному выражался, и своего старшего брата (он требовал от нас, чтобы мы называли его не «Сенька», а «Семен»), который тоже будет поступать в военное училище; просто теперь я приходил к Изьке. Днем или вечером, когда Маруся отсутствовала, я приходил к нему. Казалось бы, ничего странного — мы дружили! Но я приходил каждый день! До школы, после школы, и, если Маруся работала в ночную смену, просиживал у Изьки допоздна. Жену Охотника это начало раздражать — она выглядывала в коридор на каждый звонок — и маме моей, и Жене это стало казаться странным. Что мы делали? Разговаривали, играли в шахматы, ели — и скудную еду, которая случалась у Изьки, и то, что приносил из дома я. Изька ждал меня так же, как я стремился к нему: он прислушивался, находясь в своей комнате, к моим шагам на лестнице, верней — к моим прыжкам, я, съезжая, сидя на перилах, нарочно громко, сходу спрыгивал перед дверью его квартиры, подавал знак, чтобы обойтись без звонка, и тотчас Изька открывал мне. Я быстро входил в чистенькую, желтовато-золотистую, с белыми занавесками, комнату и... Становился счастлив: я видел его! Мог посмотреть на него! Мог прикоснуться к нему!.. В этом было главное! Для меня, во всяком случае. Не разлучны мы бывали и во дворе, и на улице, но главное — для меня — было в этих свиданиях — мы оставались одни! И когда я почему-либо не приходил, как обычно, а он говорил мне, когда будет один, он волновался, переживал, выходил на лестницу, поднимался ко мне, на четвертый этаж, узнать, что случилось, почему я не пришел. Что это было? Не знаю. Знаю, что мы любили друг друга. Но — так?

Потом уже, лет десять спустя, после войны, Изька деликатно, но и прямо, по-мужски, с бесстрашной своей, спокойной правдивостью, скажет, вспоминая, «как мы дружили»: «Я рос без отца, ты, по сути, тоже — жалели друг друга!». Я отвечал ему: «Тут, возможно, было еще и... пробуждение полового влечения, таким вот, косвенным образом!..». «Нет, — возразит он мне — у нас же ничего такого не было, как померещилось Екатерине!..». Да, ничего, только смотрели друг на друга, прикасались друг к другу, однажды поцеловались... Странно, именно в то время я, как и Толька, и другие ребята и из нашей школы, и из соседнего двора —

очень интересовались одной девочкой, нашей ровесницей, «стреляли за ней», как тогда говорили, Нонной Ивановой, жившей в нашем доме на четвертом этаже, в квартире напротив нашей!.. Что же было то?.. Он казался мне если и не таким прекрасным, как Мифа, то почти таким же мифическим, скажу так теперь. Свет какой-то исходил от него! Я видел, чувствовал кожей этот свет!.. Возможно, сыграли свою роль тут и рассказы моей бабушки об Иисусе Христе, его чудесном рождении, о его матери, тоже — Марии, ведь как бы я ни относился в ту пору к рассказам бабушки, они жили во мне, волновали когда-то! В том числе рассказы о древних евреях: Аврааме, Исааке, Иакове, Моисее, Давиде... Видимо, Изька и был в моих глазах чистейшим, непотасненным лучиком этого, библейского, прошлого, воссиявшего затем, по словам моей бабушки, для всех людей негасимым светом Спасителя... Может быть... Изька и ходил всегда приплясывая, как царь Давид, и во время разговора нередко пританцовывал, какая-то музыка, видно, жила в нем, и он «пел» ее так — ногами...

Екатерина же Петровна положила конец нашей «любви» таким образом. Мы разговаривали. Я сидел за столом, Изька ходил по комнате. Вдруг дверь комнаты резко открылась. На пороге стояла она, Екатерина, и гневно взирала на нас. Хотела, видно, что-то сказать, столь же гневное, но как бы осеклась, молча смотрела на нас, искала слова. Наконец вымолвила: «Изя! Выйди с собаками! Уже поздно!.. А маме я расскажу, так ты проводишь время — вместо того, чтобы готовить уроки!.. И твоей!...» — смотрела она на меня очень многозначительно. «Рассказывайте!» — ответил я резко и встал. Она рассказала моей маме о том, что я провожу «все дни» у Изьки и что мы «чем-то там» занимаемся. Мама, естественно, немедленно обрушила на меня свой гнев — в своем стиле: «Откуда у этого ребенка столько пороков?!...» Женя же, ласково глядя меня по голове, выпрашивала: «Ну, что вы там делали, скажи мне, я никому не скажу!...». Бабушке, думаю, об этом не сообщили — она чувствовала себя все более неважно, иногда лежала целые дни... Хуже было, что жена Охотника рассказала обо всем (о чем «обо всем?») глухой Марусе; орала, видно, и перепугала ее. Через день, встретив меня на лестнице, мать Изьки попросила меня, чтобы я больше не приходил к ним. С извиняющимся выражением на скорбном своем лице, со слезами в огромных, карих, как Изьки, глазах, перейдя на шепот, она объяснила мне, что ее соседи, люди богатые, боятся, наверное, что у них что-нибудь пропадет... Возможно, в этом тоже было дело... И я больше не приходил к Изьке. И он покорился воле матери, не хотел ее огорчать... Но дружба наша, конечно, не кончилась... Но мне, должен признаться, долго снились сны об Изьке, и сны эти, увы, были в духе подозрений жены Охотника и моих близких — мама долго не могла успокоиться, клеймила меня «развратником», и Женя в таких случаях, улыбаясь многозначи-

тельно, как бы в шутку выговаривала: «Фу, какой нехороший!.. Совсем совести нет, да?.. Он же мальчик, не девочка!.. Фу, фу!». Что я мог бы им объяснить? Ничего. Они бы и не поняли. И бабушке я не смог бы ничего объяснить, но, думаю, она и не стала бы меня корить, обвинять, и, если бы не поняла, то почувствовала бы правду...

Охотник сделал свой «ход» в партии с Богиными — пешечный же ход! — когда пришла война. Представляю себе, хоть и не слышал своими ушами, как жена Охотника и он сам уговаривали Марусю не уезжать, не эвакуироваться! Наверное, пригласили в комнату, в свою гостиную, чтобы не слышали на лестнице, как они кричат: «Немцы — благородные люди!.. Они не всех евреев убирают, только — коммунистов!.. А вы беспартийная!..». Об этих доводах Охотника рассказывал Изька, да и сама Маруся — соседям, советовалась, раздумывала: уезжать или не уезжать, благо, была возможность — с фабрикой, где она работала. И ей советовали: конечно, уезжайте! Даже — Пелагея. Но победил Охотник, последний его довод убедил ее окончательно: здесь у нее есть жилье, а там неизвестно, будет ли... Это был тонкий, предусмотрительный «ход» — Охотник знал, что комнату, освободи ее Маруся, немедленно опечатают, как произошло с квартирой Богиных, когда они выехали, эвакуировались — первыми в нашем доме... В гетто, куда согнали всех евреев города, под вечер Изьку подозвал к себе немец-охранник. Кое-как, словами и жестами, он объяснил Изьке, что ему надо бежать — сегодня вечером. Чтобы он, Изька, пришел сюда, на его пост, когда совсем стемнеет. Изька же объяснил немцу, что с ним мать. «Найн!» — ответил немец. Когда стемнело, Изька встал с нар. Маруся спала. И он вышел из барака. В этот момент Маруся проснулась. «Изя, куда ты?» — воскликнула она. Он не ответил, быстро пошел к заграждению. Немец показал ему, где можно пролезть. Сказал еще, что у него такой же сын. Когда Изька был уже по ту сторону проволоки, он услышал: «Изя!..». Мать приближалась. «Изя!..» — кричала она. «Хальт!», — вдруг услышал он. И сразу же раздалась автоматная очередь... Возможно, застрелил мать этот же немец...

Я уже говорил, кто спрятал Изьку, когда он прибежал домой. Но сначала он пришел к себе, в квартиру Охотника. Его впустили. Затем объяснили, что комната его уже занята — племянницей Екатерины Петровны, которая в самом деле приехала к тетке перед войной, и что ему, Изьке, лучше вообще уйти из дома, и поскорей — его наверняка придут искать. И он ушел. Прожив двое суток у Пелагеи, перешел затем линию фронта и... попал в тюрьму, где провел под следствием всю войну, четыре года — наши не могли поверить, что еврея отпустил немец, спас. Держали, как мы говорим теперь, за шпиона... «Но их тоже можно понять, следователей, — говорил мой брат Изьке, когда мы встретились после войны в родном городе, — им нужны были свидетели, доказательства, а их у тебя не было! Все нормально!..». Такая бесчувствен-

ность брата объяснялась, помимо его натуры «историка», думаю, и тем, что он сам достаточно пострадал в войну: попав на фронт раньше, чем я, увидевший войну в самом ее конце, он был тяжело ранен, намучился в госпиталях, но вернулся домой, в Сибирь, куда эвакуировалась наша семья, героем — газета нашего, сибирского, городка написала о нем, сравнила его с толстовским капитаном Тушиным, и это определило на последующие годы, так сказать, имидж брата: он чувствовал себя «победителем» и представлял от лица Победы. С тех пор, с конца сороковых, Изька исчез с моего горизонта, даже не отвечал на мои письма, хотя обещал. Он жил в Донбассе, работал на шахте. Но кем он мог, маленький, там работать? Фонариком?.. Но он уже не светился... Правда, возмужал, расширился в плечах, пил водку... А может быть, это я ослеп к тому времени?.. С Изькой тогда приезжал его товарищ, шахтер, здоровенный парень, и я видел, какими глазами он смотрел на Изьку, как слушал его... А я был тогда поглощен своей первой женой, семейной жизнью... Жив ли он, мой Изька?.. Охотник же с женой и племянницей удрал в Германию вместе с отступавшими немцами, сумел, говорят, увезти и мебель, и собак, и теперь живет там. Впрочем, может быть, и не живет уже — столько лет прошло!..

В квартире — напротив нашей, на четвертом этаже, — я никогда не бывал в детстве. После войны — случилось однажды. Бабушка моя тоже, думаю, никогда туда не заходила, я не помню такого. Поэтому я мог бы и не писать о ней, об этой квартире. Да и, признаюсь, не хотел бы. Но из песни слова не выкинешь, квартира эта была, люди там жили, и я знал их. И не только я. Другие соседи тоже никогда там не бывали, кроме Ульяновны, нашей дворничихи, и «Хайма», Ивана Абрамовича, — они выносили оттуда ковры, точнее — помогали их выносить, принимая из рук хозяйки квартиры, молчаливой, мрачной немолодой женщины с гладкими черными, казалось, только что промытыми, блестящими волосами на голове, — «экономки», как впоследствии обозначила Нонна Ивановна роль этой женщины в их семье, и выбивали их во дворе. И заносили обратно. «Экономка» открывала дверь по их звонку, принимала ковры и вручала плату — Ивану Абрамовичу. Она ни с кем не останавливалась на лестнице, во дворе, не здоровалась, и никто не знал, как ее зовут. Лишь однажды я услышал ее голос, ясный металлический говорок. Она вручала деньги Ивану Абрамовичу (я в это время поднимался по лестнице) и в ответ на его «Спасибоже!..» (он пересчитывал деньги) сказала: «Даем, что можем. Мы же не евреи!». «Ну да, конечно, — откликнулся наш Хаим, — Евреям хорошо, у них бог есть! А у нас и копейка — спас!». Все они, Ивановы, так: не останавливались, быстро проходили мимо всех, но сам Иванов, его сын и дочь здоровались, но тоже так, на ходу. Правда, сын, старший брат Нонны, Алексей, ровесник Сеньки и Мифы, случалось, останавливался, разговаривал с

Сенькой, но — коротко, сразу же уходил, как будто спешил куда-то. Словом, они не хотели ни с кем в доме общаться и не общались, вещь по сегодняшним временам обычная. В этом смысле они и были, Ивановы, людьми будущего, нашего сегодня; но подобное характерно — и сегодня — для больших домов, где можно прожить всю жизнь, так и не узнав, даже не встретив соседа — тогда же, до войны, в нашем доме, это выглядело, так сказать, позицией и так и воспринималось — именно как неучастие в жизни дома. Главной, родовой, или — семейной, их чертой для меня были их чистота, промытость, вымытость — до блеска!... Таким был сам Иванов, блондин, высокий, с красивой лысиной, в очках, с галстуком. Здравовался он так — спускаясь или поднимаясь по лестнице: «Добрыдень! Погулять? Надонадо!...». Или «Добрывечер! Собачекпогулять? Надонадо!...». Или: «Утродобр! Ужепогуляли? Прекраснопрекрасно!...». Он был главный врач тюремной больницы, мы это знали, и его чистота и видимая деловитость были для нас объяснимы. Сын его, Алексей, тоже собрался стать врачом, поступил в мединститут, еще он играл на скрипке, ходил со скрипкой в музучилище, когда учился в школе, и был красив, как его отец: волнистые белокурые волосы, черные брови, прямой, точеный нос... Дочь, Нонна, также училась музыке («по музыке», как говорили в доме), играла на пианино, но была некрасива: большая голова, напоминавшая мяч, лицо, как полная луна, маленькие зеленые глазки. Вероятно, походила на мать, умершую сразу после рождения дочери.

Я говорил, что мы, пацаны, «стреляли за» Нонной. Вернее было бы сказать: «пристреливались». А еще точнее: «прицеливались» только. И в школе так: на нее поглядывали. Она училась в параллельном моем классе, нередко выступала, играла на фортепиано в школьном зале, но, опять же, ни с кем не общалась, кроме двух-трех девочек, подруг. Они и приходили иногда к ней домой и тоже проходили по двору и по лестнице быстро, не глядя ни на кого, как Нонна. Чем же она привлекала нас? Ну, своей недоступностью. Стройностью, аккуратностью, чистотой. Но мне мерещилось что-то еще за чистотой, за этим ликом, напоминавшим луну еще и своей смуглотой (лето Нонна проводила в Крыму, у них там, говорили, была дача), — что же? Я перебираю слова и не нахожу другого: какая-то порочность. Возможно, этому поспособствовало и то, что отец Нонны, как нам, пацанам, однажды стало известно, работал, кроме тюремной больницы, еще и в кожно-венерологическом диспансере, но, думаю, главную роль тут сыграла музыка, постоянно звучавшая из-за наглухо запертых дверей их квартиры, особенно — звуки скрипки. Нонна, как я понимал, играла неважно. Женя, моя тетя, не раз возмущалась: «Господи! Как можно так издеваться над Моцартом!». Но издевательствам над Моцартом, как я понимаю теперь, была не столько плохая игра Нонны, сколько весь безмятежный, благополучный облик

ее семьи, эта вымытость, замкнутость, в лоне которых, так сказать, творилось это насилие... Помню, Яша как-то ответил Жене на ее возмущение: «Что ты хочешь, пародия на прекрасную жизнь — пародия на Моцарта!». Видно, Яша общался с Ивановым, отцом Нонны, разговаривал с ним иногда. «Что за человек? — делился он с Женей. — Вроде бы интеллигент! — Яша округлял свои небесные глаза. — Читает! Рассуждает! Прекраснодушно этак, но... Интересуется!.. Принес журнальчик — весь сияет от восторга! — статья о Блоке: Христос у Блока — это, мол, оправдание революции, залог ее гуманности! А?.. Открытый сигнал о том, что время Страшного Суда наступает — «залог гуманности»!.. Не хотят ни видеть, ни слышать, ни понимать... Сказала Гертруда: наверно, простуда!..». «А ты сам?» — сказала Женя. Она смотрела на него в упор. «Что — я?» — не понял Яша. «Ты и ему говорил все это?» — продолжала Женя. «Да, а что?» — еще больше удивился Яша. Женя все так же, в упор смотрела на него. «Я что, уже не имею права свободно говорить, что думаю?» — понял ее Яша. «Но ты же не знаешь этого человека! — с болью сказала Женя. — И... Ты же сам говорил, что свободный человек не демонстрирует свою свободу!..». «Да! — вспыхнул Яша своей торжествующей улыбкой. — Но и не прячет ее! Помнишь о свече в Евангелии?..». Они, Женя и Яша, приехали тогда из Крыма, загорелые, веселые, яркие; Яшина седая шевелюра сияла над ним, как нимб. Яша рассказывал моей бабушке и маме о том, как познакомился в Ялте с сестрой А. П. Чехова, восторженно повторял простодушные слова Марины Павловны, услышанные им во время экскурсии по дому писателя: «Творчество Антона Павловича было направлено на то, чтобы образованные люди России опомнились, стали лучше, чтобы дело не дошло до революции!..». Яша восклицал: «А?.. Какова трактовка? Что с ней сравнится? Какое литературоведение?..».

Но как иногда, особенно вечерами, когда садилось солнце и река под нашим домом розовела, а небо над крышей густо синело, музыка эта запертая волновала меня!.. Я слышал Нонну, видел на выступе нашего краснокирпичного дома ее окно, тоже — в соседстве с густо-синим небом, и само синее, в отблесках заката, «окно, горящее не от одной зари», представлял себе, Нонну, смуглую луну, ее смуглые руки и стройные ноги, и все во мне замирало, — как на огромной высоте, перед полетом... Они, Ивановы, занимали две комнаты в квартире, одна почему-то стояла опечатанной, вероятно, держали для кого-то. Однако когда я пришел в дом после войны и, не найдя никого из бывших соседей, кроме Дуси и ее уже взрослого сына, Заверюхи и ее мужа, «Бурьяна» — с изуродованным лицом, без одного глаза, но такого же веселого, улыбающегося (его выпустили из тюрьмы в начале войны, затем, после оккупации, опять посадили, но продержали недолго, полгода), решил заглянуть к Нонне, то узнал, что и третья комната теперь принадлежала им. Нонна, понятно,

выросла, но лицом почти не изменилась и разговаривала так, как будто отвечала заданный урок, раздельно, четко, громко. Всю войну семья прожила здесь, «никуда не бежали», как сказала Нонна. Она занималась «по музыке» с учительницей, теперь собиралась поступать в консерваторию. Отец работал «в своем диспансере», у него были «небольшие неприятности», когда вернулись наши, но все обошлось — «он же лечил не только немцев, но и наших», сказала Нонна, в оккупацию он работал в «простой больнице», а брат, Алексей, «за это время спился», поскольку ничем не занимался, «пил только». И «экономка» была жива, я так и не узнал ее имени. Появилась собака, немецкая овчарка. Нонна предложила мне послушать, как она теперь играет. Я послушал. Сыграла она Бетховена, «Элизе». За окном гас день, горел закат, света не зажигали. «Ты мне всегда нравился! — вдруг сказала она раздельно и громко. — Ты был приятней всех в доме, не то, что эти евреи, твои друзья!». Я замер. «Если ты не против, мы можем встречаться. Можешь приходить к нам — у нас все есть: продукты, даже вино!.. Ты где живешь теперь?.. В вашей квартире поселились какие-то хамы — поют песни по вечерам, шумят, пьют... Внизу тоже, какие-то нерусские...». «Кто же?» — спросил я. «А, не знаю, — ответила она. — Мы же и тогда, до войны, никого тут не знали — зачем нам?..». «А ты знаешь, что случилось с Изькой?» — смотрел я на эту полную луну. «С каким это Изькой? — не поняла она. — Я же тебе объяснила, что мы никого тут не знали! Это кто, один из твоих друзей?..». Я был потрясен. Встал. «Ну, придешь?» — спросила она. «Зачем?» — повторил я ее слово. «Я же тебе сказала, ты не понял?» — смотрела она на меня своими зелеными глазами. «Понял, — ответил я. — Не приду». «Почему?» — очень удивилась она, улыбаясь безмятежно. Мне хотелось рубануть ей, почему, но... Меня вдруг осенило: она сошла с ума! Провести жизнь, войну в этих стенах с коврами, остаться той же, ничего не ведающей девочкой!.. И я ушел. Интересно, что лет тридцать спустя, встретил ее в Ялте на набережной — располневшей, постаревшей, но все такой же луноликой — я услышал: «Ты был такой странный тогда, после войны! Я подумала даже, признаюсь тебе, что ты сошел с ума! А то я, может быть, вышла бы за тебя замуж — ты мне нравился в детстве!..». Вот так. Она закончила консерваторию, сама уже учила детей «по музыке», так она говорила и теперь. Отец ее умер, и — «экономка», брат все пил, «стал совсем стариком». Приглашала меня к себе в гости, в новую квартиру. «Наш же дом забрали! («Забрали!») Под какой-то завод! Военный, говорят, не знаю; нам и дали квартиру». Нам — это ей и мужу, с которым она, однако, не живет... Даже Надьку нашу она не знала, Нонна, никогда не слышала ее воплей, как выяснилось, не помнила, во всяком случае; и как кричала тихая, кроткая Толькина мать на лестнице, тоже не помнила. Действительно, одна их дверь не открывалась в ту ночь, на рассвете — все тогда выходили на лестницу, когда «забрали» Богина, отца Тольки.

Мать Тольки кричала так: «Лё-ё-ё-ё!.. Лё-ё-ё-ё!»*, тонко, пронзительно. Кричала, пока не наступило утро. Тогда Сеньке и Тольке удалось увести ее домой. Услышала этот крик и моя бабушка. Она уже знала, что Яшу и «Бурьяна» «забрали». От нее скрывали это, но затем сказали. Вот тогда она и перестала вставать, и почти перестала есть. И мама, и Женя кормили ее, уговаривали поесть. И Женя уже не читала бабушке по вечерам «Евгения Онегина», как бывало прежде. А потом — Толькин отец. Арестовали его после Первой, они успели отпраздновать, Богини, как обычно: демонстративно. Убедительно и убежденно. Это произошло через месяц после ареста Яши и «Бурьяна», так что Сенька, а за ним и Толька, успели поупражнять свое остроумие — насчет «иноземца» («Бурьяна»): «Дурную траву с поля вон?». Но тут же, спустя неделю, «взяли» и Диму, Королевича Елисея!.. И они, Пелагея и Дуся, сразу, как-то поспешно подружились с Богинями!.. Но — на время: скоро в доме узнали, что Дима «взят» по делу уголовному, что он, оказалось, крупный вор-рецидивист, чуть ли не главарь воровской шайки, промышлявшей по другим, дальним городам, и в доме принялись восстанавливать подлинное лицо моего Королевича Елисея: вспоминали, как он с женой, «злой царицей», гулял, на машинах, с огромными букетами роз, с блатными песнями, с гостями, красотками в дорогих меховых манто, их кавалерами в кожаных же пальто и в шляпах, с золотыми зубами, такими же вольными птицами с виду, каким был Королевич Елисей!.. Пелагея огрызалась — авансом, впрок, никто не донимал ее зятем, просто Богини перестали к ней заходить: «Все ж не политический! — бурчала она. — Не то, что эти, «передовики»! Она говорила о Богинях. Зять ее, Дима, вернулся домой в самом начале войны, тут же был призван в армию, но с фронта не вернулся. Пелагея же умерла в самом конце войны от воспаления легких. Тогда же, говорят, умерла и Ульяновна, наша дворничиха. А ее брат-муж, Иван Абрамович, погиб раньше, во время оккупации: застрелили его немцы, вроде бы случайно, приняли за еврея... Как когда-то и мы, дети!..

Не могу здесь не вспомнить одного «объяснения», или оправдания, антисемитизма гитлеровцев. В конце войны, когда миру открывалась ужасающая картина Холокоста, а нам, солдатам, детали этой «картины», те лагеря смерти, в которые мы входили, я услышал это «объяснение». Оно принадлежало солдату, недавнему в моем взводе, из пополнения, но очень уже, как тогда казалось, немолодому, лет сорока — сорока пяти. Был он сибиряк, охотник и держался как старший, все норовил поучать молодых солдат. И вот однажды я услышал: «Боялись немцы, чтоб евреи не захватили весь мир, вот и старались — подчистую... И Христа же им не могли простить...». Я усмехнулся, решив, что слышу очередное «Нашего Христа распяли!». Солдат — помню его фамилию до сих пор! — понял, чему я усмехнулся и пояснил: «Они евреев простить не хотели

* «Нет» (иврит)

не за то, что распяли, а за то, что породили его, Христа, на ихнюю голову!.. Да и на нашу же — ослабили народ!.. Не было бы этого Христа, все бы и у нас в истории шло по-другому, жили бы в полную силу, без оглядки!.. А евреи им же, Христом, и покорили полмира, считай!.. Вот и устроили им немцы тут геенну огненную — нате, дескать, вам то, что нам сулили!..». Безбровое, яйцеобразное лицо солдата было мало похоже на иезуитское, это было лицо матерой, налитой убежденности, возразить которой я не сумел, подобного я еще не слышал. «Может быть, здесь обычно скрывааемый корень антисемитизма?» — думал я тогда, слушая этого доморощенного Ницше. Солдат тот хорошо стрелял, числился в роте снайпером.

Игры наши выросли, но не становились человечнее. Стояло лето. Тридцать седьмого года. Очень жаркое, помнится. Было утро. Я собирался на речку. Во дворе меня уже поджидали друзья: Изька, Толька, ребята из соседнего двора. А на берегу, противоположном, я видел из окна, ждали наши «противники». Игра называлась «Чапаев». Суть ее заключалась в том, что тот, кто вызывался быть «Чапаевым», должен был переплыть речку, метров 50, под «огнем» противника, то есть под градом камней, небольших, но весомых, камни предварительно проверялись и, соответственно, заготавливались. Можно было, конечно, и прыгнуть, проплыть под водой это расстояние, но далеко не всем это было доступно, обычно выныривали посреди реки, чтобы вдохнуть. Случались, понятно, и «ранения» — не в кавычках. Изьку поэтому мы не пускали плыть — он бы не запросил пощады, и его наверняка забили бы. А плавал он не очень... Но вот что характерно: игры наши, я сказал, не становились человечней, но и не политизировались — в этой игре, например, «белыми» бывали то мы, то наши противники, и даже аресты в нашем доме, и не нашем, не вызывали у нас, не у всех, понятно, сомнений в их справедливости — мы, правда, еще не знали их последствий, этих арестов, и они воспринимались нами как скучное, малоинтересное продолжение гражданской войны, даже не добивание «врагов народа», а их, скажем так, установление. Но так и многие взрослые — тогда. И Толька, как и его старший брат, был убежден, что с его отцом произошла ошибка, что его скоро выпустят, «проверят и выпустят», и ему было стыдно за мать, за ее крик на лестнице, за то, что «так убивалась, будто отец в чем-то виноват!..» Но, смею сказать, в играх наших уже происходило, проступало то, что оставалось для нас, для всех, еще не арестованных, за кадром. Впрочем, почему не «арестованных»? В том-то, видно, и дело, что все мы были «арестованы» и, так или иначе, с большей или меньшей остротой, это чувствовали и, так или этак, стремились вырваться «из-под ареста», освободиться!.. Но, может быть, я слишком политизирую все, и человеку вообще, особенно — в детстве, свойственно чувствовать себя «под арестом»? Возможно. Но откуда это

яростное ощущение своего бессмертия? Своих беспредельных возможностей? И, как следствие этого, бестрепетная жестокость, легкость крови, смерти? Нас, подрастающее поколение, политизировали, а на деле — оболванивали безмерно; в результате мы, многие из нас, становились безмерно аполитичными, нам требовалась абсолютная свобода, не меньше, то, что сегодня называется «беспредел», — случай, вероятно, уникальный: термин сугубо литературного, философского обихода, обкатавшись, как камень-голыш, стал обиходным в уголовной среде, а затем и вообще в жизни, в нашей жизни!.. Так страна получала и убежденных палачей, и добровольных жертв...

Я собирался на речку, а мама ходила из комнаты в комнату — почему-то она осталась дома, не пошла на работу. Я не сразу почувствовал, что что-то случилось — мама помалкивала, ходила в комнату бабушки, возвращалась в нашу, затем — в гостиную, опять к бабушке, и все с таким видом, официальным, как будто уже находилась на работе. Затем я уловил на лице мамы какую-то оскорбленность, что ли, губы у нее были поджаты. Но это выражение не относилось ко мне — на меня мама не смотрела. Жени же дома, я понял, не было. Так, молча и деловито, мама дала мне позавтракать и, когда я встал из-за стола, сказала: «Бабушка заболела... Но ты... Не пугайся... И не рассказывай никому... Во дворе... Понял?». Я не понял — бабушка болела переднее время и ни для кого это не было тайной. Мама прибавила: «Не заходи к ней!.. Старайся не смотреть на нее!.. Это такая болезнь!..». Я не зашел к бабушке, того и не потребовалось — когда я проходил через гостиную, бабушка выползла на четвереньках из своей комнаты и зарычала, как собака, глядя на меня. Но не зло зарычала, «узнала» меня. «Что ты стал? — сказала мама. — Я же тебе сказала: «Иди!». В этот момент прозвенел звонок — за мной пришли. И бабушка, ужасно ощерившись, показывая зубы, злобно зарычала и двинулась, на четвереньках же, к двери. «Иди же!» — с болью выкрикнула мама, и я ушел. Я никому ничего не рассказал во дворе, только брату, это он звонил. Когда мы с ним вернулись с речки, мамы моей уже не было, была Женя. Бабушка же лежала у себя в комнате — под кроватью!.. Женя ласково говорила нам: «Детки мои хорошие, вы не будете дразнить бабушку?.. Вы же любите ее!.. Бабушка заболела, но скоро выздоровеет!.. Попринимают лекарства, поспит и будет опять здорова!..» Это, мы поняли, говорилось не только для нас с братом... Во дворе же каким-то образом стало известно на следующий день, что «Анна Осиповна сошла с ума»...

Бабушка пробыла «собакой» три дня. В моей жизни, в душе, в сознании, помню, ничего не изменилось за это время: ну, случилось, мол, неприятно, конечно, но и смешно (спала бабушка и ночью, и днем под кроватью, на полу, как и полагается собаке; Женя положила под кровать теплое одеяло и давала есть ей так, на полу, в тарелке, и бабушка

хлебала суп, как собака, но как только раздавался звонок, ощеривалась, рычала и двигалась к двери), и мы с братом, случалось, переглядывались и улыбались друг другу!.. Но я знал, был уверен: это пройдет! Не может не пройти!.. Ведь именно так я чувствовал тогда жизнь — радостно, блаженно чувствовал, был счастлив этим — «скорость» моя возростала! И мир, Вселенная все шире открывались передо мной — вроде бы! Именно тогда, в тридцать седьмом, еще зимой, я и брат поступили в Клуб Арктики («Клуб юных исследователей Арктики») во Дворце пионеров — воспоминание об этом, о Клубе, одно из самых дорогих для моего брата, — носили на груди значок Клуба, маленький, голубой металлический вымпел, и всерьез считали себя «исследователями Арктики». Мы читали книги об Арктике, делали доклады по ним, прокладывали маршруты наших будущих экспедиций к Северному полюсу и, как и другие члены Клуба, уже собирались в экспедицию, которая все почему-то откладывалась. Начальник Клуба, известный тогда писатель, бывавший в Арктике, объяснял это нам тем, что мы неверно прокладываем маршруты. Вскоре ему самому тоже, видно, объяснили, что он «неверно прокладывает маршруты» — его «забрали», как нам стало известно, и наши занятия в Клубе приобрели сугубо «академический» характер: мы читали книги, делали доклады, но никуда не двигались — теперь-то все знают, что в то «героическое» время Арктику, вслед за героями-челюскинцами и героями-папанинцами, да и до них, уже «осваивали» другие «исследователи», юные — также: миллионы «исследователей» — под конвоем, и нам там было не место — пока. Но, должен сказать, мне какое-то время нравился этот «академизм», брату же — особенно, и не ему одному — как же, чувствовать себя потенциальным «героем»!.. Но для меня такой «опыт» самоутверждения был малоинтересен — мне требовался простор, действительный, живой, осязаемый!.. Мы и готовились — в самый канун войны — к путешествию по Днепру до Черного моря: собирали деньги, чтобы взять напрокат лодки, «прорабатывали» маршрут. И, по секрету от всех, с Изькой прикидывали, сколько нам понадобится времени, чтобы доплыть до Турции!.. И не думали о том, сколько затем нам потребуется времени, чтобы расплатиться за это!.. Правда, Изька, может быть, и думал, — это он меня упросил не говорить никому о наших «дальних» планах...

Прошли три дня болезни бабушки и, опять же утром, мама, плачущая, разбудила меня и сказала: «Бабушка умерла!..» Я не вскочил, не встал — слова эти вошли, влились в меня и стали колом, не давая ни согнуться, ни наклониться, и кол этот был мыслью: «Бабушка больше не изменится!» То ли так отозвались во мне давние бабушкины рассказы об апокалипсисе, когда все изменится во мгновение ока, то ли моя детская алчба перемен, эта мысль-кол сама казалась мне мертвой, безысходной... В комнату вошел мой дядя Андрей, старший сын бабушки,

его одного мы с братом называли на «вы», остальных же, дядю Гришу, младшего сына бабушки, тетю Лену, мать брата, старшую дочь бабушки, дядю Ваню, отца брата, и жену дяди Гриши — на «ты», как Женю. Он приехал с Урала, жил там и работал на металлургическом заводе экономистом. «Большой стал!» — сказал он и, наклонившись, поцеловал меня. Мама встала с дивана, и он взял ее за плечи, плачущую, и сказал: «Не надо, Верочка, что делать!... Не вернешь!.. Успокойся, родная!.. Сейчас требуется спокойствие — идут страшные времена, надо быть готовым. Главное — не потерять Бога!..» Мама подняла на него удивленные глаза. «Да, Вера, — подтвердил он, — это главное! И самое трудное!..» Теперь, без бороды и усов, он стал очень похож на бабушку. Но прежде, страшно вымолвить сегодня, на Карла Маркса, только нос у него был приподнят, почти курносый. Тогда в нашей семье ходили забавные истории, связанные с этим сходством дяди Андрея: его не однажды принимали — в поездках, на улицах, в учреждениях — за вождя международного пролетариата... Все дети бабушки были похожи или только на нее или на дедушку, как я мог судить по фотографии (он очень походил на композитора Бородина, и всякий раз, когда по радио передавали что-нибудь из «Князя Игоря», что случалось не реже, чем из «Ивана Сусанина», я вспоминал о дедушке, подполковнике царской армии и командире полка в Красной Армии, смертью своей спасшем нашу семью от полного уничтожения); и мама, и дядя Гриша, и я сам, чем втайне гордился, были похожи на дедушку, а мать брата и брат, как и Женя, на бабушку...

Она лежала на своей кровати со сжатыми губами, с закрытыми как бы с силой глазами, очень бледная, как будто сама испугалась этой мысли, что больше не изменится... Отец мой, он приехал накануне, стоял над ней, смотрел на нее и молчал. Женя сидела в гостиной на диване и плакала, не поднимая лица. Да его, лица, казалось, и не стало у нее от слез... Дядя Гриша и его жена, красивая, яркая химическая блондинка, сидели рядом с ней, гладили ее по спине, по голове... Я как будто окостенел, одеревенел, стоял неподвижно, смотрел на бабушку. Ко мне подошла мама, взяла меня за руку и вывела в гостиную. Сказала: «Поедешь пока к дяде Грише, побудешь там... Когда будут похороны, вернешься... Гриша приедет за тобой». Дядя Гриша встал с дивана, подошел ко мне. «Ты же знаешь, как к нам ехать?» — спросил он. Я кивнул. «Поезжай — сказал он. — Там Аня... Я за вами приеду...». Я поехал. На трамвае. Прямо туда. Нигде не останавливался. Никуда не сворачивал. Окостенел. Дверь мне открыла Аня, моя двоюродная сестра. Она была старше меня года на два и тоже очень походила на бабушку, такая же черноглазая. «Кушать хочешь?», — спросила она меня. «Нет», — ответил я. «Родители сказали, чтоб я тебя покормила», — сказала она. «Чего ты такой?» — улыбнулась она. — Переживаешь?.. Ну, бабушка же была уже

старая! Шестьдесят пять лет!.. Жалко, конечно!..». Квартира у них была очень большая, с новой, красивой мебелью. Отец Ани, дядя Гриша, адвокат, много, говорили у нас в семье, зарабатывал, «ублажал», как выражалась моя мама, свою жену и «такую же, как она, дочь, нагловатую, дерзкую девчонку». Обзавелись они и машиной, легковой, «заграничной», как тогда говорили, не помню марки. «Ну, и чем мы будем заниматься? — спросила Аня. — Хочешь в лото?..». «Нет», — ответил я.

«Ну, давай я тебе поиграю, — сказала она, — хотя оно, это пианино, сидит у меня в печенках!..». Она села за пианино и немного побренчала. Захлопнув крышку, встала и сказала: «Пойдем на лоджию — там такой вид!..».

Я знал этот «вид», действительно «такой», я бывал здесь, у дяди Гриши, хотя не любил здесь бывать — моя сестра «обожала» (ее слово) подчеркивать свое превосходство: и в возрасте, и в прочем, мало интересном для меня, в дорогих и новомодных вещах, наполнявших их квартиру... Весь город был тут, на лоджии, перед глазами — уходил, как море, к горизонту, и внизу, у дома, улица виделась как бы сквозь воду — квартира находилась на седьмом этаже («мы живем на седьмом небе», шутила моя сестра). Вдруг рука прикоснулась ко мне, к моим волосам, погладила по голове. «А ты уже большой стал!..» — услышал я. Я повернулся к ней. «Ты уже умеешь танцевать?» — спросила она. Я смотрел на нее и молчал. Ее сходство с бабушкой — ее глаза, большой рот, подбородок ямочкой — и то, что ее зовут, как бабушку, «Анна», вдруг ошеломило меня, как будто я только что узнал об этом. «А целоваться уже умеешь?..» — продолжала она и почти вплотную приблизилась ко мне. «Чего ты так смотришь?.. Боишься? Да?» — улыбалась она. «Нет», — ответил я, хотя она попала в точку: я именно боялся, испугался, все во мне дрожало — кола, о котором я говорил, больше не было. Не стало. «Ну, давай тогда, — сказала она. — Только никому не рассказывай, договорились?..» Она подняла подол платья, села на кушетку под окном, сняла трусики и легла. «Ну, иди!.. Быстрее!», — прошептала она... И я бросился к двери. «Куда ты» — вскрикнула она...

Теперь это смешно, но тогда, я помню, самый настоящий ужас объял меня — я понял, что бабушки больше нет и никогда не будет. И понять это помогла мне моя сестра таким вот образом... Я мчался вниз по лестнице с такой скоростью, что если бы упал, разбился бы не на шутку. И по улицам я бежал с такой же скоростью. Как я бежал! Я мчался к бабушке, одну ее хотел увидеть, застать!.. Когда я влетел в гостиную, там было темно от людей, знакомых и не знакомых. Священник, лысый старичок в черной рясе, стоял над бабушкой, что-то говорил. Ко мне обернулись мама, отец и дядя Андрей. «Что случилось?» — тихо спросила мама, шагнув ко мне. «Ничего!» — задыхаясь, ответил я. Священник продолжал свое: о какой-то лестнице, по которой сейчас подни-

мается бабушка к Богу... И я закричал: «Бабушка!.. Бабушка!..». И рванулся к ней. Она уже не казалась такой бледной, губы ее, тоже, не были так сжаты, и веки глаз успокоились, и лицо расправилось... «Бабушка!..» — уже негромко сказал я и прижался лицом к ее лицу. Священник умолк. Вдруг сильные, железные руки взяли меня за пояс и приподняли — это был мой отец. «Не надо! — закричал я. — Не надо! Бабушка!..». Он отнес меня, отец, с силой прижимая к себе, в нашу комнату. Целовал меня, успокаивал, сел, держа меня на руках, на мой диван, а мама стояла надо мной и, запомнил же я это, выговаривала отцу: «Так надо было это — звать священника?.. Только о себе думаешь! Храбрость свою хочешь показать! А на ребенка, на меня тебе плевать!.. Весь двор его видел, священника! Пойдут теперь разговоры!..». Я провалился куда-то. Горел, все во мне пылало, особенно — в голове. Но помню: меня раздели, уложили, накрыли, и я провалился.

Возможно, потому, что уже видел такое, когда болел дифтеритом, я, оказавшись теперь в какой-то бездонной темноте, уже не испугался, во всяком случае, так, как тогда. Я чувствовал, что мчусь, или вишу, в этой темноте, но уже не падаю, как прежде, и огромные светящиеся кольца уже не налетают на меня с огромной скоростью, их и не было, но что-то другое, тоже светящееся, приближалось ко мне. И я увидел белую лестницу, уходящую ввысь, без перил. Она была, как луч, падающий сверху. На ней, наверху, но не на самом верху, стояла бабушка и улыбалась мне. «Не бойся! — говорила она. — Иди!..». Но я боялся, медлил — лестница была без перил и узкой, и ее ступени, белые, гладкие, казались мне скользкими. Но бабушка подбадривала меня: «Иди! Не бойся!..». И я стал подниматься, медленно, осторожно — рядом, слева и справа от меня, чернела бездна... И вдруг, подняв глаза, я увидел, что передо мной не бабушка, а незнакомая молодая, стройная женщина в белом, только черные, горящие глаза и улыбка были бабушкины, и голос... От страха я проснулся, хотел было вскочить с дивана, рассказать маме, отцу о том, что видел только что... Но не стал их будить — еще только светало, и еще я подумал, что они могут увидеть в моем сне одну болезнь, как прежде, когда я кричал и просыпался от страшных видений; да и то, что сон мог пропасть, когда я начну о нем рассказывать, или превратиться во что-то совсем иное, останавливало меня, я уже знал, как это бывает...

В этот раз я болел недолго, температура держалась несколько дней. Хоронили бабушку без меня... А когда мама и Женя сняли простыни с зеркал, бездонная сверкающая пустота воцарилась в нашей квартире. И тишина. Уехал и не появлялся отец, все реже приходили родственники, и мама, и Женя, казалось, старались реже бывать дома, все время у них теперь забирала работа: у Жени — в библиотеке, у мамы — в школе (не в той, где учился я); она преподавала химию, стала завучем и членом партии, но если прежде, до того, как мама вступила в партию,

она гордо называла себя «беспартийным большевиком» и с лица у нее не сходило выражение «Вперед, заре навстречу, товарищи, в борьбе!», то теперь, как ни странно, это выражение как бы смыло, лицо ее сделалось растерянным, гордо-испуганным, мученическим. А в Жене, наоборот, родилась какая-то мстительная жесткость, старившая ее, сообщавшая ее лицу характер неудачной фотографии бабушки, и теперь они с мамой нередко ссорились, чего никогда не бывало прежде... Опустел и наш огромный, под потолок, темно-коричневый буфет в гостиной: исчезли банки с вареньем, бутылки с наливками, не стало золотистого бабушкиного печенья, таявшего во рту, — подобного мне есть уже не доводилось... И я уже не спешил домой после школы, проводил время то ли у своих новых школьных друзей, то ли во Дворце пионеров, то ли просто на улице. Дома мама почти не готовила, давала мне деньги на обед в школе, которые я тратил, понятно, более «рационально»: на кино, на футбол и т.п. Поесть, верней — перехватить что-нибудь, я мог и у своих друзей, их родители меня охотно угощали, считалось, что я расту без отца. Возможно, я и производил впечатление «бездомного» — меня побаивались, случалось, и шарахались от меня, даже не зная о моих наклонностях драчуна...

Но я уже избегал драк, что-то во мне менялось, и, хотя я по-прежнему мечтал о путешествиях, все яснее чувствовал, что эта мечта лишь форма, обозначение чего-то другого, большего... И когда я перешел в шестой класс и стал ходить в школу уже во вторую смену, то по утрам, оставаясь дома один с темными, грозными ликами икон в бабушкиной комнате, я подолгу вслушивался в тишину, наполнявшую квартиру, и мне приоткрывалось это «другое»: весь мир — не столько в пространстве, сколько во времени — как музыка, соединявшая все в одно целое. И я плыл, как по реке, в этой неслышной музыке, в этой незримой реке — и в том, что ушло, как бабушка, и в том, что есть сейчас, и в том, что будет, то есть уже есть, но еще не видно, не явлено моему зрению...

Одним таким утром в квартиру пришли трое, один из них — Иван Абрамович. Они вошли в бабушкину комнату, вынесли в прихожую вещи бабушки: кровать, платяной шкаф, этажерку с книгами, иконы — затем опечатали дверь комнаты и ушли; но так, до войны, до нашей эвакуации, комнату и не заселили... Иконы мама и Женя убрали в платяной шкаф — в нашей с мамой комнате, а затем иконы, как и отцовская шашка, куда-то пропали (перед смертью мама призналась мне, что они с Женей ночью вынесли из дома иконы и шашку и утопили их в нашей речке), а бабушкин платяной шкаф и кровать поставили в ванной комнате, служившей нам кладовкой. Но когда мой диван окончательно просел и обтрепался, это было уже накануне войны, его вынесли, а на его место поставили бабушкину кровать, и я спал на ней. И,

засыпая, нередко вспоминал, как меня маленького укладывали на этой кровати рядом с бабушкой, как, случалось, бабушка, пропев мне свои песенки и рассказав сказки, засыпала, а я, прижимаясь ухом к бабушкиной спине, замирая от страха и восторга, продолжал слушать бабушку: приглушенные стоны, хрипенье, вой, какие-то голоса, то жалобные, то радостные, то гневные — у бабушки развивалась астма! — и если тогда я, понятно, не мог находить в этом многоголосье сходство с органом, то впоследствии, слушая орган, не мог не вспоминать о бабушке...

Подобное было и с моей первой, школьной, любовью: маленькая, большеглазая Галя, моя одноклассница, которую я прежде, до седьмого класса, не замечал и вдруг, спустя три года после смерти бабушки, полюбил, вовсе не казалась мне похожей на мою бабушку, у меня и близко не возникало таких мыслей, но затем, много времени спустя, я понял, что именно это глубинное сходство, сродство Гали с моей бабушкой и породило мое чувство к ней. Правда, и тогда, в детстве, я отдавал себе отчет в том, что покорила меня взрослость этой маленькой девочки, радостная, веселая ее серьезность, бодрствующая такая тишина... Как я волновался теперь, собираясь в школу! Как бывал счастлив, провожая ее из школы домой! Как сияли ее глаза, как она вся лучилась зимними морозными вечерами, когда мы прогуливались по нашим темным улицам!.. Я находил в ней сходство с врубелевской Тамарой, даже пел — на нашей лестнице, перед Изькой — арию Демона («На воздушном океане без руля и без ветрил тихо плавают в тумане хоры стройные светил...»), арию Ионтека из оперы Монюшко «Галька»... Словом, запел, как однажды Яша... Как-то Галя пригласила меня к себе в гости. Спокойно, без смущения, улыбаясь одними глазами, познакомила с родителями и младшей сестрой-первоклассницей, хотя последняя в ответ на Галино: «Познакомься, Мила!», — сверкнув смеющимися глазами, стремглав выбежала из комнаты. «Мила у нас мальчишка! — объяснила Галя, улыбаясь мне и родителям. — Не обижайся на нее!..»

В том, что Мила «мальчишка» я убедился еще раз, когда уходил: из окна выглянула Мила и вдогонку мне и провожающей меня своей сестре громко пропела: «Жених и невеста замесили тесто!..». Я провожал их в эвакуацию. Помогал вносить вещи в вагон. Знал, что мы тоже скоро уедем, понимал, что Галю могу больше не увидеть, но поцеловать ее так и не решился... В эвакуации, в Сибири, посылал письма в Бугуруслан, разыскивал ее, но ответа не получил... После войны, вернувшись в родной город, услышал, что Галя там и живет, куда эвакуировалась, на Урале, что замужем... Женился и я... Увидел я ее лишь спустя полвека — в Иерусалиме!.. Приехав в гости к друзьям, я узнал, что Галя здесь, в вечном городе. Я позвонил ей по телефону из Тель-Авива, где остановился, мы договорились встретиться на автостанции... И вот я прибыл («взошел», «поднялся», как говорится на иврите) в раскаленный, жаркий

Иерусалим и... Увидел свою бабушку, белоголовую, маленькую, как далекая горная вершина!.. И тогда я все вспомнил и понял... Галя и была уже бабушкой — у нее росли внуки... Вскоре после войны она вышла замуж за одаренного физика, еврея, и, когда его лишили работы в институте, уехала с ним и сыном в Израиль. Подобное сегодня привычно укладывается в одну строку, но тогда, в 70-х, это «когда» и «уехала» растягивались на годы унижений, отчаяния, нищеты, и они, Галя и ее муж, выпили эту чашу до дна. И забыть об этом не могут. Особенно волнуется, когда рассказывает обо всем, Галин муж. Он стал крупным ученым, его работы знают в Европе, Америке, у нас... Благодаря ему мне удалось поехать по Иерусалиму, на его машине, повидать Святые места... А Галя успела повидать и мир: и Грецию, и Италию, и Францию, и Англию, и Америку, и ту же Турцию... Родители ее умерли, сестра живет тут же, в Иерусалиме. Услышав от Гали, что я здесь, сестра вспомнила меня, пошутила: «Наконец-то он нашел тебя, твой жених!..». Рассказала мне об этом Галя, когда мы прощались. И я «наконец-то» поцеловал ее.

* * *

Недавно я побывал в родном городе. Но не в родном доме — туда меня не пустили, объяснили, что это — военный завод. Объяснили на проходной, устроенной на месте нашей дворовой калитки. И — не одна вахтерша, встретившая меня в штыки, но и (более мирно) какое-то, видимо, начальство, следовавшее в это время через проходную. На мою просьбу взглянуть хотя бы на лестницу, подняться и спуститься, последовало: «А что — лестница?.. Лестница как лестница!.. Вы что, лестниц не видели?». «Видел», — ответил я, представив себе лестницу своего нынешнего дома с ее настенными художествами и автографами: «Танька сука», «Светка + Ольга = любовь», «Алена пососи», «Kiss my...», «Куплю телку», «Fuck my», «Все бляди», «Evil is good»... «Ну вот, — дорокотал государственный, михайловский бас, — обычная лестница!..». Начальство ушло, и вахтерша, почувствовав, вероятно, мое состояние, сказала: «А вы не расстраивайтесь, скоро тут, в этом доме, будет кооператив! Военные уйдут, можно будет, наверное, и зайти!..». И я смотрел на него, наш дом, с улицы, видел лишь верхние этажи — зеленый металлический забор скрывал от посторонних глаз нижнюю часть дома и двор. Да, он был «забран», наш дом, обычная история: у города не хватило средств на ремонт, отдали тем, у кого средства нашлись, а жильцов переселили в новый дом, построенный военными же, и так он и стоял, забранный этим зеленым забором и глухими стенами соседних домов, стоял по стойке «смирно» и работал: что-то в нем приглушенно скрежетало, визжало, выло, тяжело ухало... Я смотрел на него — и все во мне ныло — он был, по сути, мертв, наш дом, пуст, но, вот, работал. Работал, не зная, что умер, еще

один печальный образ нашей уходящей эпохи... Но — уходящей ли? Ведь так можно бесконечно — мы же такие, «беспредельные»! Оттого, видно, и покаяться не можем, что — такие!..

Так, раздумывая, я стоял перед домом, пока из проходной не вышло уже знакомое мне «начальство». За ним следовал высокий молодой человек. «Начальство» что-то доказывало с гневом, казалось, выговаривало парню, а тот слушал с изумленной улыбкой. То ли рядом с молодым, то ли в гневе — «начальство» выглядело стариком. И я подумал: старость это упрямое стояние на том, чего уже нет!.. Но, может, это приложимо и ко мне с моим «стоянием» перед домом? И даже в большей мере?.. И если этот элегантный парень сейчас улыбается так, будто удивлен, что этот старик вообще еще разговаривает, «вякает», то как бы он реагировал на мой рассказ о нашей лестнице, например?.. Сказал бы, как мой брат, застенчиво и вроде бы виновато улыбаясь: «Нич-ч-его не понял!»? Кстати, брат мой все же ушел на пенсию, вернее «его ушли», и жена увезла его в Израиль, где живет ее родня. Мой «капитан Тушин» сопротивлялся, не хотел покидать родину, втайне надеялся, что ему, отдавшему всю жизнь оборонке, не дадут разрешения на выезд за границу. Но — дали. И он уехал. И теперь доживает век на Земле обетованной... Жизнью своей, пишет, доволен, особенно «местной медициной»... Впрочем, и мои взрослые дети покинули родину, живут теперь в Канаде. Живут неплохо, много работают. Растят своих детей... А эти сели в машину и уехали. Из проходной выглянула вахтерша и, увидев меня, сказала: «А вы еще тут?.. Вы месяца через три, четыре приходите, не раньше... А лучше через полгода!.. А еще верней — через годок!..».

Я поблагодарил ее, взглянул еще раз на бабушкино окно, в котором слепо синело небо, и пошел прочь...

В ПОЛУТЬМЕ, НА ОБОЧИНЕ, С КРАЯ...

* * *

Смиренье дается труднее всего,
и ты не находишь себе оправдания.
Железная дверь, а за ней ничего, —
ни трепетных слов, ни родного дыхания.

В бутылке расцвел некрасивый цветок,
рассыпалась за ночь бумажная кипа.
К окну прислонилась замерзшая липа,
и свет между веток,
и снег между строк.

* * *

И вспомнилось все мне в назначенный срок —
слезящийся темной слюдой потолок
и в узком окошке

погоста кресты,
и стягивал щеки крестьянский платок,
надетый мне вместо нарядной фаты...

А после мы вышли с тобою на папертъ,
три тощих старухи сказали нам вслед:
— Ну что, молодые, кто певчим заплатит? —
И колокол бухнул в ответ.

И ты в забубенном и странном азарте,
молясь непонятно кому и чему,
всю ночь проиграл на зеленом бильярде,
а я отрешенно смотрела во тьму.

**Марина
ТАРАСОВА**

— родилась в Москве. Окончила Московский полиграфический институт. Автор восьми книг стихов и прозы — «Певчий город»(78), «Старая музыка»(87), «Воздушный мост»(93) и др. Живет в Москве.

Так что же скрепляет наш долгий союз,
которому странная жизнь нипочем?
Неужто обет из запекшихся уст
и медлящий ангел с железным мечом?

* * *

Гуляет осень без конца и края,
ее глаза хмельным огнем горят.
Скулит собака под замком в сарае.
Хозяин пьян, он сам как листопад.

Собака воеет, жизнь не узнавая,
одна, без скудной пищи и воды,
и сотрясает скорлупу сарая
угрюмый вой нагрянувшей беды.

Хозяин третий день вершит попойку
жене, соседям, осени назло,
который год глядит на Перестройку
в постылый ящик, в мутное стекло.

Какая для ума и сердца брага,
какая бесконечная гульба!

Хрипит в ночи забытая дворняга.
Россия. Осень. Ссучилась судьба.

* * *

Пред смертью жизнь мелькает снова,
Но очень скоро и иначе.
И это правило — основа
Для песни смерти и удачи.

В.Хлебников

Пыль кружит над переулком,
залетает в строгий зал.
Органист играет «Мурку»,
он от Генделя устал.

Вы, ценители крутые,
не мутит вас, не знобит?
По России, по России
это реквием звучит.

* * *

Вьется желтый пыльный смерч
над стеною Плача.
Как науськивает смерть
толстый бич палачий.

— Все они нетопыри, —
шепчет Вероника.
— Вот платок мой, Ха-Нацри!¹ —
Шепот громче крика.

Хава цели ле Шарон².
Будь же Господом хранима.
Подо мной кремнистый склон,
пыль Иерусалима.

Предо мною Крестный Путь,
Церковь Осужденья.
Дай же воздуха глотнуть,
вымолить прощенье.

Дай же наземь не упасть
в Церкви Бичеванья.
Наша участь только часть
Божьего страданья.

* * *

Шагаю в церковь через поле,
проваливаюсь в талый снег,
какая радостная доля
торить на белом черный след.

¹ Назаретянин

² Здравствуй, лилия Шарона (древнееврейск. — *Прим. автора*)

Я превращаюсь в белый свиток,
меня окутала метель.
Куда девался лес обритый?
Теперь январь или апрель?

И кто кропит живые вербы —
вода или небесный снег?
Слеза неопалимый веры
или счастливый человек.

* * *

Никогда не увидеть деревья,
не испить, не услышать воды.
Не песок твой горячий — безверье
засыпает и крошит следы.

Где ты, кожаный мех каравана?
В полутьме, на обочине, с края...
Древний ангел похож на варана,
дует в горло и шепчет: чужая.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ, ИЛИ ЖИЗНЬ ФАЛЬСТАФА ИЛЬИЧА

Что-то стряслось.

«Господи! пророков Твоих убили; жертвенники Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут». Мировой вопрос — как быть, когда один, а души твоей ищут — возникнет в сердце нашем потом, ближе к концу. Ближе к началу действуют проклятые русские вопросы: кто виноват и что делать. Хотя именно их называют последними вопросами. Их задавали и задают все, кому не лень. На них построена русская литература, русская философия, русская история. Вопросы социальные. Но из личных соображений их задают едва ли не чаще, чем из общественных.

Однако есть еще более проклятый вопрос, о котором и литература, и философия, увы, молчок: *отчего у одного получается, а у другого нет?* На самом деле это заглавный вопрос жизни каждого человека, русского в особенности. И разве незнаком тебе, читатель, сонм исторических и частных случаев, когда всей кровинушкой-судьбинушкой решается: у меня не получилось, так пусть и у тебя не получится!..

* * *

1995. Фальстаф Ильич был русский человек. Но не завистливый, нет. Он нажал кнопку пульта управления телевизором: на экране появилась программа новостей первого канала.

В квартире тепло и сытно. После выпитого некрепкого чаю и съеденной булочки с маслом клонило ко сну. В состоянии полудремоты переключился на четвертый канал — новости были уже там. Очнувшись, машинально щелкнул кнопкой пятого канала — новости переместились туда же. Никуда от них не скрыться.

**Ольга
КУЧКИНА**

— родилась и живет в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Работает в «Комсомольской правде». Как прозаик печаталась в журналах «Знамя», «Континент», «Сура», альманахе «Чистые пруды». Стихи публиковались в «Новом мире», «Октябре», «Знамени», «Звезде», «Арионе», «Дружбе народов»; пьесы — в журналах «Театр» и «Современная драматургия». Автор романа «Обмен веществ», нескольких сборников прозы, двух книг стихов и сборника пьес.

Белый песок превращается в белый снег.

Солнечный шар, воспален, высоко выстывает.

Кто-то клиентом выстреливает, как в копеечку, в белый свет.

Бедный клиент, обалдев, по белому свету летает.

Заброшенные кем-то в измученный мозг Фальстафа Ильича, слова застряли там. Повторив их про себя как чужие — они и были чужие, — он окончательно пробудился.

Летела эскадрилья. Стоял грохот. Вспышки ударов от авиабомб походили на солнечные зайчики. *Солнечный шар, воспален, высоко выстывает. Кто-то клиентом выстреливает...* Клиенты придумали самолеты, чтобы переносить жизнь из одного уголка земли в другой (интересно: как будто земля имеет углы). Они же придумали боевые самолеты, чтобы в соответствии с углом атаки переносить смерть в любой угол земли (интересно, что угол и уголовник одного корня).

Поймав себя на странных мыслях, Фальстаф Ильич замер. Никогда прежде такого не случалось. Ни о чем абстрактном он не думал. К самолетам, и тем более боевым самолетам, отношения не имел. Только к наземной части армии. Он думал, и частенько. Но всегда думы его крутились вокруг чего-то конкретного. Конкретного хватало, даже с излишками. Конкретные проблемы требовали конкретных решений. А чтобы решить, надо было крепенько поломать голову. Он ломал ее и так и эдак — возможно, она сделалась поломанная и дала трещину.

Цветной экран перестал показывать серо-зеленое, похожее на камуфляж, и переменял на черно-белое: шел прием, то ли у них, то ли у нас, лица были сплошь знакомые, сплошь мужские, и все во фраках, то есть не лица, разумеется, а их носители. Интересно свойство телевизора: вводить в дом и делать именно своими совершенно чужих людей, отчего иной раз при случайном выходе их за экран и случайной встрече (так бывало до концерта или после) ловишь себя на желании поздороваться, и здороваешься, не удержавшись, с размаху, как со знакомым, хотя встреченное лицо ни сном, ни духом и не помышляло о твоём существовании. Вот этот, череп, которого обучили улыбаться. Лучше б уж он не учился. И так страшен, а делается куда как страшнее. Следующий, кругломордый, хитер, как лиска, а изображает рыбку. Следующий, с глазками-шурупчиками, ввинчивается в тебя, а вывинтившись, оставляет дырчатым, с отверстиями, в которые задувает холодом, отчего тебе не по себе. Еще один, причесанный, с волосами то на ушах, то за ушами, видно, что уши составляют проблему его и его парикмахера. Как они обзавелись фраками, улыбками, парикмахерами, вроде все Красные Шапочки, а природные уши, голубчик, и природные зубы все равно торчат. «Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи; ноги их быстры на пролитие крови...»

Фальстаф Ильич провел руками по лысой голове с остатками белокурых кудрей, маминой радости, когда был ребенком, сцепил пальцы на затылке, сильно потянулся и так и остался в позе *над*. *Над*, а не *под*. *Под* ними он был в жизни. В телевизоре — *над*. В телевизоре они действовали для него и ради него, он обретал власть в качестве зрителя их одобрить или осудить, посмеяться над ними или вовсе ими пренебречь, выключив. Это открытие позабавило Фальстафа Ильича. Однако выключать телевизор он не стал, лишь убавил звук, и сразу в голове зашумело: *белый песок превращается в белый снег*. За окном летали белые мухи. Можно было бы сказать: *белый песок превращается в белых мух*. Но тогда третья строчка должна звучать как-то иначе. Он попробовал: *кто-то клиента хочет избавить от вечных мук*. Получилось глупо. Клиент не отвязывался, хотя, казалось, ничто не мешает отвязаться от него. Вечные муки, очевидно, возникли по ассоциации с Вечным городом.

* * *

1995. Фальстаф Ильич закрыл глаза. Перед ним поплыл аэропорт Вечного города.

Они возникали из блещущего марева и наступали прямо на него: белые, в своих умопомрачительных белых лосинах, выявлявших очертания, в которых не было ни единого угла, исключительно нежная линия овала или окружности, или в таких же обтягивающих джинсах, или потрясающих юбках, якобы длинных, узких, строгих, а на самом деле вызывающих, с разрезом до самого причинного места; желтые, в новеньких, с иголочки, еврокостюмах, видно, последней моды, и в шляпах, таинственно закрывавших скуластенькие, узкоглазые прехорошенькие фарфоровые физиономии; коричневые, в таких же сводящих с ума белых лосинах, таких же юбках с разрезом и таких же шляпках; черные, завернутые, как подарок, в блестящую ткань, под которой опять-таки все-все формы гуляли как живые и голые, хуже, чем голые, потому что дразнили воображение, которого, по уверению всех бывших женщин Фальстафа Ильича, начиная с учительницы и кончая матерью, он был лишен. Лишенец — слово это раздавалось ближе к концу из уст Марии Павловны, жены, деликатной, вечно грустившей, а в последние годы глубоко разочарованной особы, рассчитывавшей на большее, чем Фальстаф Ильич смог дать — не ей, как принято у женщин жаловаться, а вообще, может, даже сам себе, но вот ведь: человек предполагает, а Господь располагает. Свои имя-отчество Мария Павловна втайне сверяла со знаменитыми именем-отчеством знаменитой сестры Антона Павловича Чехова, считая отчего-то, что раз они ей выпали по какому-то тайному родству, то и судьба ждет по родству, близкая, как-то: лелеять талант человека, который окажется рядом. Брата не родилось. Белокурый муж Фальстаф

показался незаурядным уже по одному имени, выбранному родителями для него. Русланов и Ратмиров разобрали, как и Виленов, Рэмов и Марксэнов. А хотелось, видимо, чего-то необыкновенного.

Тогда всем хотелось необыкновенного. Если не революционного, общественно-политического, то литературного, словарного. Впрочем это было взаимозаменяемо и взаимопроникаемо. Приобщенные к высокому, открывшие Пушкина в позднем возрасте, интеллигенты в будущем поколении (поколении сына!), простые люди Неонила Петровна и Илья Митрофанович с гордостью остановились на оригинальном выборе, не задумавшись, как будут звать кудрявого ребенка, похожего на ангелочка: Фалей, Фальсиком, Стафушей или Стафом. В школе его звали Валей, в училище — Стасом. Дразнили и там, и там: Шкафом и Фальстартом. И только Мария Павловна спокойно и радостно восклицала выразительно: Фальстаф. Первые пять лет. На шестой год сказала: как имя у тебя Фальшак, так и сам ты фальшивый человек. Это прозвучало как грубая брань в ее тихих устах, после чего она уж не оправилась. Вот как имена могут выступить в качестве сводни вначале, а чем кончается? Лишенцем она его оскорбила позже, не вставая больше с постели, а лишь мелко скуля от бессильного и злого разочарования в нем, оттого что всего лишь исполнитель, а не творец, что низок, узок и прозаичен оказался, и эта его низость и узость, а не онкология, — обнаруженная ею жестокая правда, что свела в могилу.

Когда Мария Павловна умерла, он вдруг взял и завел себе усы.

Ах, если б она была жива и могла взглянуть на него, с усами, а еще лучше заглянуть внутрь, в его разбушевавшееся воображение! Эти, римские и со всего света, являлись и продвигались перед его внутренним взором, целиком неся и выражая свое исключительно женское, то есть первостепенное естество без примесей служебного или домашнего, то есть второстепенного, — проходило несколько секунд, они шелестели мимо, истаивая в огнях римского аэропорта. Надвигались новые. Фальстаф Ильич исчез как личность. Он перетек в желе глазного хрусталика и сам выливался оттуда вместе со зрительными волнами в заполненное ярким светом пространство, по которому шествовали их величества женщины, прилетевшие или улетающие в разные уголки земного шара, и тонул в их праздничном нескончаемом шествии. Шествовали и мужчины. Но глаз, в котором плескался Фальстаф Ильич, действовал выборочно, выбраковывая свой пол и утопая в противоположном. Почему так вышло, что то, что принято было теперь именовать режимом, столь долго, всю жизнь скрывало от Фальстафа Ильича существование целого мира? Нет, конечно, он много читал, много слышал и много знал о мире, и о женщинах в нем, о мире женщин, но это было отвлеченное знание. Реально, конкретно его мир ограничивался службой, больше ничем. Тем более, при Марии Павловне. И тем более, после нее. И вдруг...

Он задергался, вскочил с дивана и с мысленными словами *надо действовать* переменял шлепанцы на ботинки, накинул стеганую куртку и выбежал из дома с энергией прыщавого юнца.

* * *

1994. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Начало лета, но пока прохладно. По одной стороне улицы идут двое прохожих. Женщина в голубой юбке и белом пиджаке. Мужчина в плаще. Он идет за ней. Ее зовут Ариадна. Его фамилия — Занегин.

Занегин (негромко). Помогите.

Ариадна (оборачиваясь). Вы мне?..

Он молчит.

Вы что-то сказали или мне показалось?

Занегин. Я спросил, можно ли с вами познакомиться.

Ариадна. Вряд ли.

Занегин. Нельзя?

Ариадна. Вы сказали что-то другое.

Занегин. Это было очень давно.

Ариадна. Что?

Занегин. С тех пор все изменилось.

Ариадна. Подите к черту.

Занегин. Подождите. Вы не ответили на мой вопрос.

Ариадна. Я ответила.

Занегин. Не уходите.

Ариадна. Я тороплюсь. Меня ждут.

Занегин. Неправда.

Ариадна уходит.

(Кричит). Постой!

Ариадна останавливается.

Я просил о помощи. Помогите мне.

Ариадна. Я не могу.

Занегин (начинает медленно, потом все быстрее). Я заблудился. Сначала я не обратил внимания. Шел куда глаза глядят. А они глядят не только по сторонам, тебе известно. Вверх тоже. А как идти вверх, ты знаешь? Я не знал. Хотя меня всегда это интересовало. Я шагал по крышам домов. Но прежде по головам людей. Забирался все выше. Помнишь, из советской жизни: «Все выше и выше стремим мы полет наших крыл». Оказалось, страшно. Уже потом я научился смотреть себе под ноги. Даже выбирать дорогу. Иногда. Если не врать себе, то, разумеется, я хотел выйти на главную улицу. В результате. А пока бродил слепыми, случайными переулками, и мне это даже нравилось. Одинокие мои прогулки. Они вели в неведомое. То, что каждому дураку известно, для меня было неведомо, понимаешь? Я не заметил, как очутился в тупике. А там меня

уже ждали. В руках у них были плети. Они начали с несерьезных ударов, как бы в шутку, я в ответ посмеивался. Стали бить сильнее. Мне стало не до смеха. Они принялись хлестать изо всех сил. По рукам. По пяткам. По спине. По животу. По лицу. Я не мог бежать. Изо всех пор у меня проступила кровь. Они толкнули меня в какую-то дыру в заборе, им кончался тупик. Я упал лицом вниз. И меня охватила тьма. Рассвет никак не наступал. Я лежал, глотая жижу, в которой лежал, обсасывая то, что попадалось в жиже, потому что меня мучили унижительные жажда и голод одновременно. Я больше не был человеком. Я был скотиной. Все ныло и саднило. Стало светать. Я встал на карачки и сначала двинулся так. Потом мне удалось подняться. Я пошел искать аптеку.

Ариадна. Аптека вот. Ты колешься? Или таблетки?

Занегин ногой толкает дверь аптеки.

Не ходи туда. Ты хотел со мной познакомиться. (Протягивает руку). Я Ариадна.

Занегин (протягивая свою). Я Занегин.

Ариадна. Максим, прекрати свои дурацкие штуки!.. Прекрати, прекрати, прекрати меня мучить!!! Прекрати!.. Ты нормален?!.. Макси-и-им!!!!..

Занегин (делает к ней шаг, крепко обнимает ее). Ада... Еще немного — и я бы умер без тебя.

Ариадна. Я тоже.

* * *

1984. Однокомнатная квартира, неприбранная, захлавленная, с низкими потолками, на самом деле мало пригодная для жизни людей, но миллионы советских людей живут в таких квартирах. Ариадна и Занегин — по разным углам. Оба полураздеты. Оба одеваются.

Занегин. Куда ты собираешься?

Ариадна. А ты?

Занегин. Я приглашен на прием.

Ариадна. И я.

Занегин. К кому ты приглашена?

Ариадна. А ты к кому?

Занегин. К американцам.

Ариадна. И я к американцам.

Занегин. Интересно. Кто ж тебя пригласил?

Ариадна. А тебя?

Занегин. Меня посол.

Ариадна. А меня всего-навсего Грунт.

Занегин. Лезет не в свои дела.

Ариадна. Его дела — только ты. А я ничтожество. Кому я могу быть интересна...

Занегин. Успокойся. Я точно такое же ничтожество, если живу с тобой.

Ариадна. Только по временам. По настроению.

Занегин. Ты тоже по настроению.

Ариадна. Твоему. Ему не понадобилось бы приглашать меня, если бы ты позвал меня с собой.

Занегин. У меня приглашение на одного.

Ариадна. Видимо, у Грунта на двоих.

Занегин. Ты его попросила?

Ариадна. Нет. Он сам.

Занегин. Но ты знала, что я иду? Для чего этот спектакль? Почему просто не сказать, что мы идем вместе?

Ариадна. Я иду не вместе. Я иду с Грунтом.

Занегин. И как ты себе это представляешь? Ты будешь на приеме делать вид, что мы незнакомы?

Ариадна. Не знаю. Я никогда раньше не была на приемах.

Занегин. Зачем ты идешь? Следить за мной? Кто тебе предложил?

Ариадна. Грунт.

Занегин. Ты хочешь сказать, что Грунт — гэбэшник? Я так и думал.

Ариадна. Я хочу сказать, что ты полный псих. Спать с тобой невозможно. Разговаривать невозможно. Жить невозможно.

Занегин. Если невозможно, зачем живешь?

Ариадна. Я не живу.

Занегин. Зачем тогда надеваешь это платье?

Ариадна. Идти на прием.

Занегин. Сними.

Ариадна. Ты считаешь, оно мне не идет?

Занегин. Снимай.

Ариадна. Ты хочешь, чтобы я его сняла?

Занегин. Я сказал.

Ариадна. Ты, правда, хочешь? Ты хочешь, чтобы я сейчас разделась?..

Близко подходит к нему.

Занегин. Ты что?.. Я сегодня ничего не пил.

Ариадна. Налить тебе? У нас где-то оставалось... О Господи, я должна его спаивать, чтобы он меня захотел!..

Занегин. Надень свою голубую юбку и белый пиджак, тебе идет.

Ариадна. Когда я улетала из Перми, и ты перекрестил меня на аэродроме, неверующий, и я такая же... во мне что-то оборвалось и заплакало. Не я заплакала, а во мне, внутри. Я прилетела. Домой не поехала, то есть домой к нам с Петей. А поехала к родителям и сразу сказала, что ухожу от Пети, что сделаю аборт, потому что не хочу петиного ребенка, а буду ждать другого человека, когда он вернется, и все мои дети будут только его, и моя судьба — его судьба. Мама открыла бар, налила ста-

кан коньяку и выпила. А папа заорал, чтобы я немедленно отправлялась к Пете, что ему плевать на меня, моих детей и даже на Петю, но у него есть долгность, работа, обязанности перед партией и государством, и он не может плюнуть в лицо петиному отцу только потому, что я съездила к своему любовнику на поселение, вынудив его, отца, дать согласие на поездку, обманув, что она благотворительная и последняя...

Занегин. Зачем ты мне это рассказываешь? Дурацкая бабья привычка пересказывать всем известное.

Ариадна. Ты хочешь сказать, что все поздно?

Занегин. Я не знаю.

* * *

1995. Фальстаф Ильич шел задворками домов, глухими переулками, подземными переходами. Смеркалось и смерклось. Была середина апреля, и только что кончился густой снегопад. Может быть, климатическая несообразность так подействовала на физиологию, но сердце Фальстафа Ильича задрожало от возбуждения и предчувствуемого испытания судьбы. Ему почудилось, что все неким странным образом может свершиться в одной из таинственных частей города, которых он всегда тщательно избегал. Он нисколько не трусил, как трусил обыкновенно, боясь нарваться на хулигана или даже бандита, который не разберет, что первый встречный небогат и пожива будет небогата, а разобрав, еще хуже рассердится, и тогда уж простым ограблением или хотя бы увечьем не отделаешься. Потому тщательно выбирал ярко освещенные улицы, многолюдные перекрестки и дорогу норовил перейти поверху, а не понизу, минуя тоннели. Но сейчас его как будто кто-то звал, неслышимый, неразличимый, зов был как локатор, на который Фальстаф Ильич отзывался всем существом своим и который вел его неизъяснимым путем. Фальстаф Ильич оскальзывался, попадал в месиво грязи, а то и в лужу, в какие быстро превращался белый снег над трубопроводом с горячей водой или в другом месте повышенной теплоотдачи, проваливался в незамеченную яму, но выбирался из нее с честью, даже не испачкав рук, задевал ногой торчавший из земли корень и тогда пролетал несколько шагов почти в параллель земле, и этот пеший, но и летучий маршрут по низким хлябям заснеженного весеннего города и впрямь напоминал полет со сказочной, поскольку не оговоренной, целью в конце. В совершенно безлюдном подземном переходе он перебрал подошвами ног выщербленные цементные ступени и храбро двинулся по таким же выщербленным плитам пола. Выщербленный же кафель плиток тускло отсвечивал в тех двух или трех местах, где давали свет два или три не разбитых грязных плафона. За углом, перед тем, как после лестницы, ведущей вниз, вступить на лестницу, ведущую вверх, он увидел пару слабо светившихся голых рук, обхвативших голову, и затем всю целиком съезжившую-

ся фигуру, сидевшую на ступеньке. По голым тонким рукам Фальстаф Ильич догадался, что перед ним женщина или, в крайнем случае, подросток. То есть совсем не страшное.

Он оказался прав дважды. На каменной ступеньке в позе привычного отчаяния замерла женщина-подросток.

В Москве давно не принято подходить к чужому человеку, спрашивать о чем-то, а тем более предлагать помощь. Нарвешься на жертву рэкета или сутенера, а рэкетир или сутенер рядом, или на наркомана, сифилитика, СПИД-носца, не говоря уже о бациллоносителе туберкулеза в его новых, жутких, не поддающихся лечению формах.

Фальстаф Ильич тронул замершую или замерзшую за плечо. Она отняла руки от склоненной головы, приподняв ее.

— Вы не слышали моих шагов? — спросил Фальстаф Ильич.

Она не ответила.

— Как же вы не боитесь, что кто-то подойдет и... обидит вас? — задал он очередной вопрос.

В темноте он различал худое тонкое лицо, спутанные волосы и одежду, не похожую на одежду павшего человека. Впрочем он не слишком отчетливо разбирался в современных грациях и видах падения.

— Кто обидит? — хрипло спросила девушка.

Кажется, ее можно было так назвать.

— Я, например, — храбро предложил себя в обидчики Фальстаф Ильич.

Она опять уткнулась в собственные руки, даже не усмехнувшись, не приняв сказанного даже в виде шутки, как на то рассчитывал Фальстаф Ильич при завязке беседы, и этим как бы обидев вероятностного обидчика.

Он дотронулся до ее запястья:

— Вы замерзли.

— Хотите предложить согреться? — так же хрипло спросила она.

— Да, пойдете! — неожиданно для самого себя энергически произнес Фальстаф Ильич.

Энергия возымела действие. Незнакомка встала, он протянул ей руку, она вложила в чужую свою, они поднялись по лестнице. Оба шли молча, он впереди, ведущий, она чуть позади, ведомая, и это положение было таким интересным для Фальстафа Ильича, что он не заметил сам, как бодро начал насвистывать какой-то мотивчик.

— Любите битлз? — безжизненно спросила девушка.

Он не понял.

— Вы свистите *Еллоу субмарин*.

Он опять не понял, но через секунду до него дошло и он рассмеялся:

— А-а... Не знаю, так, в голову пришло, сам не знаю, откуда. Я знаком с другой музыкой.

Она не спросила, с какой, так же как не спрашивала, куда он ее ведет. А он не говорил. Он сразу решил, что пойдут к нему домой. Куда-нибудь в другое место — других мест он не знал, да у него в кармане и денег не было. Он нарочно вышел без денег. Дома были. И если она захочет куда-то пойти, он возьмет их из ящика стола, все, сколько есть, он и пересчитывать не станет, и они отправятся, куда она попросит. Но сначала ее нужно отогреть, наверняка ей понадобится туалет, может, она захочет принять ванну, потом он напоит ее горячим чаем с малиной: малина имелаась. Что дальше — о том он не думал, но ощущал в себе прежний и еще больший подъем энергии. В его горячей ладони ее холодная согрелась, хотя она, как и раньше, безучастно брела за ним. Он опасался нарушить установившееся хрупкое равновесие и не заговаривал с ней, а только возобновил посвистывание, как оказалось, *Еллоу субмарин*. Милый мотив. Что-то в нем молодежное и нежно-зажигательное.

В подъезде, пока ждали лифта, она стояла, отвернувшись в сторону, так что он не смог разглядеть лица. Он увидел только еще раз спутанные длинные волосы и длинное черное пальто. В лифте пропустил ее вперед, и пока входил за ней, она шла к нему спиной, а когда повернулся нажать кнопку, стало почему-то неловко оборачиваться назад. Так и стояли: он впереди, она за его спиной, оба неизвестные друг другу. Он подумал: а вдруг дурнушка? И тут же ему стало смешно и он хмыкнул вслух. Как будто он собирался на ней жениться, а не просто выказать бескорыстное сочувствие. Как и прежде, она не выдала никакой реакции.

Вставив ключ в замочную скважину, он прошел вперед, чтобы зажечь свет, выключатель щелкнул, но свет не зажегся, электричества отчего-то не было. Стесняясь, он попросил подождать, наощупь добрался до кухни, там нашел в ящике стола свечу и спички, чиркнул, на свече появился маленький оранжевый шарик, выбравший из тьмы небольшой круг, держа свечу перед собой, он вновь вступил в прихожую.

— Извините, — сказал он, и сердце его упало.

Незнакомка, попавшая в тот же небольшой круг, насколько он мог понять в неверном его колыпании, была необыкновенно хороша собой. В полутьме проступали узкие скулы, маленький точеный нос, слегка полноватые губы четкого рисунка, свежая кожа, а главное, огромные и глубокие темные глаза. Отсутствие всякого выражения в лице, да еще страшный беспорядок, в котором пребывали светлые волнистые волосы, только и выдавали ее странное состояние. Она была старше, чем ему показалось в первое мгновение. Впрочем он не умел различать женских возрастов.

Фальстаф Ильич предложил неожиданной гостье снять пальто. Она расстегнула пуговицы и молча спустила пальто с плеч на пол, оставшись в чем-то изящном бело-голубом, голубой низ, белый верх. Фаль-

стаф Ильич закусил губу. Никогда такая женщина не переступала порог его дома.

— Хотите в туалет, хотите в ванную, хотите чаю или поесть? — выдал он заготовленный набор, поднимая одной рукой ее длинное черное пальто, а другой продолжая держать свечу.

— Да, — сказала она. — Все.

— В какой последовательности? — спросил он, сам все еще оставаясь в плаще.

— В такой, — коротко ответила она.

* * *

1995.

Ариадна. Как вас зовут?

Фальстаф Ильич. У меня странное имя.

Ариадна. У меня тоже.

Фальстаф Ильич. У вас какое?

Ариадна. Ариадна. Ада.

Фальстаф Ильич. А у меня Фальстаф.

Ариадна. Вас, наверно, дразнили Фальстартом?

Фальстаф Ильич. И так тоже.

Они пили чай за журнальным столиком. На кухне он постеснялся накрыть, решив, что в комнате будет приличнее. Она забралась с ногами на диван, укутавшись в его порядком выцветший бывший вишневым халат, мокрые волосы ее, высыхая, светлели и светлели глаза. Он увидел, что они вовсе не темные, а глубокие васильковые. Он справился с пробками, и теперь электрический свет заливал ее. Хорошо, что этого не случилось сразу. Хорошо, что ему дали возможность (судьба?) привыкнуть к ней постепенно. Если это можно назвать привычкой. За весь вечер она ни разу не улыбнулась, не говоря о том, чтобы засмеяться. Он от нее этого и не требовал. Состояние, переживаемое им, было совершенно новым. Он чувствовал себя как воздушный шар, все его внутренние органы, включая сердце, селезенку, легкие, не лежали, как прежде, сбитые, и плотно, на своих законных местах, а болтались как в воздухе, отчего он ходил и сидел в неравновесном состоянии, будто пьяный, и мог в одну и ту же секунду взлететь или умереть от отрыва какого-нибудь органа, и стало быть, последующего кровоизлияния. Ему то и дело хотелось смеяться — немного над этим почти нереальным приключением, немного над собой, чтобы все-таки присутствовала ирония. Но радость преобладала.

— Я буду звать вас *Лесик*, можно? — сказала она.

Он замер.

— Вам не нравится?

— Что вы!.. Я просто хотел сказать, что меня звали по-всякому, но так еще никто и никогда.

— *Лесик* идет к вашим усам.

Она его рассматривает! Она оценивает его внешность! Не он — ее, красавицы, а она — его, полного середнячка! Он, он должен был говорить ей про ее глаза, волосы, руки, а он молчит, словно у него язык прилип к гортани, и только похмыкивает, чтоб не дать прорваться глупому внутреннему смеху. Она, наверное, считает его неумным. Ей, должно быть, скучно с ним. Так и есть. Это она, по сути, и сказала.

Ариадна. Я пойду спать.

Фальстаф Ильич. Я постелил вам в спальне.

Ариадна. А вы где ляжете?

Фальстаф Ильич. Тут, на диване.

Ариадна. Вы не очень будете страдать?

Фальстаф Ильич. Почему?

Ариадна. Потому что я займу ваше законное место?

Фальстаф Ильич. Как я могу страдать, когда...

Ариадна. Когда что?

Фальстаф Ильич. Когда я так счастлив.

Ариадна. Счастливы отчего?

Фальстаф Ильич. Ну... оттого, что смог оказать вам услугу.

Ариадна. Да, вы оказали. Это правда. Я так и думала, что кто-нибудь или что-нибудь окажет. Сначала не хотела, а потом молилась, чтобы что-то или кто-то. Бог послал мне вас.

— Вы скажете, — безумно зарделся он.

— Это правда, — повторила она. — И тут уж я не могу привередничать.

Значит она его рассматривала не зря. Он тонко понял все, что она хотела сказать, и собственная тонкость его изумила. Он никогда не был тонким, он не знал этого за собой. Она не может при-ве-ред-ни-чать. Конечно, какие сомнения: он ей ничуть не пара, ни внешне, никак. Он опять хмыкнул, нисколько, как ни странно, не огорчившись.

— Почему вы хмыкаете, *Лесик*? Или вы так смеетесь?

Ну, вот, селезенка опять куда-то ухнула при этом *Лесик*.

— Теперь вы побледнели. Вам плохо?

Какая она внимательная.

— Мне хорошо, — сказал он. — Мне очень хорошо. Это я не могу привередничать. Это я не могу, да и не хочу ни на что рассчитывать. Я могу вам только служить, и если вам нужна моя служба, сегодня, завтра, сейчас, всегда, я здесь, только скажите. И даже если вы уйдете и я вам больше никогда-никогда не понадобится, все равно...

Он устал от непривычно длинной и страстной речи и захлебнулся.

— Что все равно? — спросила она.

У нее была эта холодная четкость в вопросах, она хотела, чтобы все было досказано, и это заставляло *Фальстафа* додумывать то, что в пре-

жней обыденной жизни, особенно с Марьей Павловной, не представляло никакого интереса, а нынче казалось самым важным.

Фальстаф Ильич. Я хотел сказать, что все равно этот вечер никуда не денется. Он останется, понимаете?..

Ариадна. Как меня зовут?

Фальстаф Ильич. Ариадна. Ада.

Ариадна. Так и скажите: он останется, понимаете, Ада? Не бойтесь назвать меня.

— Он останется, Ада, — повторил он послушно как школьник.

— Я уйду, — сказала она. — Я конечно, уйду. Но завтра. А сейчас я пошла спать. Спокойной ночи. И спасибо за все, *Лесик*.

Она поднялась и прошла в спальню. Он стал убирать чашки с журнального столика и носить в кухню.

* * *

1995. Фальстаф Ильич ничего не спросил Аду. Спрашивала она, как будто не выходя из своего анабиоза, сгрызая печенье и отпивая из чашки остывший чай. Видимо, анабиоз длился еще и в таком виде, честно подумал Фальстаф Ильич. Не мог же он подумать, что интересовал ее больше, чем она его. Он молчал, потому что не смел. Он ждал, что она сама скажет ему что-то. Она не сказала. Значит не захотела делиться. И правильно: нельзя первому встречному изливать душу, особенно если душа больна. Что душа больна, ясно и не провидцу.

Он думал, что не уснет, переполненный впечатлениями, но уснул тотчас, едва голова коснулась подушки. И целую ночь проспал, как ребенок, только что пузыри не пускал изо рта.

Его разбудил звук душа. Она встала раньше него и прошла мимо него. Был ли он в порядке? Он оглядел постель, себя — пижама застегнута, простыня с пледом немного сбились, обнажив одну ногу. Нога стройная, пальцы приятной формы, ничего. Уж лучше, чем лысеющая голова. Хорошее приходится носить в ботинке, а на всеобщее обозрение выставлять противоположное. Он вздохнул и осуществил подъем.

Утром она была другая. Вышла, уже одетая в свое белое с голубым, волосы высоко забраны в небрежный пучок, часть волос, красиво выбиваясь, падала по обе стороны лба, делая лицо похожим на итальянское, с картин, может быть, Боттичелли. Фальстаф Ильич изумился самому себе, своим знаниям и сравнениям. Словно эта женщина была реактивом, вызывавшим к жизни не проявленное, скрытое, о существовании чего и сам не подозревал.

— Вы совершенно другая, — сказал он изумленно.

— Какая?

— Вчера мертвая, сегодня живая.

— Так и есть, — сказала она без улыбки. — Я птица-Феникс. Сгораю и возрождаюсь. Вы очень добрый человек. Прощайте. Спасибо.

— А... завтракать?..

— Нет, спасибо. Еще раз благодарю.

Он, как был, в пижаме, подал ей пальто, и она ушла. Он хотел спросить не про завтрак, а вообще, как теперь будет дальше, что станет с ним, хотя б успеть крикнуть про телефон, чтобы она взяла его или дала свой, но сейчас поздно. Поздно. Вот так бывает, когда уходит поезд, и уже не остановить его, чтобы досказать кому-то в нем уехавшему то, чего не успел, или самолет улетел, а ты опоздал и можешь досадовать сколько угодно, а его не догнать. Время упущено. Так же как с Марией Павловной: вот она умерла и теперь никогда не узнает, что он отстранил усы. И про то, что к нему приходила и ночевала эта женщина, Мария Павловна не узнает. Ночевала не с ним, а у него, надо быть честным с предложениями, но это не так важно, важно, что она приходила и провела с ним вечер и ночь. А теперь ушла, оставив после себя лишь запах свежести, и это все.

Обильные, горячие слезы полились вдруг из глаз Фальстафа Ильича.

Он всхлипывал, он рыдал, он умывал лицо, чтобы успокоиться, и вытирал его полотенцем, но едва вешал полотенце на крючок, слезы исторгались с прежним изобилием. Спроси его, в чем дело, по ком и по чем он плакал, он бы не ответил. Но он продолжал и не мог остановиться. Как баба.

Когда к вечеру он полез за газетой в почтовый ящик на двери, оттуда выпал клочок бумаги. Фальстаф Ильич поднял его. Там был написан номер телефона, под ним подпись: Ада. Фальстаф Ильич расхохотался и поцеловал клочок.

* * *

1995. Вернувшись от Фальстафа Ильича в свой опустевший дом (строго говоря, опустели оба ее дома, и она могла отныне мыкать горе в любом из них), Ада сделала себе на кухне кофе, полезла за сливками, сливок не оказалось, выпила черного, которого не любила, посидела молча, пошла в комнату и сразу обнаружила пропажу.

Господи, что она, ослепла, как же раньше не видала! Пустой прямоугольник, вокруг которого выцветшая стенка, просто бросался в глаза. У нее были Зверев, Яковлев, Хамдамов, Назаренко, Кантор, Крымов, Косаговский, Грунт, и, конечно, Занегин. Она обожала женскую головку Зверева, его яркая пятнопись всегда возбуждала в ней счастливое чувство. Примитивные цветы Яковлева трогали душу. Женский портрет Хамдамова, выполненный черной тушью и лишь слегка подкрашенный одним синим, казался не монохромным, а полихромным, и это была

еще одна его загадка, которую хотелось разгадать. Но жемчужиной коллекции был «Автопортрет» Занегина. Он висел здесь десять лет. И вот пропал. Его нет. Вором мог быть только один человек, и она знала его имя.

Рядом оставался ее портрет. Их нельзя было сравнивать. Разница между ними была больше, чем в двадцать лет. Занегин написал его еще в школе. Но он сам когда-то повесил их рядом, и оба привыкли к тому, что они рядом, пусть из разного времени, он такой, а она такая. Сейчас, когда «Автопортрета» на месте не оказалось, ей вдруг дозрелу понадобилось сравнить их. Возможно, ею двигала тайная мысль, что тут и откроется что-то новое, что все прояснит. Она фотографировала большинство его работ и сейчас полезла в коробку с фотографиями, чтобы найти хотя бы снимок. Отпечатки картин в коробке были перемешаны с житейскими отпечатками. Остановись, мгновенье, ты прекрасно. Остановленное мгновенье и есть фотографический снимок. Очень скоро, забыв первоначальную цель, она, сидя на полу, перебирала и разглядывала все, что попадалось под руку. Мама с папой. Еще молодые. Еще живые. То есть папа живой. Она маленькая. Она побольше. Она школьница. Они с Занегиным в школьной компании. Занегин один. Петя один. Она с Петей и тремя подругами. Они с Петей вдвоем. Они с Петей и его родителями. Петя, она и ее родители. Она взрослая. Взрослый Занегин. Занегин на Малой Грузинской. Занегин на поселении под Пермью. Конечно, снимки были не в таком порядке, а в полном беспорядке. Но доставая всю эту мешанину, она уже раскладывала так, чтобы было подобие последовательной истории.

Истории болезни.

Будущее было закрыто для Ады. Она не умела вслушиваться в знаки, какие подавали люди, предметы, окрестности, метеоусловия. Прошрое ее не занимало. Детские подробности, юношеские переживания, которые составляют для многих самую интересную книгу и ее страницы охотно перелистываются в любое время жизни, в памяти Ады просеялись речным песком и залегли на дно текущей реки, почти не тревожимые течением. Она жила только настоящим. Она умирала здесь и сейчас. От любви. Вспыхнувшей, тлеющей, вновь разгорающейся, подпитываемой другим огнем, сильным, очень сильным, вдруг ослабевшим, вдруг обессиленным, язычки еле трепетали, языком по-прежнему облизывали друг друга, как коровы облизывают телят, а ничего уже не помогало, язык их был враг их, язычники, они не знали Христа, взошедшего на крест ради братолюбивых отношений людских, их отношения были далеки от братолюбивых, они рвали друг друга в клочья, самоутверждаясь один за счет другого, не умея ни расстаться, ни уступить. Занегин мучил ее — она мучила его. Чтобы понять, где была ошибка, она и раскладывала и перекладывала остановленные мгновенья.

Отец Ады был химик. Она тоже. Она закончила химико-технологический, где отец сначала был кандидатом и доцентом, затем доктором и профессором. Кандидатскую она защищала, когда он уже работал в ВАКе. Высшая Аттестационная комиссия утверждала диссертации. Отсюда он ушел в ЦК, в отдел науки. Петин папа был папин друг и непосредственный начальник. То, что дети поженятся, было сто лет назад шутливо решено в семейном кругу. Когда Петя звонил по телефону, ее так и подзывали: иди, невеста, жених звонит. Она злилась, разговаривала с Петей нехотя и высокомерно, но, побеждаемая петиным простодушием и весельем нрава, сдавалась, и по всей квартире разносились трели ее серебристого хохотка. Роман у нее был с одноклассником Максимом Занегиным.

* * *

1973. Занегин появился в их школе в девятом классе, уехав от дипломатов-родителей из Женевы, длинноволосый, зеленоглазый, задумчивый, молчаливый, ленивый, слегка грустивший, в чем содержалась дополнительная прелесть, и сразу сделался недостижимой мечтой едва ли не всех учениц школы старше двенадцати. Ада и сама была примерно такой же мечтой для учеников старше десяти и потому замерла в ожидании, когда новенький сделает первый шаг. Новенький его не делал. Возможно, у них не совпадали ритмы. Ада была быстра в движениях, он медлителен. Ада нервничала. Нервничая, стала совершать ошибки. Прежде она пренебрегала своей красотой. Волнистые густые волосы лежали, как хотели. Бледное лицо не знало краски. Остальные девичьи лица давно были знакомы с румянами, помадами, пудрами, карандашами для глаз, тушью для ресниц; стрижки, завивки, укладки стремительно сменяли одна другую. Ада как отличница интересовалась исключительно знаниями. И вдруг пришла в школу намазанная-перемазанная, к тому же, сделав из своих волос что-то немыслимое и еще это немыслимое залакировав. Занегин, увидев ее, машинально покачал головой, и это была вся его реакция. Ада провела уроки, сидя на скамейке парты, как на углях. Она ненавидела себя, ненавидела свои залакированные волосы, свои румяна, ненавидела тайком пересмеивающихся подруг, ненавидела Занегина, ненавидела учителей (и, о ужас, схватила тройку, да еще по приоритетной химии). И когда последний по расписанию учитель иронически, хотя и вполне добродушно, вслух оценил ее косметические старания, она разрыдалась, потекла всеми красками и выскочила за дверь. Через минуту Занегин встал и попросился выйти тоже.

Она стояла у окна, спиной к нему, когда он подошел и, взяв за плечи, развернул к себе.

Занегин. Ты что?

Ариадна. Ничего.

Занегин. Что ты, я тебя спрашиваю!

Ариадна. А ты что?

Занегин. Я ничего.

Ариадна. И я ничего.

Занегин. Как же ничего, когда натворила вот это?

Ариадна. Что?

Занегин. Это. На голове.

Ариадна. А тебя касается?

Занегин. Что?

Ариадна. То, что у меня на голове.

Занегин. А кого касается?

Ариадна. Никого. Меня.

Занегин. А что ты плачешь?

Ариадна. Я не плачу.

Занегин. А плакала?

Ариадна. Хотела и плакала.

Занегин. Мне уйти?

Ариадна. Пожалуйста.

Занегин. А ты что будешь делать?

Ариадна. Ничего.

Занегин. Ты злючка.

Ариадна. Я не злючка.

Занегин. А кто?

Ариадна. Слушай, чего тебе надо?..

Прозвенел звонок с уроков. Выскочили самые нетерпеливые, вышел учитель. Занегин пошел в класс. Ада застыла, ни жива, ни мертва. Ее сердце пело и плакало одновременно. Она дерзила ему, она не открывалась, она защищалась от него изо всех силенок, желая совершенно противоположного: быть нежной и покорной. Каждая ее реплика в ответ на его реплику грозила стать последней. В любой момент он мог повернуться и уйти. Собственно, так он и сделал: повернулся и ушел. И теперь она не знала, что ей делать, как жить дальше. Двинуться следом в класс, чтобы взять портфель, она не могла: он подумает, что она побежала за ним. Уйти в уборную умыться — тоже: он в это время успеет уйти и она его больше не увидит. То, что произошло между ними, уже было самодостаточно. Об этом можно было мечтать, это можно было петь, это можно было танцевать, это можно было перебирать слово за словом, припоминая каждую милую гримаску, слыша милое гласное, ощущая вес милых рук на плечах. Этого было катастрофически недостаточно. Это было, как если б дать человеку попробовать какой-то вкуснейший кусочек и тут же убрать блюдо. Голод, не вообще голод, а голод по избранному, самому необходимому, может истерзать человека, и она была в эту минуту таким человеком. Она стояла, как при-

клеенная, зная, что у нее неприлично перемазанное лицо, что она, потенциальная победительница, выглядит потерянной, как в лесу, и все-все поклонники видят ее позор и поражение.

Занегин появился с двумя портфелями: его и ее. Он медленно и неотвратно приближался, а ее сердечко, только что бившееся, как птица в клетке, замерло в предзнании, что клетка откроется: лети, птица.

Занегин. У меня идея.

Ариадна. Какая?

Занегин. Идем ко мне. Я тебя умою, а потом попробую...

Ариадна. Кого-о-о?!..

Занегин. Дурочка, попробую тебя нарисовать.

Ариадна. Ты умеешь рисовать?..

Занегин. Конечно. Я же учусь в художественной школе. Параллельно.

Ариадна. Ты хочешь стать художником?

Занегин. Почему хочу — я уже художник. А ты взяла и все испортила.

Ариадна. Что испортила?

Занегин. Я давно хотел тебя нарисовать.

Ариадна. Ты б еще дольше хотел.

Занегин. Это не от меня зависит.

Ариадна. А от кого?

Занегин. Не знаю.

Ариадна. Это можно смыть...

Она вдруг ужасно испугалась, что, действительно, все испортила и ничего нельзя поправить, и сердце вернулось в клетку. С тех пор так и случалось с ее бедным сердечком: то в клетке, то в небесах. Он умыл ее (сам). После чего она обернулась к нему и, теряя собственную волю, потянулась своим чистым лицом к его. Они долго целовались. После чего она истомилась и уже не знала, на каком она свете. После чего он велел ей сидеть тихо и принялся рисовать портрет. Она вышла на картоне заплаканной и нежной, с припухшими губами и глазами, из которых нестерпимо бил свет счастья. Ей долго было неловко смотреть на себя на этом портрете, как будто в нем было подсмотрено что-то, что не предназначалось для чужого зрения, и как будто она сама, продолжавшая жить, взростеть и стареть, стала такой чужой.

* * *

1977. Ее портрет был разорван на четыре части.

Потом бережно склеен. Так что если кто не знал, то и не нашел бы следов катастрофы.

Она сама, в порыве отчаянья и гнева, разорвала картон напололам и еще напололам. Это было до брака с Петей, когда они жили с Занегинным, не разлепляемые, безумно влюбленные и все же ухитрявшиеся ссориться так жестоко, что от этого можно было умереть. Ада серела

лицом, каталась в рыданиях по ковру в занегинской квартире — родители все еще жили в Швейцарии, а Занегин ушел в очередной раз, медленно прикрыв за собой дверь. Ада покаталась-покаталась, покричала-покричала, случайно поймала в зеркале свое лицо, исполненное ненависти, случайно перевела взгляд на портрет, где это же лицо было исполнено любви, и поняла, что должна себя убить.

То, что она порвала портрет, может быть, спасло ее. А может, наоборот. Кто знает, какие клочки остаются от нас по свершении тех или иных необратимых поступков. Она решила убить ту, на портрете, потому что сияние любви, больше никому не нужное, показалось ей непеносимо стыдным.

* * *

1978. Она вышла замуж за Петю на четвертом курсе, когда Занегин пропал не на день, не на неделю, не на месяц — навсегда.

Или, по крайней мере, надолго.

Он сделал это, подлец, перед Новым годом. Ада была особенно поражена, что перед Новым годом. Она любила Новый год как ребенок. Занегин знал это. Не раз, отдыхая после любви на его груди, наматывая на палец длинные пряди его темных волос и болтая о своих детских привязанностях, она признавалась ему, что всю жизнь это был самый таинственный праздник, когда она ждала чего-то особенного: особенных запахов, особенных подарков, особенных чувств, особенных поступков, — и так и бывало, ее детские любви как правило вспыхивали вместе с новогодними гирляндами огней. И Занегин тоже так и сделал: особенно больно. Он знал, что делает ей особенно больно. При всей своей медлительности и погруженности в себя он был специалист по особенным болям.

Он уже учился в Суриковском, и уже бросил, объявленный товарищами суперталантом, а преподавателями — посредственностью, с вытекающими отсюда оценками, а она переходила внутренне от оценок первых к оценкам последних, вся, целиком, с печенками, проваливаясь в экзистенциальные дыры, не зная, с кем живет, гением или посредственностью, — как будто это имело значение, когда он был рядом. Когда уходил — она садилась перед его рисунками, набросками, полотнами и рыдала: так он был талантлив. И так — еще и по этой причине — она не могла без него.

Как ни странно, сомнения сопровождали ее в одном-единственном случае, и это был случай Занегина. В других случаях вкус ей не отказывал. Обнаружилось, что он врожденный. В счастливые минуты это скрепляло их отношения. И, в общем, он приучился проверять себя ее суждениями. Она была надежный проверщик. Может быть, просто не все вещи его были талантливы. У него был неровный талант — так вернее сказать.

Куда он уходил? Бог весть. Когда возвращался, она никогда не спрашивала. Из гордости? Возможно. А вернее, потому, что когда возвращался, ничто другое уже не имело значения. Они снова влипали друг в друга, как сумасшедшие, они снова были одно целое, в мыслях, ощущениях, взглядах, физически и чувственно, и никому из них не было понятно, как же так долго они могли быть отдельно.

Зазвонил телефон. Ада не прервала своего занятия, не оставила коробку со снимками, не поднялась с пола и не подошла.

Это не Занегин звонил. И не папа с мамой. А все остальное не имело значения.

Фотографии «Автопортрета» не было. Значит он и фотографию забрал. Из нужды или все свое унес с собою?

* * *

1979. Петины родители и адины родители усаживались с общими друзьями за новогодний стол в Николино (у них оно именовалось «Николино Горе») и то и дело звонили ей. На их предложения она скучно отвечала *нет*, бросала трубку, рыдала, а, отрывав и нарядившись, схватила такси и помчалась к ним.

Таксист и она попали в метель и гололед. В последний день старого года дорога вела себя как шальная, и снег вел себя так же. Он то резко бросался на дорогу сверху вниз, то, напротив, взмывал от нее чуть ли не вертикальной волной, то мчался горизонтально, летя прямиком на свет фар автомобиля. Дорога, ускользая из-под колес, играла со снегом и с автомобилем как хотела: бросала вправо и влево, а однажды закружила с такой силой, что машина пару раз обернулась вокруг себя, как бы танцуя на льду, и встала поперек движения. Такие новогодние снежно-автомобильные игры-танцы. Хорошо, что движения как такового не было: ближайшие фары появились через полминуты. Желтые мутные фонари взирали на происшествие с высоты столбов равнодушно. Все случилось столь внезапно, что Ада не успела испугаться. Вежливый водитель спросил: вы торопитесь? Да нет, не очень, отвечала Ада, что ей было еще ответить. Ну, вот и хорошо, сказал водитель, осторожно выправляя машину и ставя ее носом туда, куда нужно, а то мы так можем не на Новый год попасть, а в морг. Ада засмеялась, хотя ни смеяться, ни беседовать с водителем ей совсем не хотелось. Но контакт установился, и водитель позволил себе спросить, отчего она так припозднилась, разве нельзя было выехать пораньше. Да я и не хотела никуда ехать, вымолвила Ада и неожиданно для себя рассказала водителю почти все о Занегине и себе. Конечно, без подробностей, а так, начертав общий контур. Водитель молча слушал, не прерывая. Ада сама прервала себя, взглянув на часы в машине и вскрикнув: было без двух двенадцать. Водитель включил радио, заканчивалось торжественное руково-

дящее поздравление всего народа, и стал тормозить. Ада не поняла, в чем дело, и с опаской взглянула на него искоса. Машина уже стояла. Он полез в карман. Вынул большое зеленое яблоко. Резким движением разломил на две половинки. Одну протянул Аде: чокнемся? Раздался бой курантов. Ада взяла протянутую половинку. Они чокнулись двумя половинками, сказав: с Новым годом. И стали хрустеть одним и тем же яблоком. Ада проговорила: я еще никогда так не встречала Новый год. Вот видите, у вас и глазки другие стали, отозвался водитель и тронул педаль газа.

Через четверть часа Ада входила в жаркую большую комнату с большой украшенной елкой, с зажженными свечами и большим овальным столом, за которым сидели родные и знакомые ей люди. К ней бросились, с нее снимали платок, шубу, теплые ботинки, подавали ей ее маленькие черные лакированные туфли, восхищались алым шелковым платьем, прелестными волосами, морозным румянцем на лице, расспрашивали, где она задержалась, утешали, что ничего страшного, что опоздала, Новый год никуда не делся, наоборот, он только что пришел и будет еще долго, она в ответ заливалась серебряным смехом, и было видно, что она нисколько не нуждается в утешении, а сходу готова приступить к празднику или, точнее, продолжать его, потому что всем стало ясно, что начало состоялось где-то без них.

Мать подошла и, целуя в щеку, сказала: ты моя Феникс-птица. Петя устроил так, чтобы Ада села рядом с ним, и она села, он поставил перед ней черную бархатную коробочку и попросил: открой. Она открыла — там лежало бриллиантовое колечко. Петя сказал: это обручальное. Она спросила: ты делаешь мне предложение? Петя, в свою очередь, спросил: ты берешь? Она взяла, надела кольцо на палец, подняла палец высоко над собой и громко обратилась к присутствующим: гляди-те, Петя сделал мне предложение, я согласна.

Петин папа вскрикнул: горько!

И сказал Давид: «да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им...»

* * *

1980. Увлечшись живописью всерьез, Ада ходила по выставкам, мастерским художников, ее узнавали, ее приняли в свой круг, кому-то она стала подругой и советчицей, ей принялись дарить картины, что-то она покупала за недорого и не заметила, как сделалась собирательницей и ценительницей. Занегин как в воду канул. Его не было, сама собою речь о нем не заходила, а расспрашивать было выше сил. Хотя если совсем честно, она отдавала себе отчет в том, что в ее странствиях по художникам только это и движет ею: возможность, пусть фантомная, обнаружить его где-нибудь или быть на месте либо поблизости, когда сам обнаружится.

Он объявился, когда она была уже замужем за Петей, заканчивала пятый курс и собиралась в свою химическую аспирантуру.

Дождливым осенним полднем она пришла в подвал к приятелям, привела приятельницу купить что-то из модерна, что так не называлось, упаси Бог, и что той хотелось для интерьера. Приятельница, из *цековских дочек*, с возможностями, однако застенчивая, тихо осматривала помещение: что-то висело на стенах, что-то стояло или даже лежало на полу. Художники, двое бородатых людей лучшего мужского возраста — среднего, вежливо переворачивали перед ней полотна. Ада предложила пойти заварить чаю, ей кивнули, она наклонилась, чтобы миновать низкую притолоку, за которой располагалась маленькая кухня, а, выпрямившись, оказалась прямо напротив Занегина, пившего воду из крана.

Занегин. Пить захотелось.

Ариадна. Ты... Я сейчас чай приготовлю.

Занегин. Да нет, я скоро пойду, не буду, спасибо.

Ариадна. Все будут.

Занегин. А, все...

Ариадна. Ни одной чашки чистой.

Занегин. Помыть?

Ариадна. Помой.

Занегин. Где заварка, знаешь?

Ариадна. Знаю.

Занегин. Я ночевал здесь. Вчера пили. Кажется, выпил смертельную дозу.

Ариадна. Я думала, ты умер.

Занегин. Я сам так думал.

Ариадна. Не вытирай. Пусть стекут. Махра от полотенца остается.

Занегин. Ты мне и раньше это говорила, не помнишь?

Ариадна. Осторожно. Это бьется.

Занегин. Ты опять в голубой юбке и белом пиджаке... Все те же?

Ариадна. Новые. Ты же знаешь, я постоянна в своих вкусах.

Они так ничего и не сказали друг другу и ничего не спросили. Ада не спросила, писал ли он что-нибудь это время, пишет ли и где его картины. Занегин не спросил, любит ли она его еще, как всегда первым делом спрашивал после возвращения. Да, наверное, это и нельзя было считать возвращением. Всего лишь случайной встречей. Они почти не смотрели друг на друга. Они говорили про необязательное, и никто из них не знал про другого, оттого ли это, что под кожей был страх разбить нечто хрупкое, или никакого страха не было и ничего не было. В ту минуту, застыв, как на ветру, они ничего не знали про самих себя и потому были так осторожны. Все-таки прошел почти год.

«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь».

1979. Занегин ездил не в изумительную холеную Швейцарию, как решила Ада, увидев его в мастерской их общих приятелей и чуть не потеряв сознание в первую секунду. Он путешествовал по своей заброшенной, сиротливой родине. Его выперли из Суриковского, наговорив с три короба обидного: о незнании жизни, об отрыве от народа, который поит его и кормит, а он о своем долге перед ним, мерзавец, забыл, об отсутствии твердого теоретического фундамента, основанного на знании марксизма-ленинизма, которое у него катастрофически отсутствовало, и еще полпуда той чепухи, какой были полны все газеты того времени и весь официальный русский язык, скрывавший (или выражавший) всеобщее душевное уродство. Уроды правили бал, а думали, что красавцы. И многие так про них думали. Некоторые почти искренне.

По времени это совпало с той фазой душевного цикла Занегина, в какую он эпизодически погружался, упиваясь самой низкой, ниже некуда, самооценкой. Впрочем упиваться — в точном смысле слова — он начал позднее. Сначала он не знал вина. Вина как лекарства, которое не лечило. Никакое средство не лечило. Ни работа, которой он в эти моменты боялся, будучи убежден, что ничтожен и сотворить может только ничтожное. Ни чувство к Аде, которое было самым сильным из всех, им испытанных, что не мешало смертельному желанию унижить его, это чувство, уравнивать с общим уровнем. Он искал прежних подруг, которых презирал, или просто подбирал первую встреченную грязную уличную девчонку и шел с ней. Наступала другая фаза цикла — он возвращался к себе, и возвращался к Аде, пугаясь своих погружений и загоняя их в самый глубокий подвал памяти, молча о том как о стыдной болезни. Если бы знать, что и другие люди переживают подобные циклы, одни проще, другие сложнее, возможно, ему было бы легче. Да что люди — сам Создатель переживал минуты отчаяния, желая иметь обычный ластик, чтобы стереть чертеж, который неудачно сотворил. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце Своем». Можно представить, что Он думал о Себе в эти — минуты? часы? столетия? Как назвать эти Его промежутки раскаяния и скорби? Мы же не знаем, как текло время, когда времени не было и не было пространства — Он лишь творил их. Зато были, были раскаяние и скорбь, вызванные ужасной неудачей, последовавшей за удачей: «И увидел Бог, что *это* хорошо».

Сперва — хорошо. Затем — скорбь и раскаяние. Но это и суть циклы. Стало быть, Он знал их. И стало быть, они были Им заповеданы.

Ничто из этого молодому Занегину было неведомо. Он проявлял полное невежество по части основ марксизма-ленинизма, и здесь его педагоги были оскорбительно правы. Но он был невежествен и отно-

сительно других, не марксистских основ, о чем ему некого было спросить в бедную, нищую разумом пору — не педагогов же.

В новой фазе подъема, как и в старой фазе подъема, перемежавших фазы спуска, Занегин был чуден и светел, кисть его летала как птица, его можно было любить, его необходимо было любить, он вызывал любовь, и знал это, и любил себя сам, и позволял себя любить, и любил других — за любовь к нему и просто так, как ему было даровано. В эти периоды он прощал другим все, его нельзя было ни задеть, ни обидеть, он был всемогущ и кроток, с ним было легко. И Ада понимала, что как и он, его силой, выделена красной строкой в Книге жизни. Они избраны.

Ни ему, ни ей не было известно, что *избранные* когда-то по-еврейски назывались *фарисеи*.

Убедить Занегина в том, что он ничтожество, стоило две копейки в базарный день. Если день был в пике спуска. Убеденный, Занегин и пустился по равнинным просторам родины, чтобы сойтись накоротке с тем народом, которого не знал и которому был должен, о чем забыл, ну, и так далее. Никто от него этого не ждал и не хотел на самом деле. Это был всего-навсего словесный воспитательный ритуал. И сам от себя он не ждал и не хотел. А вот поди ж ты, загорелось, как на воришке, и вдруг помчался, как ошпаренный.

Нет, конечно, он все делал по-прежнему медленно и внешне нерешительно, как и всегда, на что многие покупались, успевая начать обустроить его прежде, чем он сам успевал приступить к обустройству. Отчего-то взял железнодорожный билет до Саратова, вышел на при вокзальную площадь, обратился к первой попавшейся девице, как было у него в заводе, и у нее же снял комнату, встретив с нею вдвоем Новый год, а всего прожив чуть больше трех месяцев. Снял — громко сказано. Девица пустила его без денег, практически пригласив, если не навязавшись, сказала лишь, что придется носить воду и рубить дрова, впрочем уже заготовленные на зиму, поскольку домишко без центрального водоснабжения и без такого же отопления. Если ему это подойдет.

Ему подошло.

Он принес воды и наколот дрова, и она испекла пирог с брусникой, и нарезала тоненько синюшной колбасы, и открыла банку шпрот, и поставила на стол бутылку с самогоном, который гнала ее старшая подруга в городе Марксе, то ли соседнем городе, то ли пригороде Саратова, а он так ничего и не догадался купить к празднику, точнее, догадался, но почему-то не хотел или не мог переступить через себя, через свое подсознательное *неучастие*, а елка уже была принесена раньше, наряженная полуразбитыми игрушками и полуобесцвеченными бумажными фантиками, и пока еще не пробило полночь, они выпили со свиданьем и за знакомство, а когда пробило, то за Новый год. После этого она, не умея из неожиданной для нее робости ни о чем спросить,

неожиданно же рассказала свою историю, оказавшись старше, чем он предположил. В этой истории был ничем не примечательный мальчик, с которым она встречалась, пока его не забрали в армию, и которым не особенно-то и увлекалась, как и он ею, а уехал, так сразу выяснилось, что увлекалась, поскольку без него сделалось нестерпимо скучно, и когда он написал первое, по видимому, стандартное армейское письмо, тут же бросилась писать в ответ такие пылкие письма, что и его заразила, и теперь уж он писал разные ласковые глупости, волновавшие ее сердце. В первый же отпуск она отдалась ему, говорили о свадьбе, горевали, что будут жить без недостатка, какой недостаток у солдата, но положительные мечты все же пересиливали, он уехал, пообещавшись отпроситься у начальства с целью женитьбы, она была беременна, написала ему об этом с радостью и в ответ получила письмо тоже радостное, только с какой-то расхлябанной наглостью, какую почуяла, а не распознала, после чего письма от него стали приходиться реже и реже, а вскоре совсем иссякли. Она все бросила, то есть бросила свою маленькую должность в ЖЭКе, где работала после семилетки, взяла свои маленькие накопления и поехала к нему в Зауралье. Сначала ей пообещали сейчас позвать его, спросив, что сказать, кто приехал. А когда она ответила, что невеста, появились примерно через полчаса и сказали, что он на боевом задании и, когда вернется, неизвестно, может, через неделю, а может, через месяц. У нее задрожали губы, нос набух насморком, солдаты смотрели на нее с жестоким любопытством, кто-то предложил ей запросто прямо немедленно заменить ее парня, остальные загоготали, и она уехала. Они еще выпрашивали апельсины, которые она везла в авоське, думая, как будет угощать его и его товарищей, но после всего случившегося ей расхотелось кого-либо угощать, и едва военный городок скрылся из виду, она их вдруг взяла и выкинула. Хотя могла бы подпитать витаминами себя и нерожденное дитя внутри себя. Но она сделала аборт, на том и кончилась ее первая любовь, и больше она никогда о нем не слышала, вполне возможно, что он и не вернулся в Саратов, а живет где-то в другом месте, хоть на том же Урале. Потом у нее был один, и второй, и третий, замуж никто не звал, дети после аборта не рождались, и так она осталась вековой, дожив до своих тридцати семи и работая все в том же ЖЭКе, куда добросердечная начальница после ее романтической поездки приняла обратно.

Занегин слушал эту хорошо сохранившуюся, как бы не потраченную женщину и думал, что преподаватели правы, что он, и впрямь, не знает жизни. Чужой жизни. В его жизни были совсем другие женщины, немолодые и молодые (при этом он вовсе не имел в виду постельные отношения — в этот счет входили и его добрые знакомые, и знакомые его родителей), у которых были далеко не всегда удачливые, но всегда важные, а то и роковые связи. Эти связи наполняли их дни и ночи

особым, немного горьковатым, острым смыслом и вкусом, делая значительными и драматическими. Перепады счастья и несчастья переживались этими людьми как суть бытия, что длилось сперва в реальности, в психологических спадах и подъемах, а позже в пересказах и воспоминаниях, уплотняясь в красоту жизни.

Здесь было иное. Красоты не было. Была неинтересная, обыденная и во всех отношениях пошлая история. Сопереживать ей он не мог: не было болевых точек, которые вызвали бы в нем ответную реакцию как соприсущие и ему — общие координаты отсутствовали. Однако именно это, как ни странно, вдруг и вызвало в нем подобие боли. Когда она рассказывала, он сидел в дряхлом креслице возле тощей елки, не попадая в кружок света от лампы под абажуром, и это давало ему возможность не смотреть на нее, что, будь он на виду, было б невежливо. Но все же время от времени он вглядывался в ее желтенькие глазки, в чуть приплюснутый носик, в слабые морщинки на лбу под палеными химией рыженькими кудряшками, во все простенькое обычное лицо, ища ключа к нему и не находя. Отсутствие ключа добавляло боли. Возможно, это была его собственная боль бытия, но сейчас он был, так или иначе, связан с этой простушкой и по справедливости делил чувство с нею.

Я хочу вас нарисовать, сказал он ей. Она удивилась: как это? Он сказал, что художник, и в доказательство вытащил из сумки краски и палитру, а из папки, прислоненной к стенке, картон. Она всплеснула руками: ой, как интересно, а я еще хотела спросить, зачем у вас такая большая папка. И пошла густым румянцем. Что ж вы так смутились, спросил он. Ни к чему я вам для портрета, это вам надо пойти передовиков в центре на доске почета посмотреть, а я ж никто, честно сказала она. Румянец ее и преобразил. Желтые глаза сделались горячими, в неловком смехе обнажился передний зуб со щербинкой, пылающие щеки засветились изнутри.

Занегин взял лист картона.

Выходило, что он правильно сделал, что буквально воспринял поношения преподавателей и, бросив привычное житье-бытье, отправился по их завету узнавать свой до неприличия незнакомый народ и незнакомую родину-уродину.

* * *

1980. В новогоднюю ночь Занегин не спал со своей хозяйкой. Он рисовал ее портрет. А когда закончил, выпил добавочно пару рюмок самогону и тут же в креслице и уснул. Он спал с ней потом, практически целых три месяца, пока однажды, в ее отсутствие, не сложил папку и сумку, вышел из домишки, отправился на вокзал, сел в поезд и уехал, не оставив ни письма, ни записки. Что было писать? Что он четвертый, она знала и так, как знала, что будет пятый и шестой, и что с того?

Он двинул в Челябинск. Может, оттого, что город упоминала женщина. И может, даже с тайным желанием отыскать зачем-то ее несостоявшегося жениха. Она назвала его имя и фамилию, так же как назвала свои, и Занегин внутренне посмеялся той серьезности, с какой она это сделала, насыщая чужой и чуждый ей мир ненужной информацией. В провинции, особенно в малом городе или поселке, не говоря о селе, часто называют имя и фамилию кого-то из большого города либо столицы, особенно из столицы, допытываясь: вы такого-то не встречали, не знаете? Не отдавая себе отчета в том, что такой-то — песчинка в океане песка, и возможность встречи песчинки с песчинкой несбыточна. А все равно хочется связать одно с другим, надеясь, что по этой цепи побегит какой-то ток, может быть, вечной памяти. И себя подсознательно называют с тою же целью — вечные Добчинский и Бобчинский, жалко ждущие ложного счастья остаться в памяти других.

Жениха Занегин нашел.

Смешно, но он спрашивал точно так, как спрашивают в провинции. И язык довел его по слабой, то и дело грозившей обрывом цепочке до цели и места. Место называлось Кыштым, где обретались когда-то старые, петровских времен, медные рудники, а нынче находился *ящик*, то есть закрытое оборонное производство, на котором несостоявшийся жених, действительно, осевший тут после армии, трудился в воензированной охране.

Занегин удачно попал ближе к концу смены. Зацепившись слегка именно что языком и без усилий расположив к себе бывшего солдата, предложил заглянуть в ближайшую стекляшку попить пивка. Когда трясся на старом автобусе по разбитому шоссе, что как речка, вылось меж двух снежных берегов, он продышал большую дыру в замерзшем стекле и не мог оторваться от открывшегося ему в дыре пейзажа. Березовый балет, березовый хор, березовый сад, березовые свечи по обе стороны дороги потрясли его. За рощей из берез пошел сосновый лес, а потом враз открылось безмерное, уходящее к горизонту белое пространство. Было начало апреля, но озера еще замерзали, в полях лежал снег, а над ними стоял красный заиндевелый диск, и все вместе заставляло сердце сжиматься незнакомой тоской. О да, Швейцария была красива — игрушечной, рисуночной красотой. Россия поражала первозданностью, это живописное полотно малевалось не понарошке, а все-рез, до заледеневшей крови.

Охранник ковырял большим пальцем правой руки голубой искалеченный пластик высокого столика, слушая Занегина, а левой обнимал большую опустевшую кружку и не переставал изумленно повторять: *идить-ты-в-маму!* Занегин и сам был изумлен. Его кружка тоже опустела, но, конечно, непривычное возбуждение, владевшее им, нельзя было объяснить испытанными малыми градусами. Он дивился случаю, который,

петляя в мире непреднамеренно от человека к человеку, как заяц в лесу от дерева к дереву, выводил закономерность; он дивился и себе, взятому за шкурку чужой волей, которая читалась как своя и которая повлекла его столь странными дорогами по местам чьей-то славы и чьего-то бесславия, что не должно было, по идее, иметь к нему отношения, а вот, поди ж ты, имело, да еще какое, ибо он был той иголкой, что тянула нить, сшивавшую бесплотную материю.

Погоди, сказал охранник и ответил на две занегинских кружки своими двумя. Надо было остудить горячку воспоминаний, колом вставшую в горле. Надо было продолжить удивительное знакомство, а как это делать двум мужчинам всухую, никто еще не придумал. Они продолжали тянуть пенистую горькую влагу, и теперь Занегин слушал, как солдат испугался насилия над своей желторотой мальчишеской свободой, а если быть честным, то не сам испугался, а однополчане напугали, напели в оба уха, что не успев погулять, не успев поставить себя как самостоятельный мужик, который гнет судьбу, а не она его, водружает себе на нищенскую шею бабу с ребенком, кладя крест на вариантах. Охранник произнес последнее слово смачно и со вкусом, смягчив букву «р» мягким знаком, отчего у него вышло здорово культурно, вроде он был из прошлого века, и если уж не дворянин, то наверняка разночинец. И еще раз повторил: *на варьянтах. Варьянты* встали забором меж ним и невестой без места, сперва редким, в одну доску дерева, но скоро глухим бетонным. Сослуживцы до одури обсуждали женские достоинства, которые ждут их на дембеле, он принимал в обсуждениях активное участие, каждый доставал из заглашника свой сексуальный опыт, скудноватый на деле, но обогащенный в умственном переживании, и чем дальше, тем распаленнее представлялись будущие неземные наслаждения. Приезд невесты ударил как молния. Солдат обуглился вмиг, вмиг сгорев от жарких и противоречивых чувств. Он рванулся к ней, мужской инстинкт гнал его к девушке, с которой он познал сладость полного совмещения; армейская, товарищеская составная пригвоздила к земле, он не мог сапог оторвать от пола, словно не ноги в них были вставлены, а чутун залит. Он хохотнул расслабленным, идиотским смешком: что я, дурак, что ли, подставляться, ни за грош пропадать, скажите, что меня нет. После того, как товарищи вышли, он заставил себя подняться и теперь ходил по учебной комнате, где застала его весть, как по камере, не решаясь и выглянуть в коридор, как будто страшная девушка могла сюда проникнуть. В окошко он увидел, как солдаты развлекались с ней и как она повернулась и пошла прочь со своим маленьким чемоданом и апельсинами в авоське, а они еще что-то кричали ей вслед. Ему до смерти захотелось апельсинов, он, как живой, чувствовал их запах и видел перед собой сочные сладкие розовые дольки, от которых слюна пролилась, закапав гимнастерку. Он стал отти-

рать ее пальцами, однако новая порция жидкости, смешавшись, брызнула на пальцы, какая-то пленка затянула глаза, ему стало плохо видно, он не мог различить, где слюни, где сопли, где слезы. Кто-то из вошедших крикнул: эй, слюнтяй, ты что, реवेशь? Он двинул вошедшему по скуле. Тот двинул в ответ. Набежали другие. Кто-то кого-то крушил, кто-то кого-то от-кого-то оттаскивал. Из свалки он выбрался с фингалом под глазом, расквашенным в кровь носом и со свернутой шеей, которая долго потом вставала на место.

Охранник предложил Занегину кров на то время, что он пробудет в Кыштыме, и они пошли через весь городок, над которым крутилась припозднившаяся апрельская метель, с редкими электрическими огнями на столбах, в пятнах света которых снизу вверх, сверху вниз, слева направо и справа налево завевалась белая кисея. Молодая женщина с насупленным лицом открыла дверь квартиры стандартной малоэтажки: где ты шля... Оборвала фразу, увидев чужого и, по виду, явно не местного человека. Мой друг из Саратова, то есть из Москвы, искательно улыбаясь, представил муж жене нового знакомого, пропусти, что ж ты в дверях, как истукан, застряла. Истукан посторонилась. Занегин и охранник вошли. Жена из Кыштыма была как две капли воды похожа на невесту из Саратова. У этой были другие волосы, темные, а не светлые, свои, а не крашенные, длинные, а не короткие, без перманента, а не с перманентом, другие черты лица, чуть крупнее, но общая стертость и непроявленность делали родство не столь внешним, сколь внутренним. Не замахнувшись, отчетливо подумал про себя Занегин и сказал вслух: где тут у вас магазин, я б сходил купил что-нибудь к ужину. Жена строго взглянула на мужа. Муж сказал просительно: он у нас поужинает и поживет немного. Жена с тем же напряженным лицом молча стала метать тарелки на стол, бросив гостю: завтра сходите купите, сегодня есть.

У Занегина была с собой бутылка водки, сперва добавившая напряженки (взгляд жены в сторону мужа), а после снявшая ее. Сперва: он уж и так хорош. В ответ: ты что, ты что, мы только пиво пили. После: ну, давайте, ну, что ж, и я с вами выпью. Спустя пару рюмок женщина раскрепостилась, повеселела, рассказала о себе, что работает медсестрой в районной поликлинике, показала двух спящих детей во второй комнате, там же сняла со стенки гитару и принесла мужу: давай. Охранник пояснил Занегину: в армии научился. Среднего роста, неприметный, ледащий мужичонка, начинавший лысеть со лба, положил одну руку на гриф, другую уместил в выемку инструмента, обнаружив неожиданно красивые длинные пальцы, низко опустил голову, как бы заглядывая с вниманием в круглое гитарное отверстие, начал перебирать струны, — и переменялся. Светлые маловыразительные глаза его потемнели, скулы загустели, подвижное лицо из суетливого и нерешительного сделалось

важным и солидным, фигура приобрела законченность. Он играл что-то испанское, ритмичное и переливчатое, и эти неожиданно темпераментные, южные переборы гитары в стиле зимнем Зауралье казались фантастикой. Женщина смотрела на музыканта, тоже переменившись. Из стержового, пусть и несколько анемичного, она превратилась в приветливое существо, явно гордящееся им, собой, что он у нее такой, семьей, какую сумели создать. Никаких особенных сексуальных пиршеств тут, конечно, не было, ничего, превышающего уровень саратовского *варьянта*. Просто той выпало потерять парня, этой — найти. Вот и вся небесная или земная механика. Без объяснений.

Потом женщина пела тонким голосочком народные песни под аккомпанемент гитары. Потом похвалилась, что младшая сестра ее, красавица, лучше нее поет, живя неподалеку, в Перми. Охранник, отложив гитару, зачмокал языком и завел глаза вверх, вспоминая красоту золовки, за что схлопотал подзатыльник, насколько шуточный, настолько же и увесистый. Занегин, также шутя, попросил адресок.

На второй день медсестра ушла на работу, охраннику было в ночную смену, Занегин посадил его перед собой и нарисовал то ли натюрморт, то ли портрет: лицо охранника в апельсинах. Охранник долго смотрел на себя и на апельсины, потом сглотнул комок и сказал: зря я тогда к этой дурочке не вышел, совсем подлец был пропащий.

* * *

1980. Пермская красавица набросилась на Занегина, как голодная. Она утонула в его зеленых столичных глазах сразу и целиком. Она не давала ему рисовать никого из подруг, ни даже друзей, ни даже родни — он должен был тратить свое внимание и время на нее одну. Она готова была позировать ему часами и позировала, одетая и обнаженная, и хотя ее никто этому не учил и делала она это впервые в жизни, абсолютно органичная. Тонкая в талии, слегка полноватая в бедрах и плечах, с высокой грудью, она была столь гибка от природы, столь грациозна в движениях и позах, что у Занегина то и дело вырывался странный счастливый смешок, вроде как у того солдата, ее нынешнего свояка. Лоб ее, без намека на переносицу, переходил прямо в нос, немножко лопатой, отчего лицо с широко расставленными глазами выглядело, как лицо какого-то животного, что, впрочем, придавало ему оригинальности. Занегин давно истратил все картоны, и накупил холстов, и теперь писал на холсте настоящую большую картину маслом.

У них была своя банька на заднем дворе, и под предлогом темы картины «Красавица в бане» они уходили туда, действительно, работать, он с кистями и красками, она, заранее полуголая, и оба честно трудились какое-то время, такое условие поставил он, она — терпеливо замерев, он — изумленно-счастливо похохатывая, оттого, что видел,

как и что рождается на полотне, пока она по какому-то одной ей видимому признаку не узнавала, что он, наконец, иссяк и истомлен, и что пора подбросить дровишек и воздать парку, чтобы промять, пропарить его замлевшие косточки и усталые мышцы, чтобы не сразу, а лишь после этого тягучими, долгими, самозабвенными поцелуями выманить из нетей его прикорнувшую силушку и уж тут-то отчаянно сойтись в горячей и горючей взаимной страсти.

Он лежал на полке, мокрый, обессиленный, радостный содеянным и в одной сфере, и в другой, ожидающий продолжения радости сегодня, завтра, и послезавтра, уважая и ценя себя, и думал: а ну, как забыть все прежнее и остаться тут насовсем, навсегда, без этих иссушающих мозг дурацких мыслей о себе, о других, без терзаний совести, без страдания за то, что страна не такая, власть не такая, порядки не такие, люди не такие, без этого чувства вечной вины и агрессии, без всех этих экзистенциальных провалов, как хорошо.

Бурная весна наводнила реку Каму, по берегам которой вспыхивал щедрый зеленый огонь, каждое деревце, каждый кустик, обновляясь, заводил в себе новую жизнь, и, в согласии с природой, новая жизнь заводилась в Занегине.

Славные и сладкие мысли свободно бродили в его головушке, поскольку ни с чем не сталкивались и ни от чего не отражались. Отражением нашим мыслям и нашим чувствам служит, прежде всего, человек рядом. Его мысли и его чувства, не обязательно высказанные, но угаданные, прочитанные нами. А где они читаются? В душе. То есть в глазах, в лице. Ибо в лице и проглядывает душа. Красивое лицо этой женщины одновременно было никакое. Так бывает. Тело этой женщины было ее душа. Его создали таким, что оно забирало на себя все внимание сожителя, согладая, свидетеля его, этого тела, жизни. Тело было говорящее. И слава Богу, что появился художник, который мог услышать произносимое, узнать, угадать. Хотя и без художника публика находилась. Может, без изысканных тонкостей, но ценители занимали очередь с вечера. Другое дело, что красавица выбирала сама и более других предпочитала чистых эстетов, то есть целомудренных обожателей. Тем более, что имелся муж. Он был не первый и он был не близко: уехал в Магадан, на золотые прииски, в старательскую артель, на заработки. Она не скучала: работала в сберкассе, пела в районном хоре, после концертов павой плыла в окружении поклонников и нечаянно и нечасто изменяла мужу, скорее от скуки, чем из пылкой любви к этому делу. Отец и тетка, родная сестра отца, заменившая ей рано умершую мать, давно исчерпав аргументы, относились к происходящему как к погоде, и когда, ближе к осени, приезжал муж, предварительно выслав традиционную телеграмму *встречай*, никак не обнаруживали своего знания предмета, которое могло бы того заинтересовать. Парочка, увлеченная друг другом, подавалась на юг, от-

туда возвращались, умиротворенные, удовлетворенные, загорелые, прокутив кучу денег, он особенно крепко тискал ее в последнюю ночь и снова покидал, влекомый не только золотом, но и собственной свободой: все возвращалось на круги своя. Единственное, что огорчало супруга, это отсутствие детей, которых она не хотела из натурального эгоизма, боясь, что это испортит ее великолепные стати. Но и то, старательно оглаживая их на прощанье, старатель утешал себя тем, что со статями, пожалуй, она права как никто.

Поглядывая искоса на Занегина, отец, бородатый, темный цветом, помалкивал и на этот раз, хотя ясно видел, что дочка тронулась умом: ни на шаг не отходила от приезжего, даже репетиции хора пропускала. Зато в доме и в баньке теперь нередко раздавались ее песнопения, которыми она давно не баловала домашних. Голос у нее, и впрямь, был приятный. Солнце разогревало воздух и землю, можно было больше не укутывать себя в тяжелое зимнее, а выскакивать на улицу в легком, просвечивающем, под которым сильное, красивое, женское не только угадывалось, а прямо-таки прорисовывалось, только хватай карандаш... или... хватай женщину... Занегин растворился в этом странном бытии, как в чужом сне, в который попал по недоразумению и теперь не может и не хочет сделать резкого движения, чтобы пробудиться или пробудить. Он тоже помалкивал, как и все в доме, отдавшись тому, что существовало помимо ненужных, в сущности, разговоров, и понимал, что его побег из Москвы, где только и занимались, что разговорами, до основания переменял его. Он писал это тело, через которое говорила душа женщины, и догадывался, что сотворяет шедевр. И что, вот так вот просто оплачиваются шедевры? Мысль эта удивляла и смешила, делая его слегка придурковатым. Но кому ж тут оценивать и перед кем держать фасон? Он вел себя, как велось, и это освобождение от условностей было неожиданным счастливым даром, от слова *даром*, отмечал он в вольно пролетавших случайных мыслях.

И тетка, лицом копия брата, только не темная, а серая, седая, помалкивала.

Они все помалкивали не так, чтобы было тяжело, а просто так. И оттого было не тяжело и не легко, а просто и было.

* * *

1980. Золотодобытчик возник внезапно, без обрядовой телеграммы. Он свалился прямо к ужину, когда его жена, ее отец и тетка, а также незванный гость из Москвы сидели за столом как одна семья, позабыв хозяина, и красавица подкладывала еды красавцу, глядя на него с застенной жадностью, какой никогда прежде родня в ее глазах не видала. Лето было в полном разгаре, все изнывали от жары, Занегин скинул рубашку, красавица была облачена в старенький сарафан, ее гладкие

плечи и высокая, пышная грудь блестели мелкими капельками пота, и Занегин поглядывал на них, думая, как бы не забыть написать эти капельки. Нежданный хозяин смешал все карты. Красавице пришлось натягивать другую физиономию поверх первой, помня при этом, что главных зрителей двое: муж и художник, — и на самом деле непонятно, кто приоритетней. Это не успело проясниться. Потому игра красок и выражений на месте, на каком обыкновенно их было небогато, теперь бросалась в глаза. Догадавшись, что суета ее выдает, красавица после первых телодвижений, связанных с сюрпризной встречей, замкнулась, и конец ужина прошел бы, как на дипломатических приемах, если б не пара бутылок, выставленных старателем *со свиданьем*. Градусы, один за одним, делали свое дело. Отец повеселел, тетка тоже получала явное удовольствие, старатель произносил двусмысленные тосты, красавица покраснела, москвич молча напивался. Пойдем, законная, сказал громко муж жене в двенадцать пополудни и поволок в спальню, конечно, уже слегка подостывшую от жаркого тепла занегинского тела, пропадавшего там в предыдущие ночи. Занегин удачно свалился под стол и больше ничего не помнил.

Он очнулся оттого, что по нему шарил огненная рука. В первый миг он привычно принял ее за женскую. Хорошо, что не успел привычно и отреагировать. Поскольку тут же понял свою ошибку. Рука хищно сжала его горло, так что он чуть не захлебнулся то ли воздухом, то ли слюной. Идем, шепнул хозяин и так за горло и поднял и выволок Занегина с подстилки, которую тому подложила, видать, тетка, прямо на двор.

Яркая луна жидким серебром заливала небо и землю, уральские немеряные просторы, раскинувшиеся так далеко, насколько хватал глаз, — у Занегина даже под ложечкой засосало от величия картины. Ну, сказал золотодобытчик, рассказывай. Что рассказывать, спросил Занегин. Как, когда и сколько, словно гестаповец приступил мучитель к допросу. Занегин помотал головой. Его тошнило. Он решил отпираться до последнего. Я художник, сказал он, я ее писал. Золотодобытчик злое ще рассмеялся и повторил с гнусным намеком: как, когда и сколько ты ее пи-сал? Ты нас в постели застал, прямо спросил Занегин. Нет, честно ответил золотодобытчик. Ну, и то-то, победоносно, как ему показалось, отреагировал Занегин. И тут же получил сильный тычок в ребра. Мне тетка все отписала, коротко сообщил обманутый муж. И продолжал: да если б не отписала, я только что из той самой постели и с той самой бабы, что ты опоганил. Дискуссия потеряла смысл. В какую-то секунду Занегину показалось, что все кончится жуткой мужской апатией. Он ошибался.

Занегина нашли рано утром, съездившегося, в зеленях, всего в крови. То ли он заснул свое избиение, то ли потерял сознание. Отец и дочь

перенесли его, стонущего, в дом и уложили в ту самую семейную постель. Попытка протеста оказалась неудачной, ее не заметили в силу слабости. Мужик, побивший его, улетел. Что он сделал с женой и сделал ли что-нибудь, Занегин не осознал. Он вообще пока мало что со-знавал, настолько его отделали. Когда же поднялся через несколько часов, если не все, то многое потеряло для него смысл. Старатель сжег все его картоны и полотна, включая «Красавицу в бане».

Занегин посмотрел на оригинал вдруг увлажнившимися зелеными глазами, в которых застыл детский вопрос типа *зачем вы это со мной сделали*. Печальная, поблекшая, как бы озябшая в жаркую погоду, провожая его на вокзал, женщина поведала про письмо, какое тетка написала зятю в страхе, что все переменится настолько, что всерьез угрозит прекращение поставок золота и отставка добытчика. Раньше не менялось и не грозило, оттого смотрели сквозь пальцы. На этот раз пальцы веером пришлось составить в сморщенную ладошку, какой взять шариковую ручку и накатать донос. Женщина, ни на что не надеясь, грустно подтвердила, что все, и правда, переменялось, он, художник, оставил в сердце занозу, которую не скоро выдернешь. Занегин слушал вполуха. Он был разочарован. Пустота переполняла его. Не то, что добыча шедевров оказалась дорогостоящей штукой — утраченный шедевр сам по себе виделся фальшивкой, и с этим ничего нельзя было поделать.

* * *

1980. В Москве зарядили дожди. Облетевшее с деревьев золото, только что весело шуршавшее под ногами, лежавшее в скверах пыльным праздничным ковром, почернело, смешалось с грязью, превратилось в грязь, явив зримую метафору и метаморфозу. Чтобы не впасть в сезонную тоску, предпочтительнее было настроиться на философский лад. Ариадна шла от Пушкинской к Никитским, твердя себе: это пройдет, и это пройдет тоже. После встречи в мастерской у друзей Занегин так и не позвонил, хотя она ждала. Не дождавшись, позвонила сама и сама пришла. В знакомой квартире застала незнакомого Занегина. Он говорил о дальнейшей невозможности существования, о воздухе, каким нельзя здесь дышать, о замыслах, которые навсегда останутся невоплощенными, о занижении волей-неволей планки в угоду тупой действительности, о задавленной в этой стране сути человека, равно как мужчины, так и женщины, о необходимости прорыва к иной реальности. Ада слышала что-то подобное от других, но ее это не особенно задевало. Общественный человек в ней спал. Сейчас задело. В первый раз она обратила внимание, какие у него болотные, затягивающие в свое болото глаза. Есть очень грубое слово для определения таких глаз. Ада не могла произнести его вслух. Как и отчего они стали такими? Ты колешься, спросила она в первый раз.

Занегин. С чего ты взяла?

Ариадна. У тебя на руке что-то синюшное.

Занегин. Это порванные связки.

Ариадна. Как ты их порвал?

Занегин. Мне порвали.

Ариадна. Ты с кем-то дрался?

Занегин. Меня били.

Ариадна. В милиции или в КГБ?

Занегин. За рекой за Камой...

Сказав непонятное, он засмеялся и пошел варить кофе. Он был другой, не похожий на себя, и Ариадна не знала, в чем дело. Он всегда был самоуверен, даже высокомерен отчасти, то есть замкнут на себя, а вместе с тем вежлив и предупредителен, то есть расположен к другому, что в сумме рождало особую энергетику и особое обаяние. Теперь он был как будто не расположен и не уверен, а как-то сбивчив. Когда мужчина так сильно меняется, ищи женщину. Она спросила храбро: ты встретил женщину? И не одну, откликнулся он. Это было легче, это было поправимо. Непоправимо, если одну. К кому же относятся *невоплощенные замыслы, и воздух, каким нельзя дышать, и тупая реальность*? К ним? Или к ней, Ариадне? Или, действительно, к чему-то поверх того, что могла сообразить слабая женская головка? Они пили кофе из ее любимых маленьких коричневых чашечек, ее тронуло, что он это помнил. Она положила свою руку на его. Он отставил чашки и потянулся к ней. У нее закружилась голова. Боже мой, сказала она перед тем, как он нашел ее губы своими.

Как-то все было странно. Они лежали вместе, ласкались, он рассеянно слушал, что она говорила ему, что-то говорил, в свою очередь, курил, потом как будто задремывал, потом просыпался, она целовала его, он ее, но до последней близости так и не доходило. Как будто они прожили вместе много-много лет, и близость для них уже не актуальна. Тупая реальность, продолжал он свой монолог, то, что нас окружает, Софья Власьевна, которая испоганила образ жизни и образ мыслей, привычки и свойства людей, превратив их если не в скотов, то в рабов, и она всегда найдет подходящее орудие в лице любого скота или раба, чтоб убить или изувечить свободного человека с непохожими, вольными мыслями и чувствами... Ада слышала, что Софьей Власьевной называли советскую власть, в которой все они представлялись неплохо устроенными. Занегин, в том числе. Ей стало не по себе. Она пошла в душ, потом вернулась, села на кровать, обхватила его голову руками, приподняла, спросила с отчаянием: ты любишь меня? Он посмотрел на нее внимательно и сказал: да. Тогда все хорошо, выдохнула с облегчением и стала одеваться. Подожди, попросил он ее. Это ведь не последний раз, сказала она, я приду к тебе, как только ты позовешь. А совсем остаться

не хочешь, спросил он. Я замужем, ответила она. Вот как, протянул он, это интересно. А ты разве ничего об этом не слышал, спросила она. Нет, покачал он головой. Почему-то ее это огорчило.

Ей хотелось обсудить с ним эту тему, но он ушел от обсуждения. Ушел и от обсуждения его художественных свершений и намерений. Поморщился, как от зубной боли. Она не стала настаивать.

Они поцеловались, он проводил ее до порога, обернувшись в простыню. Открывая дверь, сказал: я был козел, теперь с этим покончено. Поднявшийся сквозняк грозил обнаружить то, что еле прикрывала простыня: в любой момент кто-то мог выйти на лестничную клетку — выяснять значение сказанного было поздно.

С тех пор он ни разу ее не позвал. Может быть, на него так подействовало известие о ее замужестве? Когда она снова позвонила сама, услышала в ответ, что занят и говорить сейчас не может. Голос был доброжелательный, но чужой. Это потому, что я вышла замуж, бросилась она головой в холодную воду. Ах, нет, возразил он, и это было, как если б он двумя руками попридержал ее голову там, в воде.

Она месила ногами осеннюю грязь, состоящую из бывшего золота, и твердила себе: и это пройдет. Ее уговоры относились не к тому, что пройдет его холодность. А к тому, что пройдет ее любовь. Впрочем она знала, что заговаривает судьбу, желая обмануть себя. Что еще ей оставалось делать.

* * *

1995. Фальстаф Ильич уныло набирал номер Ады. Он делал это в двадцатый, либо сороковой, либо шестидесятый раз. Это вошло в привычку. И в привычку вошло слушать длинные гудки. Как будто она уехала. Надолго или навсегда.

Прошло несколько недель, прежде чем в трубке вдруг раздалось: алло! От неожиданности Фальстаф Ильич чуть не уронил телефон.

Фальстаф Ильич. Ариадна!..

Ариадна. Я.

Фальстаф Ильич. Где же вы были?! Я столько раз вам звонил!..

Ариадна. Или не дома, или дома. Я не всегда беру трубку.

Фальстаф Ильич. Кому вы говорите, это-то я уж знаю!..

Ариадна. Вы спросили — я сказала.

Фальстаф Ильич. Только не бросайте, пожалуйста, мне столько нужно вам сказать!..

Ариадна. Сколько?

Фальстаф Ильич. О!..

Ариадна. Это все?

Фальстаф Ильич. Не смейтесь надо мной! Вам может показаться, что я смешон, но я на самом деле не смешон!..

Ариадна. Мне так не кажется.

Эти слова, противно их смыслу, сопровождал ее смех, будто кто-то рассыпал гроздь драгоценностей. Фальстаф Ильич впервые слышал его и готов был слушать еще и еще, пусть и над ним. Смех оборвался.

Ариадна. А вот не хотите ли вы быть мне полезны?

Фальстаф Ильич. Я?! Вам?! Еще как!

Ариадна. Тогда послушайте, о чем я вас попрошу... *Лесик.* Собственно... приезжайте-ка, *Лесик*, ко мне.

Фальстаф Ильич привычно подавился воздухом, который набрал в легкие. Она назвала улицу, номер дома и квартиры, сказала, что будет ждать, и повесила трубку. Конечно, он выбросил из шкафа все вещи в поисках свежей рубашки, черных брюк с атласной полоской, такого же фрака и бабочки, а найдя искомое, через все переступив, ничего не собирая, забыв себя, помчался по указанному адресу.

В однокомнатной квартире с низкими потолками, которая досталась Ариадне в результате развода с Петей и размена их прежней трехкомнатной с высокими потолками, Фальстаф Ильич получил предложение вместе отправиться в Италию. Точнее, в Рим.

Он стоял перед Адой — поскольку не успел сесть — оглушенный.

Тут надо напомнить читателю, что однажды Вечный город уже возник в этом сложно-сочиненном (или сложно-подчиненном) повествовании. А именно картинка римского аэропорта проносились в представлении Фальстафа Ильича. И случилось это ровно накануне роковой встречи с Ариадной, перевернувшей его жизнь. Как вы понимаете, повествователю не стоило труда выстроить другую последовательность: вначале пребывание Фальстафа Ильича в Риме, а затем воспоминание о нем, что было бы логично. Однако это противоречило бы тому, что произошло в действительности. Поскольку в действительности дело обстояло прямо наоборот. Сперва воображение Фальстафа Ильича нарисовало ему нечто как живое, а уж затем это воображаемое живое воплотилось в реальность. Он стал причастен к чудесному, с ним стали твориться чудеса, и это приподнимало его в собственных глазах, как никогда раньше.

В таинственные ночные часы, когда он не мог уснуть от возбуждения и усталости, поскольку носился по Москве как оглашенный, он вспоминал, что все так и было: сначала он увидел себя в Риме, представив все до мельчайших деталей, потом выбежал на улицу, где повстречал Аду, и вот теперь он летит с нею непосредственно в Рим. Фантастика. *Бедный клиент, обалдев, по белому свету летает.* Стихи, которых он сроду не писал.

— Какой вы красивый, — отметила Ада, глядя на его фрак с бабочкой, и снова засмеялась своим серебряным смехом.

Эта фраза пела в нем все время, что он, оформляя загранпоездку, преодолевал любые преграды, сопровождаемый, или лучше сказать, ведомый музыкой ее слов и смеха, и того, что стояло за ними.

Фальстаф Ильич был отставной военнослужащий. Его отправили в отставку в чине майора, по болезни, найдя запущенное заболевание почек, отчего у него однажды поднялось и больше не опустилось давление. Он был не просто военный. Он был военный валторнист. Он играл на валторне в военном оркестре. Валторна, если вы плохо себе представляете, — гигантское золотое ухо, состоящее из множества мелких золотых трубочек. Ну, конечно, там не золото, а медь или какой-то сплав. Сочленение трубочек с одной стороны кончается большим раструбом, а с другой — маленьким загубником типа свистка. Взяв загубник в рот и дуя в него, вы получаете на выходе замечательную духовую музыку, от которой у слушателя могут даже увлажниться глаза, если валторнист играет мастерски и с чувством. А Фальстаф Ильич играл точно так, отчего Мария Павловна, работавшая в гарнизонной библиотеке, и выдала однажды обильную глазную секрецию. На основе чего случился их сентиментальный роман и последующий брак. Было не совсем понятно, чего большего ожидала от своего белокурого мужа-валторниста скромная библиотекарьша. Валторна и так, как уже сказано, большой инструмент. Конечно, есть больше. Например, баритон. Или туба. Или вовсе огромный: бейный бас. Самое смешное, что в училище Фальстафа Ильича усадили как раз за бейный бас. Показали, как укладывать рот в мундштук, как оттопыривать губы и фыркать ими, подобно лошади, — тогда из инструмента вылетают густые трубные звуки. Через четверть часа Фальстаф Ильич почувствовал, что у него на месте губ образовались две разлапистых пятки. Он выбрал рот из мундштука бейного баса и сказал преподавателю: дуйте сами. После чего будущего майора схватили и посадили на гауптвахту на десять суток. Когда он вышел с губы, его собственные губы вернулись в нормальное состояние, за бейным басом сидел другой малый и не роптал, а упрямо посадили за валторну. Возможно, то был последний (или первый) привет коллективисту от индивидуалиста (два в одном). Ну, а что касается других ожиданий, профессионально расти валторнисту некуда, будь ты хоть семи пядей во лбу. Да, есть такие занятия у людей на земле, которые как бы своим содержанием не предполагают необыкновенного развития и необыкновенных достижений. И должности есть такие, которые называют скромными, и люди есть скромные, с юных лет и до старости. Не всем же быть нескромными.

Обнаруженное высокое давление и дутье в трубу оказались несовместимы с жизнью Фальстафа Ильича. Гарнизонные доктора издали решительный декрет, и так получилось, что Фальстаф Ильич вылетел в трубу. Болезнь одолела его спустя время после смерти жены. Возможно, смерть и спровоцировала. Зато спустя еще время он одолел болезнь. Это удалось сделать с помощью бабы Вали, какую нашли ему в Люберцах. Довольно молодая еще бабенка, широкая в кости, плотная и слегка косо-

глазая, выгоняла болезнь молитвой, а с собой давала чудодейственную зеленую глину, которую копала тут же, невдалеке от дома, возле синего щитового павильона, где продавали водку. Фальстаф Ильич разводил глиняную массу теплой водой, прикладывал живьем к почкам и держал до тех пор, пока глина не отваливалась сухими комками. Вот так же комками, видимо, отвалилась хворь. Короче, Фальстаф Ильич излечился от неизлечимой болезни назло врачам и медицинским учебникам, и это придало ему силы, какой прежде в себе не ощущал. На армейскую службу он, естественно, не вернулся и стал искать работы по специальности на гражданке. То есть предлагал свои услуги в разных оркестрах, начиная от прославленных и кончая захудалыми. Дело, однако, складывалось не слишком удачно. Разовое участие в оркестре ему предлагали. В штат не брали. Что ж, и малая прибавка к военной пенсии годилась. Хотя деньги играли тут второстепенную роль. Главную — играла включенность в жизнь. Фальстаф Ильич привык жить, работать и даже болеть (на первых порах) в тесном коллективе, локоть к локтю. Определенные неудобства при этом имелись, кто ж спорит. Но и удобств предостаточно. Когда не ты себе хозяин, а кто-то над тобой, то нет ни чувства вины, что выбрал, дескать, не то, ни самого выбора. Это комфортно, несмотря на выбросы ворчания и попреков в чужие адреса. А может, и благодаря. Фальстаф Ильич и жену себе так выбирал, по принципу: один из одного. Других библиотекарьш, с трогательной глазной секрецией, в районе ближней видимости не было замечено. Переходить от коллективизма к индивидуализму сложно и не всем по плечу. Фальстаф Ильич оскальзывался, оступался в метафизическом этом переходе точно так же, как то происходило с ним в переходе физического (перед тем, как ему встретит Ариадну), пробовал и попить, однако бросил — баба Валя, к которой наведывался в целях контроля за здоровьем, отсоветовала (а может, и отсушила привычку молитвенными и иными средствами). Он играл на мелких, средних и крупных концертных площадках, несколько раз достигая и зала Чайковского, и Консерватории, бок о бок с другими музыкантами, с которыми иногда не успевал и парой слов перемолвиться, и это уж точно было публичное одиночество, о каком всегда упоминают применительно к артистам, и если верно, что чем крупнее артист, тем сильнее это парадоксальное ощущение, то Фальстаф Ильич, чувствовавший себя, как в лесу, был по-настоящему большим артистом. Его валторна пела Генделя и Гайдна, Вивальди и Вебера, Дебюсси и Даргомыжского, далее по списку на афишах, на которых никогда и ни при каких обстоятельствах не писалось и не будет писаться его имя. Его не знали и коллеги по сцене. Знал только директор или администратор оркестра, нанимавший на разовые. Неузнанный, Фальстаф Ильич приходил и уходил, выполнив свой профессиональный долг, и дело хитрого индивидуализма продолжало вершить себя прямо посреди дела простодушного коллек-

тивизма, которое есть сродная черта всякого военного, музыкального или любого иного сообщества людей. Нельзя сказать, что сам Фальстаф Ильич принимал в этом процессе слишком уж сознательное участие. Музыка, служа сложной душевной и нравственной жизни слушателей, иногда, как ни странно, вполне упрощает таковую у исполнителей. Что ж говорить о воинской службе, ограничивающей служак по определению. Он был долгий овощ, этот отставной музыкальный майор, в том смысле, что, похоже, был способен расти внутри себя подспудно и неспешно. Он как будто сам себя не знал, скрытно развиваясь сначала под звуки военных маршей, позже — мирных симфоний и сонат.

Большие оркестры, в которых он подрабатывал, все выезжали за границу. Фальстаф Ильич не выезжал ни разу.

В тот день, когда немота была прервана и связь возобновилась, Ада отвечала на все телефонные звонки. Судя по их количеству, она обладала обширным кругом знакомств. Тупо слушая ее разговоры, Фальстаф Ильич не понимал, почему она обратилась со своим предложением не к этим людям, а к нему, малознакомому, в сущности, человеку. Решившись, с армейской прямоотой задал вопрос и тут же пожалел об этом.

— Почему? — переспросила Ада. — Вы хотите, чтоб я поехала в Италию не с вами, а с кем-то другим?

Он готов был вырвать себе язык.

* * *

1980. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься пред ветвями; если же превозносишься, *то вспомни, что не ты корень держишь, но корень — тебя*».

Очень скоро Ариадна услышала, что Занегин стал знаменитостью. Ну, да, ну, да, широко известным в узких кругах. Но только это по-настоящему чего-то и стоило. Говорили, он ни на кого не похож, на себя прежнего тоже, у него новая резкая и яркая манера, на которую здорово клюнули иностранцы. Бегать за ним Ариадна на собиралась. Сстиснув зубы, она целиком и полностью ушла в науку химию. Она сделала бы что-нибудь другое, положим, родила ребенка, но с детьми у них с Петей не получалось, может, к лучшему, и она села за диссертацию. Дело было не в гордости. Она перешагнула бы через любую гордость, если бы Занегин позвал или хотя бы дал понять, что зовет.

Он позвал. Позвонил кто-то из знакомых: Макс просит придти сегодня вечером на Грузинскую посмотреть его работы, сможешь?

Она смогла.

Она смогла придти и все вынести. За ним ухаживали. В этом кругу в те времена будто не было ни ревности, ни зависти. Если объявлялся влиятельный заграничный любитель-коллекционер — рассказывали о

других тоже, не только о себе. Таскали в мастерские — реже. У этого разряда художников мастерских как правило не водилось. Чаше — в квартиры, чердаки, подвалы. Радовались, если кому-то удавалось продать хоть одну работу. Может, кто и досадовал — хватало ума скрывать досаду. Нет, конечно, было деление: этот гений, этот талант, и все знали, кто есть кто. Но все было подвижно, текуче, была возможность перейти из одной категории в другую. А главное, давившая всех и каждого общая официальная плита, из-под которой и пробивались чудесные ростки, порождала восхитительное чувство братства, которое грозило дать трещину лишь в том случае, если бы дала трещину плита. В дальнейшем так оно и случилось.

Возле Занегина паслись две козочки, глядевшие смирно и скромно, не преувеличивая своего места, но и не уступая его. Занегин широко раскинул руки, увидев Аду, и сказал со своим характерным грассированием: ты пришла? Обнял, потянулся ртом к ее рту. Зелень его глаз затягивала. Но и ее васильки цвели вызывающе. Она слегка отвернула лицо и подставила щеку: ей не хотелось прилюдно демонстрировать никаких отношений. Несколько полотен было развешено, несколько стояло на полу прислоненными к стене. Это были большие одиночные и групповые портреты, очень выразительные, острые, сделанные яростными, сочными мазками и чем-то напоминавшие карикатуры. Вам нравится, спросил Аду кто-то с акцентом. Не поворачивая головы, она ответила: пожалуй. По-жа-луй, удивленно-вопросительно повторил тот. Ада взглянула на собеседника. Он был немолод, но одет в джинсы и такую же рубашку и стильные желтые ботинки. Пожилые тогда нередко одевались как молодые, но для этого им надо было быть или иностранцами, или художественной интеллигенцией. Акцент выдавал в нем первую категорию. Почему вы так удивились, спросила Ада. Потому что это столь экспрессивно, что ответный градус может быть только таким же, то есть либо поражать, либо отвращать, пояснил иностранец. Вы-то сами отвращены или поражены, поинтересовалась Ада. Поражен, охотно отозвался иностранец. Ну, и слава Богу, сказала Ада и улыбнулась ему. Он же и купил у Занегина один индивидуальный портрет и один групповой. Это была удача. Когда народ уже расходился, оставались самые близкие, покупатель всех пригласил *в кабак*, как он выразился. Ада наблюдала за козочками. Они тихо вышли вслед за остальными, но *в кабаке* их, к счастью, не оказалось. За столом Занегин сделал так, чтоб Ада села рядом. Он чокнулся с ней отдельно, звякнул краем своего хрустала о ее и тихо сказал: за нашу с тобой любовь. Глаза его из непроницаемых темнозеленых сделались изумрудными и почти прозрачными. Глядя в них, Ада проговорила: если б ты знал, как я скучаю, скучаю, скучаю, скучаю по тебе. Она замолчала, потому что голос у нее задрожал. Занегин выпил еще рюмку и произнес: мы будем вместе, как только ты захочешь.

Потом говорили про живопись. Она спрашивала, что с ним произошло. Он не хотел или не мог как следует объяснить. Одно слово то и дело срывалось у него с губ, и это слово было «прокляты». Можно ли на такой горечи строить себя, думала вслух Ада пьяно, но не горько. Горько не могло быть, потому что он ее любил. Он тоже пьяно целовал ее и обещал неопределенное: вы все еще увидите.

С этого вечера все завертелось. Изменила ли она Пете с Занегиным, или раньше Занегину с Петей, исправляла ли предыдущую ошибку или совершала новую, — обо всем этом она думала мучительно в плохие минуты своей новой (старой) жизни. В хорошие — не думала ни о чем, отдаваясь Максиму так же, как раньше, а может быть, по-другому, радуясь этому как старому (новому) дару. Плохие минуты были минуты разочарования в Максиме. Когда она видела, что он высокомерен через край, что слишком раздражен, суетлив и поверхностен. Хорошие минуты были минуты очарования: нет, он знает себе цену, он особенный, он глубокий, он обаятельный. Обаяние не даруется направо и налево. Он меняется, потому что чувствует время оголенными кончиками нервов. Да, он почти все время под хмельком теперь. Зато его хмельная нежность дарит больше радости, чем прежняя скованная трезвость.

В первый раз она уходила из дому днем. В другой раз не вернулась ночевать, наговорив Пете по телефону что-то про подругу, которую не может оставить в таком состоянии. В каком? Она не придумала, а он по своему равнодушию не спросил. Потом были дополнительные лживые объяснения. Отчего, для чего? Почему не сказать было Пете сразу? Зачем резать хвост по частям? Оставляла себе возможность вернуть что-то назад в случае, если... Неужели ложь заложена в женщине (так же, как в мужчине) со времен Адама и Евы и лишь ищет случая поднять голову, подобно змее? Знал ли Петя что-то? Или верил ей до такой степени, что никакое подозрение просто не приходило ему в голову? И значит она была такая актриса?

Ей приходилось быть актрисой и с родителями. Новые друзья, новые взгляды Занегина мало-помалу лишили ее идеологической девственности. С женщинами как правило так: взгляды вырабатываются в них не сами по себе, а через мужчину, которого они любят. При этом впоследствии кое-кто из них может отвергнуть взгляды любимого и начать исповедовать ровно противоположные, но первоначальные обязательно обезьяньи, подражательный. Особенно у тех женщин, что женщины по преимуществу, без доведка в виде разнообразной деятельности, включая общественную. «Хельсинкская группа». «Хроника текущих событий». Журнал «Поиски». Названия зазвучали в жизни Занегина, а стало быть, рикошетом, и в ее тоже. Ада понимала, что не встретит сочувствия у родителей. Особенно у отца, авторитарного, не терпящего возражений господина. Ладно, она могла набраться смелости и поссориться с ним на идейной

почве, куда ни шло. Но причем мать, на которой разногласия отразились бы непременно худшим образом? Ада предпочитала притворство. Должно, была конформисткой по сути натуры. Занегина, наоборот, было трудно заставить переналадиться или приладиться даже там, где, казалось, можно бы промолчать и не лезть на рожон. Преодоленный стадный инстинкт — это уже кое-что, а непреодоленный — ничего, пустое место, говорил он, бросая камешек в ее огород. И продолжал: понимаешь, жить надо не по прецеденту, а вопреки ему, не боясь беспрецедентности, иначе сплошная пошлость, ты не согласна? Ада понимала, что Занегин преобразился, что он стал по-настоящему взрослым, а она, его жена, его женщина, упустила этот момент преображения, оставшись невзрослой.

Его вызвали в КГБ примерно через полгода. Продержали несколько часов, взяв подписку о неразглашении. Спрашивали про коллег-художников, про иностранцев, про «самиздат», про Аду, продемонстрировав полную осведомленность, а в конце предложили сотрудничество. Какое сотрудничество, не поняла Ада, когда Занегин тут же все ей выложил, несмотря на подписку. Стучать, коротко пояснил он. Что ты им ответил, спросила Ада. Послал на три буквы, отвечал Максим. Ада дрожащими пальцами держала бутылочку с валокордином, из которой никак не капало. Максим мрачно говорил: ты-то чего нервничаешь, это я должен нервничать, а я, как видишь, спокоен. Он не был спокоен, но и сбивчив на этот раз не был, и, в общем, держался отлично. Аде казалось, что он мог бы и должен был их обмануть, будучи умнее их, но она понимала, что, во-первых, уже ничего не переиграть, а во-вторых, что Максим есть Максим, он другой, и она его не переделает. Она любила его так, как никогда раньше не любила. Вот теперь над ее полусвитым гнездом нависла настоящая опасность, не чета прежним, и она как птица защищала его тем, чем могла — любовью.

Еще через полгода Занегина арестовали. Был закрытый суд, на который Аду не пустили, в конце объявили приговор: три года ссылки. Узнав адрес ссылки, Занегин расхохотался. Его спросили, в чем дело. Он не снизошел до объяснений. «Я люблю тебя и буду с тобой», передала Ада записку ему через рисковавшего адвоката. Петя был в загранкомандировке. Ада благодарила судьбу, что не сломала мужу карьеры. Когда ей разрешили навестить высланного в Пермскую область Занегина (*за рекой за Камой*), она была беременна от Пети.

* * *

1982. Ариадна приехала к Занегину на поселение глубокой зимой. В Москве по небу ходили низкие темные тучи, падали тяжелые мокрые снежные хлопья, а в Перми, когда приземлились, окрестности были укутаны глубокими сутробами с морозным настом, сверкавшим на солнце, как сверкала в адином детстве специальная новогодняя вата, усыпан-

ная блестящими, теперь такой уж не производят. Выйдя из самолета, Ада ехала автобусом, довольно приличным, потом поездом по железной дороге, потом опять автобусом, на этот раз ржавым и битым, потом шла пешком. И всюду, начиная с московского аэропорта, перед ней маячил попутчик — квадратный парень на коротких ногах, в меховой куртке, с прямой спиной и остекленевшим взглядом. Почему-то он напряженно защищал свое жизненное пространство и никого не пропускал впереди себя — ни в туалет, ни на самолетный трап, ни в тамбур поезда, когда двери открылись. На Аду он произвел неприятное впечатление, его навязчивое присутствие показалось ей дурным признаком, и она облегченно вздохнула, когда сошла, а он поехал раздолбайским автобусом дальше. У нее в руках была бумажка с нарисованным маршрутом и нужными наименованиями, время от времени она справлялась, не сбилась ли с пути, и однажды, и правда, чуть не сбилась, пошла, было, в обратную сторону, но во время спросила встречную пару, туда ли идет, и, получив ответ, что не туда, поправилась, повернула и двинулась, куда надо. Она, поговорив в Москве со знающими людьми, экипировалась по делу: оделась соответственно, себе не взяла ничего лишнего, все Занегину, то есть ему бумагу и краски, а также шерстяные носки и свитер, которые сама вязала, для себя только приобрела фонарик и взяла петин чемодан на колесиках, иностранный, входивший в моду. Фонарик пригодился сразу, когда искала табличку с названием улицы и номерами домов в деревне, поскольку еще по дороге стемнело. Настоящей, черной, глухой темноты, однако, не было. Снега, казалось, сами светились и освещали все вокруг. Ей не было страшно, хотя она вовсе не была смельчаком. То ли самосветные снега, бережно укутывавшие землю, создавали ощущение безопасности, то ли поглощение целью создавало броню, через которую не проникала посторонняя тревога. Довольно было и того, что вся она, Ада, являла собой напряженное ожидание. Слышался далекий лай собак, деревня была безлюдна, но не пуста: желтые пятна окошек там и сям горели оживленно и уютно. В одно из таких окон Ада постучала.

Она думала о первой минуте, когда он ее увидит. Она не предупредила ни письмом, ни телеграммой, что приезжает. Он писал не раз, что смертельно скучает, придумывал для нее какие-то особенные и милые слова, от которых у нее комок вставал в горле, она писала ему в ответ искренне и самозабвенно, и в письмах нить любви натянулась с той же силой, как это было у них с самого начала. Как будто они переживали все вновь, только в эпистолярной форме. В последнее время нежности как будто стали иссякать, но она уже решила, что поедет к нему и была захвачена хлопотами, связанными с поездкой, хотя не обсуждала с ним ничего похожего в письмах. Она хотела, чтоб это стало сюрпризом.

Ада прошла через калитку во двор. У отворенной двери стояла старая женщина в накинutom на плечи платке. Ада вошла в сени. За ста-

рой, в нескольких шагах, в комнате тоже стояла и смотрела на вошедшую молодая в светлой кофточке, сквозь которую просвечивала высокая полная грудь и полные молочные руки. А уже за ней — Занегин. Легонько, одну за другой, отодвинув обеих, Занегин шагнул вперед: ты?!.. Они обнялись. Ада уткнулась головой ему в плечо, постояла так, подняла лицо вверх, ладошкой провела по его лбу, щеке, губам... И почувствовала запах перегара. Они поцеловались, но поскольку при людях, то не как любовники, а как родные. Он взял ее за руку, ввел в центр комнаты, сказал женщинам твердо: моя жена. Старая кивнула. Молодая как стояла, так и продолжала стоять, и лишь через несколько секунд, спохватившись, отвела взор. Ужином покормить, вопросительно посмотрела она на старую. С полчаса как поели, коротко объяснил Аде Занегин. Да я не хочу, запротестовала Ада, мне умыться с дороги, вещи разложить. Как это не хотите, с дороги-то и надо поесть, строго указала старая, а вещи успеете. И принялась хлопотать по хозяйству, бросив молодой: пойди убери там. Молодая была диво как хороша, Ада успела это заметить, и стать, и лицо — все при ней, у Ады заныло под ложечкой. Она кинула незаметный взгляд на Занегина. Ей хотелось сразу все понять. А главное, поскорее побыть с ним без свидетелей — на свидетелей она не рассчитывала. Он кивнул ей: сядь, правда, надо поесть с дороги, поешь сперва, потом все остальное. Это было новое в нем. Такая рассудительность. Тюрьма или поселенческая жизнь воспитали? Да и весь он был другой, чем в Москве. Проще. Может, опрощали валенки и непривычно незаправленная рубаха. Молодая откинула занавеску, прикрывавшую дверь в другую комнату, прошла туда, закрыла дверь за собой и возилась там. Аде не хотелось распаковывать чемодан и доставать подарки на ходу, тем более, что про хозяев, у которых Занегин жил на поселении, она как-то глупо не подумала, но что-то было надо делать, и она, шелкнув замком и достав бутылку водки, предназначавшуюся Занегину, протянула хозяйке со словами: возьмите, это вам. Та взяла, сдержанно поблагодарила, показала, где умыться, а когда Ада вернулась в комнату, бутылка уже стояла открытая на столе в окружении грибочков, огурчиков, капусточки, жареной картошки и сала. Ну, тогда зовите дочь, весело сказала Ада, все выпьем со свиданьем. Хозяйка взглянула на Занегина: зови. Занегин толкнул дверь.

Спустя часа полтора сытая, хмельная Ада утопала не столько в объятиях Занегина, сколько в мягкой перине и мягких подушках, на которые были натянуты свежая простыня и свежие наволочки, вкусно пахнущие морозом. Максик, я счастлива, пролепетала она ему в ухо, слегка куснув его. Он рассмеялся: надо было сесть в тюрьму, выдержать суд, приговор, отправиться в ссылку, и все исключительно для того, чтоб сделать тебя счастливой. Да, да, да, а что, слабо было, расплывалась она в невидимой улыбке.

Встали поздно. Точнее, еще не рассвело, когда Ада сквозь сон услышала какие-то шорохи, скрипы, стуки, приглушенные голоса, ей потребовалось усилие, чтобы вспомнить, где она, она провела рукой возле себя, Занегина рядом не было, она лежала в постели одна, подождала минуту, другую, окончательно проснулась, и здесь он появился. Где ты был, сколько времени, спросила она. Спи, спи, еще рано, сказал он шепотом, укладываясь рядом. Она потянулась к нему, положила голову в ложбинку между плечом и шеей и уснула. И проспала до того часа дня, когда в окошко уже всюду светило солнце, играя в каждом кристаллике изукрашенного морозом стекла. Аде показалось, что Занегин не спит. Но взглянув на его лицо, она увидела, что глаза у него закрыты. Осторожно выбралась из пуховика и, как была, в ночной рубашке, босиком потопала через большую комнату в уборную.

В доме никого не было.

Вернувшись, Ада прыгнула на Занегина: ура, мы одни, хватит спать, вставай, лежебока!.. Он открыл один зеленый глаз, засмеялся и привлек ее к себе: нет уж, раз мы одни, вот теперь, наоборот, давай поспим!..

Старая хозяйка появилась в обед, когда они едва-едва пришли в себя и, откинув жаркий пуховик, еле выползли из немыслимо мягкой кровати. Было, действительно, так хорошо, как сто лет не было. Ада хвалила себя за то, что придумала поехать к Занегину. Все бывшие обиды, несуразности и непонимания исчезли, будто их и не было никогда. Лист был чистый, можно было все начинать с листа.

Старуха накрыла на стол, и вышло, что Ада продолжала сегодня тем же, чем вчера закончила. Я у вас растолстею, есть и есть без конца, засмеялась она и тут же почувствовала, как голодна. Куда, смотри, какая ледащая, рази тебя прокормишь, без улыбки отозвалась старуха. Поели шей с салом и опять жареной картошки. А где ж ваша дочь, поинтересовалась Ада. Уехала, помолчав, сказала старуха. Куда, удивилась Ада. К себе, ответила старуха. А, так она живет не с вами, догадалась Ада. Не с нами, согласилась старуха. А где, задала новый вопрос Ада. Старуха посмотрела на Занегина. Занегин сказал: она ей не дочь. И потер подбородок. С некоторых пор у него появился этот незнакомый жест. А кто, спросила Ада. Просто знакомая, ответил Занегин.

Старуха взяла топор. Я наколю, сказал Занегин, и забрал топор у старухи. Подожди, я с тобой, сказала Ада, только оденусь. Не потеряешься, тут негде, бросил Занегин и пошел из сеней. Через пару минут Ада спускалась следом по ступенькам крыльца во двор. Занегин, поставив полено на деревянную колоду на попа, ловко раскалывал его наполам, затем еще наполам. Ада засмотрелась на его ловкие движения и как будто забыла о том, что услышала. Лишь тяжесть в груди, похожая весом на эту колоду, мешала.

Ариадна. Скажи, что это значит.

Занегин. Что ты имеешь в виду?

Ариадна. Ты прекрасно понимаешь.

Занегин. Подойди сюда.

Ариадна. Хочешь зарубить меня топором?

Занегин. Я не хочу кричать. Эта женщина здешняя. Не отсюда, а близко. Я был зна́ком с ней раньше. И когда меня отправили сюда на поселение, я через какое-то время ей написал.

Ариадна. Ты писал мне и писал ей?

Занегин. Я написал ей один раз.

Ариадна. И она приехала?

Занегин. Она приехала. Пойдем пройдемся, я покажу тебе местные достопримечательности. Например, контору поселкового милиционера. Тем более, мне надо отметитья.

Ариадна. Я не хочу.

Занегин. Хочешь сидеть в доме и ждать, пока я вернусь?

Ариадна. Нет.

Занегин. А что? Какой выбор?

Ариадна. В самом деле. Как будто я подневольная, а не ты. И у меня нет выбора.

Занегин занес топор в избу, оделся, и они пошли по деревенской улице, по которой навстречу им изредка шли другие люди, и каждый здоровался с ними, и каждому Занегин кивал в ответ. Ада тоже кивала.

В милицейскую контору она с ним вместе не зашла, а пока он находился там, нерешительно двинулась по дороге, но затем ускорила шаги и почти побежала. Ей нужно было что-то с собой сделать, может быть, вот так энергично двигаться, чтоб разогнать дурноту, которая овладевала ею, лишая воли.

Итак, она попала в его постель на свежие простыни лишь потому, что прежние потребовалось сменить, поскольку до нее в постели лежала другая. Ада, при всей ревливости, никогда не думала конкретно о женщинах в жизни Занегина. Не то, что была столь наивна или романтична, чтобы рассчитывать, что она у него одна. Раньше и всегда. Тем более, что и формально не могла на него претендовать, будучи замужем за другим. Но что-то детское в этой ее позиции содержалось. Как у ребенка, который прячет лицо в материнский подол, уверенный, что теперь-то с ним ничего не произойдет. Произошло. Она ткнулась носом в измену, которая была столь же наглядна, сколь наглядны сугробы по краям деревни и длинная белая дорога, которой она отсюда уходила. Убегала. Она не застала их обоих в кровати по чистой случайности: припозднись еще немного с этой длинной дорогой, и картинку уже не надо было бы воображать — увидела бы ее в реальности. А-а-а-а!.. Ада вдруг упала на дорогу и покатилаь по ней как бревно. Ей захотелось так сделать: упасть и покатиться, может быть, из той же

потребности в физической разрядке, которая помогла бы разрядке психической.

Кто-то, пыхтя, навалился на нее и схватил сильными руками.

Ну, вставай, вставай, поднимайся, сказал Занегин, куда убежала, я еле догнал. Она стала его отпихивать, бить по рукам, чтобы он отвязался от нее. Но он только крепче прижимал ее к себе. Она вырывалась. Бедная, вдруг сказал он, глядя на нее с жалостью. Она заплакала. Он целовал ее васильковые глаза, вытирал скатывавшиеся из них крупные слезы и все повторял: прости, прости, прости меня. Она плакала до изнеможения. Ей было больно, она нуждалась в утешении, и в утешении как раз этого человека, который и был причиной боли, и то, что он утешал ее, утихомиривало боль, а то, что он был причиной, не давало боли исчезнуть.

Когда вернулись в дом, она стала собираться.

Занегин. Ты, правда, хочешь улететь?

Ариадна. Да.

Занегин. Твое дело. Напрасно.

Ариадна. Напрасно почему? Потому что тогда она вернется? Она и так вернется.

Занегин. Напрасно, потому что если ты останешься, мы могли бы еще несколько дней быть счастливы.

Ариадна. Сколько дней?

Занегин. Пока ты здесь.

Ариадна. А потом?

Занегин. Помнишь стишок Евтушенко *ты говорила шепотом: а что потом, а что потом*. Ты же взрослая девочка. Потом ты уедешь к своему мужу Пете, а потом я вернусь, и потом, возможно, ты захочешь уйти от него. Ко мне. Как тебе эта перспектива?

Ариадна. Кто эта женщина? Откуда ты ее знаешь?

Занегин. Я писал картину, она была модель. Это было давно, когда я уезжал, помнишь, и попал в эти края. Картина называлась «Красавица в бане».

Ариадна. А дальше?

Занегин. А дальше появился муж и переломал мне ребра, а написанные мной работы уничтожил.

Ариадна. Какая сволочь.

Занегин. Пожар способствовал большому украшению. Если б не он, я не стал бы писать по-другому.

Ариадна. Ты ее любил?

Занегин. Я люблю тебя.

Ада села на лавку, открыла чемодан: возьми, я привезла тебе. Стала вытаскивать свитер, носки, бумагу, краски, приговаривая: бери, рисуй, это главное... Сев на пол перед лавкой, Занегин сказал, улыбаясь и грустя: выйди за меня замуж обратно прямо сейчас же.

Ада хмуро улыбнулась в ответ. Теперь она не знала, счастлива или несчастна. Она знала, что то, утреннее, безмятежное, всепоглощающее счастье было вершиной. Была счастлива, потому что обманута — явилась вдруг нелепая мысль. Она была совершенно счастлива, потому что была совершенно обманута. Значит счастье и есть обман, и может быть только обман. Обман и глупость. Она, утренняя, показалась себе настолько глупой, что если б была одна, сказала бы вслух: так тебе, дурехе, и надо. Она была наказана, потому что должна быть наказана.

И еще она знала, что улетит, а та вернется.

Но также знала, что рано или поздно он прилетит в Москву и будет с ней, Адой.

В этой двойственности, в этом перемежающемся равновесии была завораживающая, притягательная сила.

* * *

1995. Первое, что спросила Ада в тот день, в который Фальстаф Ильич переступил порог ее дома:

— *Лесик*, как вас зовут полностью и каковы ваши паспортные данные?

Его щеки медленно начали приобретать малиновый оттенок. Он почему-то вообразил, что Ада сейчас позовет его в ЗАГС. Ада, однако, в ЗАГС звать не стала, а показав приглашение, полученное из Италии, добавила, что если он согласится сопровождать ее, попросит второе такое же для него. Это было посильнее ЗАГСа.

Как мы знаем, он согласился.

Едва пришло второе приглашение, поскакал молодым оленем по всем нужным организациям и лицам и везде преуспел. Примерно через месяц у них были готовы новенькие паспорта с проставленной в них итальянской визой. В обменном пункте он обменял все свои рублевые сбережения — получилось девятьсот с чем-то долларов. Не Бог весть сколько, но все же. На авиабилеты Ада деньги дала. Он не стал сопротивляться из пустой вежливости — она это оценила. Кажется, ей было просто с ним — и это ценил он.

Аду и Лесика пригласила в Италию сеньора Кьяра Фьорованти.

* * *

60. «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие ли скажет сделавшему (его): «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?»

К старости характеры или улучшаются, или ухудшаются. Под влиянием ли обстоятельств либо внутренних установок. Редко когда человеку уда-

ется остаться одинакову на протяжении всех лет его жизни. Но если кто-то, возмужавший к шестнадцати, к тридцати одному уже наткнется на нож и покончит с земными годами, о какой старости говорить?

Слабое идет в рост, утвердившееся погибает.

Высок и зелен Палатинский холм, цветист, кустист и ветivist. Мощные кроны пиний давали тень тем, кто не имел иного крова над головой. Кров был, и поблизости. Самый блестящий, самый богатый и самый величественный из всех возможных. Но лишь безумцу пришло бы на ум просить тени и отдыха от палящего солнца *там*. Входа под этот наивысший кров кому ни попадя не было, и о том знал всякий. А кто не знал, тот должен был понять намек в виде многочисленной стражи с собаками, похожими на волков, вооруженных групп легионеров и преторианских гвардейцев, а также разного рода управляющих, слуг, рабов и вольноотпущенников, снующих по важным делам там и сям. Эта людская масса служила тому, главнее которого не было под ослепительным небом ослепительного государства, и что с того, что в данном случае им был, по сути, мальчишка, о котором даже неизвестно, начала ли у него расти борода. Государство было огромное. Оно простиралось от камней Ирландии до песков Северной Африки, от Пиренеев до месопотамских рек и именовалось империей. Сердцем империи был Рим. Сердцем Рима — Палатинский холм. Сердцем Палатинского холма — дворец императора. Сердцем дворца — император. Кто не видел его, его владений и царивших в них нравах, тот о них слышал.

Наш был из рода Агенобарбов, рыжебородых, сын жестокого и распутного Домиция и жены его Агриппины, такой же. Узнав о появлении новорожденного, папочка пророчески заявил, что от их пары ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества. И сам через три месяца внезапно скончался. О, эти внезапные римские кончины! Темные события привели к смене нищеты роскошью в неполной семье, в которой оказался растущий ребенок и которая, спустя срок, стала полной. Следите за сюжетом. Мать мальчика Агриппина, будучи племянницей императора Клавдия, вышла замуж за собственного дядю, который, в свою очередь, сделался приемным отцом двоюродного внука. Спустя полсрока скончался и Клавдий, и столь же внезапно. Если в первом случае у соотечественников еще были какие-то сомнения насчет мамочки малыша, во втором — весь Рим точно знал, что уйти мужу на тот свет помогла Агриппина, отравительница. Кстати, Клавдию трон также достался в результате внезапной кончины, то есть убийства, предшественника, Кая Калигулы. Какие характеры закаляются, как сталь, при таких генах, таких нравах и таких резких переменах участи?

Малыш ответит на этот вопрос выразительно и сполна, особенно в той части, что касается непосредственно матери и ее уроков. Следите за сюжетом. Сперва он станет жить с Агриппиной (матерью!) как с женой, позже отдаст приказ об ее умерщвлении, который будет исполнен после нескольких неудачных попыток, вызвавших у него головную боль. Нервы.

Римский историк Светоний напишет: он вошел к страже между шестью и семью часами дня — весь этот день считался несчастливым, и только этот час был признан подходящим для начала дела; на ступенях дворца его приветствовали императором, потом на носилках отнесли в лагерь, оттуда, после краткого его обращения к солдатам, — в сенат; а из сената он вышел уже вечером, осыпанный бесчисленными почестями, из которых только звание Отца Отечества он отклонил по молодости лет.

Стало быть, не так уж несдержан и неразумен был, коли догадался сделать подобный жест.

Он сделал и еще ряд жестов: народу раздал по четыреста сестерциев; сенаторам из обедневших родов назначил пособия; доносчикам сократил награды; отменил или уменьшил тяжелые подати; скромно сказал в ответ на благодарность сената: я еще должен ее заслужить.

Его звали Нерон, и это было только самое начало.

Повторяю, он был рыжий.

Странный этот цвет достается немногим. Рыжие бывают клоуны. Рыжих не жалуют. Их дразнят рыжими. Но отчего-то женщины более всего любят красить волосы во все оттенки этого цвета: от нарядного, похожего на спелую розу, как на картинах венецианских мастеров, до тяжелого медного. Рыжие умны и талантливы. Может, потому женщинам так хочется выделиться яркой головкой?

Публика в театре уже собралась. Чтобы походить на императора, многие были выкрашены красной хной. Явились знатные вельможи в праздничных белоснежных тогах, сандалиях из воловьей кожи, с венками на головах, и заняли лучшие ложи; матроны в шелковых платьях, затканых драгоценностями, привели свои семейства целиком, включая также нарядно одетых малых детей, пусть и те, едва из пеленок, приобщаются к прекрасному, тогда из них смогут выйти достойные продолжатели достойных римских традиций; некоторые из матрон были беременны, считалось, что прекрасное полезно и для зародышей во чреве; там, где им положено, разместились римские гетеры, скорее раздетые, нежели разодетые, так что их соблазнительные груди колыхались не столько *под* тонкими, дразнящими хитонами, сколько *над* ними; простой люд в домотканой холщовой, однако чисто выстиранной одежде, оттесненный на самые неудобные места, не роптал, а был рад и тому, что, как и знати, так и ему будет показано одно и то же, и в этом было торжество республиканской демократии, внедрявшейся хоть и самим императором, но как бы на место имперских привычек. Таков был ход событий.

События развивались так, а не иначе, и лучшим подтверждением тому, а может быть, и движителем было личное поведение императора.

Это он сегодня будет развлекать публику. Он будет петь. Не единственный. Не один *над*. Один *из*. Возможно, в финале конкурса он станет одним-единственным, кто окажется *над*. Однако это выяснится имен-

но в процессе конкурса, то есть путем демократического соревнования, в котором ни платье, ни лавровый золотой венок, ни другие знаки императорского величия не будут иметь никакого значения. Только голос. На равных. Как у этого певца, так и у того. Потому никаких императорских знаков. Простая тога, простая кифара в руках. Или театральный костюм, если это нужно по ходу дела для участия в оперном спектакле. Такой же, как у других. Только голос.

Рыжий от природы, еще не начавший плешиветь, с всклокоченными кудрями, с желваками, ходившими ходуном, он прятался от всех за занавесками, разделявшими участников. У него схватило живот. Он перегнулся через собственные руки, вмяв их в тело под пупком так, чтоб унять боль, она не унималась, разрывала кишки. Видимо, с вечера вчера и с утра сегодня он перепил сырых яиц. Он глотал сырые яйца, желая, чтобы голос звучал чище и сильнее. Он готов был глотать змеиный яд, если б знал, что средство поможет голосу. Но это чисто теоретически. Вообще. Практически, сейчас, он бросился на мраморный пол и катался по нему, рыча, как зверь, от острых колик. Горшок, принесите мне горшок, вдруг завопил он, чувствуя, что боль становится невыносимой и, одновременно, что вот-вот он испытает облегчение, дав исторгнуться испорченному содержимому желудка через рот или/и через прямо противоположное отверстие. В то же мгновение из-за занавески протянулась рука с золоченым горшком. Шпионы, соглядатаи, прохрипел рыжий, вам бы только подслушивать да подсматривать. Он был несправедлив в эту минуту. За ним, действительно, следил с десяток пар блестящих глаз, и если б явилась на то уж слишком нештатная необходимость, они обнаружили бы себя и свою заботу о нем, но горе им, обнаружь они это.

Он был молод, но становился еще моложе, едва только дело касалось его певческих выступлений. Неуверенность в себе, смятение, неистребимое желание признания — дьявольский клубок перекачивался в нем, вызывая готовность то к ярости, то к рыданиям. Слезы брызнули у него из глаз вместе с облегчением желудка — горшок еле поспел. Не поспел таз: его вырвало прямо на театральный костюм, в котором он готовился выйти на сцену в партии Ниобы. Да, он пел и женские партии — его голосу было все подвластно.

Стыдась и таясь, не сказав никому ни слова, он промчался в ванну в той стороне театра, где были уборные для артистов и другие вспомогательные помещения. С некоторых пор, точнее, с той поры, когда подобное стряслось с ним впервые, ванна для него всегда была наготове. Его лекарь считал, что ни яйца, ни другая пища здесь не причем. Нервы. Нервы, как всегда. Он был слишком нервен и слишком ревнив к чужому успеху, как всякая артистическая натура. Оттого не в состоянии спать накануне выхода на сцену, оттого тряслись руки, оттого случались выходки, которые никому другому не простились бы — в его случае некому было прощать или не прощать: он был

не только артист, не только распушенный хулиган по корням и воспитанию, не только республиканец и демократ по воззрениям — он был император. Он позволял себе, чтобы его зашкаливало.

Он прислушался к шуму в театре и представил, как выходит на сцену. Сердце его упало и вернулось на место. Все будет хорошо. Он будет петь столько часов, сколько нужно, у него хватит сил, и голоса, и таланта, и театр будет внимать и аплодировать ему, потому что он лучший певец всех времен и народов. Как это было в Неаполе, когда случилось землетрясение, и театр дрогнул, а он нет, и он не двинулся со сцены, и никто не двинулся, никто не ушел из театра (попробовали б они уйти), и он, он, а не кто иной, выиграл и то певческое соревнование.

Он вымылся и переоделся в чистое. Он был готов.

Он был готов взмыть из грязи в небо.

Путем голоса. Другого пути он не знал.

* * *

60. Он был император и он был скопище талантов. Он пел, танцевал, играл на кифаре (лире), читал и писал стихи, понимал толк в архитектуре, в скачках и еще тысяче вещей и везде хотел быть первым не по чину, а по чести. Честолюбие снедало его. Возможно, именно по молодости лет. Его и Рима. Его и мира. Его и новой эры.

Римская империя была молода и хороша собой — только-только заключен знаменитый Римский мир, *Pax romana*, означавший конец гражданских войн и мирный расцвет великого государства, основанный на идее *Всеобщего согласия*. И молодо и хорошо было новое летоисчисление, начавшее совсем недавно новый бег времени. Самое любопытное, что люди, жившие в ту пору, в преобладающем большинстве своем ничего о том не ведали. Они думали, что время как текло, так и течет, что их боги как были к ним милостивы или немилосердны, так и продолжают быть, и приносили богам жертвы, продолжая оставаться ровно теми же, какими были прежде, какими были всегда, со всеми своими благими и порочными помыслами и поступками. Считанные единицы знали или догадались, почему следующие тысячелетия, уж по крайней мере числом два, не будут похожи на предыдущие, почему возникнет эта разница — до новой эры и после нее, отчего (от чего) пойдет и уже пошел иной отсчет дней.

Знал это находившийся в то время в Коринфе, в Греции, старик уже, летами близкий к пятидесяти.

И знал правильно: не от чего, а от Кого.

Их было двенадцать, знакомых с Ним лично. Видевших Его глаза, Его бородку, Его руки, Его босые ноги. Шедших за Ним и внимавших Ему. Они назывались апостолы, ученики. Ученый иудей-ортодокс из малоазиатского города Тарса был самоназванный тринадцатый апостол. Он никогда не озира́л Его своими глазами. Он родился после Его смерти, да и родись

раньше, все равно не собирался внимать Его речам и бегать за Ним. Взгляды этого странного нищего проповедника из нищей Галлилеи были ему неприятны, а жизнь — неинтересна. Интересна оказалась смерть. Разумеется, как всякая прогрессивная личность, Савл Тарсянин не одобрял того, как поступили с Ним и Варравой назначенный Римом прокуратор Иудеи Понтий Пилат и первосвященник Кайафа. Разбойника отпустили, а Его распяли. Но ведь и толпа требовала: распни Его! Разбойник — свой, идейный человек — чужой. Так было всегда.

Пилат и Кайафа будут низложены через тридцать с довеском лет. Слишком долгий срок, чтоб считать это хоть в какой-то мере возмездием за то, что было, в сущности, эпизодом. Савл, ставший Павлом, будет точно знать, что по прошествии времени, большого времени Истории, никто и не вспомнил бы имен ни того, ни другого, если б не эпизод.

Савл Тарсянин был идейный человек. И мог — хотя бы хладнокровно — оценить мужество другого, чужого, но по духу такого же, пошедшего на смерть ради веры. Что разгорячило савлову кровь? Что превратило из гонителя-иноверца в последовательного проповедника? Ко времени перемены всего существа ему стукнуло чуть больше двадцати, но это были другие двадцать лет, нежели нероновы, какими они будут. Иначе не было б и духовного откровения, какое пережил Тарсянин. Он никогда и никому не рассказал, что и как было с ним на самом деле. Он только сделался настолько противен себе прежний, что отказался от себя, переименовав даже имя: Савла на Павла. Он убедил в своей искренности Иакова, Его родного брата, и апостола Петра, и те приняли чужака в лоно нового вероучения. Если хотя б на миг подумать, что в том могла быть корысть, придется устыдиться этой мимолетной мысли. Ибо принявший новое имя, чтобы исповедать новую веру, радуясь духовно, физически пострадает. Он добровольно взял на себя бремя нести слово правды, не боясь ничего, ни окрика, ни хулы, ни оков, ни пытки, ни самой казни. Правда, другая, нежели та, к какой привыкли, малопривытна для привыкших. Новая правда отменяет правду привыкших, делая ее ложью. Таков закон. Но привычка привязчива. Бывает, что труднее расстаться с привычкой, нежели с жизнью. Поэтому люди не хотят слышать иной правды. Они хотят слышать привычную, старую правду, которая была правдой до появления новой, а с появлением новой превратилась в ложь. Таков закон. Но люди готовы объявить лжецами новых, а не старых. Поскольку новые объявляют ложной привычную жизнь. Такая война. До крови.

Законы и тайны бытия открылись тринадцатому апостолу. Нагруженный знанием, он не устанет путешествовать в Антиохию, Селевкию, Саламин, Паф, Бергию, Иконию, Листру, Дервию, Пергию, Атталию, и снова в Антиохию, Тир, Птолемаиду, Кесарию и Иерусалим, Сирию и Киликию, Фригию и Галатийскую страну, Троаду и Неаполь и еще во множество мест, к коринфянам, афинянам, фессалоникийцам, македонцам, морем и сушей, чаще всего, босы-

ми ногами. И всюду понесет Слово Божие. Из многих мест его и спутников его погонят, но он опять и опять, старательно и терпеливо, будет обращаться к возлюбленным, приписанным к разным местностям, с Посланиями.

Нерон будет уже на троне, когда Павел обратится к римлянам, объясняя учение Христа, такое еще юное, такое неокрепшее. Окрепшими были устои общества и государства, где торжествовал *Pax romana*. Римский мир. Мир владетельный и влиятельный, сильный и уверенный в себе, мир, в котором все было в порядке. Все в порядке было с сенатом как второй ветвью власти, дружественной принципату и принцепсу (императору). В порядке — с эрарием (общегосударственной казной), дружественной фиску (императорской казне). В порядке было с мирными префектами, кураторами и прокураторами, дружественными войскам, если для какой-то цели требовалось вмешательство последних. Все было так классно устроено, в том числе и усилиями нового главы Рима, что в принципе беспокоиться осталось почти что не о чем и можно было целиком предаться страстям.

Во-первых, всепоглощающей страсти пения, как о том уже сказано. Нерон мог не закрывать рта часами. Слушатели не выдерживали — певец не знал устали. Однажды вышло так, что он выпал из певческого транса и увидел зрителя, тайком пробиравшегося вон из театра. Нерон был потрясен. Как, разве публика не пребывала в том же трансе, что и он? Разве он и она не составляли единого целого? Он был оскорблен как художник. А как облеченный властью высший чиновник тут же издал эдикт (указ) о запрете покидать театр во время представления, что бы ни произошло. Говорили, после этого беременные, у которых начинались роды, вынуждены были разрешаться от бремени прямо в театре. Нерон был счастлив: его искусство способствовало появлению новой жизни в самом прямом смысле слова.

Во-вторых, помимо музыкальных, император обожал гимнастические и конные состязания и сам участвовал в них. Гладиаторские бои, морские бои, военные пляски были его излюбленным времяпрепровождением. Особенно — юношеские игры.

Он просто любил юношей, и это в-третьих. Он трижды был женат на женщинах, что не мешало ему предаваться своей извращенной страсти везде и всегда, едва она настигала его. Впрочем он насиловал не только юношей, но и девушек, изобретая все новые способы удовлетворения. Один из них заключался в следующем: он надевал на себя звериную шкуру и в ней, словно дикий зверь, набрасывался на привязанных к столбам мужчин и женщин, после чего, до предела разгоряченный, еще отдавался вольноотпущеннику Дорифору, так сказать, на десерт. А однажды придумал и вовсе невиданную забаву: решил публично выйти замуж за Дорифора, из чего сотворил отдельный праздник.

В-четвертых, как опять же сказано, он любил свою мать Агриппину, но не так, как любят матерей, а близко к тому, как любил Дорифора.

В-пятых, иступленно желая в своих страстях испытать все до дна, он по ночам, переменяв внешность, слонялся по самым темным улицам, заходил в самые грязные кабаки, где пил, дебоширил, грязно ругался, грабил, дрался, забивая людей до полусмерти, а то и до смерти.

Выясняется, что художник и власть в одном лице могут быть страшной штукой. Правильно, что они разведены. Насколько безопаснее для мира, когда они разведены. Хлеба и зрелищ — лозунг римских получателей того и другого из одних рук таил гибель.

Властная мода позволяла сотворять зрелища из чего угодно.

Нерон сотворял их из казней христиан.

Это они мешали *всеобщему согласию*. Они порицали тщеславие роскоши, наглость силы, праздность распутства. А ведь такие приятные вещи. И не надо думать, что для одного Нерона приятные. Множество, ох, множество персон, знатных и простых, предавалось им, у кого как получалось. *Так было принято*. Число исторических или социальных моделей ограничено, так же как число психологических. Оттого наивная публика ахает над совпадениями.

Апостол Павел отплывет в Рим из Кесарии осенью 60-го, отправив заранее Послание к Римлянам, которое писал три месяца. Такой срок ему понадобился не потому, что у него были какие-то затруднения с содержанием или формой или что-то было ему неясно. Ему все было ясно. Что писать и какими словами. Потому что ясность была в его сердце. Он только пытался быть ей равным и потому искал совершенной убедительности и совершенной последовательности.

Перед тем в Иерусалиме с ним произошло нечто, отдаленно напоминающее происшедшее с Иисусом. Толпа собралась растерзать и доконать Павла. Он чужой им, этот идейный человек. Кабы он был разбойник! Следите за сюжетом. Римский тысяченачальник Клавдий Лисий, в противоположность Понтию Пилату, отнимает избитого Павла из рук разъяренной толпы, чтобы передать правителю Кесарии, тем самым спасая его. Но ведь и Павел не Иисус. Однако жизни его оставалось недолго.

Последнее в своей жизни путешествие идейный человек совершит под конвоем.

Бурные морские ветры делят поход, отнимая скорость у корабля, заставляя пережидать непогоду, спрятавшись возле мысов и островов. Близ островка Клавда им не удалось даже пристать, разразившийся шторм бросал их судно, как яичную скорлупку, и так же, как яичную скорлупку, разбил, посадив на мель. Тема яиц в данном случае введена сознательно, в целях переклички с темой яиц в случае Нерона. Узникам и страже пришлось вплавь добираться до земли. Вы могли подумать, что тут-то апостол и сбежал из-под конвоя. Ничего подобного. По-настоящему идейные люди ведут себя иначе. Они не мельтешат и не суетятся, не хитрят и не выгадывают, они готовы к страданию, они знают его истинную цену и оттого слуша-

ют судьбу иначе, чем мы с вами, обычные люди, ее слушаем и слышим, у них свой счет с роком и свое достоинство в поведении. Их мало, их очень мало, по-настоящему идейных людей. Может, их и было за историю всего тринадцать. Да и те со своими слабостями.

Четырнадцать с Христом.

С Христом, проговорившим перед распятием: *элои, элои рава хвани?* (Господи, зачем ты оставил меня?).

Павла доставят в Рим и заточат в римскую тюрьму.

Казалось, как расслышать, как угадать слабые шаги нового вероучения в праздничном, карнавальном, оргиастическом шуме победительной, уверенной в себе поступи Рима, заглушавшей все остальное? Какое дело великому Риму до каких-то бродячих идей бродяги-апостола?

О, хитрец плешивый Нерон! Художник-эстет в нем страдал при виде старых деревянных строений, портивших вид его величавой столицы. Властитель раздумывал, как поступить. Хулиган, напившийся виноградной водки, накурившийся наркотического зелья, удовлетворивший заодно по случаю раба-македонца, отдал распоряжение о тайном поджоге, чтобы на месте сгоревшего дрянного старья возвести впоследствии новые красивые дворцы. Вину за случившийся знаменитый пожар возложил на христиан. Римский историк Тацит напишет: и вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлекли на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами.

Смешно думать, что царившие повсюду вольные нравы можно было подточить простыми словами, как, скажем, эти: «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности»? Или эти: «Какой же плод вы имели тогда? *Такие дела*, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть». Смешно думать, что полновластный мог устыдиться заповедей безвластного.

Пятидесятисемилетний Павел будет обезглавлен тридцатилетним Нероном за попытку унижить славный римский образ жизни путем возвышения образа жизни бесславного галлилеянина, от которого пойдет новое летоисчисление в мире, однако это последнее останется неизвестным императору.

Года не пройдет, как ворвавшийся в историю путем заговора, в результате заговора Нерон уйдет из нее. Он вонзит себе в горло меч в тот самый день, в который когда-то убил первую жену.

Нерон, с его привычками, разве был исключением? Он был правилом. Ну, и где Римская империя, а где христианство?

Запомним про исторические и психологические модели.

* * *

1985. Ничего не клеилось. Все распадалось. Жизнь распадалась на куски, которые валялись по разным углам времени и пространства и не

составляли целого. Можно было бы периодизировать: период ученичества, период странствий, период гражданского возмужания, период ссылки, период возвращения. Это если б нашелся искусствовед, который захотел изучить. Что? Что изучить? Работы? Где они? Этот жалкий разрозненный хлам, который не то что не периодизируется и не систематизируется (тьфу, язык сломаешь), а просто ничего собой не представляет? Труху, пустоту! Гонор, завышенные ожидания родных и близких, тщеславие, не подкрепленное художественной волей, — вот автопортрет. Его бы написать на фоне хлама и острых углов, где пропала, сваленная за ненадобностью, жизнь.

А что, это мысль.

Он схватил подрамник, натянул холст. Достал краски — ссохлись, в глубоких трещинах, как старая земля. Взял уголь. Поставил перед собой старое овальное зеркало и заглянул в овал. То, что он в нем увидел...

Что увидел, стал честно рисовать. Мужчина с мальчишеской стрижкой (с тех пор, как в тюрьме обкорнали длинные волосы, стригся коротко), по контрасту с прической — вчерашняя щетина, глубокая вертикальная складка между бровями, глаза, то ли еще молодо-светлые (на свету), то ли уже выцветшие, полуспрятанные в нездоровые кожаные мешки, провалы еще недавно свежих щек, крепко сжатый, словно запертый на замок, своевольный рот, узкий твердый подбородок — все пыльное и надтреснутое, словно эти самые краски. Или земля. Быстрыми взмахами мелка нанес на холст эту землю и трещины на ней, получились и набрякшие веки, и темные подглазья, и запечатанный рот. Он только не прорисовывал глаз, не зная пока, какое выражение хочет поймать и зафиксировать. Земляное лицо принадлежало человеку и природе одновременно. Запечатанный рот и непрорисованные, слепые глаза кричали о немоте, о невыраженности несчастного в овале зеркала. Одним движением руки он очертил и сам овал. Вышло: в старом очаровательном медальоне новая безобразная суть. Пошлость или нужный контраст? Прорыв или эклектика?

Хорошо бы позвать Аду. Выражение ее лица тотчас сказало бы ему, что тут. Но с Адой было так же запутано, как с собственным творчеством, и даже еще хуже.

Времена начинались либеральные, ему скостили срок, он вернулся из ссылки раньше, чем оба ожидали. Можно было бы сказать, что он вернулся в другую страну, если б это не было штампом, а главное, чепухой. Страна была та же, и люди те же, но это стало понятно гораздо позже, когда отошли на расстояние и увидели кровное сродство с тем, от чего попытались оторваться и отказаться. В затхлое помещение пустили воздух. Шеи вытянулись, головы запрокинулись, ноздри раздулись, и нервная веселость овладела людьми, жадно глотавшими кислород. Вот как бывает, что чистый воздух может воздействовать словно

веселящий газ, если до этого вы долго дышали спертым. Еще многого было нельзя, но уже и многое было можно. Можно было принять приглашение на прием в посольство США, и пойти, и выпить джину или виски, и съесть какие-нибудь профитролы, или жульены, или просто черной икры, но не следовало и забывать, что ушки по-прежнему на макушке в *Конторе Глубокого Бурения* (так насмешливо называли КГБ, праматерь ФСБ). Эта двойственность пронизывала все этажи общественного здания, сугубо проникая в личную жизнь граждан, и всегда остававшуюся непростой, а тут плюс такая активная добавка. Слухи, вести, запреты, отмены запретов, старые лица, новые лица, обмен информацией, обмен мыслями, возбуждение, последние *постановления ЦК КПСС* и первые *презентации* — гласность, уф!

Оказалось, трудно войти в общий поток жизни. Прежнее деление на клетки, загоны, отстойники было в определенном смысле легче. Ваше место под солнцем было понятно вам. Более или менее. Свобода, устранив клетки, устраняла общественные определенности. Какие-то связи сохранялись, какие-то, казалось, укреплялись, но не надолго. Занегин имел возможность открыто пойти туда или сюда, общаться с теми и с этими, однако радость нового состояния уже затуманивалась нечеткостью, необязательностью, размытостью его ранжира там и здесь. Кто он? Диссидуха? Андерграунд? Интерес к нему, вновь вспыхнувший по возвращении с поселения, ослабевал без подпитки. А подпитывать не получалось. Первый сильный импульс прошел. Что дальше? Множить найденное? Тиражировать манеру, которая сама по себе давала успех? Что-то здесь было для него неинтересное. Что-то с ним происходило неправильное, отчего он чувствовал себя бессильным, не заряженным энергетически и не заражающим других. Чувство усилилось, когда услышал однажды от резкого и неприятного человека: нет никакой разницы между *классиками* и *новаторами*, если первые продаются государству, то вторые — иностранцам, беда в том, что все политиканствуют и ищут выгоды. Занегин не хотел ни того, ни другого. Существовал ли третий путь: быть, не как *все*? То есть, конечно, существовал. Существовал ли этот путь *для него*? Он должен был ответить на этот вопрос всей жизнью целиком — не одним каким-то отрезком. Складывались ли эти отрезки в *необходимое* целое — или только в *возможное*?

Клеткой оставалось крохотное новое (старое) жилье Ады, которое она получила в результате размена, не заботясь о вариантах, первое попавшееся. Так они были воспитаны. Жмотничать неприлично. В большой занегинской квартире жили вернувшиеся из Швейцарии родители, и Занегин, силой обстоятельств, оказался вынужден прямо из аэропорта попасть в эту адину клетку. Нельзя сказать, чтоб это было против его желания. Желание влекло к Аде. Несмотря на то, что пермская красавица приезжала еще дважды и отдавалась ему самоотверженно и

бескорыстно, ничего не требуя взамен. Возможно, это и было тем, что называется чистой любовью. То есть любовью без примеси расчета, строительства карьеры или судьбы. Проморгал ли редко встречающееся чувство Занегин? Он в нем не нуждался, так будет вернее сказать, оттого не угадал. Мы угадываем, если нам позарез нужно. Но тогда и не получаем или получаем крайне редко. Чаше получаем не нужное, с запасом, с излишком, с перехлестом. Поскольку красавица ни на что не претендовала, то и перехлеста не было. Было ровно то, что было: ласки в жаркой, застеленной периной постели, разогретые алкоголем, после чего хотелось в снег, в мороз, чтобы прояснилась голова и прояснилось то, что ласками и алкоголем затуманивалось: как жить и зачем. Это оставалось навязчивым и главным. Две женщины, существовавшие параллельно в его жизни (но все-таки не одновременно), так же, как это было раньше и будет позже, не мешали друг другу в его сознании. А ведь все, мы говорили об этом, больше, чем в действительность, упирался в ее отражение в сознании. Потому у одних истерика, у других молчание, у третьих водочка — а раздражитель тот же самый.

Занегин понимал, сколько ни объясняй Аде положение вещей, как оно сложилось в его жизни, объяснения не устроили бы ее. Потому не объяснял. Ни ей, ни себе. Он и сам постоянно учился принимать вещи такими, какие они есть. Не всегда успешно, но это другой вопрос. Всякий человек амбивалентен, то есть постоянно дрожит, как вода в любом природном бассейне, и эта мелкая, молниеносная дрожь есть переброска от *да* к *нет*, от плюса к минусу. Когда она не мелкая, хотя по-прежнему молниеносная, — тогда взрывы и разрывы. Темперамента, отношений, событий. Случай, открывший Аде существование пермской красавицы, разрывом не кончился. Стало быть, и Ада училась принимать вещи как они есть. Ранить ее новыми случаями Занегин не собирался. Просто надо быть более внимательным и осмотрительным. И самые близкие отношения не предполагают полного медосмотра и отчета как перед урологом или гинекологом. Есть вещи, о которых не принято упоминать. Возможно, это, а не что иное, называется личной гигиеной. Тем более, что в конце концов Занегин улетал к Аде — пермская страница книги закрывалась.

Он не знал, что в этом месте их с Адой размышления, разнонаправленные по вектору и степени эмоций, совпадали буквально. Больно было Аде. Но и Занегину было больно. Там, где он прощался с местом своего поселения и с навещавшей его гостьей, которую больше никогда не писал, он оставлял кусочек сердца, как ни странно. Не исключено, что это было чисто возрастное. С возрастом в составляющих прощания нарастает количество смерти.

Ада от радости превратилась в ту девочку, которую он полюбил когда-то. Преодолев первые ночные зоны отчуждения, он перепривы-

кал к ней заново, глядел, как она спала, прикрыв свои васильковые глаза нежными веками, держал ее мягкую и прохладную руку под своей щекой, трогал губами тут же взбухавший сосок, чтобы почувствовать, как она тянется к нему спросонья, выгибаясь струной. А ведь никакого отчуждения между нею и собой он не ощутил в тех деревенских жарких перинах, в которых и прослойки не было при переходе от одной женщины к другой.

Вот вам непостижимая мужская психика.

Очень скоро малая ариаднина жилплощадь начала давить на эту самую психику. Поди ж ты: в пермской деревне не давила, а тут давила. Он принялся жаловаться, что не может работать. А он и не пытался. Как-то все разом бросил, не став развивать успех. Кто-то бранил его за это, кто-то считал, что он прав. Ада, как это часто бывало с ней по отношению к Занегину, не могла разобраться в собственных ощущениях: любит ли она эти его новые гигантские карикатуры или не любит. Он стал привередлив. Она замкнулась. Потом наоборот: она начала привередничать, он сделался замкнут. Ссоры возникали на пустом месте. Все чаще он не доставал, а прятал спиртное, опрокидывая в себя тайные стаканчики, когда никто не видит. Теперь и с Адой все более становился потребен предварительный то ли дурман, то ли допинг, чего раньше не было, и это саднило, как маленькая отдельная ранка. Они и в лучшие свои дни не заговаривали о том, чтобы оформить отношения официально. Как-то без слов согласились, что это мешанство. Кто согласился? Он или она? Лучшие дни ушли. Начался разнобой, в котором непонятно, что на что давит: прошлое ли лезет непрошенным визитером, будущее ли неясно и грозит сбоем, или настоящее перестало удовлетворять. Инструмент был расстроен, играть на нем больше было нельзя.

Сделать серию автопортретов? Он такой, и такой, и такой, и такой. Он человек, как другие. Его лицо, его история — это лицо и история похожих, подобных. Если не получается с другими, почему через свое лицо и свою историю не передать все, что любил, на что надеялся, чем измучен и истощен?

Из старого овального зеркала на него смотрели белые слепые глаза.

* * *

1995. Кьяра Фьорованти прилетела в Россию недели за три до Нового года. И уже в январе они с Занегиным поженились. В апреле он сказал об этом Аде. У них был сумасшедший роман, о котором судачила, как говорится, вся Москва. На самом деле судачит узкий круг, *тусовка*. Случилось так, что Аду эта новость обошла стороной. Бывает. Ходишь возле огня, всех обжигает, а тебя нет, будто ты заговорен. Итальянка приехала вместе с коллегой (итальянцем) отбирать картины

русских художников для Венецианской биеннале. Точнее, отбирал мужчина. Женщина, несмотря на искусствоведческое происхождение, играла вспомогательную роль. Коллега был слон (по деловой функции), она пешка. Впрочем в другом шахматном раскладе (по функции пола) она была королева. Черная смоль вьющихся блестящих волос, глаз-маслины, грудь — два дивных холма, талия-рюмка, ноги, растущие от ушей, и при этом сногшибательный коктейль: сама бесшабашность и сама невинность. Художники как один сдались без боя и попадали перед ней трупам. Фигурально. Фактически они стали отбивать ее друг у друга путем парада винно-водочных бутылок и красивых слов, ну, и конечно, демонстрации дара и стиля. Стоит сразу сказать, что незамужняя, свободная итальянка, смело принимая демонстрации и парады и переходя от одного к другому, как переходящее красное знамя, не сдалась на милость ни одного из победителей. Кстати, она и была *красной*. По своим взглядам. Поэтому, с одной стороны, ей не нравилось то, что произошло в Советском Союзе, а с другой, только благодаря происшедшему, она нынче и хлестала водку с русскими художниками, и ожидала самых выдающихся из них в Венеции, зорко наблюдая, чтоб ей не подсунули эрзац вместо шедевра. Когда собутыльники, собеседники и состязатели обращали ее внимание на это противоречие, она поводила, смеясь, длинным наманикюренным пальчиком перед их носом и говорила: марксизм-ленинизм *не отменять противоречиев*. И все грохали. Потому что соединение, и впрямь, было смешное: роскошная она и убогий забытый марксизм-ленинизм. Она говорила порусски очень мило, хотя и с ошибками, что добавляло пикантности. Казалось, она не чистых кровей итальянка. Что-то мулатское просвечивало в ее облике: чуть вывернутые губы, чрезмерно смуглый цвет кожи, особая, оленья пластика движений длинного тела, длинных рук и ног. Позволяя себе почти все и ничего не боясь, она оставалась, как ни странно, недоступной. В результате чего русский мужчина, готовый к последнему рывку, натывался, как на стену, на это внутреннее неодолимое препятствие и отступал вопреки привычке (в подобных случаях) к грубому насилию.

Отобрано было уже десятка полтора полотен, когда очередь дошла до Занегина. Занегин давно ничего не показывал, было известно, что он в творческой депрессии, но все равно дали ему знать, когда она будет в гостях в чьем-то доме, он заехал, привезя с собой несколько работ, называвшихся «новыми», то есть написанных сразу после поселения, много лет назад, а заодно прихватив неоконченный «Автопортрет», снятый со стенки у Ады, и вдобавок к ним дурное (заранее) настроение. Итальянка обернулась к пришельцу с дежурной поволокой в глазах-маслинах, и вдруг застыла, приоткрыв рот. Было очевидно, что с ней что-то произошло. Потом она говорила ему, что влюбилась смер-

тельно с первого взгляда. Такое сражение напавал. Идет реакция каких-то женских гормонов на какие-то мужские, и точка, и особь в неволе. Она сделалась сосредоточена и даже грустна, и лишь по временам вдруг окатывала его горячим взглядом, как бы желая проверить, правда ли то, что случилось, и в самом ли деле причина так серьезна и неодолима. За столом пили водку и чай, ели холодец и пирожные. Занегин быстро выпил пару рюмок, закусил холодцом и налил себе третью рюмку. *Скуза*, мне тоже, протянула она свою. Он налил и ей. Я вам кого-то напоминаю, все еще мрачно спросил он. *Но-но*, быстро откликнулась она, *никто из знакомых меня*, а как будто *сто годов знал*. Он, как ни странно, понял. Она, наконец, улыбнулась, и, как лебедь, повела длинной шеей, освобождаясь от чужого наваждения с тем, чтоб навести свое. Случается, согласился Занегин, механически делая стойку.

Хозяин позвал Занегина на кухню. Не залипай, посоветовал он, решает не она, а ее начальник. Ты советуешь мне залипнуть на начальника, усмехнулся Занегин. Залипла она, констатировала курившая в кухне хозяйская жена.

Занегин продолжал пить. Кьяра чокалась теперь только с ним, практически не отставая. Он забыл, зачем пришел, впадая в сладкий полубормочный соблазн греха, когда уже понятно, каково предложение, исходящее от женщины, оказавшейся рядом, в котором (предложении) она, быть может, и не вольна. Хозяин, надо отдать ему должное, напомнил: покажи холсты. Покажи холсты, повторила как пароль сильно опьяневшая итальянка, не отрывая своих черных глаз от зеленых занегинских. Они еще ни разу не коснулись друг друга, осуществляя касание исключительно путем сближающихся рюмок, от этого тайная температура их отношений повышалась ежеминутно, грозя сжечь заживо.

Занегин встал, принес холсты. Все, кроме «Автопортрета». Кьяра уставилась в них бессмысленным взором. Было понятно, что время упущено, искусствовед не в форме. Дурные предчувствия Занегина, что все это не будет стоить выеденного яйца (тема яиц!), оправдались. У тебя там еще что-то, заметил хозяин. Нет, все, отрезал Занегин. Не все, стоял тот на своем. Досада Занегина, не на кого-то, на самого себя, была б нестерпимой, если бы не градусы. Градусы растворяли ее отчасти. В порыве совсем уж жестокого мазохизма он схватил последний холст и повернул его лицом — своим лицом — к Кьяре.

Итальянка сползла со стула и опустилась на колени.

Может быть, ей так лучше было видно.

А может, это означало совсем другое.

Или все же она была безнадежно пьяна.

Непроизвольные слезы потекли вдруг по ее лицу. О Санта Мария, *ти* гений, *каро, каро мио, ти вольо бене*, я люблю тебя, он гений, слава

тебя, Санта Мария, о, *пьята ди те*, я тебя жалею, бормотала она, обращаясь к портрету в порыве, напоминающем безнадежное горе. Они ведь похожи в своем выражении: горе и счастье.

Занегин рассмеялся, ему стало легко-легко, он протянул к ней руки, она повернулась и всей своей оленье-лебединой статью, не подымаясь с пола и не просыхая, прильнула к нему. Он наклонялся, забирался пальцами в ее волосы, шепча: что ж ты плачешь, дуручка, все будет хорошо. Будет хорошо, переспросила она, приподняв голову и вся дрожа. Не обращая внимания на хозяев, Занегин начал целовать ее.

Кьяра Фьорованти не улетела со своим коллегой. Ей продлили визу, она задержалась. С коллегой улетел занегинский «Автопортрет» и с ним двадцать две работы других авторов. Кьяра уговаривала Занегина уехать вместе в Италию, где под влиянием итальянского солнца и старых мастеров он возродится и непременно начнет писать снова. А я *сделаю тебя ребенком*, сказала она. Последовала долгая пауза. Сперва до Занегина должно было дойти, что она хотела сказать, а когда дошло — нужно было переварить. Крепко потеряв по своей привычке подбородок, он пробормотал спустя минуту, что у него дела, он приедет на биеннале и тогда уж останется с ней, до июня ждать недолго. Она не поняла реакции, была огорчена, но держалась. Он еще помолчал, вслед за чем вдруг взял и сделал ей официальное предложение: стать его женой. От радости она взвизгнула и совершенно по-детски подпрыгнула вверх, такая прелестная смуглая кобылка.

Да ей и было всего двадцать семь.

Ему сорок.

Он только сказал, что Новый год они встретят отдельно — он должен осторожно развязать узел старой связи, чтобы никого не травмировать. Она поняла.

* * *

1994. Десять лет жизни с Занегиным, включавшие жизнь без него, были годами повышенного напряжения для Ариадны. Он уходил, приходил, они миловались, ссорились, у него начиналась экзистенциальная тоска, он уезжал, Ада места себе не находила, привыкала, отвыкала, он возвращался, что-то писал, потом уничтожал, у него возникла ужасная привычка уничтожать свои работы, Ада боялась за его психику, и в самом деле с ним иногда творилось что-то чрезмерное, он пил, зашивался и снова пил. Они так и не расписались. Хотя дело доходило до того, что Ада прятала свою гордость в карман и говорила как бы шутя: Занегин, дурак, когда отведешь меня в ЗАГС? Зачем, спрашивал он. Чтоб в белом платье и фате, отвечала она. Поздно, следовал ответ, в белом женятся невинные девушки. Вопрос отпадал сам собой. Ада догадывалась, что есть десятки способов окольцевать мужчину, но не хотела

воспользоваться ни одним. Зачем? Если это неестественно, стало быть, против естества. Любая хитрость ей претила.

Было еще обстоятельство, которое лишало ее возможности настаивать на чем бы то ни было. У них не было детей, и это была ее вина. После аборта, который она сделала, чтобы избавиться от петинного ребенка, она болела, ее лечили и вылечили, но рожать, сказали, не сможет. Как могла она привязывать к себе человека, заведомо зная, что у него никогда не будет сына или дочери. Сегодня ему никто не нужен. Или ей кажется, что не нужен. Но кто знает, как повернется дело завтра. Она хотела много детей от него, а не могла родить и одного. Если б ребенок — наверное, все было бы по-другому. Они не были бы так заиклены друг на друге и... или... или это только она заиклена на нем?

Ада не раз думала, как же и когда все так перекрутилось, перевилося, наслоилось, словно древесный гриб, выросший на березе, отчего прежние простые и ясные слова, простые и ясные отношения сделались невозможны, а все, что говорится и делается, тройным, четверным эхом отдается и возвращается назад искаженным, исковерканным, искалеченным. В своих мыслях она пропускала момент, когда не выдержала, взбрыкнула и выскочила замуж за Петю. Если б кто-то сказал ей, что тут она и есть, ее вина, заключающаяся в нетерпении, она бы не поверила. Она не чувствовала себя виноватой, потому что это был ее ответ Керзону. Керзоном являлся Занегин, бросивший ее. Походило на детский сад, в котором дети жалуются: он начал первый. А чем отличаются взрослые от детей, когда у них те же чувства и те же обиды, даром что годы идут, и у глаз появляются первые морщинки, а в волосах первая седина. Золото волос Ады скрывало проблемски серебряных нитей. Для других. Ей зеркало показывало, что и как обстоит на самом деле.

Она защитила диссертацию, стала кандидатом, преподавала в университете, иногда студенты ее любили, иногда нет, ей нравилось, когда любили, от этого она расцветала, и лекции ее расцветали тоже, иногда лекции скукоживались, потому что по какой-то причине скукоживались студенческие чувства, тогда ей нездоровилось, она брала больничный, валялась в постели, читала книжки, плакала, спала, пока однажды, не взглянув в зеркало, не ужасалась тому, что видела в нем, и тогда поднималась и шла в парикмахерскую, на массаж, в бассейн, приводила себя в порядок, и снова отправлялась в университет. Все равно университетская сторона ее жизни оставалась второстепенной. Первостепенна была та, в которой существовал Занегин и ее не заживавшая любовь к нему. Она часто думала о том, что несчастна и что жизнь ее не сложилась. Но как-то раз загулялась со студентом, провожавшим ее после лекции, шли по бульвару, болтали о том, о сем, он стал рассказывать про свою семью, где помимо него был еще младший брат, про отца с матерью, по сути, ровесников Ариадны Николаевны («но разве

можно сравнить!» — невинная лесть), про то, как у них все равно, гладко, благополучно, и сегодня, как позавчера, и все чувства позавчерашние, и сами они позавчерашние, остывшие, как холодная каша, от чего ему иногда хочется повеситься. Ада встала, как вкопанная, и уставилась на него. Ей захотелось одновременно ободрить парня и обругать, сказать, что он идиот, что все видит в неверном свете, что благом семьи следует дорожить как никаким другим. Но первое же слово застряло у нее в глотке. Ей вдруг реально представилось все, им сказанное, и эта неутешительная правда победила утешительную ложь, которая готова была сорваться у нее с языка. Так оно и есть, ей не раз встречались подобные семьи, от скуки проживания которых она бежала в свое душевное неустройство, в свои бури, которые одни и давали полноту красок жизни. У них чувства очерствели — у нее были свежи и сильны. Она была богата — они бедны.

Занегин позвонил перед Новым годом. Ада ждала его звонка. Они не виделись с середины декабря. Он жил у родителей, отец плохо себя чувствовал, и мать просила помочь.

Отец Занегина плохо себя чувствовал не только физически, а может, не столько физически, сколько морально. Он был имперский человек, имперский дипломат, как отец Ады имперский чиновник, и этим все сказано. Они были из другого класса, другого разряда, другой эпохи. Ада и Занегин потому еще хорошо понимали друг друга, что за их спинами было это живое прошлое, связь, порванная по идее, но державшаяся на тонких сухожилиях по родству. На самом деле это было трагично. Незаживающая рана кровила и в детях, и в отцах. Дети уходили, ушли от отцов. Теперь отцам предстояло уходить в глухом одиночестве. Никакие внешние заботы не меняли дела. Возможно, так происходит и в спокойные, тихие времена, когда между отцами и детьми рвется соединяющая нить. Так, да не так. Эти дети были враги этих отцов, несмотря на сохранявшуюся любовь. Эти дети жестоко отменяли все, что было дорого и важно отцам. Разумеется, отменяли, в первую голову, другие: власти, партии, средства массовой информации. Это было противно отцам, но то были чужие. Чужой легко трансформировался во врага. Жить во вражеском окружении можно, и даже вполне сносно. Существовала давняя привычка к вражескому окружению, на которое многое списывалось. Тут не списывалось. Тут родные дети. И хотя теоретически дети тоже могли быть врагами, но это в истории. Или, по крайней мере, в чужих семьях. В своей, по факту — стерпеть такое было почти невозможно. А что делать? Казнить ребенка, пусть и стоеросовую детину, по принципиальным соображениям нет ни сил, ни возможностей. То есть, конечно, имеется в виду казнить словом, выступлением, призывом, как, скажем, когда-то со стилистами или космополитами (физические расправы, слава Богу, партия осудила и отменила). Где? И кто

услышит в шуме и гаме, в разногосице, в которой утонула единая линия? Терпеть? Терпение никогда не входило в доблесть наследников революции. Нетерпение было мотором, двигателем событий, крупнее которых не знал двадцатый век.

Все кошке под хвост. Все зря. Жизнь, почитай, прожита напрасно. Потому рвались не символические нити — рвались сосуды. У дипломата был инсульт, у научного работника, ставшего партийным чиновником, — инфаркт.

Ада тоже предлагала помощь занегинским старикам. Своих она не бросала. Могла бы не бросать и занегинских. Ее отец получал сначала персональную, после обычную пенсию, не работал, хотя старые товарищи не раз звали его то в одну, то в другую фирму, где неплохо устроились, в общем, все, и лирики, и физики, и химики, но ему было отвратительно само слово «фирмач», он ненавидел Ельцина и особенно рыжего Чубайса и, сохраняя незыблемые принципы, слышать не хотел о возможном новом статусе. Аде Чубайс нравился. Ей нравились его спокойствие, его четкая, определенная, разумная речь, за которой ощущалось знание предмета, нравились умные глаза с прищуром, в котором другие находили издевку, даже рыжие котовские бесцветные ресницы нравились, что было бы просто вызовом, скажи она кому. Когда-то Аде казалось, что все-все-все люди могут понять друг друга, если захотят. В субъективном нежелании это делать видела она природу почти всех ссор и конфликтов. И лишь с течением лет и с изменениями, которые претерпевала сама, стала сознавать, что разные люди на самом деле живут в разных этажах, как сказано у одного философа. Человеку верхнего этажа как правило доступно то, как смотрит на предметы человек нижнего, потому что он сам развился, сам вышел из этого человека как из куколки. Человек нижнего этажа вряд ли поймет живущего выше. Выше не чином, не должностью — составом личности. И уж, конечно, когда такая личность усмехается, уязвленному с нижнего этажа кажется, что она насмехается. *Над* ним. И ненависть усиливается. Ненависти, как и любви, пока они длятся, годятся любые полешки в костер. Поняв это, Ада старалась быть со своими стариками как можно мягче. Прошли те времена, когда она могла выкинуть любой фортель, только потому что ее эго этого требовало. Как, скажем, уехать к Занегину на поселение. Теперь, со страхом видя, как истончается ткань жизни отца и матери, она стремилась овладеть искусством шопки. Любила принести им цветы. Или купить большие краснокожие грейпфруты. Или ни с того, ни с сего подарить картинку из тех, что дарили ей. С картинками, правда, случались огрехи. Как-то раз отец заставил унести подарок обратно, настолько был раздражен, в общем-то, нейтральным пейзажем: окно, перед ним на столе клубок, проколотый спицей, солонка с солью, хлеб и бутылка с розой. Все в приглу-

шенной коричнево-фиолетовой гамме. Что уж настолько его рассердило, Ада не знала. Может быть, именно неприязнительность была не по душе отцу, привыкшему к притязаниям. А может, он углядел на картинке какой-то символ.

Занегинские старики любезно, но твердо отказывались от ее услуг. И так было всегда. Играл ли в этом какую-то роль Занегин, Аде не было известно — негде было почерпнуть информации. Отношения с самого начала не заладились. Кажется, им не нравилась свободная связь, в которую она вступила с их сыном, особенно, когда продолжала встречаться с ним, будучи замужем за другим, и потом, когда жили, не расписавшись. Возможно, они рассуждали в том роде, что уж ежели их сын не желает официально оформить отношения с этой женщиной, то им и вовсе не стоит навязывать себя ей как родне. В их дипломатическом статусе предполагалось думать как-нибудь эдак.

Ада готовила себя к тому, что и Новый год Занегин будет отмечать с ними. Тем радостнее прозвучало для нее приглашение в ресторан Дома кино. Они тысячу лет не были в ресторане, а уж Новый год всегда встречали дома. Ада сначала даже покапризничала: зачем ломать традицию. Но тут же и доломала: Бог с ней, давай, правда, отвяжемся на полную катушку, я надену платье новое, мы будем одни, или еще какая-то пара, или пары? Одни, ответил он лаконично. Холодок радости в ее груди занял еще большее пространство.

Занегин хотел, чтобы они были одни и чтобы это было не дома, потому что думал, что так проще будет объясниться с Адой. Он готовился к объяснению, желая, чтобы все было по-человечески, а не по-скотски.

Вышло так, что в новогоднюю ночь он ничего ей не сказал.

* * *

1994. Ада купила себе платье в дорогом бутике на Кузнецком мосту. Белое, тонкое, длинное. Надела к нему нитку жемчуга, вставила жемчужины в ушные дырочки, подняла волосы вверх, но так, чтобы несколько прядей упало вниз. Взяла черную шелковую сумочку к таким же туфлям на высокой шпильке. Подушилась Kendzo. Кажется, все. Она готова к новой жизни с Занегиным, в которой они должны были не вставать утром из одной постели, а встречаться на ступеньках Дома кино.

Она принесла ему в подарок английскую трубку — с некоторых пор он стал курить трубки. Его это тронуло. Трубка ему понравилась. А у меня нет для тебя подарка, произнес он рассеянно. Она улыбнулась: ты пришел сам, ты и есть подарок. Белое платье заставляло держать особую форму, и она держала. У них был столик на двоих. До Нового года оставалось несколько минут, когда Занегин исчез. Ада не успела испугаться, потому что он появился, почти с боем курантов, с белой

розой в руке. Это тебе, протянул. Она засмеялась своим особенным смешком. Ты все-таки ужасно трогательный мерзавец, сказала, взяв его руку и прижавшись к ней щекой. Он попросил: посмейся еще своими серебряными колечками. Когда пробило двенадцать, поднял бокал с шампанским и сказал: за тебя! Она возразила: с Новым годом! Он согласился: как хочешь.

Едва перевалило за полночь, начались хождения от столика к столу, на Аду глазели, ее приглашали танцевать, присылали шампанское, кто-то из приятелей звал присоединиться к ним, они пошли за большой стол, и опять она была на разрыв, все будто с ума посходили, ухаживая за ней, дорогое белое платье и высокая прическа сделали ее пугающе красивой и незнакомой. Она и сама будто с ума сошла, отвечала на все улыбки, на все намеки, пожиманья рук, приглашенья танцевать. У нее кружилась голова, она была возбуждена сверх меры и знала, что добром не кончится. Она была как тонкая белая свечечка, которую рано или поздно задует.

Занегин, глядя на нее, тяжело напивался, как это бывало с ним в последнее время. Он видел, что она хороша, и что все видят, как она хороша, и злился, и ревновал ее. Он еще и сознательно разжигал в себе злость, потому что это помогало ему освободиться от угрызений и развязывало язык. Возвращаясь с очередным кавалером, почти мальчиком, кажется, уже совсем бросившим девушку, с которой пришел, Ада задела паренька бедром, Занегин увидел, и это окончательно распалило его. Схватив за руку, потащил ее к столу. Сядь, сказал, я тебе что-то скажу. Она села, но не напротив, как раньше, а придвинув стул близко к нему. Едва он приготовился, как она, не слушая, обхватила его голову руками и стала целовать в глаза, в нос, в щеки, в губы. Не говори, Максим, любовь моя, я знаю, что ты хочешь сказать, я все это делаю из-за тебя, ради тебя, ты один для меня во всем белом свете, сейчас и всегда, я люблю тебя больше жизни!..

Момент был упущен. Да и не так это было вовсе. Упущена вся история с Кьярой, и сама Кьяра, и необходимость объяснения и разрыва — все куда-то упустилось, или опустилось, ушло, и сейчас он, напротив, недоумевал, зачем хотел что-то сделать и что-то сказать, когда вот она, необыкновенно привлекательная женщина, его жена, его девочка, которая его любит и которую любит он, она принадлежит ему, и это проверено временем, время так и не отменило силы чувств.

Они были вместе в ту ночь, после долгого перерыва их близость была полной. Он ушел в нее как в спасение, забыв все, кроме нее.

И только днем первого числа память к нему вернулась.

Он проснулся, все вспомнил и застонал от тягостного ощущения мышеловки, в которую зеленоглазый кот противоестественно попал, из которой не знал, как выбраться.

1995. Снег валил в середине апреля, как неграмотный хулиган, не заглядывая в святцы. Дворы и переулки были в пышных сугробах, с проезжей части летела мокрая грязь, зима надоела всем до смерти, а весна никак не наступала.

Соскучившись от жизни, умер отец Ады. Все тяготы похорон поначалу легли на нее. Мать была не в себе. Занегин вел себя странно. Уехав помочь родителям, он так и застрял у них. Она позвонила сообщить, его не было дома, она просила передать, выслушала вполне казенное сочувствие, повесила трубку, ждала звонка, он не перезвонил. Перезвонил через день. Она была изумлена его отсутствием, но ничего не сказала, упреки сейчас были бы неуместны. Помощь, на которую рассчитывала, уже не понадобилась: включились бывшие сослуживцы отца, теперь они со вкусом обустраивали все, она освободилась и не знала, что ей делать. Матери было плохо, Ада сидела с ней, подавала лекарства, просила поесть, мать молча качала головой, Ада ощущала безысходную тяжесть, и защиты от этой тяжести не было. В день похорон Занегин не заехал за ними, а появился только в морге. Он привез связку цветных герберов, их яркая плоть казалась кощунственной. Ада вспомнила белую розу и подумала, что белые розы были бы еще хуже. Занегин поцеловал руку у матери, подошел к Аде, она взглянула на него, и рот у нее искривился. Он обнял ее. Она заплакала навзрыд. Он успокаивал. Спустя минуту, бережно отстранив, отошел положить цветы в гроб, у гроба и остался. Потом нес его вместе с другими мужчинами и ставил в автобус. Потом вместе с ними выносил. Наиболее крепкие сослуживцы и пара художников образовали как бы свою компанию людей, особо приближенных к телу, и к делу тоже, в то время как другие исполняли роль праздных наблюдателей. Да и то, умер старик. Так положено ходом вещей. Потому наблюдали больше, чем горевали. Практически все, кроме жены и дочери. Жена находилась в прострации, видимо, напичканная лекарствами. Дочь стояла, сцепив руки в черных перчатках, с отрешенным лицом.

Вот и все. Больше его нет. Нет этой границы между ней и вечностью, которую папа держал. Есть мама, но она настолько потеряна, что ее присутствие почти фантомно, а в качестве границы особенно. Ада была далека от родителей, и в силу своего характера, и в силу их характеров, и оттого, что давно жила самостоятельно. В детстве она уважала и боялась отца. А он любил ее страстно. И страстно ждал, когда она начнет оправдывать его завышенные ожидания. В смысле личности, карьеры, брака и прочих высот. Она их не взяла. Во-первых, потому, что ее и его устремления расходились. А во-вторых... не взяла и все. Отец не мог скрыть разочарования. Он сам добился всего силой воли и был примером того, как можно и нужно брать высоты — и в смысле лично-

сти, и карьеры, и брака. Мать была когда-то весьма лакомый кусочек: из музыкантской среды и сама музыкантша, певица. Он вахлак деревенский, а вот заставил же ее полюбить себя. Она свою карьеру бросила ради него, зато как украшала его жизнь, он всегда ею гордился и выставлял напоказ. Где все это? Где то, чего он добивался? Зачем, набычившись, лез напролом, либо, напротив, смирял себя, выжидая, когда сменится погода или климат — там, наверху, где особенно одиноко, опасно и холодно и где надо особенно чутко следить за розой ветров. Ну, и что, уследил? Что смог противопоставить?

Теперь он в гробу, со своим изжитым, серым, конченным лицом, и все кончено. Все кончено. Все кончено. Все. То, что Ада чувствовала, было непереносимо.

Все переносят. И она перенесла.

Хоронили на Ново-Кунцевском кладбище, сослуживцам удалось *выбить*, и группка немного гордилась собой. Когда церемония была завершена и отправились к машинам, Занегин тронул Аду за плечо, она, передав кому-то локоть матери, пошла рядом с ним, чуть поодаль от остальных. Прости, что я говорю тебе это здесь и сейчас, сказал Занегин слегка приглушенным голосом, нервно потирая подбородок, ничего не поделаешь, я должен сказать, до тебя, видно, еще не дошло, я хотел сказать раньше, на Новый год, но тогда, видишь ли, язык не повернулся, а сейчас, черт возьми, одно к одному, Ада, выдержи и это, я женат, детка.

Ну, вот он и разрубил узел.

Или ее разрубил на части.

Он не захотел или не смог это сделать, когда она была целехонька и исполнена радости. Он смог — когда раздавлена бедой.

Он никогда не называл ее деткой.

То, что меня не ломает, делает меня сильнее. Накой Бог так озабочен моей силой, чтоб она возрастала?

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю».

Кладбищенская дорога еще не кончилась, надо было что-то сказать, может быть, спросить, и она спросила, на ком он женился. А, на одной итальянке, небрежно отозвался он. Значит сделал доброе одной итальянке.

Занегин, не признаваясь себе в том, втайне желал и надеялся, что Ада узнает о существовании Кьяры как-нибудь помимо него, от общих приятелей, тех, кто знал, пруд пруди, кто-нибудь да не откажет себе в удовольствии поделиться новостью, и Ада сама выдаст первую реакцию, пусть даже агрессивную. В этом случае он мог выбрать какую угодно линию поведения как фигура второстепенная: главным действующим лицом становилась Ада. Он едва ли не нарочито появлялся с Кьярой в публичных местах, пока та была в Москве, словно желая нос к

носу столкнуться с Адой. Но Ада, как назло, вела замкнутый образ жизни. Иногда ему казалось, что она давно знает, но она молчала, и он молчал, не зная, как сказать. Увидев на похоронах знакомых художников, поглядывал, не подойдет ли кто из них к Аде, не прошепчет ли что-то на ухо, демонстративно отвернувшись от Занегина, что будет означать ту самую новость, имеющую к Занегину прямое отношение. Он знал, что это низко, но ничего не мог с собой поделать: поглядывал и рассчитывал до последнего момента. Никто к Аде не подходил и ничего на ухо не шептал. У Занегина не оставалось выхода.

Измученная готовкой, Ада механически сидела на поминках, на которые Занегин не пришел, потом механически перебивала гору посуды, потом отправляла мать в психиатрическую лечебницу, поскольку дело оказалось гораздо хуже, чем можно было предположить, потом сняла траур, надела очередные голубую юбку и белый пиджак и пошла бросаться под машину.

С этим не получилось.

Возможно, время некоторое прошло — надо было сразу.

* * *

1995. Если экзистенция не привела к Богу, она пустое.

Эта мысль явилась вдруг Аде в голову в самолете и ошеломила. То, что составляло смысл бытия, что представлялось страшно содержательным, особенно по сравнению с другими людьми, у которых все сложилось, оформилось и застыло, как ей казалось, а у нее продолжалось бурными перепадами, водопадами, камнепадами чувств, в одну секунду предстало — пустотой.

Вот на этом самом месте, где только что что-то значилось, зияла пустота. Дыра.

Она, Ариадна, ни от чего ни к чему не пришла. Она кружилась на одном месте, как сумасшедший мотылек. Сегодня отменяло вчера, завтра отменяло сегодня, а ничего не происходило. В науке химии, которая существовала на периферии ее сознания, происходило: она готовила диссертацию, сдавала кандидатский минимум, защитила диссертацию, стала преподавать. В искусстве живописи — происходило: полюбив, она стала знать и понимать, понимание углублялось, вкус утоньшался, ее маленькое персональное собрание было настоящим богатством. В личной жизни, занимавшей главное место, то есть *собственно жизни*, она оказалась банкротом.

Наверное, она неправильно жила. Она должна была перенести центр тяжести на то, что у всех: работу. Была ли бы она тогда женщиной? Позвольте, а остальные не женщины? У остальных любовь знает свое место. Как собака. У Ады злая собака владела своим владельцем. Наверное, Аде надо было жить не в этом, а в прошлом веке, когда все было

устроено чуть иначе, и женское начало таило в себе истинную, а не ложную содержательность. Тогда возможно было настоящее женское счастье.

А Анна Каренина?

Дело не в веках.

Дело в каком-то изначальном изъяне, который переводит стрелку от безумной полноты существования (кажушейся!...) к безумной пустоте.

Сидя у окошка иллюминатора, Ада рассматривает не голубую бездну, а свою собственную жизнь: бездна там. Без дна. Ничего. Пусто-пусто. Камешек домино. Камень.

Фальстаф Ильич. Ада, вы неважно себя чувствуете?

Ариадна. С чего вы взяли?

Фальстаф Ильич. У вас такое лицо...

Ариадна. Вам просто плохо меня видно. Как вам может быть видно мое лицо, когда я сижу, отвернувшись и глядя в окошко?..

Как всегда, она хотела договорить все до конца. Откуда в этой до мозга костей женственной женщине столь сильная тяга к мужской, являющей точности? Или это тогда, когда ее самое не забирает, и она отплясывает на чужих костях? Перетерпим. Предмет того стоит.

Фальстаф Ильич. А вы не можете повернуться?

Ариадна. А вы не можете подождать?

Фальстаф Ильич. Пока что?

Ариадна. Пока я не выброшусь в окошко.

Фальстаф Ильич. Это лучше делать не в самолете.

Ариадна. Скажите: и не когда вы летите в Италию.

Фальстаф Ильич. И не когда вы летите в Италию.

Им принесли напитки. Ада попросила апельсиновый сок, Фальстаф Ильич — рюмку водки. Ада повернулась к своему спутнику.

Ариадна. А вы, судя по вашему лицу, счастливы?

Фальстаф Ильич. Сказать честно... да. Я почти ничего не понимаю, кто вы, кто я, что за жизнь я прожил, да и жил ли я до вас, что теперь произошло, почему и зачем мы оказались в этом самолете вместе, и будем вместе в одной из лучших стран мира, в которой я ни разу не бывал, да ведь я вообще нигде не бывал за границей, если не считать двух или трех выступлений в Венгрии и Чехословакии...

Ариадна. Выступлений войск?

Фальстаф Ильич. В общем, да. Концертных.

Ариадна. Вы музыкант?

Фальстаф Ильич. Я был и военный, и музыкант. Сейчас только музыкант.

Ариадна. Вы никогда не говорили.

Фальстаф Ильич. Вы не спрашивали.

Ариадна. У нас будет возможность познакомиться поближе. Я спрошу. Я обязательно спрошу... потом... *Лесик...*

Последнее слово опять, как всегда, произвело что-то особенное с обликом Фальстафа Ильича. Он наморщился, нахмурился, а в то же время глаза его сияли нестерпимым блеском, усилившимся, должно быть, от влаги, которая встала в них и стояла, не проливаясь, и все его наморщивание и было направлено к тому, чтобы не дать ей пролиться. Не зная, что сделать с самим собой и с охватившим его волнением, он осторожно взял руку Ады и намертво, как будто припаял, приложил тыльной стороной к своим губам. Она не отняла руки.

«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом».

* * *

1995. Венеция ошеломила Занегина. И вовсе не потому, что это была заграница. Заграницей он жил подростком. И не в одной Швейцарии. На каникулы ездили и в Австрию, и в Германию, и во Францию, как-то раз попал даже в Бразилию. Видимо, по этой причине он был лишен того, что составляло не высказанную, но потаенную надежду иных на иную жизнь. Прорваться *туда*. В Новый Свет или ближе. Но *тот свет*. Там *светили* свобода, известность, изящество, удобство, отсутствие хамства и грязи, какие-то другие, баснословные, гонорары. Это было похоже на детские мечты, какими они всегда бывают и почти никогда не сбываются. Детское и составляет человеческое.

Пребывание на посольской территории не означало настоящего пребывания в иной стране. Здесь были свои правила, свои интриги и своя скука. Впрочем Занегин-старший был человек исключительной внутренней честности и порядочности, и его строгая правдивость не раз служила Занегину-младшему охранительной грамотой и ориентиром, с годами, увы, как-то размывшимся. Но все-таки прелесть заграничной новизны была им проглочена в отрочестве, как вкусная пенка, снятая с молока. Все эти хорошенькие улочки, с чистыми, сверкающими автомобилчиками, хорошенькие домики, с чистыми, сверкающими стеклами, с витринами, залитыми, действительно, *другим светом*, нежели пыльные, грязные и безрадостные отечественные витрины, вся эта нарядная толпа, состоящая из абсолютно отдельных мужчин и женщин, юношей и девушек, улыбающихся, а не огрызающихся при любом контакте, — конечно, оно воздействовало на подкорку и, пожалуй, манило стать частью этого сверкающего мира. Однако когда Занегина отослали в Москву, чтобы он закончил а) нормальную советскую и б) художественную школу, случилось так, что его подкорка восприня-

ла совсем особенные сигналы, связанные не с внешним, а с внутренним местом под солнцем. Живопись, в которую он погрузился, вместе с Адой, в которую он погрузился также, дали ему желанное чувство тяжести, которую вернее было бы назвать весомостью, которая не столько давит, сколько делает жизнь основательной, когда человек точно чувствует, что не зря живет. Такую тяжесть не променяешь ни на какую легкость. Это оказалось связанным с Москвой, родиной, Россией, чего Занегин, конечно, никогда не произносил вслух (это было бы в его глазах дурным тоном), а может, и не ощутил бы вовсе, не получи он невольного, а возможно, и неконтролируемого опыта сопоставления. Потому никуда за рубеж не рвался — эта инъекция была сделана раньше, и от новой дозы ему нечего было ждать. В каком-то смысле его положение было безвыходным. Когда его приятели погружались на дно отчаяния в Москве, у них оставалась тайная мысль об *исходе* как возможной перемене участи. У Занегина такой мысли не было. Он был обречен.

Итальянка явилась как случай, за который он бессознательно ухватился. *Увидеть Неаполь и умереть*. И тому подобная пошлость. Пошлости везде хватает. Тут своя. Там своя. Но Италия для художника всегда останется отдельным манком. Господи, Микеланджело, Рафаэль, Леонардо, Перуджино, Мазаччо, Пьеро делла Франческа, Росселли, Джотто, Тициан, Тинторетто, Караваджо, Боттичелли!.. Когда он приходил в Пушкинский, всегда здоровался с кондотьером Коллеони, восседавшим на коне, изваянием венецианца Верроккьо. Он встретится с ним там, на его родине. Он встретится там со всеми ними. Ну, да, для этого не обязательно было жениться. Ах, нет, этот олененок, эта кобылка, этот лебедь прискакал-приплыл по какой-то необходимости. Если он, Занегин, по своей психованной лени, по своей нервной лежачести, не двигается с места, как тот камень, ему, выждав срок, присылают воду, которая должна протечь под него и поднять его. Именно потому, что он не каменный. Или, по крайней мере, живой камень. Кьяра — живая вода. Нельзя сопротивляться природным знакам. Нельзя сопротивляться высшему промыслу.

Он уехал в Италию раньше, чем обещал Кьяре. В мае. Собственно, как только сказал Ариадне, так почти сразу и начал оформлять документы. Это его держало: не сказанное. Отпустило. Уже перед самым отъездом произошла какая-то глупейшая встреча с Адой. Она явилась без звонка к ним в дом и с порога, не свойственным ей, базарным, крикливым голосом, начала требовать картину, которая, по ее словам, принадлежала ей, а не ему, а он у нее украл. Он был настолько ошарашен этим чужим, не ее поведением, что не сразу понял, о чем речь. А когда понял, стал объяснять, что злополучный «Автопортрет» уехал в Венецию на выставку, и как только выставка закроется, он привезет его обратно. Или перешлет. Она, казалось, не слышала его объяснений и

все повторяла свое, как заведенная: ты обманул меня, ты меня обворовал. На шум вышла мать и со своим викторианским, или советским, величием, что, в сущности, одно и то же, произнесла: милочка, ну, что же вы так убиваетесь из-за какой-то картины, он вам жизнь изуродовал, и это совсем другая цена, а вы так дешевите, нельзя так. Занегин ушам своим не поверил. Его мать, высоконравственные принципы которой не разрешили ей в свое время принять *адюльтер* с Адой и, соответственно, саму Аду, теперь занимала ее сторону, поставив убийственно точный диагноз всему периоду их союза. Собственно, она не принимала и сына, с его метаниями и провалами, включая диссидентство, тюрьму и ссылку, а также последующие связи с иностранцами и иностранными посольствами. Однако она раз и навсегда сказала ему (и себе), что он ее родная косточка и что бы ни было, как бы далеко ни разошлись они в моральном плане, он останется ее сыном и она исполнит свой материнский долг до конца. Такой она была. И так поступала. Занегин, на мгновение отключившись от происходящего, внезапно почувствовал необычайный и абсолютно не уместный здесь и сейчас прилив гордости за то, что его окружают такие женщины. В этот круг входили и мать, чьи зеленые глаза он унаследовал, и отсутствующая Кьяра, и присутствующая, не похожая на себя Ариадна. И сразу же — резкий перепад настроения. И чувство враждебности к Аде. До него дошло, откуда этот крик, и нелепые претензии, и эта жалкость, и вся ее неадекватность. «Автопортрет» не причем. Эта женщина потеряла не полотно как собственность. Она потеряла его как собственность. И не смогла остаться на высоте. И сейчас же стала похожа на всех брошенных женщин. Не одна-единственная, а одна из тысяч, из сотен тысяч, стереотип. Какие уж тут серебряные колечки. Что делать не с уникальной вещью, а с расхожей? Занегину делать было нечего.

Великолепная Кьяра, итальянское солнце, итальянское вино, Рим, по которому они бродили, не уставая, с утра до глубокой ночи, вытеснили несчастный стереотип из сознания. Кьяра была молода и неутомима. Он с самого начала стал обращаться к ней: детка. Помнится, однажды ошибся и назвал так Ариадну. На кладбище.

Венеция завершила формирование его счастья, детскую, человеческую мечту о котором он давно забросил, как забрасывают на чердак старый хлам.

Это был, конечно, какой-то желтый дом, толкучка, эта многонациональная, многоголосая биеннале: по количеству картин, участников, проспектов и программ, помещений, похожих на лабиринты, в которых можно было потеряться. Но дело, в конце концов, было не в выставке, на которую все стремились, и Занегин стремился тоже, чего греха таить. А все же это был для Занегина лишь ключик к дверце. Дверцей была сама Венеция. Едва ее распахнул, под ложечкой засосало: его. Его

камни, его небо, его вода. Он не мог бы объяснить, что случилось, он знал: случилось. Венеция, детский, человеческий праздник для взора моего и духа моего; средневековая бонбоньерка с секретами; театральная коробка, наполненная доверху волшебными декорациями; карнавал с украшениями из бус, нанизанными на живую нитку, с хрустальным стеклом дворцов и бутылочным стеклом каналов; нераспечатанная колода карт, которую каждый распечатывает по своему усмотрению: бубновые короли кружевных соборов; крестовые тузы площадей; козырные пики набережных; червонные валеты гондол. Полное чар, волшебное, живописное все, сопряженное друг с другом, сочлененное в одно столь цельно, словно сам Господь Бог был архитектором и работником этого места. В этом месте можно было жить и умереть. Сепия, охра и кобальт, уголь и белила для специальных узких улочек, где двоим не разойтись, меж тем пестрая толпа расходится, обтекает вас, не затронув, не задев, не обидев. Занегин, не любящий толпы, испытал чувство обожания ее. В Риме он увидел однажды зрелище, его поразившее. Они возвращались с Кьярой из оперного театра (не того, где пел Нерон, а того, где пели Паваротти с Доминго, и вряд ли Нерон пел лучше), вышли на виа Национале, был тот особенный предвечерний час, когда еще не стемнело, и, кажется, сам воздух светится розовым светом. Что-то привлекло внимание Занегина высоко в проеме улицы. Он поднял голову: в серебристо-розовато-лиловатом пространстве над крышами домов множеством черных точек переливалось что-то длинное, летящее, скользящее, напоминающее вуаль. Гигантская живая вуалетка выстилалась в одной плоскости и тут же, завиваясь раструбом, переходила в другую, взмывала вверх и опускалась вниз, и все это на одном месте, словно кто-то один, эстет, встряхивал единой невидимой тканью, играя с ней, как ветер, отчего она принимала такие совершенные, небесные формы. Это было непонятно что. И это были птицы. Тысячи птиц соблюдали подвижный рисунок, составляли рисунок, словно приклеенные. К чему? К кому? К воздуху? Как они, свободные, вольные, знали точный маршрут назначенных спиралей, без малейшей ошибки давая свое представление, и для чьего глаза оно предназначалось? В Венеции Занегин, идя за всеми, со всеми, глазающими по сторонам, вливался в толпу, похожую на такую же стаю птиц, беззаботную, как они, сцепленную воедино, как они, и был, как они, и стопа его была легка, и легок дух, потому что в то же самое время он оставался восхитительно одинок. Он ступил на мост Риальто. В его имени уже был радужный перелив цвета и света, радостная и нежная переключка, карнавальное, королевское и денежное, но про деньги не как у взрослых, а опять-таки как у детей, шляпки, кружева, ботинки, взлет и опора, шепот и вздохи, венецианский воздух, скрученный в цветное муранское стекло и голубую смальту.

Кьяра попросила купить ей брошь из смальты в подарок. Кьяра была рядом. Она была часть толпы и часть него. Она соединяла его с толпой, и отторгала от нее, и удвояла его присутствие в этом мире. Она показывала ему Италию как итальянка и как искусствовед — это сочеталось в ней естественно. Но больше всего как любящая женщина, для которой нет на свете ничего слаще, как быть с любимым с утра и до вечера, ровно так же, как с вечера до утра. Этот первый итальянский месяц, и вправду, был медовый. Еще и потому, что занегинская хандра осталась, видимо, в Москве. Он чувствовал себя новым и мощным, живущим жадно, как когда-то, до всего, что состарило, и он накапливал новые силы и лишь сдерживал молодой азарт, чтобы не сорваться до времени.

Они купили маленькое крыло птицы из голубой смальты, Кьяра сразу же нацепила его на платье, и они пошли на площадь Святого Марка выпить кофе с коньяком (обмыть *по-русско*, смеясь, сказала Кьяра). Вот еще эта чашечка кофе с утра, днем несколько раз и ближе к вечеру поднимала настроение как наркотик. Должно быть, она и была наркотик. Неимоверная крепость *кафе эспрессо*, ароматного и обжигающего, отменяла любую усталость. Он нигде не пил такого вкусного и возбуждающего напитка. Они сидели за столиком на площади, рядом играл маленький оркестрик, состоявший из нарядно одетых стариков, горлили голуби, часы на башне пробили сколько-то ударов — они не считали, время больше не владело ими, и это освобождение от его гнета, пожалуй, и было главным из новых ощущений Занегина.

Кьяра. Завтра *твоя* день на биеннале.

Занегин. В смысле русский день?

Кьяра. *Си.* Да. Я жду от него. Для тебя. У вас есть *такой* слово: посла-нье?

Занегин. Есть.

Кьяра. Мы говорим о *художник*, *лютчи* из них: они вкладывают в *своя работа* посланье. У вас не так?

Занегин. У нас так же.

Кьяра. Может, завтра *ти* узнаешь, как *твой* посланье *принял публик*.

Занегин. Публика, мне кажется, неплохо.

Кьяра. Это не *тот публик*. *Тот* будет завтра.

Занегин. Что ты имеешь в виду?

Кьяра. *Ти* увидишь.

Занегин. Знаешь, у меня такое чувство...

Кьяра. Какое?

Занегин. Чтоб не прогневить небеса, я должен был бы поделиться всем этим...

Кьяра. Чем и с кем?

Занегин. У меня есть подруга...

Кьяра. Меня тебя мало?

Занегин. Ты другое. Ты счастлива. А она нет. Мне бы хотелось доставить ей хотя б небольшое удовольствие, раз уж я получаю большое.

Кьяра. Как?

Занегин. Я пока не знаю.

Кьяра. Это та подруга, с *какая* *ти* хотел покончить, перед жениться на меня?

Занегин. Хорошее слово: покончить. Да, она.

Кьяра. *Ти* удивителен. Мужчина *руссо удивителен*. У вас слишком *большой* душа. Все *поместительны*. Я люблю тебя. *Ти волю бене*. Я хочу тебя.

Он привлек ее к себе, и они стали целоваться прямо посреди площади святого Марка, посреди голубей и оркестрантов, официантов и остальных любителей кофе и любителей принцессы городов, Венеции. Занегин укололся кьяриной брошкой, она сняла ее, он сказал: ты будешь надевать ее без меня, тогда я буду спокоен, она охранит тебя от всех других объятий, которые бы мне не понравились. *Ти* тоже ревнив, воскликнула она. Я Отелло, сказал он и сделал страшное лицо.

После этого они отправились во Дворец дождей возбуждаться Караваджо и Тицианом.

* * *

1995. «Автопортрет» Максима Занегина на Венецианской биеннале захотела купить особа, пожелавшая остаться неизвестной. Однако неизвестной она оставалась недолго. Ровно до той минуты, пока Кьяра Фьорованти не шепнула Занегину ее имя: Мария Колонна. Занегину это имя ничего не сказало. Кьяра рассмеялась. Мария Колонна, объяснила она, принадлежит к пятидесяти самым известным римским *фамилья*, кроме того, она из рода знаменитой Виттории Колонна, *нобиле*, подруги Микеланджело, *поэтки*, жившей в *чинкуэцценти*, шестнадцатом веке, *принчипесса*, и, между прочим — самое забавное Кьяра приберегла под конец, — моя родная тетка. Занегин присвистнул. А как же, она такая *нобиле принчипесса*, а ты *коммуняка*, спросил он. А у вас разве нет *проблемс* отцов и юнцов, у тебя нет, вопросом на вопрос ответила Кьяра. Занегину осталось развести руками.

Эта продажа и была маленьким секретом Кьяры, о котором она не хотела оповещать заранее. Разумеется, она постаралась изо всех сил, чтобы «Автопортрет» не остался не замеченным, и в частности, теткой. Но с теткой, строго говоря, следовало быть очень аккуратной. Ей, покупавшей для своих стен Ван Гога и Гогена, получавшей в подарок от Пикассо и Дали их шедевры, абы какую дрянь не всучишь. Занегин был не дрянь, это Кьяра знала. Но все равно тревожилась. Теткиному вкусу не так легко потрафить. Прежде всего, речь не могла идти о дешевке. Вот почему Кьяра вынуждена была побеспокоиться о цене

«Автопортрета». Если обыкновенно ее пытаются понизить, в этом случае, с помощью известных специалистам ухищрений, ее попытались повысить и преуспели в том.

Разумеется, Мария Колонна пристально, с лупой в руках (она плохо видела), изучила работу, которую лоббировала племянница (по качественной фотокопии). Объемной и неподъемной, не выходявшей из дому старухе еще не был представлен этот *новый русский*, за которого Кьяра так стремительно выскочила замуж в России, он же, по совпадению, новый художественный гений, ею открытый. На самом деле Мария Колонна и так купила бы «Автопортрет»: она любила свою *красную* красавицу-племяншку, которая до сих пор, *уна бандита*, не представила мужа тетке. Но она пока что и не венчалась с ним. Эта своевольная особа всегда поступает только так, как она хочет. В кого бы? А как красивы итальянские свадьбы, с венчанием в соборе, с органом и речью пастора, с букетиками в руках многочисленной родни и гостей, с нарядными детишками, принимающими участие в ритуале, с надеванием колец и святым благословением, от которого слезы наворачиваются на глаза. Думая о возможной свадьбе Кьяры, Мария Колонна думала о невозможной своей. Она так и не вышла замуж, хотя собиралась, это была семейная тайна, почему так случилось, и ею останется, слишком поздно ворошить прошлое. Результатом стало то, что ее так немисливо разнесло, и то, что ей некому было завещать родовое наследство. Кроме любимой племянницы. Что до разницы взглядов, старая матрона знала, как быстро проходят *всякие* взгляды, потому что быстро проходят годы. С годами для взглядов не остается места — его занимают привычки. А привычки у Кьяры, несмотря на один коммунистический цвет, вполне буржуазные, то есть многоцветные, то есть *нобиле*. К тому времени, как Мария Колонна соберется покинуть этот свет, Кьяра переболеет корью всех молодых и угомонится. Девочка хорошая. Достойная имени Колонна. Хотя и Фьорованти по отцу, этому безродному, но умному бастраду. Впрочем теперь... теперь она... Мария Колонна наклонилась к проспекту... *Сеньора Занегин*. Хм.

«Автопортрет» немного странен. Нервен, но они все теперь такие. А разве Дали не был нервен? А Пикассо? Не просто нервные, сумасшедшие. С ними нельзя было жить. Но только с ними и стоило жить. Кьяра намучается с этим мальчиком. Кажется, ему сорок лет. На портрете виден и возраст, и судьба, и то, что он мальчишка. Бывают такие взрослые мальчишки. Пикассо долго был таким. А Дали — до самой смерти. Теперь, надо надеяться, девочка привезет его знакомиться. Прогремит ли он? Вряд ли. Но что можно сказать по одной работе, даже очень хорошей или даже очень плохой? Эта была хороша.

Мария Колонна открыла ящичек секретера, достала чековую книжку и выписала чек.

1995. Кьяра ждала подарка, цветов, объятий, счастливых глаз на худой конец. Она дождалась от Занегина неясного мычания и яростного растирания подбородка.

Занегин. М-м-м-м... Я не могу.

Кьяра. Ты как бык. Что не может?

Занегин. Я не могу продать «Автопортрет».

Кьяра. Что?!.. Ты безумен?! Ты знает, сколько получил?

Занегин. Сколько?

Кьяра. Восемьдесят мильоне лира.

Занегин. Сколько в долларах?

Кьяра. Пятьдесят тысяч.

Занегин. Круто.

Кьяра. Ты отказаться от восемьдесят мильоне?!

Занегин. Трудно, ты права... Практически невозможно. Но нет другого выхода.

Кьяра. Почему?!

Занегин. «Автопортрет» не мой.

Кьяра. Как не твой? Не *ты* писал?!

Занегин. Писал я. Но он мне не принадлежит.

Кьяра. Я не понял.

Занегин. Ну, просто он принадлежит другому человеку.

Кьяра. Какому? Той *женщина*? Да?

Занегин. Да.

Кьяра. Фуй!

Занегин. Что?

Кьяра. Ничто.

Занегин. Я взял и обещал вернуть.

Кьяра. Тетка будет *ярость*. Да? Правильно?

Занегин. Может, и правильно, но тебе надо было раньше сказать мне, а потом тетке.

Кьяра. Я хотела сюрприз.

Занегин. Ты его получила. Или я получил.

Кьяра. А *ты* не может передумать?

Занегин. В каком смысле?

Кьяра. Дать и взять?

Занегин. Деньги?

Кьяра. «Автопортрет». Ей *отнять*?

Занегин. Чтоб я никогда больше от тебя такого не слышал, детка. Как ты говоришь: фуй? Это вы, красные, можете так поступать: дать, а после отнять.

Кьяра. Я очень *расстроен*, Макс.

Занегин. Я тоже.

Кьяра. Я так старался!..

Занегин. Она купила «Автопортрет», потому что ты старался?

Кьяра. Она купил, потому что *полюбил* его.

Кьяра, и правда, была здорово расстроена. Она отчаянно ломала голову, как выйти из дурацкого положения, в какое все они столь нелепо попали. Ей совсем не хотелось отказываться от этого гонорара для Макса, но и выглядеть перед теткой полной дурой, тоже не хотелось. Ей хотелось, чтобы Макс получил эту сумму, чтобы у него были такие деньги, чтобы он смог почувствовать настоящую ценность своей работы. Помимо всего прочего, полотно оставалось в *фамилья*, и, стало быть, рано или поздно возвращалось к хозяину. Вот только выходило, что хозяин не он.

Несмотря на молодость и страстный темперамент, головка у Кьяры работала безотказно. Через короткое время у нее созрел план. Они уже собирались вернуться в Рим, это был их последний вечер в Венеции, Кьяра предложила провести *уна notte романтика* на канале с гондольером. Втроем, спросил Занегин. Одни, ответила Кьяра, *гондольере* есть часть *гондола*. И снова Занегин про себя посмеялся над этим забавным симбиозом воззрений, без колебаний относящих себя к гуманистическим. Ночь плескала за бортом черную маслянистую воду, в ярких праздничных бликах от многочисленных фонарей и реклам на набережных улицах, если смотреть назад или вбок. От носа гондолы шел расширяющийся белый луч, направленный вперед, в него попадали другие гондолы, в которых сидели другие парочки, с которыми тянуло раскланываться. Напоминало катание в каретах, если б у Занегина с Кьярой была такая память. Она и была. Принадлежащая не отдельно ему или ей, а общей культуре. Гондольер включил магнитолу, полилась знакомая мелодия какой-то итальянской песенки, от которой прибавилось дрожания сердца. Наверное, во второй или третий раз это приобрело бы банальный оттенок, но для первого было самый раз. Хорошо бы написать сплошняком одну только эту дрожашую черную воду с цветными пятнами, и больше ничего, ну, может, еще угол моста, но так, чтобы в этом отразилось собственное дрожащее сердце, подумал Занегин. Как это сделать, он пока не знал, и просто хотел запомнить картинку, и ощущение текучего, как вода, времени, и эту дрожь сердца.

Он полуобнял Кьяру.

Занегин. Как хорошо, детка... *Мольто бене!*

Кьяра. Ты учил *итальяно*?

Занегин. Да, специально для тебя. Два слова.

Кьяра. Ты *будет* знать много слов. *Будет* жить *Италия* и *узнать* много слов.

Они помолчали. Очередной певец, умолкая, уступал место мандолине, и снова ночная вода усиливала чувство, как будто трогали не стру-

ны инструмента, а непосредственно ваши нервы и душу. На всех гондолах звучали песенки. Вот песенку еще можно записать нотами, прямо по воде, белым по черному, получится очень интересная картинка, подумал Занегин. *Ти жалел эта женщина*, неожиданно меланхолически спросила Кьяра.

Занегин. Какая женщина?

Кьяра. *Какая ты покончил. Я придумал, как ти поступить.* Сказать? *Ми послать приглашение, чтоб она тоже приехал в Италия в гости.*

Занегин. Она?!

Кьяра. *Си. Ти хотел делить счастье. Ти сделать это.*

Занегин. Кьяра, жеребенок мой милый...

Кьяра. Что значит: же-ребенок?

Занегин. Это значит: я люблю тебя.

Кьяра. Я тебя люблю. *Ти волю бене. Ти сам ей телефон в Москва или меня?*

Занегин. Скажи, а ты совсем не ревнива?

Кьяра. О, но! Я очень ревнива. *Мне нет повод сейчас. Кроме ревность,* у меня интуиция.

Занегин. А говорит ли твоя интуиция, что я скоро начну работать?

Кьяра. О, Макс, *беллиссимо*, это *сами важни*, что *ти* мог сказать!

Она захлопала в ладоши, гондольер, стандартный узкобедрый молодец в широкополой черной шляпе решил, что дама таким образом хочет привлечь к себе его внимание, так бывало, но взглядевшись своими зоркими, привыкшими к темноте глазами в счастливое выражение лица, понял, что к нему это не имеет ни малейшего отношения. Кьяра уже решила про себя, что объяснит тетке все, как есть, и, может быть, Мария Колонна согласится дать женщине Макса сколько-то тысяч долларов откупного. Если же нет, если тетка начнет скупиться, что ж, она легко, судя по всему, уговорит Максима выделить некую сумму из своего гонорара. Им, в России, деньги нужны. Собственно, как и на Западе.

* * *

1995. В аэропорту «Фьюмичина» Аду и Фальстафа Ильича Занегин встречал вместе с Кьярой. Если б Ада прилетала одна, возможно, он тоже поехал бы один. Но поскольку у нее завелся кто-то, для всех удобнее было сразу перезнакомиться. Вот они, сказал он Кьяре, увидев Аду. Ада, в голубой юбке и белом пиджаке, шла в сопровождении невысокого лысоватого блондина неопределенной наружности и с усами. Тень дурацкой досады промелькнула на лице Занегина. Он поймал себя на мысли, что ему было бы приятнее, если б Аду сопровождал некто типа киногероя. И честно признался, что это из-за Кьяры. Чем он, козел, хотел перед нею похвастаться? Как хорошо, что наши мысли заперты внутри нас и никому не видимы: позора было б не обернуться. *Санта Мария,*

воскликнула Кьяра. Занегин не успел спросить, к чему относился ее возглас, — Ада подошла близко. Он потянулся к ней и поцеловал в воздух около щеки, успев привыкнуть к этой западной манере. Ада засмеялась своим серебристым смешком и сказала: познакомьтесь, мой друг *Лесик*, это домашнее имя, но вы оба можете звать его так же. Это Кьяра, представил Занегин свою итальянскую жену. *Санта Мария*, повторила Кьяра возбужденно, *посмотреть она, я мог узнать она без Макс*. Московская пара, ничего не поняв, вопросительно уставилась на Занегина, надеясь на перевод.

Занегин. В каком смысле?

Кьяра. *Посмотреть она и посмотреть я.*

Занегин. Ну, и что?

Кьяра. *Ти не видал?!*

Фальстаф Ильич очнулся раньше других.

Фальстаф Ильич. Они похожи, поглядите, в самом деле...

Занегин. Кто похож?

Фальстаф Ильич. Да они же!.. Обе!.. Друг на друга...

Ариадна. Да... кажется...

Кьяра. *Ти не видал?!*

Занегин схватил себя за подбородок и крепко потер его. Вот это да. Какого он свалил дурака. Дурака не в том смысле, что хотел бы что-то изменить и лишь в эту минуту понял. А в том, что до этой минуты не видел того, что лезло в глаза. Одна была почти копия другой, только темная! Или можно сказать иначе: другая была почти копией первой, только светлой! Как же он, действительно, этого не увидел? Где было его зрение? Он, профессиональный художник? Не художник, а говно, вот он кто. Отчего-то ему стало здорово не по себе. Как будто он делал и сделал что-то вслепую, то есть даже не он сделал, а с ним сделали, а он находился в этот момент в отключке. Ему вспомнился кыштымский солдатик со своими двумя женщинами, тоже вареными в одном котле, Занегин тогда еще удивлялся бедолаге, тот был как второгодник, плохо выполнивший урок и приговоренный за то к повторам. И он, Занегин, такой же? Разница в женщинах: там — серия, тут — штучный товар. Или он опять остается пижоном, выпячивающим свое на лучшее, высшее место — а еще укорял Кьяру за то же самое.

Кьяра, судя по ее виду, также была не столько изумлена, сколько обескуражена. Они с Адой стояли друг напротив друга и смотрелись, как в зеркало. Различий было немало: цвет кожи, разрез и цвет глаз, форма рта, очертания подбородка. Главное, одна была старше, другая моложе. Вы обе как с картины Боттичелли, только вы (Аде) светлая, а вы (Кьяре) темная, повторил Фальстаф Ильич вслух свою давнюю тайную оценку, но в измененной интерпретации, поскольку изменились обстоятельства. Реплика вызвала общий смех, всем вдруг стало

весело, скованность исчезла, заговорили о погоде (в Москве и в Риме), о новостях (кремлевских и в районе Садового кольца), Фальстаф Ильич чувствовал себя героем минуты, особенно когда Ада на глазах у всех мягко и как бы слегка иронично, а в то же время благодарно пожала ему руку выше локтя.

Сели в кьярину машину, Кьяра повезла всех в Рим.

Фальстаф Ильич. Мы не успели поблагодарить вас. За приглашение.

Кьяра. Не стоять благодарность.

Занегин. Перевести?

Фальстаф Ильич. Мы поняли. Не стоит благодарности, да? Очень даже стоит. Я, например, никогда не бывал в Италии. Ада тоже. Правда, Ада?

Ариадна. Правда.

Он взял инициативу на себя, Ада с интересом слушала. Пока было забавно. Она еще в Москве твердо решила во что бы то ни стало не терять самообладания и для этого с первой секунды держаться с Занегиным как с чужим, не давая себе расслабиться, даже если б он вдруг (о, наши самообманы!) выказал прямо противоположные чувства. Она захотела сыграть роль, чтобы получить удовлетворение хотя бы в качестве актрисы, и обнаружила, что это ей удастся. *Лесик*, с которым она не заключала никакого соглашения, словно поймал ее волну и работает на ней. Что ж, выходит, тонкий человек.

Фальстаф Ильич. Мы с Адой никогда не бывали, и это ваш большой подарок нам.

Кьяра. А *ты* тоже художник или тоже искусствовед?

Фальстаф Ильич. Кто? Я? Нет. Почему вы решили?

Кьяра. Ботичелли сказал.

Все опять громко рассмеялись.

Кьяра. Я сказал смешно?

Занегин. У тебя получилось, как будто не... не *Лесик* сказал про Ботичелли, а Ботичелли про *Лесика*.

Ариадна. Он военный. Генерал.

Кьяра. О!

Фальстаф Ильич. Ада преувеличивает, как всегда. Я музыкант.

Занегин. От музыканта до военного большая дистанция.

Фальстаф Ильич. Я военный музыкант.

Занегин. Ну, и что там у нас с армией?

Фальстаф Ильич. Я был. Был военный. А с армией у нас то же, что и раньше: если вы на гражданке такие умные, почему не ходите строем.

Кьяра. Я не понял, скуза.

Занегин. Это русский анекдот, детка.

Занегин тоже кое-чего не понимал. Они разговаривали на *вы*, Ада и этот ее *Лесик*, — это что, новая форма любовных отношений? Или от-

ношений нет? Кьяра задавала этот вопрос раньше, когда гостям надо было заказывать гостиницу. *Дуо номеро* или один, спросила она. Занегин в недоумении пожал плечами: может, и один, я не догадался спросить. В конце концов как европейская женщина Кьяра решила проблему сама в пользу двух номеров.

Фальстаф Ильич. Мы едем к вам?

Кьяра. В отель.

Фальстаф Ильич. В отель?

Кьяра. *Си. Проблемс?*

Фальстаф Ильич. *Ноу проблемс.*

На самом деле *проблемс* были. И заключались они в деньгах. То есть в исключительно скромном (для заграницы) их количестве. Фальстаф Ильич ни о чем таком Аду не спрашивал. Как-то не получалось говорить с нею на бытовые темы. Она была для этого слишком небытовой женщиной. В Москве выходило так, что он исполнял — командовала она. Здесь, чувствовал, роли тайно поменялись. Он взял на себя обязанность опекать ее, она нуждалась в его опеке и явно была благодарна за то, что он это понял. Вернуть ситуацию назад, на исходные рубежи, когда она субсидировала экспедицию, было морально невозможно. Как военный человек Фальстаф Ильич предпочитал уставные отношения. Как русский человек нередко полагался *на авось*. Как музыкант — обнаружил с тайным восторгом, что слышит время от времени потаенную музыку сфер, от которых зависело большинство тонких вещей в этом мире. Он ринулся в эту поездку *наобум Лазаря* и догадывался, что отныне потребуется почти военный строй (тайный, не явный), чтоб Ада не пропала. Кьяра, словно услышав его мысли, сказала почти без акцента: отель оплачен.

Ариадна. У нас есть деньги, не беспокойтесь.

Занегин. Откуда?

Ариадна. От верблюда.

Кьяра. О'кей. Но гости значит гости.

Занегин. Кьяра сказала, вопрос закрыт.

За окном кьяриногo «ситроена» пошли римские улицы.

Они приехали.

* * *

1995. «Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его; ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья».

Бедная эмоциональная жизнь Ады в детстве, которой она была обязана отцу, строгому, властному и требующему дисциплины, и шире, режиму, требующему дисциплины, властному и строгому, заставляла искать утolenия сенсорного голода. Это привело к тому, что она росла книжной девочкой, находя в книгах необходимый витамин, не достаемый в действительности. Можно было быть либо послушным солдатом

партии (солдатиком пионерии и комсомолии), либо человеком воображения, ухившимся в собственные фантазии. Ада была второе. Конечно, партия, как и армия, ко времени ее взросления были уже не те, и солдаты не те. Но все равно население можно было разделить на типичных и атипичных, сколь ни условно это деление, впрочем как и всякое иное. Атипичная Ада завела себе скрытную жизнь, ценности которой преобладали над ценностями жизни явной. Оттого Фальстаф Ильич и был поражен знакомством с такой женщиной. Вообще говоря, стан атипичных увеличивался, что и привело в результате к расстройству партийных рядов и опустошению солдатского корпуса. Партия брякнулась. В конце второго тысячелетия от Рождества Христова на одной шестой части суши режим расквасил себе нос. Стали думать, как натянуть исторический трос так, чтобы связать прошлые останки с нарождающимся будущим, по возможности исключив настоящее, впрочем довольно протяженное. Но было поздно. Детство Аде уже не вернуть. То полнокровное, богатое чудными мелкими переживаниями, мелким человеческим опытом, который нарабатывался в крестьянских или мещанских семействах с тем же успехом, что и в дворянских, после преобразуясь в значительный и создавая полную личность. Как Набоков. Или как Мандельштам. Впрочем Мандельштам тоже упоминал «знак зияния» в семье предков, задиристо сражаясь с собственной памятью, этому противоречившей. Так или иначе, Фальстаф Ильич влюбился по уши в эту женщину, обнаружив, что до нее и не подозревал о существовании подобных чувств — Мария Павловна, тоже по-своему атипичная, давно и безнадежно померкла в свете Ады, а других женщин он не знал. Сам Фальстаф Ильич был в переходе и представлял собой переходное существо. Он, как тот Колобок, покинул ряды типичных, но в ряды атипичных пока не влился, а когда вливался, то как-то прерывисто: его советское детство было еще тощее, чем детство Ады. А человек идет оттуда, только оттуда, оттуда туда — другого пути нет.

Они ужинали вчетвером в маленьком ресторанчике (в Риме кругом были маленькие ресторанчики), куда Кьяра позвонила по телефону заранее, попросив оставить столик. Все было светски, почти безразлично, по-иностранному, включая Фальстафа Ильича, которому Ада в течение вечера, награждая за удачные реплики, несколько раз пожимала руку выше локтя, что стало своеобразным знаком нежности с ее стороны. В конце чудесного ужина Кьяра предложила мужчинам перейти в соседнее помещение выкурить по сигаре и, оставшись наедине с Адой, сказала, что лучше сразу *покончит* с одной небольшой *комплессита*. Она все очень ясно, дружелюбно и практически честно (за исключением суммы) изложила Аде относительно «Автопортрета» Занегина, закончив тем, что если Ада согласна, будет справедливо, чтобы деньги за полотно были переданы ей как собственнице вещи. И назвала: семь

тысяч долларов. Это было примерно семь процентов от цены, но ведь Ада не обязана знать цену, тем более, что в художественной сфере она подвижна до нелепости. Ада выслушала Кьяру, вполне поняв ее, не смотря на то, что на этот раз Кьяра говорила с большим акцентом, чем обычно, и сказала: нет, *но*. Почему *но*, почему *но*, *ти не нужен доллар*и, воскликнула Кьяра. *Но*, ответила Ада, у нас долларов как грязи.

Когда они шли поздно вечером пешком до отеля — итальянская пара провожала московскую, — Ада, расшалившись, пошла след в след за Занегиным.

Ариадна. Помогите, спасите!.. Где здесь аптека?..

Занегин. Что случилось?!..

Ариадна. Мне нужно в аптеку. Мне нужны колеса. Или что-нибудь в вину, срочно. Я шел вверх и шел вниз, но не по дороге, а по головам людей, считая, что они булжники, а они обиделись, и схватили, и стали бить меня своими булжниками, и следы ударов оставались на моей гладкой и нежной коже, превращая ее в синг-синг, полосатое тряпье...

Занегин. Остановись!..

Ариадна. Я упал в грязь лицом, думая, что это свобода, и пил грязь из лужи, как свободу, и задохнулся, но потом прокашлялся и как в ни в чем не бывало...

Кьяра. Что она говорит?

Занегин. Это пьеса. Она играла раньше на сцене. Это монолог.

Кьяра. Она русса артиста?

Занегин. Да, да, она русский артист.

Кьяра. О!

Фальстаф Ильич. Ада, позвольте, я предложу вам плащ, мне кажется, вы озябли.

Ариадна. Да, *Лесик*, спасибо, я, правда, озябла...

Они пошли дальше так: Фальстаф Ильич, укутав Аду плащом и положив Аде левую руку на левое плечо, то есть как бы полуобняв ее, Кьяра отдельно, Занегин отдельно.

В гостинице Ада пригласила Фальстафа Ильича зайти к ней в номер.

Фальстаф Ильич. Поздно...

Ариадна. Ненадолго...

Фальстаф Ильич. Ну, хорошо.

Ариадна. Хотите что-нибудь выпить?

Фальстаф Ильич. Да где же взять?

Ариадна. В баре.

Фальстаф Ильич. Я сейчас спущусь.

Ариадна. Спускаться никуда не надо. Бар вот. Откройте и возьмите какой-нибудь пузырек. Тем более, все оплачено. А у вас в номере разве нет?

Фальстаф Ильич. Не знаю, я не смотрел. Кажется, есть что-то похожее.

Ариадна. Доставайте.

Он достал коньяк, рюмки, налил, они выпили.

Ариадна. Хотите, я кое-что расскажу вам?

Фальстаф Ильич. Если вы хотите.

Ариадна. А вы?

Фальстаф Ильич. Хочу.

Ариадна. Тогда не мельтешите. Слушайте. Вы знаете, откуда у меня деньги?

Фальстаф Ильич. Нет. Какой-то криминал?

Ариадна. Так. Пойдете звонить в полицию или подождете до возвращения и в милицию? Если есть деньги, значит обязательно криминал. Какой вы совок, *Лесик*.

Фальстаф Ильич. Не сердитесь, Ада. Вы так таинственно начали, что я невольно подумал...

Ариадна. Невольник мысли. У меня есть семь тысяч долларов, *Лесик*. Ровно эта сумма.

Фальстаф Ильич. Неплохая сумма.

Ариадна. Да уж.

Фальстаф Ильич. Мне ужасно жалко, что у меня нет такой суммы. У меня всего девятьсот.

Ариадна. У вас и не может быть. Откуда взяться?

Фальстаф Ильич. А у вас?

Ариадна. Ага, любопытство взяло верх. У меня пустая рюмка, налей-те еще.

Фальстаф Ильич. У вас будет завтра болеть голова.

Ариадна. Это завтра, а у нас сегодня. Чтобы приехать сюда, я продала своего Зверева. Вы слышали про Зверева? Знаете, что это такое?

Фальстаф Ильич. Нет.

Ариадна. Художник. Замечательный. Он умер. А у меня остался его подарок: женский портрет. Я продала его за семь тысяч долларов. Не теряйте нити сюжета. За семь тысяч долларов, чтобы прилететь в Италию и иметь здесь деньги. А эта парочка, к которой мы прилетели в гости, предложила точно те же семь тысяч. Вы поняли? Вы поняли, что я могла не расставаться со своим Зверевым, что он мог остаться у меня?

Фальстаф Ильич. Честно сказать, не понял.

Ариадна. Итальянка предложила мне семь тысяч долларов, чтобы я продала ей своего Занегина. И получается, что я зря продавала Зверева. Теперь поняли?

Фальстаф Ильич. Этого господина?! За семь тысяч? Она покупала его у вас?!..

Ариадна расхохоталась. Хохот перешел в истерику. Она стала рыдать и рыдала безудержно, громко, повторяя в короткие передышки между бурными всхлипами, какая сволочь она, какая сволочь Занегин, как ей жалко Занегина, и жалко Зверева, а больше всего жалко себя и

своей пропавшей жизни. Фальстаф Ильич только повторял: тише, тише. Он боялся, что придут, и выйдет неприятность. Он приносил ей бумажные салфетки со столика перед трюмо, и лед из бара, и мокрое полотенце из ванной, а потом сел рядом и крепко, как ребенка, прижал к себе. Она побилась, побилась и стихла, а потом уснула.

И он просидел с ней так целую ночь.

Она зашевелилась рано утром, едва рассвело. Не открывая глаз, прижалась к нему. Он в ответ осторожно и бережно притиснул ее к себе и стал касаться руками и губами. От твоих усов щекотно, пробормотала она. Дальнейшее было делом техники.

И любви.

Его к ней.

* * *

1995. *Он не хочет*, сказала Кьяра Занегину, имея в виду Аду. Я догадался, сказал Занегин. *Надо увеличить сумма*, сказала Кьяра. Думаю, результат будет тот же, сказал Занегин. *Ты думаешь, надо отдаст* все, спросила Кьяра. Я не знаю, ответил Занегин. Или *ты отдает* «Автопортрет», настойчиво гнула свое Кьяра. Я не знаю, сказал Занегин. Это *твой* женщина, *ты* должен, сказала Кьяра, *он шантаж* тебя, *он хочет* тебя *возвратит*. Я не знаю, в третий раз сказал Занегин. *Ты хочешь*, я *решает твой проблемс*, а *тебя нет*, воскликнула Кьяра. Я не знаю, в четвертый раз повторил Занегин, и если ты спросишь меня что-нибудь еще, я ударю тебя, а потом улечу в Москву, я не знаю, не знаю, не знаю, понимаешь, я хочу работать, я должен работать, я не знаю, зачем ты продала вещь, которая нам не принадлежала, и не знаю, зачем их пригласила, когда нам было так хорошо вдвоем, кобылка проклятая, лебедь чертова, змея подколодная, темная моя Ботичелли. Говоря это, он тряс ее за плечи, а она со страхом и удивлением смотрела на него, но скоро выражение лица ее изменилось, потому что изменилось его: произнося последние слова, он уже жадно тянулся к ее рту и заглотнул все, что она могла бы, если б захотела, сказать ему в ответ. Но она больше не хотела, она ослабела в его руках, и только потом, когда они, лежа на полу в ее гостиной, пришли в себя, прошептала: *ты мой руссо муж, Италия не так*. Тебе не понравилось, спросил он тоже шепотом. О, только и смогла произнести она в ответ.

Позже Кьяра задала Занегину неглавный вопрос; как ему *Лесик*. Трудно сказать, бесцветный какой-то, ответил Занегин. *Тебя* трудно, потому что *ты ревновал*, сказала Кьяра, а он *очень мил*.

Вечером того же дня Фальстаф Ильич задал Аде главный вопрос: ты его любила, а он тебя бросил? Да не в этом дело, отвечала Ада нехотя, я прилетела сюда не как любящая и брошенная женщина, а как

коллекционер, а эта страсть, чтобы вы знали, будет посильнее всякой другой. И, помолчав, добавила: я тебя прошу, давай при них будем, как раньше, на *вы*, я не хочу, чтоб они обсуждали между собой эту перемену. Ты думаешь, они заметят, только и спросил он. В вопросе содержалась горькая правда. Итальянка не понимала тонкостей русского, ее муж был ее муж, которому, судя по всему, было мало дела до бывшей, а ныне чьей-то чужой подруги.

Днем они были в соборе святого Павла. Ада сказала, что это в Ватикане и что она хочет туда и больше никуда. Отчего туда, поинтересовался Фальстаф Ильич. Там *Пьета*, коротко отозвалась Ада. А что это, не побоялся проявить невежество Фальстаф Ильич. *Пьета* значит оплакивание, печаль, милосердие, все вместе, терпеливо объяснила Ада, скульптура Микеланджело Буонаротти, оплакивание Христа.

Они ехали на автобусе, потом шли пешком, смотря во все римские стороны, Фальстаф Ильич сказал: я должен время от времени ущипнуть себя за руку, я не верю. Чему, спросила Ада. Ничему, сказал он, ни тому, что это Рим, ни тому, что это ты, не пойму, за что мне все это. Когда говорят *за что мне это*, подразумевают напасть, заметила Ада. Напасть и есть, засмеялся Фальстаф Ильич, обнаружив хорошие крепкие белые зубы, напало и все.

Ватикан и собор святого Павла произвели на Фальстафа Ильича впечатление. В соборе он не знал, куда смотреть, вверх, по бокам или себе под ноги. Пол восхитил его. Какой мрамор, и какой рисунок, и какая оригинальность в каждой части, вы посмотрите, и все это шесть веков назад, восклицал он, переходя в соборе опять на *вы*. Ада согласалась. Они не сразу нашли то, что искали. Ада думала, что скульптура где-то в центре, а она оказалась сбоку, прямо при входе, но теперь, когда они обошли собор и возвращались назад, то при выходе. Здесь были и более мощные фигуры и композиции, и Фальстаф Ильич только качал головой и задирал ее, чтобы разглядеть все. *Пьета* показалась скромнее и проще других: белый мрамор, молодой мужчина полулежит на коленях у молодой женщины, видимо, мертвый, пропорции почти человеческие. Ада стояла возле и не уходила. Вставший поодаль, чтоб не мешать, Фальстаф Ильич увидел, что по ее щекам текут слезы.

Это Иисус, а это его мать, почему же она такого возраста, спросил Фальстаф Ильич, дождавшись, когда Ада стронется с места. Не знаю, сказала Ада, это любовь, а в любви неважно, кто какого возраста. Он хотел взять ее за руку, она сделала легкое протестное движение, он понял и не настаивал.

Они вернулись в Рим и пошли к Колизею, и, осмотрев его изнутри, двинулись на Палатинский холм, и обогнули его целиком. Ада глядела на большие итальянские пинии (сосны), точно сошедшие с картин старых мастеров, и представляла себе, что они ненароком вошли в то

минувшее время, когда все было молодо, и деревья были молоды, и история едва начиналась, история вообще и Рима в частности. Какой-то автомобильчик стоял, прижавшись к обочине. Поравнявшись с ним, они увидели, что сидевший внутри человек делает им призывные знаки. Они приблизились. Человек, перегнувшись к правой дверце и припустив стекло, на ломаной смеси всех мыслимых языков спрашивал, как проехать к посольству Франции. Ада сказала по-английски, что не знает, *сорри*, к сожалению. На той же смеси водитель стал объяснять, что у него кончился бензин, что он едет из Парижа, а в посольстве у него работает друг, и в конце спросил, не *руссо* ли они. *Руссо, руссо*, радостно подтвердил Фальстаф Ильич. О, *руссо*, воскликнул чернявый молодец и протянул им обе руки для рукопожатия. Из дальнейшей его речи можно было понять, что то ли бабка, то ли прабабка у него была *руссо*. Ада и Фальстаф Ильич вслух подивились его родословной и собирались идти дальше, но хозяин автомобильчика крепко держал ладошку Ады в своих ладонях, говоря, что они такие *симпатичи* и что он хочет для них что-нибудь сделать. Тут он перегнулся к заднему сиденью и достал снизу два больших целлофановых пакета с куртками, типа черной кожаной и коричневой замшевой. Он принялся совать их Аде и Фальстафу Ильичу, приговаривая, что коммивояжер, работает на *Валентино* и из чистой симпатии хочет подарить вещи своей фирмы двум *руссо*. Ада растерянно отнекивалась, меж тем, пакеты были уже у нее в руках, и ей ничего не оставалось, как сказать странному человеку: *грации*, я, право, не знаю... Отчего-то ей было неприятно, когда он дотрагивался до нее, может, потому, что у него были потные ладони. Она сделала движение, чтобы отойти от автомобильчика, однако водитель, не отпуская ее руки, сказал, что у него кончился не только бензин, но и деньги на бензин, и со стороны *шер ами* было бы справедливо, если в ответ на его подарки они дали бы ему немного денег. Аду смущал сильный перебор: и бензин, и французское посольство, и русская прабабка, и фирма *Валентино*,— но все двигалось в столь стремительном темпе, что она не успела додумать свою мысль до конца, как Фальстаф Ильич полез в бумажник, спрашивая: сколько. Сто *долляри*, последовал ответ. Да не надо нам ничего, решительно воскликнула Ада, наконец догадываясь, кто перед ней и желая вернуть пакеты обратно. Ей нехватило доли секунды. Брюнет выхватил стодолларовую бумажку из рук Фальстафа Ильича, ударил по газам и умчался с бешеной скоростью, буквально через пару секунд пропав из виду. Зачем вы дали ему деньги, чуть не плача, сказала Ада, с ненавистью глядя на большие целлофановые пакеты, ведь уже было понятно, что он аферист, и что куртки его фальшивые, и не куртки это вовсе, а какая-то дрянь. Так оно и было. То есть куртки были настоящие, но не из кожи и замши, а из заменителей. Десять долларов и то большая цена для них в базарный день,

разглядев, расстроено протянула Ада. Если вам было понятно, что ж вы молчали, спросил в недоумении Фальстаф Ильич. Он не давал опомниться, оправдывалась Ада. Не огорчайтесь, что с возу упало, то пропало, мужественно произнес Фальстаф Ильич и добавил с грустным восхищением: но каков профессионал. Ада, однако, была далека от восхищения. Она не могла успокоиться, ей было обидно, что они очутились в дураках, ей казалось, что фальшивка, обманка каким-то образом испортила больше, чем могла, и что все неспроста. Фальшак, ну и фальшак, повторяла она. Фальстаф Ильич схватился рукой за сердце. Вам нехорошо, спросила Ада, я, действительно, виновата, что среагировала так поздно, но я компенсирую вам эти сто долларов. Что вы, что вы, отозвался Фальстаф Ильич, не в том дело, а просто вы случайно назвали имя, которым звала меня жена; когда хотела обидеть, и побольнее.

* * *

1995. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».

Подумав, Кьяра сказала Занегину, что ему стоит пойти поужинать или хотя бы пообедать с Адой вдвоем и попробовать самому уговорить ее взять предложенную сумму. Или ту, которую она назначит. Конечно, в пределах разумного. Занегин не хотел. Однако позднее согласился. Что бы там ни было, они не чужие, чтобы вот так вовсе не интересоваться друг другом. Деньги послужат поводом.

У Фальстафа Ильича были несчастные собачьи глаза, когда Ада уходила из гостиницы. Перед уходом Ада постучала к нему в дверь номера, чтобы предупредить. Ей стало жаль его, и она ласково потрепала его рукой по щеке, стоя на пороге. Помните, что я всегда готов поменяться местами с той молодой женщиной из белого мрамора, проговорил Фальстаф Ильич. А с кем же вы меняете меня, засмеялась своим серебряным смехом Ада.

Зашедший за ней Занегин молча стоял позади. Зачем эта демонстрация, спросил он, едва вышли. Ты дурак, Занегин, только и ответила Ада.

Он привел ее в какую-то тратторию, сказав, что тут дешево, но очень вкусно, зато они смогут посидеть и поговорить спокойно, в куче народа, который их не поймет, без всех этих *цирлих-манирлих*, когда официант приносит сначала карту вин, потом хлеб, потом оливковое масло с чесноком на блюде для хлеба, потом вино, потом делает заказ, потом приходит спросить, как им нравится заведение, и так без конца. Как будет *цирлих-манирлих* по-итальянски, спросила Ада. Не знаю, ответил Занегин, наверное, что-нибудь вроде *грации-срации*. Удивительно, но до них сразу же донеслась русская речь, наполовину смешанная с итальянской: женский голос говорил по-русски, мужской переводил. Через

столик от них сидела крашеная блондинка с низко обрезанной челкой, глубоко посаженными глазами и слегка выдающимся, жестко очерченным подбородком, явно иностранка, в компании местных. Знакомое лицо, сказала Ада. Актриса, спросил Занегин. Нет, скорее телевизионная барышня, отозвалась Ада, да, я точно видела ее по телевизору, она поэтесса, только не могу вспомнить фамилии. Поэтесса интересничала: прямой спиной, длинными кистями рук, которые то и дело красиво перекадывала со стола к себе на грудь и на плечи, вытянутым к собеседникам лицом и приклеенной обольстительной улыбкой. Компания, видимо, уже поела, и теперь, за десертом, вела разговор особенно оживленно. Поэтесса говорила: мы, русские, таковы, что живем в духе более, чем в материи, без духа мы умираем, а вы, итальянцы, живете в красоте и умираете в красоте, вот в чем разница. Итальянцы смотрели на нее с обожанием, особенно один, пожилой, с седыми бачками и быстрыми небольшими глазками, даже съеденный обед не затянул их сонной пленкой. Переводчик перевел его ответную фразу, произнесенную совершенно серьезно: лично я готов был бы умереть в вас. Поэтесса, продолжая интересничать, залилась обольстительным смехом, видно было, что подобные двусмысленности ее воодушевляют. Пожилой тоже засмеялся и приложился лягушачьим ртом к ее длинным пальцам.

Присутствие соотечественницы необъяснимым образом наложило печать на уста Ады и Занегина. Они переговаривались без энтузиазма и вполголоса, чувствуя себя зажатыми и в основном налегая на еду, как будто еда и была главной целью их прихода сюда. Боялись ли они смутить поэтессу, разливавшуюся колокольчиком, очевидно, по той же самой причине, по какой выбрали они это место, надеясь, что им никто не помешает и они будут вполне свободны. Или не хотели навязанного контакта, который мог произойти, услышь поэтесса родную речь, — так бывает за границей, где люди в подобных случаях либо кидаются друг к другу на шею словно родные, либо бегут друг друга с независимыми лицами, мол, я не свой, я чужой. Был и еще резон: судьба подкинула им помеху, на которую можно было бы списать неискренность, какая существовала между ними, как кость в горле, и оба то и дело откашливались, чтобы избавиться от нее, а избавления не приходило. Ну, и упоение, бормотал Занегин. Но если она поэтесса, может, эта демонстрация чисто внешняя, возражала Ада, а внутри она другая. Это разговор для детей, возражал, в свою очередь, Занегин, это у детей такое разделение, а чем старше, тем сцепленнее. Сам изобрел слово, интересовалась Ада, смеясь смешком, звучащим на этот раз, словно оловянный. А что, разве нет такого слова, интересовался Занегин. Они осторожно говорили ни о чем, боясь приблизиться к главному, что ощущали оба, пусть и по-разному: это было прощание. Не тогда, когда Занегин объявил Аде, что женится на итальянке, не тогда, когда Ада, слепоглухая от горя и ярости, явилась к нему в дом

требовать возвращения «Автопортрета», и не тогда, когда он улетал в Италию, прощались они, хотя это были крупные события. Поход в трактир был событием мелким, почти ничтожным. Но он был конечным. Ада вдруг поняла, что для этого и прилетела в Италию — не за «Автопортретом», не затем, чтоб взглянуть на эту чудную страну, на этот дивный Рим, в котором должен побывать всякий чувствующий, думающий и помнящий свое человеческое родство человек, а затем, чтобы попрощаться с Занегиным. *Финита ля комедия*, сказала негромко Ада, когда русская поэтесса поднялась вместе со всей итальянской компанией, и, легкие, увлеченные друг другом, они гуськом прошествовали мимо Ады и Занегина. Ты что-то сказала, переспросил отвлеченный их шествием Занегин. Я сказала, что так и не вспомнила ее фамилию, и теперь это будет меня мучить. Мне бы твои муки, откликнулся Занегин. А какие твои, спросила Ада неосмотрительно приближаясь к роковому рубежу, который до той поры оба аккуратно обходили. Я хотел бы, чтоб ты была счастлива, вдруг сказал Занегин совсем не то, что собирался сказать, ты больше других заслуживаешь этого, и если я б мог что-нибудь для этого сделать, я бы сделал, не задумываясь, поэтому если когда-нибудь... Никогда, прервала его Ада, никогда, спасибо, ты уже все сделал, и заткнись, если можешь. Она была пуста внутри и знала, что отныне никто и ничто не заполнит этой пустоты. Она проиграла свою жизнь в любовной игре и теперь как честный игрок обязана была встретить проигрыш с достоинством, пусть даже потом игроку придется пустить себе пулю в лоб.

Занегин не мог заговорить об «Автопортрете», сколько бы ни обещал себе (или Кьяре), что вот сейчас, наконец, скажет. Ариадна заговорила сама. Я приехала сюда не как любящая и брошенная женщина, а как коллекционер, повторила она версию, уже опробованную на Фальстафе Ильиче, и в этом качестве поставила целью вернуть принадлежащую мне работу, за которую твоя жена Кьяра предложила отступного в семь тысяч долларов, а я отказалась. Занегин хотел было прервать ее вопросом, сколько она хочет, но вопрос застрял у него в глотке. Ада уловила это. Молодец, что не перебил, похвалила она, я отказалась, потому что мне не нужны деньги, какие б они ни были на самом деле, а нужен «Автопортрет», но это не все, что я хотела сказать, потому что все меняется так быстро, наверное, и я изменилась, от моего постоянства не осталось и следа, и сегодня я вдруг поняла, что все вранье, и что «Автопортрет» мне больше не нужен, мне вообще ничего больше не нужно, поэтому вы остаетесь с деньгами и с «Автопортретом», а я улетаю, и перед этим еще раз напоминаю тебе... я напоминаю тебе, чтоб ты заткнулся, если вдруг захочешь что-то сказать, потому что... я сейчас приду...

Она встала, взяла сумочку, спустилась в туалет по ступенькам, он был ниже уровнем, умыла лицо, посмотрела на себя в зеркало, толкнула дверь, поднялась и, не оглядываясь, ушла из трактирии.

Занегин ждал ее сначала спокойно, потом почему-то начал злиться, потом подозвал трактирщика и спросил по-русски, где дама, которая сидела с ним за столиком, вот тут. *Лей гоу эуей*, на дикой помеси итальянского с английским ответил понятливый трактирщик.

Занегин появился домой пьяным около двух часов ночи. Заплаканная Кьяра молча встретила его в *патио*, положила голову ему на плечо и сказала тихо: *каро, ти волю бене, ме не ките па*, не покидай меня. Он потрепал ее по голове и сказал громко: все в порядке, детка, ей не надо денег, она сказала *грации-срации* и отказалась от «Автопортрета».

* * *

1995. «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?»

Фальстаф Ильич убил Ариадну в первой декаде октября, через несколько месяцев после их возвращения из Италии.

Еще в самолете Рим-Москва, едва покинули аэропорт «Фьюмичина» с его фантастической публикой (как во сне), Фальстаф Ильич, трогая себя за усы, сказал, что отныне ему нет жизни без Ады, что будет служить ей верой и правдой до конца дней своих, и как она скажет: любовник, друг, муж, верный пес — так и будет, он примет все. К ноге, скучно пошутила Ариадна, думая, что если б она была развита граждански, все было бы поправимо. Жизнь многих, кого она знала, стала насыщеннее постольку, поскольку их захватили общественные страсти. Особенно вначале, когда бегали то на «Московскую трибуну» (и Ада изредка бегала, потому что изредка бегал Занегин), где выступали пламенные публицисты Адамович, Нуйкин, Черниченко, Баткин (куда они, интересно, подевались), то на Пушкинскую площадь на митинг, то на Васильевский спуск. Позже самые активные разошлись по партиям, компаниям, телекомпаниям, фирмам, банкам. Позже, чем дальше, тем больше, начиналось и заканчивалось телевизором, у которого не столько обсуждали позиции, сколько перебивали кости. Аду как вдавilo в эту прелесть вселенскую общим потоком, так и выдавило, почти не оставив следа. И когда, уже в августе или сентябре, дома у Фальстафа Ильича они однажды усядутся после ужина перед телевизором, и он примется что-то трактовать про боевой камуфляж, в который мужественно облачились такие-то и такие-то члены правительства и Думы, желая на самом деле скрыть слабость членов, Ада вдруг встанет и выйдет в уборную, где ее стошнит, и Фальстаф Ильич спросит обеспокоенно, неужели накормил несвежим, а она лишь слабо махнет рукой в ответ. Как объяснить, что стошнило от того, от чего *нормальных* людей не тошнит, а тошнит вот таких уродов, как она, не справляющихся с жизнью. Дома у Фальстафа Ильича, как и тогда, в самолете, она продолжала думать, что не сумела зацепиться за жизнь, не партийную или фирменную, а

настоящую, ведь есть же настоящая, в которой люди отдают другим людям не голоса или пустые бумажки, пусть и с напечатанными на них водяными и иными знаками, а сердце, и это не зря, потому что кому-то оно нужно. Она тоже хотела отдать свое сердце, и даже отдала его, но ей не повезло, потому что оказалось не нужно. Не тому отдала? Не туда? Об этом и помыслить было невозможно. Не оттого, что больно. Больно было и прошло. А оттого что нечем. Сил ни на что не осталось, как у больной. Нужно, по-видимому, этому человеку, который усадил ее перед телевизором, чтобы было подобие *нормального* быта. Но, может, дело именно в подобии и в тонком различении подобия и сути, окаянном свойстве ее сердца, не подчинявшемся расчету и рассудку, — и отсюда скверная физиологическая выходка организма. Вот и выходит заколдованный логический круг. Он съезживается, как шагреновая кожа, не оставляя воздуха, чтобы дышать, *захлебывая* блевотиной.

В трактории, в которой они обедали с Занегиным, она бросила ему глупую фразу: изменил женщине, изменил родине — в одном флаконе. Анекдотические (рекламные) фразы, анекдотические случаи высвечивают пошлость, которая, кажется, может затронуть всех, но не тебя. Ан нет: и тебя, и тебя, матушка, не минует, не возносись, чем выше вознесение, тем больней падение, а как вознестись и не упасть, а улететь, знал только один человек на этой грешной земле, и тот через боль.

Больно было и прошло. Осталась скука, которая хуже, чем боль. Сразу по приезде Ада поехала на Каширское шоссе навестить мать. Был теплый день, пациентов выпустили гулять на улицу. Они стали попадаться Аде еще по дороге к больничному зданию. Дорога пыльная, зелени мало, они брели, шаркая ногами и вздымая небольшие облачка сухой пыли, бесцельно, под палящими лучами солнца. Сначала Ада не поняла: люди как люди, и лица такие же, встретишь в толпе — не отличишь от здорового. Или здоровые стали, как больные? Через несколько десятков шагов, остановясь, прислонилась к стене здания: такая покинутость в одном, втором, третьем лице, что ей стало плохо. Она бы не смотрела, но она искала взглядом мать и боялась пропустить, не узнать. Оправилась, пошла дальше и уже по привычке, и уже было неловко за свою слабость. Мать не гуляла. Она лежала в палате, где, помимо ее кровати, стояло еще с десяток, но все были пусты, кроме двух-трех. Врач, сопровождавший Аду, пояснил, что некоторых, кто в лучшем состоянии, отпускают не только на прогулку, но даже домой. Мать была в худшем. Она лежала с заведенными под верхние веки глазами, как будто дремала, но едва Ада позвала ее, опустила глаза вниз и сказала: я тебя ждала. Ада выложила апельсины, бананы, икру, стеклянную банку с куриным бульоном, каждый раз преувеличенно оживленно называя продукт, который принесла, в надежде на ответную реакцию матери. Та слушала равнодушно, все так же опустив глаза. Ада села рядом на стул, взяла руки матери в свои, стала их гладить,

говоря: мама, это я, ты узнала меня, мама? У матери выкатилась мутная слезинка из уголка глаза, она сказала: Ада, я помню тебя, где ты была так долго, я беспокоилась, твоя подружка звонила, что уже все сдали экзамены, а тебя все нет. Мать путала времена и говорила с Адой как со школьницей. Потом спросила, почему не приходит папа. Ада не знала, что сказать в ответ. Врач ушел, и спросить, как себя вести, не у кого. Она сказала: папа придет, как только освободится, он обещал. Мать вдруг запела. Голос у нее был тоненький и дребезжащий, совсем не тот полный, грудной, который Ада помнила с детства. Она пела романс «На заре ты ее не буди», плохо выпевая слова, но не фальшивя в звуке, только растягивая его иногда так, что ломался ритм, и в этом сломенном ритме было что-то особенно жалкое и одновременно завораживающее. Когда мать начала, Ада сжала материнские пальцы, желая остановить ее, стесняясь других женщин, лежавших в палате. Мать прервалась, подождала короткое время, не повторится ли запретительный жест, он не повторился, она продолжала, и Ада уже не прерывала ее, а, наоборот, слушала и вслушивалась в каждую ноту как в откровение. Когда мать закончила, Ада почувствовала, что у нее мокрое лицо. Врач сказал, что она хорошая, терпеливая, смиренная, лишь иногда поет, но к этому привыкли и никто не обижается и ее не обижает. Она не поправится, спросила Ада. Кто ж это может знать, кроме Господа Бога, сказал философски врач и добавил: вероятность очень мала. Спасибо вам, что вы держите ее и так добры к ней, сказала Ада. Это наша обязанность, ответил врач, маленький полный мужчина, внимательными глазами ощупывая Аду. Ада приходила еще и опять приносила курицу, и апельсины, и яблоки, с наваливающимся облежением (или опустошением) чувствуя, что она не главная тут, а второстепенная, ибо переложила ответственность с себя на врача. Когда-то Занегин говорил, что она хотела бы поднять вес в триста килограмм, будучи в силах поднять всего лишь десять. Ты пойми, убеждал он ее, что ты можешь только десять, и успокойся на этом. А кто ж займется остальным, спрашивала она его, точно зная, что имеет в виду. Остальные и займутся, отвечал он, и кажется, в этот момент они не понимали друг друга. Выходило, что она вынужденно приняла правоту Занегина, когда и на десять килограмм сил не осталось. Неверно перераспределяла? Была слишком заносчива? Или, наоборот, повесила на других то, что должна была до конца нести сама, и так растренировалась? Но уж и на рефлексии охота пропала. Самое страшное, что она и Занегина больше не любила. Эпизоды взаимных отталкиваний нанизались как на веревку, и веревка задушила живое чувство. Разочарование в человеке повлекло за собой разочарование в художнике. Явись он сейчас перед ней, позови ее снова — ей нечем было бы ему ответить. Так ей казалось. Или так она себя уговорила. Мы знаем только это состояние, которое переживаем в эту минуту. И не знаем никакого иного. Мы не

знаем и не помним, что способны изменяться до самозабвения. Хватило бы только времени.

Это просто такой период, он пройдет, ты молодая женщина, тебе жить да жить, говорил Фальстаф Ильич, как ни странно, совершенно точные вещи. С кем, спрашивала она, не пропуская крючка, на который могла накинуть такую же точную петельку. Ты знаешь, говорил он, опуская глаза и напоминая ей в эти минуты сумасшедшую мать.

Она знала. Фальстаф Ильич и в самом деле стал для нее мужем, любовником, другом, верным псом — всем, чем она не желала, чтобы он был. Она не презирала себя, нет, за то, что была с ним. Скука, в которую погружалась, лишала ее и этого свойства. Он же, счастливый тем, что возле нее кроме него, никого нет, крутил усы, убежденно настаивая: это пройдет, ты откроешь глаза и увидишь, что стыдно быть несчастной, когда есть человек, который так тебя любит, ни у кого нет, а у тебя есть. Ему дали, наконец, постоянное место в прославленном оркестре, и еще от этого в нем появилась та мужская уверенность, которая когда-то привлекла к нему Марию Павловну. По аналогии он надеялся, что и Аду привлечет рано или поздно. Она давала ему такую надежду в те редкие минуты, когда он мог почувствовать себя любовником и мужем. После Италии это случилось всего два раза. Один раз — когда Ада вернулась из больницы от матери и, не в силах вынести одиночества, сама пришла к нему, и второй — когда они отправились к нему домой по окончании концерта в зале Чайковского, где он, полноправный музыкант, играл Чайковского на своей валторне. Он устроил специальный ужин и Ада наблюдала за ним со смешанным чувством отвращения, того же облегчения и благодарности. Как будто и в этом случае ее невеста откуда взявшаяся ответственность ослабевала, переложенная на плечи коллектива, в который человек вступил. Он был весел, нов, энергичен, даже рассказывал смешные анекдоты, и Ада уговорила себя пожить его праздником, не портя человеку настроение. Она ночевала у него больше этих двух раз, но всегда ссылалась на усталость, простуду, еще на что-то, он стелил ей в спальне, а себе на диване, как в тот самый первый раз, когда подобрал ее в переходе, стелил аккуратно и заботливо, не сомневаясь, что время возьмет свое. Да оно и брало: какой огромный путь пройден навстречу друг другу — от этого призрачного перехода к призрачной Италии, к призрачной близости, но ведь они были, были. И будут. Не может такого быть, чтоб цепь событий вела от лучшего к худшему. Фальстаф Ильич, стихийный оптимист, верил в лучшее, как большинство людей, воспитанных советской властью, советовавшей своим питомцам бодрость, а не уныние. Почти как Библия.

В самом конце сентября Ада случайно оказалась около дома, в котором находился подвал, где она встретила Занегина, когда тот вернулся из своего ознакомительного путешествия с родиной. Аду окликнул

художник, вышедший из подъезда. Разговорились. Художник удивился, что Ада не слышала о судьбе «Автопортрета» Занегина, о чем все слышаны, и рассказал, как он был продан в Италии за пятьдесят тысяч долларов. Когда, рассеянно спросила Ада. Ну, как же, этим летом, на биеннале в Венеции, последовал ответ. А что удивительного, спросила Ада. Ничего, кроме того, что они там с жиру денежки за фу-фу отстегивают, художник-то фуфло на палочке, ничего серьезного из него не вышло, сообщил собрат по искусству, возможно, предполагая, что таким образом смягчит горечь несчастной женщины, о чем, опять-таки, собратья были слышаны. Неужели Занегин не дал тебе из этих тысяч отступного, подлил он при этом масла в огонь. Ада развернулась и, не успев сообразить, вlepила собрату тяжелую пощечину. Тот, отлетев на метр и также не успев сообразить, развернулся и вlepил Аде ответную такую же. Он был сильнее. Ада упала, и прямо в лужу. Сентябрьские дожди сделали так, что луж было больше, чем сухих мест. У нее была разбита губа и выбит передний зуб. Собрат, злой, как собака, рванул дверь подъезда и исчез с места события, даже не подумав ей помочь. Местом было безлюдное, прохожие не шли. Ада, сбитая с ног, села на асфальт и вновь подумала о том, что так и не сумела сойтись с жизнью, которой, собственно, не знала, идеализируя ее. Отношения с Занегиным, сами по себе совершенно не идеальные, настолько заслонили от нее остальное, что оно, остальное, как бы и не трогало ее. Люди не трогали. Они жили своими тяжкими заботами, грубыми отношениями, которые были предопределены обстоятельствами, воевали, бежали от войны, лишались дома, нищали — она любила, и все происходило внутри нее, а то, что вне — не касалось, обтекало ее. Любовь была защитой. Так как отменяет простуды или желудочные недомогания как несущественные по отношению к основному заболеванию. Она признавалась себе, что и смерть отца и болезнь матери были ближе к первым, нежели к последнему. Возможно, она была (или ощущала себя) безнаказанной во внешнем мире, поскольку существовало одно-единственное, но зато такое тяжкое внутреннее наказание: нелюбовь Занегина. И произвела свой горделивый удар отмщения, основываясь на прежней привычке к безнаказанности. Защита обрушилась. Жестокий реальный мир, в лице цивилизованного, в общем, гражданина, относившегося к Аде совсем неплохо, ответив ударом на удар, приблизился: между ним и ею больше не было зазора. Она поднялась, выплюнула сгусток крови, выпустила совершенно неуместную в этих обстоятельствах серебряную трель смеха и пошла домой.

* * *

1995. Она позвонила мне, когда я уже спала, и попросила немного поговорить с ней. Мы не были близко знакомы, хотя встречались из-

редка. В тот Новый год, что они праздновали вдвоем с Занегиным в Доме кино, они подходили к столу, за каким поместилась как раз наша большая компания, и я видела ее победительное очарование, в котором было что-то от отчаяния. Спросонья я не сразу поняла, кто звонит. Слава Богу, до меня дошло, что я не должна бросать трубку, а выслушать. Выслушивать не пришлось. Она ничего не стала рассказывать, а, наоборот спросила, нет ли у меня знакомого дантиста, заметив, слегка шепелявя, что всегда восхищалась моими зубами. Про себя я немного удивилась, так ли уж неотложно было затевать разговор о зубах в половине второго ночи, но что-то в ее голосе заставило отвечать ей странно и ласково, как будто тянуть время, которое мы обе были на проводе, связанные хотя бы телефонной связью. Я стала вспоминать номер телефона зубного врача, но она перебила, сказав вдруг что-то про грязную лужу, в которую упала лицом вниз, думая, что это свобода, и пытаюсь напиться грязи как свободы, но из этого ничего не вышло. Она засмеялась, словно разбросала серебряные брызги. Я подумала, что, может быть, она выпила, и это разговор пьяной женщины, но не знала, пьет она или нет. Краем уха я слышала ее историю. В Москве *(в нашем кругу)* все слышали. Так или иначе, мне стало ее смертельно жаль.

Повесив трубку, я не уснула до самого утра.

* * *

1995. «Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона; ибо преткнулись о камень преткновения».

Прославленный оркестр отправлялся на гастроли в Европу в конце октября. У Фальстафа Ильича уже имелся загранпаспорт, потому с его оформлением не было никаких хлопот. Он, правда, поставил условие, которое, впрочем, и условием нельзя было назвать, равно как и просьбой тоже, скорее уведомлением: обмирая сердцем, сказал руководству, что хочет взять с собой жену. Он первый раз назвал Аду так, и сразу не про себя, а вслух, и оттого был ужасно смущен. Подумать только, до какой степени дошла демократия в России, что руководство не обругало, не унизило его никак (к чему он по-прежнему был готов, но мужественно шел на это), а даже не поинтересовалось, законная жена или незаконная, и вообще ничем не поинтересовалось, а сказало в ответ только: за свой счет. Со своим счетом у Фальстафа Ильича, как нам известно, было негусто. Однако развращенный первой легкомысленной и странной поездкой в Италию, он странно и легкомысленно уповал на возможность — необходимость! — и следующей такой же в соседнюю Францию: а отчего же нет? Одно его беспокоило: несколько дней Ада не отвечала на звонки. Но и так бывало. А потом переставало бывать: она появлялась и отвечала. На самом деле он начал понемногу привыкать к неравномерностям их отношений, к

невозможности расчислить что-то, и ему это стало даже нравится. Тут было нечто романтическое, что освежало и волновало, не оставляя места привычке или равнодушию. На равнодушие и намек не могло быть. Он любил. Он любил необыкновенную женщину, с которой свела его судьба, и знал, что это судьба. Он стал дежурить у дверей ее квартиры, прерываясь лишь на репетиции, надеясь, что рано или поздно она выйдет или войдет. Он был почти спокоен. Потому что не один, а с новостью, которая, он рассчитывал, и ее обрадует и переменит затянувшуюся непогоду в буквальном и переносном смысле. Таким всесильным в глубине души он себя чувствовал, замахиваясь не только на природу Ады, но на природу вообще. Это случается с людьми в иные моменты их жизни.

Дожди шли, не переставая. А если выдавался день, что не лило сверху, так доставала нижняя жижa, промокло все насквозь, на черных изломанных ветках деревьев висели прозрачные капли, и казалось, что деревья плачут. Хорошо, что он купил в Италии приглянувшиеся ему резиновые сапоги, похожие не на сапоги, а на ботинки, именно в расчете на московскую слякоть. Он убегал в них на репетицию и репетировал в них, их не надо было даже переодевать, и ноги в них практически не потели, резина красиво блестела, стоило протереть влажной тряпочкой. Едва кончалась репетиция, он возвращался и сидел на лестничной клетке, и впрямь, как верный пес, напрягая внимание при каждом звуке лифта либо хлопнувшей двери, а в остальное время расшатывая чудесные резиновые сапоги на своих ногах.

И однажды она вышла из лифта — недели не прошло. Увидев его, засмеялась своим серебряным смехом. Он обрадовался, потянулся поцеловать — она дала, как будто наблюдая за ним. Что-то было не так в ее лице. Она позвала его на кухню, принялась, не раздеваясь, сразу накрывать на стол, поставила тарелки, вынула вилки, ложки, хлеб, большой нож для резки хлеба, потом вдруг опомнилась, сбросила плащ, оказавшись в голубой юбке и белом пиджаке. Мое любимое на тебе, пробормотал он, покручивая ус. Что-что, переспросила она шепеляво. Он увидел, что впереди у нее нет зуба. Что случилось, где твой зуб, спросил он. Выбили в драке, ответила она коротко. Ты дралась, спросил он с изумлением. Она уселась нога на ногу, так что юбка высоко задралась, и сказала: я да, а вы никогда, нет? Мы на *вы* или на *ты*, не понял он. *Мы*, вы хотите сказать, что есть *мы*, посмотрела она на него с непонятным выражением лица. Он вдруг смело и бесшабашно задал ей вопрос о деньгах, решив сменить тему и приступить прямо к сути.

Ада. Деньги? Вы хотите дать или взять, *Лесик*? Сколько?

Фальстаф Ильич. Нет... Я не знаю, сколько... вообще...

Ада. У вас есть оружие?

Фальстаф Ильич. Дома есть, с собой нет.

Ада. Как же вы идете за деньгами, а оружия не берете? А что у вас дома?

Фальстаф Ильич. Дома пистолет Макарова. Товарищ из Чечни привез. Только об этом не надо никому говорить. Если кому-нибудь сказать, у меня могут быть неприятности. Могут посадить. А деньги нам, то есть вам, то есть мне и тебе, нужны для поездки в Европу. У нас гастролы во Франции...

Ада. У нас?

Фальстаф Ильич. Ну, у меня, у моего оркестра. А вы едете со мной.

Ада. В качестве кого, *Лесик*?

Фальстаф Ильич. А в качестве кого я ездил с тобой в Италию?

Ада. Я пригласила вас в Италию на мои деньги — а вы меня во Францию тоже на мои? Да, у меня есть деньги, *Лесик*. И много. Хотите знать, сколько? Пятьдесят тысяч долларов. Но не здесь. Мне вышибли зуб, пытаясь узнать, где эти деньги. Со мной дрались из-за этих денег. А вы рассчитываете, *Лесик*, что хитростью вползли в мою жизнь и хитростью их добудете, без капли крови, на фу-фу!..

Фальстаф Ильич. Ада!.. Какие пятьдесят тысяч!.. Что с вами?.. Успокойтесь!..

Ада. Я абсолютно спокойна.

Вы поедете со мной в качестве жены, выговорил он главное, уже ощущая какой-то надвигающийся подземный гул и зная, что в арсенале его борьбы за нее, за жизнь с нею, за свою жизнь больше ничего не осталось, это последнее. Она встала и стояла прямо напротив него у кухонного стола. Она, действительно, была спокойна, и спокойствие придавало ее оскорблениям особенно жуткий оттенок. Она назвала его слизняком, и это было только самое начало. Она говорила, что он ноль, ничто, никто, не мужик, жалкий сутенер, тупой солдафон с претензиями, что в постели, несмотря на старание и пыhtение, вял и скушен, как позавчерашний суп, что ей, брошенной женщине, требовалось унижить себя, да, так бывает, когда доходят до края, когда все исчерпано, и больше, чем он, вряд ли кто-нибудь сгодился бы на эту роль. Ада перемежала приличные слова неприличными, матерными, откуда только они приходили ей на ум, она шепелявила и шипела, и в этом шипении было что-то страшное, ядовитое и смертельное, как укус змеи. Фальстаф Ильич физически видел, как гибнет, как обрушивается вся его жизнь, и это делает она, та, которую он боготворил и на которую так по-детски возложил все-все надежды. У него потемнело в глазах, лицо Ады и фигура ее превратились в сплошное светлое пятно, он взял со стола кухонный нож и ударил прямо перед собой в это светлое пятно. Потом еще и еще. На белом пиджаке проступили алые пятна. Серебряный звук короткого смеха прозвенел и затих. Ада медленно сползла на

пол, задев тарелку. Тарелка упала и разбилась. К счастью, нелепо подумал Фальстаф Ильич.

* * *

2001. Я была на суде. Адвокат недурно знал свое дело и вытащил в результате настойчивой работы из упорно молчавшего клиента обоснования для смягчения приговора. В результате вместо двенадцати, требуемых прокурором, Фальстаф Ильич получил семь. Он отправился в тюрьму с валторной и резиновыми итальянскими сапогами, похожими на ботинки. Их украли в первый же день. На валторне он играл в тюремном оркестре. Шесть из семи лет он уже отбыл. Говорят, оставшийся год ему скостят. Так что он скоро будет свободен.

Я решила записать историю Ады и Занегины (как она мне виделась) не потому, что она шла в параллель моей, а потому что она образовала *крест* с моей. А если взять Фальстафа Ильича — то *пентаграмму*. А вот это каким-то образом составило целое, в которое стоило взглянуть. Впрочем, при других обстоятельствах оно могло повернуться совсем иначе. Множество связей, недоступных для нас, бережно охраняют тайну, приоткрывая лишь край истины. Я помню, что думала на процессе: если бы малограмотные, явившиеся на эту землю, как впервые, неукорененные, родители Фальсика (*Лесика*) не выпендривались бы, а назвали сына настоящим, а не литературным именем (пусть даже из Пушкина, как первой, доступной им ступени культуры), возможно, они дали бы тем самым другое направление его судьбе. Какое? Бог весть. Но ведь недаром Тарсянин из Савла переделал себя в Павла. Что-то же значат наши имена. Знаки расставлены повсюду. Научиться читать их — не только следовать начертанному пути, но и владеть им. Выпендрились родители — выпендрился Фальстаф Ильич. Повело за край дозволенного? Но, может, то и был его звездный час. А расплата... что ж расплата, она всегда кровава. Впрочем сводить все дело к именам — сужать игровое пространство жизни. Всякое поименование действует в Божьем мире. И помимо имени.

Кстати, на суде фигурировала тетрадка, в которой адиной рукой был вписан с десяток стихотворений. Поскольку никто никогда не слышал, чтобы она писала стихи, никто и не мог подтвердить, принадлежат ли они ей или кому-то другому. Стихи были с пометками, одни слова заменены на другие, часть строк зачеркнута. Никакого значения тетрадка, на всякий случай приобщенная к делу, для суда не имела, так как никоим образом не проливала свет на случившееся. Я попросила разрешения переписать стихи, и как ни странно, получила. На всякий случай привожу их здесь (оказалось, их девять), хотя тоже считаю, что это уже ничего не прояснит в деле, которое можно считать закрытым.

*

В зрачок попало солнце
и дальше проникает,
до слепоты ласкает,
пятная состоянье,
и длинной тенью путник
летит, пустому полю
одалживая нечто,
похожее на время.

*

«Ничего серьезного», —
твердила, огорчая его.
«Ничего страшного», —
отвечал, огорченный.
Мое сердце играло.
«Ничего серьезного», —
сказал однажды.
«Ничего страшного», —
не смогла ответить.
Мое сердце разбилось.

*

Шла, танцуя, особа с отрешенным лицом,
век держался особо, словно перед концом.
Дева длила прогулку, мягко делая па,
шаг печатала гулко вслед за нею толпа.
Что за странная дива, отчего и почему —
люди глядел, как на диво, ну, а ей нипочем,
и откуда-то злоба из груди, как из тьмы:
почему-де зазноба не такая, как мы?
Век ослепший, как в танке, рассуждал, словно пьянь:
не танцующий ангел, а панельная дрянь.
А она повернулась к ним чужим, как своим,
чуть взлетев, улыбнулась и пропала, как дым.

*

Грезы Шумана пела старуха
на тропинке лесной старику,
он протягивал ухо для слуха,
как коняга свой рот — к сахарку.

Голос тоненький, старческий, мелкий
в майском воздухе страстно дрожал.
След восторга старинной отделки
по лицу старика пробежал.

Никакая шальная угроза
песней песнь оборвать не могла.
В эту душу вливалась глюкоза.
Та — любовью сгорала дотла.

*

Дом с разбитыми стеклами, что за дела,
и бутылка внутри на полу стекленеет —
я случайно сюда в этот край забрела,
где не видно людей и где сутки длиннее.
Тут запор и засов, там застывшая печь,
и фонарь наверху, весь простужен от ветра,
кто-то раньше тепло здесь пытался сберечь,
да не вышло. И только качается ветка.
У крыльца притулившись, застыла метла,
инструмент одинокий былого ведьмовства,
но и это сгорело в печурке дотла,
и от дыма тогда же наплакались вдосталь.
Соглядатай невольный, окошко добыю,
как чужое — свое, а свое — как чужое,
если водка осталась, пожалуй, допью
и коленом стекло придавлю, как живое.
Дальше: жирная сойка, в траве прошуршав,
смотрит глазом загадочным, будто знакома,
и хитрит, и петляет, и трещоткой в ушах,
и, как ведьма, уводит, уводит от дома.

*

Девчонки местные, блестя глазами,
смотрели молча на тех, кто с нами,
вязалось что-то у них узлами,
чтоб отвязаться по всей программе.

Скамейки белые стояли редко,
к соседу льнула, как моль, соседка,
девчонки глазом стреляли метко —
он засветился, пошла засветка.

Девчонки юбки подняли круто,
девчонки юно вертели крупом
вальсок за вальсом вздымался люто,
шампанских пробок несло салютом.

Где негде пробы́, смотрите сами,
попробуй с нами, хлебни шампани!
А кто был с нами, ночными снами,
те были с ними, уже не с нами.

Бежало время без проволоочки.
Яд разливался без оболочки.
Рвались все ниточки и узелочки.
Соседка плакала в уголочке.

*

Прямоугольник балкона
для вытянутой шеи и поклона,
для хлорофилла и озона
последнего и первого сезона.
То есть вокруг все оттенки зеленого,
от темного до озонного,
где лес рисунка фасонного,
а воздух — очертанья небосклонного.
И насколько хватает глаза —
раскинулось для экстаза
такое любимое до отчаянья,
что даже страшно сглазить случайно.
Как девочка, взбежала деревня
на горку, под которой деревья,
и малая речка рядом
для любованья взглядом.
Стою и смотрю, ненасытная,
рождением со всем этим слитная,
и сумасшедшее пение птиц,
и желтый шар из-под еловых спиц,
как капля из-под ресниц.

*

Автомобиль приехал темносиний,
остановился рыбу поудить,
речушка Виля в глубине России
желала случай с небом обсудить.

А по дороге к маленькой деревне,
излюбленной до дрожи из окна,
брела бродяжка по привычке древней
всех калик перехожих, и одна.

И речка Виля, по совету с небом
включив бродяжку в тройку от души,
плеснула вслед, сглотив рыбацкий невод:
а ты, старуха, это запиши.

В лесу кукушка притко куковала,
бродяжка, честью гордая, что часть,
сперва считать за ней не уставала,
потом устала, бросила считать.

Вернулась в дом к просторному окошку
сидеть, глядеть и думать ни о чем,
и собираться с духом понемножку —
он пригодится. Этому учен.

Все думала, что ты сюда приедешь,
и Виля тоже этого ждала,
но ты не едешь, и в пустой беседе
бормочешь, что замучили дела.

*

Розовым светом пронизанный воздух
перед тем, как стемнеет.
Жизни метафора. Или, точнее,
знанья дарованный отзвук:
что будет, когда будет поздно.
От чувства чуда стиснуто сердце.
Продых.
Скерцо.

Когда и где Ада это написала (если она это написала), уже не узнать.
Не была ли и она в каком-то смысле по-своему (учитывая наши времена) *идейным* человеком — верным идее любви?

Что еще? Занегин бросил пить и курить (трубку), начал работать, его небольшие *послания* имели определенный успех у римлян, а также за пределами Рима, но не более того, хотя и неплохо продавались, разумеется, не «Автопортрета» он так и не создал. Он выписал из Москвы мать Ариадны и положил в скромную, однако с прекрасным ухо-

дом швейцарскую клинику, где оплачивал ее пребывание в течение пяти лет. Через пять лет она скончалась. Кьяра родила двух очаровательных мальчишек, которые приезжали к бабушке и дедушке, покорив и растопив старые сердца и примирив их с действительностью. В Венецию, где Занегин был счастлив, он больше никогда не ездил.

Я была рада, что, в общем, все для всех кончилось хорошо.

Кроме тех, кого уже нет на свете.

Но мы не знаем, что с нашими мертвыми. Мы можем только просить их простить живых.

И потом, что значит: кончилось? Разве что-нибудь кончается?

Ну, а что, кроме этих частных событий в жизни частных людей, произошло еще в новом тысячелетии, вам известно лучше меня.

1999.

АМЕРИКА И РОССИЯ НА ПОРОГЕ ХХІ ВЕКА: НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА?

Девяностые годы прошли под знаком разговоров об окончании холодной войны, которое, как правило, приурочивают к краху коммунизма в СССР и Восточной Европе. Холодная война, таким образом, сводится к противостоянию двух идеологий. Однако после краха одной идеологии международные отношения стали еще более непредсказуемыми — более опасными, милитаризованными и идеологизированными. Число военных конфликтов в мире резко возросло. Словосочетание «новый мировой порядок», введенное в политику Джорджем Бушем, так и не обрело реального содержания. Международные проблемы стали с легкостью называть «рецидивами холодной войны». Но число их уже таково, что впору усомниться в самом диагнозе.

Впервые слова «холодная война» произнес в 1947 г. советник президента Гарри Трумена Бернард Барух. Но уже тогда было очевидно, что это было не объявление войны, а ее констатация. Сама война началась раньше и, в отличие от Второй мировой, она была войной объявленной. 5 марта 1946 года бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес в городке Фултон, штат Миссури, свою знаменитую речь, из которой, по словам Рональда Рейгана, не только родился современный Запад, но и мир на нашей планете.¹ Сталин в интервью «Правде» поставил Черчилля в один ряд с Гитлером и заявил, что в своей речи тот призвал Запад к войне с СССР².

**Николай
ЗЛОБИН**

— родился в 1957 году в Москве, окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова. Работал в МГУ с 1983 года, в 1991 году стал ведущим научным сотрудником. С 1993 по 2000 год работал профессором ряда университетов США, в настоящее время — директор русской программы Международного Центра в столице США Вашингтоне. Редактор американского академического журнала «Демократизация. Журнал постсоветской демократизации», выходящего в Вашингтоне. Автор 11 книг и нескольких сотен статей по проблемам истории, политики, международных отношений. Книги и статьи были опубликованы во многих странах, в том числе в США, Франции, Польше, Германии, Японии.

¹ Ronald Reagan, *The Brotherhood of Man*. — *Breakthrough*. Westminster College, 1989, p. 15

² Stalin Interview With Pravda on Churchill. — *The New York Times*, 1946, March 14, p. 6.

Для всего мира эта неделя марта стала началом холодной войны, а Фултон зарезервировал себе место в учебниках истории — в одних как старт борьбы за свободную Европу, в других — как город, где началось разжигание новой войны. Сам Черчилль назвал эту речь самой важной в своей карьере³.

Одетый в алую мантию профессора Оксфорда, Черчилль заявил, что в своей речи он «позволит себе на основе всего жизненного опыта взглянуть на проблемы, которые окружили нас на следующий день после нашей блистательной армейской победы»⁴.

Главная проблема, по мнению Черчилля, заключалась в том, что, хотя «Соединенные Штаты находятся на вершине мировой силы и это торжественный момент американской демократии», им противостоят два главных врага — «война и тирания». Мы, говорил он, обращаясь к присутствующему президенту США, не можем игнорировать то, что свободы, которыми пользуются граждане США и Британской империи, не существует в значительном числе стран, хотя некоторые из этих стран очень сильны в военном отношении. В них господствуют полицейские правительства, которые полностью контролируют жизнь людей.

Единственным инструментом, способным, по мысли Черчилля, предотвратить войну и уничтожить тиранию, является «братская ассоциация англоязычных народов. Это означает специальные отношения между британским содружеством и Соединенными Штатами»⁵. Такой альянс должен охватить все сферы жизни англоязычных стран — военные силы, арсеналы оружия, разведку, военную подготовку и систему национальной безопасности. В будущем, заметил он, встанет вопрос о едином гражданстве. В 1938 г. Черчилль уже призывал к такому альянсу для того, чтобы остановить Гитлера. Теперь он предлагал вернуться к идее объединения англоговорящих народов для того, чтобы остановить Сталина.

Впервые после окончания войны Черчилль прямо назвал Советский Союз причиной «международных трудностей». «Тень, — сказал он, — упала на сцену, еще недавно освященную победой Альянса. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намерены делать в ближайшем будущем и есть ли какие-либо границы их экспансии. Я очень уважаю и восхищаюсь доблестными русскими людьми и моим боевым товарищем маршалом Сталиным. Мы понимаем, что России нужно обезопасить свои западные границы и ликвидировать все возможности германской агрессии. Мы приглашаем Россию занять с полным правом место среди ведущих стран мира. Более того, мы приветствуем или, лучше сказать, приветствовали бы постоянные, частые, растущие контакты между русскими людьми и нашими людьми

³ John Charmley, *Churchill's Grand Alliance. The Anglo-American Special Relationship 1940-1957*, 1995, p. 223. *Историю написания и произнесения Уинстоном Черчиллем речи в Фултоне, см.: Н.В. Злобин. «Неизвестные американские архивные материалы о выступлении У. Черчилля 5 марта 1946 г.» в «Новая и новейшая история», 2000, номер 2, сс. 156-169. Впервые речь Черчилля на русском языке была опубликована в журнале «Источник», 1998, номер 1.*

⁴ The Sineus of Peace by Winston Churchill. A speech at Westminster College, Fulton, Missouri, 5 March 1946. — Fulton, Missouri, 1995, p. 4.

⁵ Ibid, p. 7.

на обеих сторонах Атлантики. Тем не менее, — сказал Черчилль, — моя обязанность изложить здесь факты так, как я вижу сам»⁶.

Главная проблема заключалась в том, что «от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент был опущен железный занавес. За этой линией располагаются все столицы древнейших государств центральной и восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София — все эти знаменитые города и их население находятся в том, что я обязан назвать советской сферой влияния, и все они в той или иной форме объекты высокой степени контроля со стороны Москвы».

Более того, «коммунистические партии, — продолжал в напряженно слушающем зале Черчилль, — которые были крайне малы во всех этих странах, были выращены до положения и силы, значительно превышающих их численность, и они стараются установить тоталитарный контроль во всем»⁷. Все это стало причиной того, что после окончания войны опасность распространения коммунизма неизмеримо выросла во всем мире, за исключением Соединенных штатов и Британской империи. «В большом числе стран, — сказал Черчилль, — далеких от границ России, во всем мире созданы коммунистические «пятые колонны», которые работают в полном единстве и абсолютном послушании при выполнении директив, получаемых из коммунистического центра».

Однако, мировая война не является неизбежной. «Я, — заявил Черчилль, — не верю, что Советская Россия жаждет новой войны. Но она жаждет плодов войны и неограниченного расширения своей власти и идеологии». Как можно остановить Кремль в его стремлении к мировому господству? «Из того, что я видел во время войны в наших русских друзьях и соратниках, — сказал Черчилль, — я заключаю, что они ничем не восхищаются больше, чем силой, и ничего не уважают меньше, чем слабость, особенно военную слабость». Поэтому, делал он вывод, «старая доктрина баланса сил ныне стала необоснованной». То есть, странам Запада надо не только пытаться сравняться с СССР и его сателлитами в военной силе, но и постараться стать сильнее. Для этого и нужно полное единство англоговорящих стран, которое способно стать основной военной силой на пути СССР к мировому господству. И тогда, заключил Черчилль, «главная дорога в будущее будет ясной не только для нас, но и для всех, не только в наше время, но и в следующем столетии»⁸.

Написанная и прочитанная с блеском, речь произвела громадное впечатление на слушателей и никого не оставила равнодушным — ни сторонников, ни противников позиции бывшего британского премьера. В своей речи Черчилль активно использовал слова и выражения, которые с конца тридцатых годов политиками всего мира использовались только в отношении одного государства — фашистской Германии. Теперь объектом такого политического языка стал Советский Союз. И хотя Черчилль назвал свою речь «Сухожилия мира», во всем мире она немедленно получила другое название — «Железный занавес». Вторая мировая война, сказал Черчилль, могла быть предотвращена,

⁶ Ibid, p. 10.

⁷ Ibid, p. 11.

⁸ Ibid, p. 15.

более того — «никогда не было в истории войны, которую можно было бы предотвратить легче, чем ту, которая только что опустошила огромную область на нашей планете». Такой ошибки больше повторить нельзя, говорил Черчилль. Мы не смогли остановить Германию, но надо остановить Советский Союз.

Читая сегодня эту речь, нельзя не отдать должное прозорливости и политическому таланту Черчилля. Его предвидение на следующие 40 лет развития международных отношений в целом, советско-американских — в частности, подтвердилось полностью. Речь Черчилля стала началом исторического поворота во внешней политике США, приведшего к радикальному изменению ситуации в мире, формированию новой структуры международных отношений, в первую очередь — геополитических интересов мировых держав, бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Крах коммунизма практически не повлиял на эту структуру. Распад СССР оказал на нее определенное воздействие, но не привел и не мог привести к радикальным ее изменениям.

Обстановка в мире после Второй мировой войны была запутанной и неопределенной. Требовалась принципиально новая концепция международных отношений. Антигитлеровский блок быстро распался, между бывшими союзниками нарастали серьезные противоречия. Советский Союз во главе со Сталиным чувствовал себя очень уверенно и постоянно подчеркивал, что — как главный победитель над фашизмом и главный потерпевший от него — имеет больше прав в решении вопросов послевоенного устройства, особенно в Европе и Азии. Такая позиция встречала немало сочувствия в политических кругах и общественном мнении Запада. Черчилль понимал, что Англия, бывшая до войны главной европейской державой, больше таковой не является. Советская армия, находящаяся в доброй половине стран Европы, никогда не позволит Англии даже слабой попытки вернуть былое величие.

Вторая половина 40-х годов была отмечена резким поворотом советской внешнеполитической линии. От вынужденной политики изоляционизма страна получила возможность перейти к чрезвычайно активной внешней политике, значительно увеличить свое влияние в мире, включить в сферу своих интересов регионы, о которых прежде можно было только мечтать. Разгром Германии и значительное ослабление Европы давали уникальный шанс для этого, победа в войне — своего рода моральное право на такую политику, а идеи пролетарского интернационализма стали ее идеологическим обоснованием.

Остановить Советский Союз могла только Америка, обладавшая в то время монополией на атомное оружие. Но захочет ли Америка принять на себя груз ответственности за европейские проблемы, выступить в качестве мировой супердержавы, открыто стать на позиции сдерживания советской экспансии? Интерес простых американцев к международным делам был невелик. Опросы того времени показывали, что 65% из них никогда не обсуждают международные проблемы, как им безразличные⁹. Рональд Рейган говорил, что Черчилль в 1946 г. «обращался к нации, находящейся на вершине мировой власти, но не привыкшей к тяжести этой власти и исторически не желающей вмешиваться в

⁹ John Charmley, *Churchill's Grand Alliance. The Anglo-American Special Relationship 1940-1957*. Hardcourt Brace and Company, New York-San Diego-London, 1995, p. 218.

дела Европы. Но он надеялся, что поездка в самое «сердце Америки» позволит ему достичь ее сердца»¹⁰. Именно поэтому Черчилль настаивал, чтобы американский президент сопровождал его. Присутствие Гарри Трумена, его вступительное слово придавали речи Черчилля важный политический характер, он как бы показывал всем, что выступает и от имени президента США.

При этом Черчилль публично ставил Трумена перед главным политическим выбором во всей его карьере. Отношение к СССР в самой Америке в этот момент было крайне противоречивым. Симпатии общественности были на стороне «русских союзников», а «дядя Джо» вызывал определенное уважение у простых американцев. Все больше набирала силу дискуссия о том, не будет ли правильным поделить секретом атомной бомбы с СССР. Администрация стояла на противоположной позиции, но готова была пойти на широкий международный контроль над ядерными производствами, ибо ее международная репутация после атомной бомбардировки Японии оставляла желать лучшего.

Конечно, многие американские политики видели опасность заигрывания с СССР. Бывший президент Герберт Гувер утверждал, что «Советы так же опасны для Америки, как опасны были нацисты»¹¹. Особенно это стало заметно, когда СССР отказался объяснить свои акции в Маньчжурии после официального обращения Госдепа США¹² и отказался вывести свои войска из Ирана, тогда как и США, и Англия свои обязательства по выводу войск выполнили в срок. Все это действовало на легко впадавшего в раздражение американского президента, который писал, что «устал уже нянчиться с Советами», что «если России не продемонстрировать железный кулак и жесткий язык, дело может дойти до другой войны», что Америка «не может идти больше ни на какие компромиссы»¹³. Однако Трумен все же не решился перенести свое раздражение в политику, так как не знал, какова будет реакция американцев.

В этих условиях президент тоже сделал ставку на речь британского политика. С одной стороны, она могла повлиять на советское руководство, а с другой — стать главной проверкой общественного мнения в стране. Если речь будет воспринята позитивно, можно будет резко усилить антисоветскую направленность внешней политики, а если нет, то всегда можно будет сказать, что выступление Черчилля есть его личная точка зрения и он просто воспользовался правом на свободу слова. Другими словами, Трумен предлагал Америке сделать выбор — либо вернуться к привычной политике изоляционизма, приведшей, по мнению многих простых американцев, к процветанию страны в период до Великой депрессии, или превратиться в мировую сверхдержаву, добровольно беря на себя колоссальную ответственность и расходы.

Именно поэтому президент, вопреки всем протоколам, взялся сам сопровождать отставного премьер-министра в Фултон и представить его там, но при этом

¹⁰ Ronald Reagan, *The Brotherhood of Man*. — *Breakthrough*. Westminster College, 1989, p. 14.

¹¹ John Charmley, *Churchill's Grand Alliance. The Anglo-American Special Relationship 1940-1957*. Harcourt Brace and Company, New York-San Diego-London, 1995, p. 218.

¹² *Department of State, Bulletin*, Vol. XIV, March 17, 1946, pp. 448-449.

¹³ Robert H. Ferrell, *Off the Record: The Private Papers of Harry S. Truman*. 1980, pp. 79-80.

неоднократно публично заявлял, что речь его он предварительно не читал и ее содержание узнал одновременно со всей страной (через много лет Трумен признает, что говорил неправду). Именно поэтому, выступая сразу после Черчилля в Фултоне, Трумен не выразил никак своего отношения к его предложениям. Именно поэтому в течение первых нескольких дней, когда все страна горячо обсуждала речь Черчилля, Трумен молчал, изучая общественную реакцию.

А она была крайне отрицательной. Значительная часть американского общества — особенно левая — отнеслась к речи крайне негативно, а то и враждебно, полностью отвергая все главные тезисы Черчилля. Газета *Чикаго-Сан* назвала Черчилля «реакционером», видящим «мир таким, каким он реально больше не существует», и заявила, что «следовать стандартам, предложенным этим выдающимся, но слепым аристократом, значило бы маршировать навстречу наиболее ужасной мировой войне»¹⁴. Умеренные либералы также не поддержали Черчилля. Так, *Атланта Конститушн* назвала свою передовую статью «Абсолютно нет!». Реакция сторонников американского изоляционизма, куда входили многие республиканцы, а также демократы со Среднего Запада и Юга страны, была наиболее негативной. Черчилль, по сути, предлагал им сменить англофобию на русофобию, они же предпочитали просто соединить их. *Чикаго Трибюн* написала, что Черчилль «больше, чем любой другой англоговорящий индивидум, ответствен за худшие ошибки» в международных отношениях¹⁵.

Крайне правые консерваторы юга страны, представители деловых кругов, целый ряд религиозных и этнических организаций если и поддерживали антисоветскую направленность речи Черчилля, то были категорически против любой внешнеполитической активности. Первоначальная реакция Конгресса также была крайне негативной¹⁶. Отрицательной была и международная реакция. Лишь небольшая часть интернационально настроенной американской публики поддержала главные тезисы речи Черчилля. В основном эта поддержка была проявлена на восточном побережье. *Нью-Йорк Геральд Трибюн* назвала Черчилля «выдающимся лидером всей нашей цивилизации в ее самые темные часы»¹⁷. Посетивший США в ноябре 1946 г. сын Черчилля Рэндольф сказал, что его отец был разочарован такой реакцией. «Печально вспоминать, — заметил он, — что речь в Фултоне, говорящая об опасности российской агрессии и тирании, была встречена почти с таким же негодованием, с каким встречались выступления Уинстона Черчилля, раскрывавшие агрессивность и тиранию Адольфа Гитлера»¹⁸. Было очевидно, что подавляющее большинство американцев, пусть по разным причинам, но отвергли политику, предложенную в Фултоне, не поддержали идею конфронтации с СССР.

Реакции советской стороны на речь пришлось ждать еще дольше. Очевидно, что событие в Фултоне явилось большой и неприятной неожиданностью

¹⁴ Distinguished Visitors at Westminster College, — *Chicago-San*, March 6, 1946, p.1.

¹⁵ *Chicago Tribune*, March 8, 1946, p. 15.

¹⁶ Doubts Are Voiced in Washington. — *The New York Times*, 1946, March 4, p.3.

¹⁷ *New York Herald Tribune*, March 8, 1946.

¹⁸ Rundolph Churchill, After Visit Here, Reviews His Father's Speech, — *Fulton (MO) Daily Sun-Gazette*. November 16, 1946, p.2.

для Москвы. Смушало Запад и то, что Сталин неоднократно заявлял о необходимости вернуться к предвоенной политике изоляционизма, в то время как министр иностранных дел Литвинов подчеркивал, что международные проблемы для советского руководства на первом месте, хотя и говорил о перспективах международного развития пессимистически¹⁹. Через неделю «Правда» опубликовала, наконец, короткое изложение речи Черчилля со своим комментарием, а еще через несколько дней в ней появилось интервью И.Сталина.

С этого момента в советской прессе развернулась ожесточенная критика фултонской речи Черчилля, в которой были задействованы газеты, журналы, международное Радио Москвы, дипломаты, ученые. Черчилль обвинялся даже в расизме по отношению к русским. 11 марта открылась сессия Верховного Совета СССР, которая активно подключилась к этой кампании. Критика фултонской речи быстро переросла в критику капитализма, преобретала резко выраженный антиамериканский характер. По указанию из Москвы к этой кампании присоединились коммунистические организации и средства массовой информации Запада, ряд правительств стран Восточной Европы.

Американская печать ежедневно перепечатывала, а радио зачитывало все заслуживающие внимания материалы из советских газет, особенно содержавшие выпады в адрес США, в большинстве своем несправедливые, обидные, глубоко заидеологизированные. Американцы воспринимали это сначала с недоумением, затем — с раздражением, наконец — с возмущением. В американской прессе стали появляться материалы с критикой Советского Союза. К примеру, *Нью-Йорк Таймс* писала: «Стандарты жизни людей в России накануне недавней войны, после более чем двадцати лет коммунистической власти, были не выше, чем они были накануне Первой мировой войны. Утверждение, что русские лишены возможности удовлетворять свои ежедневные жизненные нужды лишь потому, что Советский Союз должен был создать колоссальную промышленность для защиты от неизбежной военной агрессии злого капиталистического мира, не является серьезным извинением. Факт остается фактом — пища и жилье, обещанные коммунистами, обеспечены не были»²⁰. Так писать о героическом союзнике по антигитлеровской коалиции было еще недавно просто невозможно. Все чаще в прессе стали звучать прогерманские настроения. *Чикаго Трибюн* написала прямо: «Германия будет нам нужна»²¹.

Резкая антиамериканская кампания в СССР, его внешнеполитические акции не могли не сказаться на общественном мнении США, в котором стремительно стал нарастать антисоветский запал. Сразу после речи Черчилля был проведен опрос, согласно которому 40% американцев были против предложений Черчилля и только 18% — за. Такой же опрос, проведенный через месяц, показал, что 85% поддерживают Черчилля²². Опрос, проведенный в середине марта

¹⁹ Awerell W. Harriman and E. Abel, Special Envoy to Churchill and Stalin, 1941-1946. The Brookings Institute, Washington, D.C., 1975, pp. 516-517, 518.

²⁰ Russian Must Do Without, — The New York Times, 1946, March 26, 1946, p. D 3.

²¹ Germany may be needed, — *Chicago Tribune*, — March 15, 1946, p. 13.

²² *Public Opinion Quarterly*, X (Winter 1946), pp. 24, 265.

1946 г., показал, что 71% не поддерживают поведение СССР на международной арене и только 7% поддерживают. При этом 60% отметили, что по их мнению американская политика по отношению к Советскому Союзу «слишком мягкая», и лишь 3% заявили, что она «слишком жесткая»²³. Америка срочно занялась боеспособностью своей армии, увеличила внимание к военным разработкам в технологии. Началась война с «красными» внутри самих США. На волне противоборства с антиамериканской, антикапиталистической пропагандой, организуемой и управляемой из СССР, Америка начала переходить к политике агрессивного интернационализма — то есть стала на путь сверхдержавы.

6 апреля 1946 г. Трумен выступил с большой речью в честь Дня Армии. «Соединенные Штаты сегодня — сильнейшая нация — сказал он. — Никого нет сильнее. Это не хвастовство, это факт. Это означает, что с этой мощью мы должны принять на себя лидерство и ответственность. Будет трагедией нашего национального долга и всего международного будущего, если мы, сознательно или нет, окажемся не готовы разделить эту ответственность». Президент впервые открыто заявил о новой международной роли США после войны: «Мир — это не приз, который автоматически получают те, кто дорожит им. Он должен быть поддерживаем беспрестанно и непоколебимо, всем смыслом нашего лидерства. Мы обязаны иметь политику, способную быть основой наших отношений с каждой страной в любой части мира. Нет стран, удаленных от нас так, что мы не можем быть однажды вовлечены в проблемы, ставящие мир под угрозу. Вспомним, что Первая мировая война началась в Сербии; что Версальский мир был впервые нарушен в Маньчжурии; что Вторая мировая война началась в Польше. Кто знает, где это случится в будущем? Наша внешняя политика должна быть всемирной... Мы выиграли войну; мы теперь обязаны обезопасить победу. Победители, окруженные злобными и опасными врагами, не могут развернуться и пойти домой. Войны — это не бейсбольные игры, где после игры команды переодеваются и уезжают со стадиона. Тирания должна быть вырвана с корнем из сердцевины каждой вражеской нации, прежде чем мы можем сказать, что война действительно выиграна»²⁴. Это речь стала первым внешнеполитическим манифестом новой сверхдержавы.

Начала стремительно складываться новая картина мира. Оказалось, что только две страны могут вести себя (и ведут) как победители, в то время как все остальные страны, независимо от того, в каком лагере они находились во время войны, оказались приблизительно в одинаковом положении — политической, военной, экономической и моральной зависимости от СССР и США. Причем оба новых мировых лидера еще несколько лет назад занимали жесткие изоляционистские позиции. Их появление в качестве главных сил на мировой арене было если не неожиданно, то, по крайней мере, не подготовлено всей эволюцией международных отношений. Они не имели колоний, не обладали богатым опытом участия в мировой политике, то есть не были сверхдер-

²³ Hadley Cantril and Mildred Strunk, eds., *Public Opinion, 1935-1946*. Princeton Press, Princeton, 1951, pp. 963, 1060.

²⁴ Speech of President Truman Calling for Strong United States Forces to Guard World Peace. — *The New York Times*, 1946, April 7, p. 29.

жавами в довоенном смысле слова. У них не было сложившейся и признанной в мире сферы влияния, системы осознанных и признанных другими геополитических интересов. Но если для СССР появилась реальная возможность попытаться достичь ряда внешнеполитических целей, отстаиваемых в свое время царской Россией, то США выступали исключительно мощным и богатым, но новичком, еще не наверняка знающим, что ему надо и как этого добиться. В этих условиях идеологические разногласия отступили на второй план.

Нью-Йорк Таймс совершенно справедливо писала: «Значительная часть наших трудностей в отношениях с Россией есть результат нашей собственной слабости и нереалистической политики по отношению к России во время войны. Американцы все еще политически незрелы и всегда имеют тенденцию воспринимать войну и военную победу как конечный результат, а не как военный способ достижения политических результатов... Хотя Северный Иран, Маньчжурия и Корея едва ли касаются жизненных интересов Соединенных Штатов, тем не менее мы не можем и не должны признавать любые договоры, достигнутые самодовольной Россией в этом регионе. Мы должны сделать ясным для России и для всего мира, что главная стратегическая причина нашего участия в последней войне была в том, чтобы воспрепятствовать доминированию одной силы (Германии) над всей Европой и одной силы (Японии) над всей восточной Азией. Если Соединенные Штаты будут играть весьма небольшую роль в мире — экономически, политически, морально, психологически (а то и даже никакой), доминирование над всей Восточной Азией и Западной Европой одной державы или двух дружественных держав очевидно создаст условия для войны на половине земного шара. Воспрепятствование такому доминированию является жизненным интересом Соединенных Штатов»²⁵.

Поэтому, если вспомнить главные международные противоречия первых послевоенных лет, станет очевидно, что СССР и США, используя идеологию в качестве прикрытия, были заняты спешным формированием своих зон влияния и все конфликты этого периода были результатом выяснения того, в чью сферу входит тот или иной регион. *Нью-Йорк Таймс* опубликовала 3 марта 1946 г. полосу редакционных материалов, в которой выделила «основные стратегические районы мира», где американские интересы сталкиваются с российскими — Маньчжурия, Иран, Центральная и Южная Европа. Восточная Европа даже не упоминалась — Америка не претендовала там на доминирование²⁶. В свою очередь, СССР занимал крайне пассивные позиции в отношении ряда стран Латинской Америки, территорий в Тихом океане и т.д.

Но серьезной проблемой стал, к примеру, Иран. В конце мая 1945 г. иранское правительство обратилось к СССР, США и Англии с просьбой вывести их войска из страны. Американские и английские войска были выведены, а Сталин требовал признания автономии иранской провинции Азербайджан, оставления советских войск в стране на неопределенный срок и организации

²⁵ Hanson W. Baldwin, A Realistic Policy Is Required, — *The New York Times*, 1946, March 27, p. E4.

²⁶ The News of the Week. The Spotlight Focuses on Russian-American Relations. — *The New York Times*, 1946, March 3, pp. E 1-3.

совместной советско-иранской нефтяной компании, где бы 51% акций принадлежало СССР, а 49% — Ирану. Получив гарантии финансовой помощи США, иранское правительство настояло на выводе советских войск, отвергло план создания нефтяной компании и объявило о национальном плане развития нефтяной индустрии. В июле 1946 г. США предоставили Ирану 26-миллионный кредит для закупки и ремонта американского военного оборудования.

Такого рода конфликты происходили везде, где сталкивались интересы СССР и США. Если Америка предлагала договор, подразумевающий 25-летний контроль над Германией, включая ее военную промышленность, то СССР предлагал не спешить с заключением договоров, а заниматься формированием германских политических структур. Если США настаивали на скорейшем заключении мирного договора с Австрией, то СССР предлагал договор с Австрией оставить последним в ряду мирных договоров в Европе, сделав ее своего рода заложником. Если США предлагали установить на Балканах политику «открытых дверей», то СССР выступал с требованием оставить решение балканского вопроса лишь на рассмотрение самих балканских государств. Если Америка предлагала установить протекторат над колониями, то СССР воспринимал это как попытку монополизировать средиземноморские территории. Если США предлагали утвердить итальянский контроль над Триестом — важнейшим стратегическим портом на Адриатике, то СССР предлагал передать порт Югославии. Такое же несходство проявлялось в вопросах распределения сфер влияния на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Северной Африке и т.д.

Серьезные разногласия вызвала структура ООН. Предложенная СССР схема предполагала изъятие власти из рук Генеральной ассамблеи и сосредоточение ее в Совете безопасности. Американский вариант — равенство всех членов организации во всех вопросах — за исключением решений, связанных с карательными акциями против стран-членов ООН²⁷. Советское предложение расширяло право «вето» вплоть до обсуждения поведения самих сверхдержав, что обесценивало саму идею ООН. США, выступая против такого права «вето», доказывали, что игнорирование подавляющего большинства стран-членов ООН и предоставление исключительных прав сверхдержавам приведет к образованию своего рода мирового правительства из их представителей.

Будучи экономически более сильными, США зачастую опережали СССР в достижении своих внешнеполитических целей. В марте 1947 г. была провозглашена Доктрина Трумена, и трудно было не заметить, что основы ее были заложены годом раньше. Еще через три месяца Государственный секретарь Джордж Маршалл, выступая перед выпускниками Гарварда, обозначил первые элементы американской помощи европейским государствам, что позже будет названо Планом Маршалла, а его автор будет удостоен Нобелевской премии мира. В марте 1948 г. пять стран — Бельгия, Франция, Люксембург, Голландия и Великобритания — подписали в Брюсселе договор о социально-экономическом и культурном сотрудничестве и о коллективной защите. Началось объе-

²⁷ James B. Reston, *Russia Dramatizes Fundamental Rift In Uno. Question of Equal Rights of Nations Is Back Where It Was at Beginning*, — *The New York Times*, 1946, March 31, p. B 3.

динение Западной Европы под эгидой Америки. В мае того же года в Гааге состоялся Европейский Конгресс, на котором председательствовал Уинстон Черчилль. В 1949 г. он принял участие в первой ассамблее Совета Европы, который проходил в Страсбурге. 4 апреля 1949 г. министры иностранных дел США, Англии, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Италии, Португалии, Дании, Исландии, Норвегии и Канады подписали в Вашингтоне Северо-Атлантический договор — НАТО. Через месяц парламент Западной Германии принял Конституцию, и 23 мая было объявлено о создании Федеративной республики Германии. 7 октября того же года была провозглашена Германская демократическая республика на территории советской зоны оккупации.

Передел мира обострялся по мере того, как отношения между США и СССР ухудшались. Берлинский кризис стал апогеем напряженности. США рассчитывали, что монополия на атомное оружие позволит им наращивать давление на СССР. Но неожиданно для американцев в августе 1949 г. СССР провел испытание своей атомной бомбы, а затем даже опередил Америку в испытании водородной. Тем самым страны были поставлены в условия практической невозможности начать открытую войну друг против друга, то есть «войну горячую». Но различия в стратегических интересах, стремление к мировому доминированию не позволяли им относиться друг к другу ни по-дружески, ни даже по-партнерски. Невозможность «горячей войны» направила конфронтацию в русло холодной, где различия в идеологии стали скорее уже декоративными, прикрывая истинные цели обеих стран. Холодная война, таким образом, стала способом мирного сосуществования сверхдержав, отстаивающих свои интересы.

Распад СССР и Варшавского блока, крах коммунизма не изменили, да и не могли изменить структуру американских интересов. Однако это облегчило их защиту, дало возможность расширить сферу мирового влияния США. Российские же возможности обеспечить защиту своих стратегических интересов резко сократились. Каковы в такой ситуации могут быть сценарии развития международных отношений в целом и российско-американских — в частности?

Во-первых, превосходство Америки и ее стратегических союзников будет нарастать, и постепенно все большая часть российской сферы политического и экономического влияния будет переходить к американцам. Эта тенденция наметилась в период с конца 1980-х годов и отчасти продолжается сейчас. Расширение НАТО, война в Персидском заливе, бомбардировки Югославии стали ее реальными выражениями. Для России это не самый благоприятный сценарий, но совсем не гибельный. Наличие сфер влияния не является обязательным условием процветания страны. Так, после краха колониальной системы практически все европейские страны потеряли свои сферы, что не мешает им жить на зависть россиянам. После Второй мировой войны Британская империя утратила 97 процентов от своей довоенной территории, однако Лондон не предпринял никаких попыток вернуть ее, а Черчилль, который возглавлял империю в период распада, остался самым уважаемым политиком в истории страны.

Во-вторых, Россия сама может попасть в сферу влияния другой мировой силы, то есть оказаться в ситуации той же Англии после Второй мировой войны. Такой силой могут быть, например, США, объединенная Европа, Китай или

Юго-Восточная Азия. И тогда международный порядок будет определяться взаимоотношениями между ними, Россия утратит самостоятельность внешней политики, став самым большим в истории сателлитом. Элементы такого развития мы наблюдаем уже несколько лет. К примеру, намерение администрации Клинтона выйти из договора по ПРО 1972 г. является проявлением такой тенденции.

Это также не сулит России ничего хорошего, однако не является катастрофой. Большинство государств мира, в том числе развитых стран Запада, не могут позволить себе иметь независимую внешнюю политику, однако это отнюдь не ведет к ликвидации национальной независимости и суверенитета, чем пугают народ российских националисты. Ни Испания, ни Португалия, выдвинутые президентом Путиным в качестве ориентира развития для нынешнего поколения россиян, не отличаются самостоятельностью своих внешнеполитических линий — более того, стараются держаться «в тени» на мировой арене, что однако не мешает их народам чувствовать себя вполне уверено и безопасно.

Предпринимаемые же сегодня российским руководством попытки сыграть на разногласиях Европы и США не принесут успеха. Надо быть абсолютно наивным и не знать истории, чтобы предположить, что европейцы и американцы позволят России посорить их. Единство Запада основано на доверии и предсказуемости, которую Россия в последний раз демонстрировала в Первой мировой войне. США никогда не предавали своих союзников, и европейцы никогда не забудут ни Доктрины Трумена, спасшей их от коммунизма, ни Плана Маршалла, который великий европеец Уинстон Черчилль назвал «самым благородным актом в истории»²⁸ и который спас их от голода и разрухи. Американцы, со своей стороны, никогда не перережут свои европейские корни. Разногласия между странами западной демократии, будут, естественно, возникать постоянно, но никогда не приблизятся к критическому уровню раскола, так как эти страны располагают изощренным механизмом разрешения своих противоречий и конфликтов. Последним и очень впечатляющим примером этого может служить изящное решение «проблемы» Йорга Хайдера в Австрии.

В-третьих, стабилизация внутренней ситуации позволит России если не вернуть утраченное мировое влияние, то, по крайней мере, сохранить оставшуюся еще сферу международного влияния. Но в таком случае нельзя будет избежать конфликтов с мощными международными силами, в первую очередь — с США, Европой и, возможно, с Японией, Китаем и Юго-Восточной Азией. Конфликтов, естественно, не военных, а политических и экономических. Возможности России повернуть развитие в этом направлении очень невелики, хотя похоже, что с приходом Владимира Путина Кремль стал демонстрировать элементы политической воли. Сегодня у России практически нет союзников на международной арене, военные, научно-технические и экономические возможности страны гораздо ниже, чем 15 лет назад, нет идеи, способной увлечь как собственный народ, так и хотя бы часть международного сообщества, репутация страны в мировом общественном мнении и уважение к ней находятся на самом низком уровне за всю новейшую историю.

²⁸ Merle Miller, *Plain Speaking. An Oral Biography of Harry S. Truman*. Berkley Books, New York, 1984, p. 249.

Политика России — политика крайностей и непредсказуемости, все боятся нашей вражды, но никто не верит в нашу дружбу. Надо быть реалистами: усиление роли России на международной арене поддерживают сегодня только страны и режимы, заинтересованные в росте непредсказуемости международного развития. Страны, стоящие в оппозиции американскому доминированию, в том числе, Китай, Индия, Индонезия, Япония и т.д., никогда не сделают ставку на непредсказуемую и криминальную Россию, более того — вряд ли поспешат приглашать ее в свой «антиамериканский клуб». Поэтому российская антиамериканская политика в том виде, в каком ее пытается проводить новая кремлевская администрация, является неумной. Самой большой христианской стране не стоит стремиться к уничтожению самой сильной христианской страны. Если исчезнет США, то Россия в одиночку окажется между мусульманской наковальней и китайским молотом. Китай в течении жизни одного поколения вполне способен вернуть Россию в границы до походов Ермака. Мы только что проиграли Китаю борьбу за долгосрочные американские инвестиции — как три десятилетия назад проиграли эту борьбу Юго-Восточной Азии, а в начале 1990-х — Латинской Америке. Попытаемся выиграть ее хотя бы у Африки.

Россия и Америка никогда не будут друзьями в политике, слишком велика разница их интересов. Кто бы ни занимал Белый дом, Гор или Буш, американская политика никогда не будет пророссийской. Кто бы ни сидел в Кремле, Россия никогда не будет проводить проамериканскую политику. Мы будем находиться в постоянном конфликте, который идет на пользу всем. Вероятность того, что по инициативе США такое противостояние перейдет из холодного в горячее, равна нулю. России остается обеспечить то же самое.

Холодная война — это надежный мир, основанный на противовесах и сдержках. Перефразируя Гарри Трумена, можно сказать, что такая война — это не матч, после которого команды разъезжаются по домам, а скорее непрерывный чемпионат, где можно выиграть или проиграть игру, но весь турнир нельзя ни проиграть, ни выиграть, ни даже остановить. То есть речь идет о необходимости продолжения политики разумной холодной войны, очищенной, конечно, от всякого рода идеологической мишуры. Войны, которая, заметим, принесла Европе самый длительный во всей ее истории период мирной жизни.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ — АХИЛЛЕСОВА ПЯТА СОВРЕМЕННОГО ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА

Беседой с академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым редакция «Континента» открывает новую рубрику, которая, надеемся, станет постоянной на страницах журнала — причем почти во всех его разделах.

Рубрика задумана как цикл бесед с выдающимися представителями современной российской и мировой культуры — политиками, социологами, экономистами, учеными, философами, религиозными деятелями, писателями, художниками, артистами, музыкантами и другими творцами искусства и знания, которые поделятся с читателями журнала своими представлениями о том, что, с их точки зрения, происходит существенного, эпохально значимого и в мире вообще, и в сфере их профессиональной деятельности на рубеже XX и XXI веков — и даже шире: на рубеже тысячелетий. Мы полагаем, что возможность такого знакомства со взглядами людей, которые представляют и в большой мере олицетворяют собою сегодняшнюю общественную, научную и художественную мысль России и Запада, будет по достоинству оценена нашими читателями. В этом номере читатель найдет эту новую рубрику и в разделе «Искусство», где публикуется обширное интервью знаменитого российского дирижера, Художественного руководителя театра «Новая опера» Евгения Колобова. Главному редактору «Континента» Игорю Виноградову.

Беседа с членом редколлегии «Континента», известнейшим современным лингвистом, литературоведом и культурологом, лауреатом Государственной премии академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, который живет и работает сейчас в Лос-Анджелесе и Москве, состоялась в сентябре этого года, когда он был в России (здесь он — директор Института мировой культуры МГУ). Нам было особенно интересно услышать его ответы на наши вопросы о том, какие глобальные проблемы актуальны сейчас для человечества на рубеже веков, не только потому, что обширная энциклопедическая образованность, выдающийся ум и немалый опыт общественной деятельности этого человека (он был, в частности, депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва и членом знаменитой «межрегиональной группы») позволяют ему видеть картину современной мировой жизни в очень широком и масштабном охвате, но еще и потому, что этот истинный россиянин и патриот, оказавшийся вынужденным по не зависящим от него и не подвластным ему обстоятельствам жить в Америке, получил тем самым возможность длительное время наблюдать эту картину не из России, а из самой, можно сказать, Мекки современной западной цивилизации.

Беседа длилась долго и разделилась, в общем, на две большие части — о сегодняшнем мире в целом и о сегодняшней России, ищущей себя в этом мире. При всей связанности этих тем, они все же достаточно самостоятельны, и мы решили поэтому

дать в этом номере только первую часть беседы, а «русскую» — в одном из следующих, где она найдет более органичное сочетание с другими материалами раздела.

Первая часть интервью протекала в форме почти не прерывавшегося нашими вопросами или репликами монолога ученого — это была, в отличие от второй части, проходившей гораздо более диалогично, почти лекция. И мы решили, что именно в таком — цельно-монологичном — виде лучше всего и представить ее читателю — сохраняя, естественно, все непосредственно-разговорное течение этой живой речи нашего гостя, но и не отвлекая внимание читателя от ее сути педантичным воспроизведением с магнитофонной записи всех наших попутных и, в сущности, не имевших в данном случае сколько-нибудь важного значения реакций, замечаний, уточняющих вопросов и т.п.

Вы знаете, меня очень беспокоят, конечно, так называемые глобальные проблемы. Я давно на эту тему начал думать — и, должен сказать, не без влияния покойного Петра Леонидовича Капицы, на которого, в свою очередь, очень сильное впечатление произвели мало кому тогда известные (как я сейчас узнал на Западе), и мало на кого повлиявшие выводы так называемого Римского Клуба — объединения ученых, которые уже тридцать лет назад для выяснения того, что может быть с человечеством в XXI веке, использовали компьютеры. Их выводы были очень тревожными — они наметили четыре важнейших проблемы, каждая из которых (даже и независимо от всех других) — то есть четыре совершенно разные причины — может подвести человечество в XXI веке к тяжелейшему кризису. Интересно, что мы с вами говорим об этом сегодня, потому что у них один из главных пунктов был энергетический кризис, в частности, нефтяной, а мы видим, как вся Европа, да и Америка буквально задыхается уже сейчас из-за очередного обострения этой проблемы. Так вот — они предсказали все это еще тогда, когда никто и не думал, что энергетический кризис может принять такие размеры.

Кроме того они предсказали демографический взрыв, который мы тоже начинаем уже наблюдать и в Африке, и в Индии, где рост населения оказался колоссальным, хотя здесь есть некоторые поправки к их расчетам, которые позволяют предположить, что, может быть, XXI век обойдется в этом отношении без особых все же катастроф. И что человечеству не обязательно попадать непременно в какие-то беды и бури, чтобы прекратился тревожный рост народонаселения. Кстати, — с этой точки зрения часто высказывающиеся опасения в связи с падением роста народонаселения в России не очень, как мне кажется, основательны, потому что все развитые страны прекращают такой рост. Так что сегодняшняя ситуация с народонаселением в России — это, наоборот, свидетельство того, что мы не принадлежим третьему миру, как это многие в припадке пессимизма давно уже объявили. Это все-таки не так. По этому и по некоторым другим важным признакам мы принадлежим все же к наиболее развитым странам, что естественно.

Затем тоже, казалось бы, очевидная вещь, но для нас ставшая реальностью лишь после Чернобыля, — это разные формы ядерных катастроф и то, что связано с нечаянной и чайной радиоактивностью. Ну и, наконец, последнее,

но не менее существенное, — это как прокормить все человечество, тем более растущее. Отдельные части человечества очень хорошо накормлены, даже, может быть, перекормлены. А проблема помощи бедным пока что не решена и решается все еще на очень низком уровне.

Вот это то, о чем предупреждал Римский клуб. И что уже тогда было известно Капице. Он всячески пытался расшевелить в связи с этим наше, как нынче говорят, неподвижное начальство. И расшевелил их настолько, что они согласились напечатать его статью на эту тему в «Вопросах философии». Так что он хотя бы оповестил в нашей стране тех, кто способен был его услышать, о том, что такие трудности есть. На Западе, как я уже сказал, это лишь позднее стало широко известно

К сожалению, накопились и другие общие проблемы. Я с этим сталкивался, не только читая что-то, но и принимая посильное участие в нескольких мероприятиях, задуманных для того, чтобы если как-то и не остановить опасные тенденции развития современного мира, то начать хотя бы серьезно их обдумывать. Так, лет шесть тому назад меня пригласили на совещание экспертов Организации Объединенных Наций в Словении. Это был момент, когда уже начались тревожные события в Югославии, мы уже видели беженцев, и хотя Словения не была вовлечена в военные действия, напряжение чувствовалось. Наше совещание открыл министр иностранных дел Словении, который мне очень понравился — умный молодой человек, который в разговоре со мной — он хорошо говорит по-русски — крайне пессимистично оценил всю ситуацию. Вскоре (мы там еще были) он был снят со своей должности, так что я понял, что быть слишком умным и в Словении не всегда хорошо. Совещание было очень интересным, это было собрание самых разных людей из разных стран — из Азии, из Америки, из Европы, и главная идея была — подготовить материалы для встречи в верхах, которая состоялась через год в Копенгагене. На нее, к сожалению, не приехали ни Ельцин, ни Клинтон, а тема была как раз одна из самых важных — как организовать продовольственное снабжение всего мира. Впрочем, тот факт, что они не приехали (хотя то, что их отвлекло тогда, было, как мне кажется, куда менее важным), тоже очень показателен. И вот мы образовали тогда небольшую группу независимых наблюдателей, которые время от времени собираются для обмена мнениями и работы. Такие же семинары несколько раз устраивались и в Копенгагене — их, по инициативе одного французского специалиста, устраивало датское правительство. Так что встречи по этой проблеме стали более или менее регулярными, и было издано несколько соответствующих томов, в которых я тоже принимал участие — в выработке некоторых коллективных текстов.

Все это я говорю к тому, что я довольно много обсуждал эти глобальные проблемы и в связи с такими встречами, и на них самих с целым рядом самых разных специалистов — с социологами, экономистами, юристами и т.д. — словом, с людьми, которые так или иначе знают ситуацию в целом, а свою часть проблем — еще и профессионально, как специалисты. И если говорить о выводах, к которым я пришел в итоге, то в двух словах я сформулировал бы их так. Капитализм стал глобальным, весь мир охвачен единой очень жестокой

капиталистической системой, которая, увы, гораздо больше похожа на то, что мы с вами хорошо знаем по нашему университетскому образованию еще сталинских советских времен, — то есть на классический капитализм с обнищанием рабочих, необычайным социальным расслоением на очень богатых и очень бедных и т.д. — со всем тем, что совсем недавно еще считалось вроде бы преодоленным. Отчасти этот мираж «хорошего капитализма» оказал свое действие, я думаю, и на тех, кто начинал реформы у нас. Но это было, конечно, результатом явно недостаточной осведомленности, потому что эти тенденции и во всем мире, и в Америке стали достаточно заметны уже к концу 80-х гг. — то есть ко времени, когда мы приступали к реформам. А сейчас ситуация в этом отношении во всем мире очень обострилась. То есть, с одной стороны, мы имеем колоссальные технические успехи, мы вступили в пору, когда все развитые страны уже совсем по-другому, чем раньше, структурируют свое хозяйство, а с другой стороны — и это мучительно тяжело для всего мира, — социальные проблемы оказались все-таки нерешенными.

Откуда возник мираж, что при капитализме можно их решить? В основном — из-за очень положительных последствий длительного периода успехов европейской социал-демократии. В тех странах Европы — таких, как Франция, Германия, отчасти Италия, — где социал-демократы играли большую роль или в правительстве, или в парламенте, ими — или под их давлением — был проведен целый ряд разумных, в общем, реформ, которые были ориентированы ну если и не на уравнивание богатых и бедных, то, по крайней мере, на некоторое стирание слишком резких границ. В Германии, между прочим, это до сих пор как-то чувствуется. Но в целом в мире ситуация в этом отношении все-таки очень плоха, и ситуация в Америке просто отчаянная. И здесь я опять не могу не вспомнить наших реформаторов, хотя вовсе не хочу как-то специально ополчаться на них. У них были, конечно, и заслуги, но все-таки избрать Америку как некую модель, что, несомненно, у них было (приглашение американских советников и т.п.), — это была, я думаю, все-таки ошибка. Посудите сами. В Америке население близко уже к 300 миллионам, но из них порядка 80 миллионов практически не обеспечены медицинской помощью. У 40 миллионов людей вообще нет никакой медицинской страховки, а это означает, что они не могут делать никаких сложных операций, у них гигантские трудности с получением лекарств, в связи с чем правительство даже пытается в последнее время предпринять какие-то меры, но наталкивается на мощное сопротивление монополий. Америка — это страна, где на медицину тратится просто огромная часть национального дохода, а эффект гораздо меньше, чем во многих других странах. Практически сегодня в Америке совсем хорошее лечение — такое, к которому мы как раз более или менее привыкли, при всем том, что у нас была менее развитая техника, — доступно лишь сверхбогатым людям. Не просто богатым, а сверхбогатым. Скажем, университетский профессор высокого класса, получающий около 100 тысяч долларов в год, весьма большую часть этих денег тратит на медицинскую страховку, но она не покрывает полностью расходы ни на серьезные лекарства, ни на какие-нибудь серьезные операции, которые могут оказаться необходимы для любого из нас. Так что ситуация

явно ненормальная, а если спускаться ниже, то мы придем к негритянским гетто и к другим, к тому же все увеличивающимся трущобным ареалам Америки, отчасти нелегальным. Увеличивающимся и нелегальным — потому что каждый год границу Америки нелегально пересекает несколько миллионов просто нищих и голодных мексиканцев, которые за бесценок готовы работать, где угодно, не имеют никаких прав и вообще ничем не обеспечены, так как у них нет вида на жительство и их можно эксплуатировать тем самым классическим образом, который был описан во всех марксистских учебниках политэкономии. Я не хочу, разумеется, реабилитировать Карла Маркса, но, вообще говоря, то, что мы его когда-то читали, мне, например, помогает понять, что там, в Америке, происходит. Я имею в виду, понятно, критическую часть его теории, потому что у него, несомненно, очень слаба была часть позитивная, но мы знаем, что находить рецепты спасения гораздо труднее, чем видеть недостатки, тем более — ужасные вещи.

Вот это, пожалуй, и есть главное и самое страшное в современном глобальном капитализме, и это прямо связано, несомненно, с современным уровнем техники, стимулирующим образование гигантских монополий. И это мы опять-таки в свое время «проходили», не правда ли? Хотя тогда это имело несколько иные причины. Но так или иначе, а сегодня монополии действительно все время увеличиваются — это сенсации, которые просто не сходят с первых страниц газет. Снова и снова какие-то огромные объединения в разных странах сливаются друг с другом, и глобальность современного капитализма — это и есть прежде всего интернациональность монополий, которые контролируют всю мировую экономику.

К сожалению, картина настолько плоха во всем мире, что это просто нельзя уже не видеть, а мы между тем устремились из своей и в самом деле, конечно, достаточно уродливой формы социализма (а в других терминах — государственного капитализма, где главным эксплуататором стало тоталитарное государство) прямоком именно в этот современный капитализм, минуя куда более мягкие социал-демократические реформы — по старой, видно, большевистской привычке непримиримой борьбы со всякой социал-демократией... Так или иначе, но выбирали мы действительно лишь между тоталитарной военизированной экономикой и современным капитализмом, а ничего социал-демократического так и не попробовали. И поэтому все, что говорится сегодня о незащищенности основной массы нашего населения, совершенно верно. Это, конечно, гигантский просчет, связанный именно с недостаточным знанием проблемы. Так что я считаю, что за это, в сущности, очень большого упрека заслуживает и вся наша интеллигенция, которая не помогла серьезным образом продумать то, что надо было тогда решать. Я, между прочим, в свои депутатские годы со многими учеными — и, в частности, с депутатами-учеными — говорил о том, что мы все должны все-таки отвечать за экономику и за все те решения, где требуется некоторый запас знаний, который нам при желании нетрудно получить. Но, к сожалению, эта идея тогда, в общем, ни у кого не имела успеха. То есть большинство считало так — ну что этим заниматься, все и так ясно — нужно просто сделать так, как в Соединенных Штатах, и через не-

сколько лет мы расцветем, получим быстренько свой средний класс и т.д. А между тем он сегодня в Америке как раз постепенно исчезает, потому что гигантские монополии создают ситуацию, в которой средний и главным образом малый бизнес испытывает массу трудностей. Он продолжает, конечно, что-то делать, но я знаю, что в самых передовых областях производства среднему и малому бизнесу (особенно не представленному на бирже) сегодня очень тяжело приходится.

Конечно, не все в современной действительности той же Америки так уж мрачно. Существенно, например, что при всех тех проблемах, о которых шла речь, современная Америка испытывает непрерывный экономический бум, как ни парадоксально такое словосочетание. И демонстрирует необычайное процветание. Это процветание касается, конечно, не всего населения. Но все-таки почти большинства, потому что цифры, которые я привел, — они ведь означают, что при очень резком расслоении на бедных и богатых бедных все-таки гораздо меньше, чем богатых, хотя это и десятки миллионов. А среди богатых есть к тому же несколько миллионов миллионеров, а среди миллионеров — достаточно много миллиардеров. И это ведь состояния в долларах, то есть все-таки поистине колоссальная сумма. Капитал самого, видимо, богатого человека на земле, которого государство никак не может одолеть, компьютерного сверхмонополиста Билла Гейтса, подходит к 100 миллиардам долларов, а это сумма, которая соответствует, вообще говоря, нашему бюджету. И она в руках одного человека. Кстати сказать, он сам-то ведет себя как раз замечательно — колоссально много помогает всему миру, очень большую часть из этих своих миллиардов (заработанных его интеллектуальным трудом) отдает Африке как самому бедному континенту, очень много делает для детей в разных странах и т.д. В общем, он и его жена — действительно образцы человеческого поведения, а государство, увы, тем не менее с ним борется, что по-человечески на самом деле очень глупо, потому что в результате добьются только того, что вместо него будет какой-нибудь мерзавец, который будет примерно столько же денег иметь, но никому не будет помогать. К сожалению, в Америке просто не существует законов, которые способствовали бы благотворительности в таких больших размерах, в каких он ею занимается. Его нужно ведь было бы, наоборот, как-то поощрить и наградить, давать ему какие-нибудь сверхпремии за то, что он показывает путь, как нужно распоряжаться деньгами. И это тоже, конечно, из недостатков Америки — но на этот раз уже не капитализма, а американской государственной системы, которая сложилась давно и не знает, что делать в современной ситуации.

Но вернемся к буму. Итак, имеется гигантское процветание, имеются и такие вот огромные капиталы, как у Билла Гейтса. Откуда? Почему? По-видимому, ответ довольно простой: потому что общество в таких немногих пока странах, как Америка, стало полностью информационным. Вся экономика, как и вообще вся жизнь общества, подчиняется сегодня современной технике передачи информации. Реально это значит, что все те американцы, которые не входят в упомянутые десятки миллионов бедных, то есть больше половины населения, имеют персональные компьютеры, подключенные к сети Интернета, и хотя

бы полчаса или несколько минут в день непременно проводят за ним, просматривая конъюнктуру цен — где что продается по наиболее дешевой цене. Исследования обнаружили, что, оказывается, почти нет людей, которые способны были бы в этой ситуации не дать слабину и не выложить тут же свою карточку, заказав на ее номер какой-нибудь товар по найденной более дешевой, чем обычно, цене. Это ведь тоже делается мгновенно, по Интернету, — сейчас эта система покупок повсеместна. И пусть это самая маленькая вещь, но каждый американец ежедневно через Интернет посылает заказы на что-то. А ведь основная проблема любых кризисов — это то, что общество вдруг почему-то перестает покупать. Но пока что Интернет процветает, потому что он кардинально изменил психологию среднего потребителя, что до сих пор изумляет всех специалистов. Ведь когда много лет так все поднимается, то — по всем канонам — неизбежно должен был бы давно уже наступить спад, а его все не происходит. Деньги вливаются в экономику, экономика развивается, богатство общества растет, спрос соответственно тоже растет и спад не наступает — и все именно по этой психологической, в сущности, причине.

Но ведь одновременно все это ведет и ко все более и более углубляющей-ся пропасти между богатыми и бедными, которых в Америке хотя и меньше, чем богатых, но все же достаточно, чтобы социальное напряжение росло, а не понижалось и стабильность общества становилась все более проблематичной*.

А что можно сказать, если с этой точки зрения посмотреть на весь мир и учесть при том глобальные проблемы, — и те, которые были обозначены Римским клубом и некоторые другие, ставшие очевидными сейчас (я имею в виду неостановимый бурный рост биологических открытий, прямо касающихся человека, клонирования его органов, использования его эмбрионов и раннего на них воздействия, физического и химического вторжения в мозг человека, а также растущих технических возможностей его замены роботами, которые получают средства самостоятельного размножения)?..

Вот почему, думая о современном мире, еще только начавшем искать пути решения этих проблем, я все-таки испытываю достаточно тревожные чувства. И считаю, что именно социальные проблемы, это самое слабое место современного глобального капитализма, способны обернуться для грядущего мира XXI века наибольшей и едва ли не самой грозной опасностью — как в развитых странах, так и в странах так называемого третьего мира. И, может быть, особенно в области их взаимоотношений друг с другом, отягощенных и демографическим взрывом, и кризисом продовольствия, и энергетическим кризисом и возможными ядерными (экологическими, а не дай Бог и военными) или химическими и биологическими катастрофами, к которым в XXI веке могут оказаться причастны уже не одни только развитые страны.

Как избежать этой опасности? Способен ли к этому современный капитализм и если способен, то как?

* Я редактирую этот текст в середине октября, когда в Лос-Анджелесе, где я живу, только что кончилась длившаяся несколько недель забастовка, остановившая общественный транспорт и парализовавшая работу нескольких больниц города. — *Вяч. И.*

Если бы я знал ответ, я был бы не просто пророком, но, может быть, спасителем человечества (должен признаться, что необходимость найти пути его спасения преследует меня два последних десятилетия). Однако рецепты, как я уже я говорил, находить труднее, чем видеть недостатки, и я не хотел бы уподобиться Карлу Марксу. Но все-таки, мне кажется, нужно, видимо, искать какие-то новые, рассчитанные уже на современный уровень капитализма, способы продолжить традицию социал-демократических реформ, способных сгладить и преодолеть эти противоречия, казавшиеся когда-то уже преодоленными, но вновь и с еще большей остротой проявившие себя на новом этапе развития капиталистической системы. На первый план должны выступить проблемы нравственного поведения по отношению к Другому (человеку, этнической или религиозной группе, социальному классу, государству).

Хотелось бы передать тревогу по этому поводу сегодняшней молодежи. Ей предстоит решать эти вопросы, и я верю в то, что решение может быть найдено на пути преодоления эгоцентризма отдельных людей и целых социальных групп и стран, наделенных военной и экономической властью. Но мы, люди старших поколений, сформировавшиеся и прожившие основную часть жизни в XX веке, должны четко сформулировать проблемы, с которыми мы столкнулись, не умалчивая о тех трудностях, которые многим из нас могут казаться непосильными.

Марк БАРБАКАДЗЕ

ЭКЗАМЕН НА ГРАЖДАНСКУЮ ЗРЕЛОСТЬ

Будущего у этих строк может не быть. Но будущее будет у человечества. И верная память о прошлом есть участие в этом будущем. Мы все его несем в своих руках.

*Архиепископ Иоанн Сан-Францисский
(Шаховской)*

Звонок из отдела кадров не удивил и не насторожил: мало ли что может понадобиться вечно серьезному от бдительности начальнику.

— Вы не могли бы зайти на минуточку?

— Конечно, зайду. Хоть сейчас.

— Нет! Нет! Никакой спешки, если вам удобно — давайте завтра в 14.

— Договорились.

А кошки все-таки скребут. Ничего хорошего от вызова в кадры не жди. Хоть я и преподаю уже два десятка лет в институте (а если считать учебу, так и все двадцать пять под их надзором нахожусь) и все, вроде, они про меня знают, но ведь была уже в 67-ом году промашка.

Случайно заглянув в почтовый ящик у мамы на квартире, я обнаружил там письмо — повторное — из Военной Прокуратуры Московской области с вопросом: не является ли Барбакадзе Шио Васильевич ее родственником?

— Что такое, почему повторное?

Потупилась, внутренне сжалась как всегда, когда не хочет говорить.

— Первое я выбросила.

— ???

Мало ли что, от них всего ждать можно.

И это через пятнадцать лет после смерти Сталина, больше десятка лет прошло после «ихнего» XX съезда и всех реабилитаций, а все боится. Может быть и правильно делает. Мы не они, они не мы.

— Ладно, схожу сам.

**Марк
БАРБАКАДЗЕ**

— родился в 1940 г. в Москве. Окончил Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова и механико-математический факультет МГУ. Кандидат экономических наук, доцент, член-корреспондент Международной Академии Информатизации. Преподавал в Плехановском институте и других ВУЗах Москвы. Автор нескольких книг и учебников, а также многих статей по проблемам экономической кибернетики. Живет в Москве.

— Ну, сходи, — не глядя на меня и без всякого энтузиазма.

На Арбате доброжелательный полковник показал мне дело отца.

— Вы прочтите, а то мы их уничтожаем. Сами знаете, сколько их, хранить негде.

А, думаю, суки, а как же с Вашим — «Хранить вечно»? Но это про себя.

В деле ничего особенного: постановление об аресте, никаких доносов (а чего там доносить — и так все ясно: попал в плен, и готова пятьдесят восьмая), пара протоколов допросов и постановление Особого совещания при НКВД СССР: за добровольную сдачу в плен (по политическим мотивам) содержать в ИТЛ на период войны.

Во, дают: самолет сбит над столицей Финляндии, экипаж выбрасывается с парашютами — и при этом «добровольно» и «по политическим мотивам».

Тоненькое дело — десятка страниц нет. Да и то правда: чего бумагу изводить, когда и так все «как на ладони»?

Выдает мне полковник справочку с печатью о реабилитации. Дело пересмотрено, постановления отменены, дело прекращено за отсутствием состава преступления, реабилитирован посмертно. Все чин-чинарем. И прошло-то всего двадцать пять лет после приговора и пятнадцать после смерти.

— Знаете что? — любезно советует полковник. — Вы снимите копию и отнесите на работу в отдел кадров, чтобы Вас не считали сыном врага народа.

Какой заботливый! Но отнести, наверное, надо.

Снял копию, захожу в отдел кадров, кладу начальнику на стол. Он читает, смотрит на меня дикими глазами, и только тут я начинаю понимать, что свалил дурака — донес на самого себя. Ведь у них ни в одном документе, ни в одной анкете про посадку отца не было ни слова: умер в 1952 году, и все. А теперь... Но делать нечего — начальник уже сунул бумажку в мое личное дело. Остается надеяться, что времена уже другие и как-нибудь пронесет. Это не то, что раньше, когда мать из-за мужа-зека выгоняли с работы каждый раз, как только засекречивали тему в ее цементно-бетонных НИИ (теперь, поди, никто и не знает, что это такое — засекречивание). После ее смерти, разбирая бумаги, я наткнулся на трудовую книжку и обомлел: за пять послевоенных лет она сменила едва ли не десяток мест работы. Да и отца перед смертью уволили из-за секретности: в лабораторию, где он работал, пришел заказ на разработку нового лака для лычек на генеральские погоны. Интересно, сколько денег отвалил бы вечно не дремлющий и стоящий на стреме Пентагон за рецепт этого лака?..

Но не пронесло. Уже в следующем году партком не пустил меня на работу за границу — на Кубу.

— А за что сидел ваш отец?

Сначала валяю «ваньку»: ничего не знаю, отец умер, когда я был ребенком, а мать мне ничего не рассказывала — чем тут хвастаться или гордиться?

— Не может быть! Неужели так ничего и не знаете?

Это уже с намеком: мы-то знаем — личное дело мое, в зелененьком таком скоросшивателе, у них на столе лежит, я его сразу увидел, как вошел.

Начинаю заводиться.

— Ни за что сидел. Раз реабилитирован, значит ни за что!

— Ну а все-таки, по какой статье?

— Еще раз: если реабилитирован, значит ни за что!

— Да... Не откровенны Вы с парткомом товарищ Барбакадзе!

Так и не дали характеристики... Правда, через год пустили в Польшу со студентами. Но в это время секретарем был уже Абалкин, который знал меня еще со студенческих времен: я был в редакции, а он, еще аспирант, курировал нас от факультетского партбюро. Однажды даже получил из-за нас нахлобучку: делали праздничную стенгазету, прибежал вечно спешащий Леонид Иванович, посмотрел на почти законченную газету, сказал: «Вешайте!» — и ушел. Тут мы сбежали на Валовую за бутылкой, выпили, и Райка Врачева решила украсить передовицу нашего декана Соловьева, ежегодно описывавшего свои революционные подвиги (как потом оказалось, вполне реальные: через много лет прочитал в одном из сборников «Встречи с прошлым» его дневники — очень скучные, но с весьма интересными реалиями времени). И нарисовала около передовицы симпатичного и хамского черного кота (как бы предвосхищая булгаковского Бегемота), сидящего около оплившей свечи и с грустью читающего деканские бредни. Так и повесили. Происходило это 6 ноября поздно вечером, в институте никого не было. Газета провисела все праздники, а утром 9-го поднялся дикий шум. Газету тут же сняли, а Абалкина — на ковер. Чем уж там он оправдывался, не знаю, но нам не сказал ни слова упрека. К тому же он слыл (или хотел слыть) либералом. Во всяком случае, был в контрах с этим мракобесом Мочаловым: чтобы понять, что это за фрукт, достаточно знать — **ПУЗЫРЬ** (так его звали в университете за крохотный рост и отменную толщину) за год пребывания в секретарях парткома МГУ сумел защитить докторскую, получить новую квартиру и орден Ленина — молодец! Больше всего мне нравилась его сентенция: двойка — брак преподавателя!

Из Польши, между прочим, привез я свой первый тамиздат. Оскар Старжинский, граф с родословной аж с XIV века и коммунист во втором поколении, подарил мне первый том из карманного шеститомника Солженицина, который я спокойно провез через границу — нас со студентами практически не шмонали.

А вот при выезде из Германии, тогда еще Западной, в 89-м году, незадолго до крушения Берлинской Стены, нас шмонали по-черному, но ... безрезультатно. Мы были в Ульме с группой в несколько человек по частному приглашению местных учителей. Они повезли нас на экскурсию в Мюнхен и, конечно, повели в Пинакотеку. Иосиф Раскин, ныне всем известный как «хулиганствующий ортодокс», а тогда не менее известный книгоноша, вместо музея пошел искать книжный магазин Нейманиса, торговавший русскими книгами. И нашел, и повел всех туда после музея. Цены там были приличные, при нашем безденежье — не по зубам. Но в углу стоял здоровенный шкаф, забитый старыми, неходовыми книгами.

Буржуи недорезанные и зажавшиеся! В Москву бы такой неходовой товар.

Короче говоря, мы с Иосифом набрали «макулатуры по-ихнему» два больших ящика, напихав туда все, что можно и не можно — от Розанова (про которого тогда большинство и не слыхивало), нью-йоркского трехтомника Мандельштама и «Доктора Живаго» до Конквеста, Авторханова и Ивинской. В Бресте пограничники хотели отобрать оба ящика, но мы начали качать пра-

ва и пошли к начальству. Усталый майор просмотрел несколько безобидных книжек сверху: какие-то «Опавшие листья», «Жатва скорби» и тому подобная сельскохозяйственная муть (самую крамолу мы положили на дно), и сказал, что издания «Посева» ввозить в Союз запрещено. Мы к тому времени обнаглели настолько, что потребовали показать бумагу. Порывшись в столе, майор взбеленился:

— А, суки, сами не знают, что делать — каждую неделю присылают новые списки, что пропускать, что не пропускать, а мы отдувайся! Валите вы со своей макулатурой в...

Посчитав это за разрешение, мы быстренько свалили. Ну и времена пошли.

Но до этого было еще далеко. Кошки скребли не зря... Когда я на следующий день открыл дверь в кабинет начкадров и увидел сидящего за его столом молодого хмыря, то сразу понял, что ничего хорошего от этого визита ждать не следует. Такой ослепительной стальноразбойной улыбки, с которой начальник двинулся мне навстречу с протянутыми руками, ни до, ни после мне не выпадало.

— Вот, познакомьтесь: Олег Евгеньевич, наш куратор от Комитета Государственной Безопасности (так все торжественно и выговорил без всяких несерьезных и уничижительных сокращений, которыми между собой мы именовали сие учреждение: комитет, контора, ге-бе, лубянка и пр.). Прошу любить и жаловать! Ну, Вы тут располагайтесь, я Вам мешать не буду.

И — шасть за дверь. И снаружи замком шелкнул — это, чтобы нам и другие не мешали.

— Давайте знакомиться. Я капитан КГБ, работаю в Москворецком отделении, курирую Ваш институт (вот короткая у нас память, сегодня бывший куратор от ГБ Ленинградского Университета — президент, т.е. куратор всех нас — и ничего). Про Вас мы много знаем, но расскажите сами свою биографию.

Чего ж ему про меня не знать: зелененькая папочка перед ним лежит. И вот что тут делать: сразу вставать на дыбы не с чего, эго дело биография. А с другой стороны — фамилию свою не называет, удостоверение не показывает, зачем вызвал, не говорит. Хотя в святая святых любого советского учреждения кого попало не пустят.

Ладно, посмотрим, что будет дальше. И начал излагать автобиографию. Не перебивает, вопросов не задает, слушает внимательно. Видно, проверяет, не утаю ли чего. А мне чего таить? Они, действительно, и так все знают. Биография у меня коротенькая и не очень интересная: родился, поступил в школу, закончил школу, поступил в институт, закончил институт, оставили на кафедре — вот и работаю двадцать лет на одном месте.

— Про личную жизнь не нужно?

— Нет, нет.

— Ну, тогда все.

— Не могли бы Вы дать характеристику некоторых своих знакомых?

— Отчего ж не могу? Извольте.

А сам себе думаю: про кого же капитан хочет узнать?

— Знаете Вы такого Бирмана?

— Это какого Бирмана, их много?

— А который в Америке?

Ну, уж чего я ждал меньше всего, так это такого вопроса. При чем тут Бирман и как мне его не знать, если он моим оппонентом на защите был.

— Игорь Яковлевич Бирман — известный ученый, автор нескольких монографий, одна пользовалась почти скандальной известностью — где про колхозника Рабиновича и токаря Хуцеладзе и с эпиграфами из сомнительных авторов вроде Козьмы Пруtkова, Жюль Мота и лорда Кельвина: и это в научной книге.

— А почему он уехал?

— Спросили бы у него...

— Ну, а Вы как думаете?

— Да никак.

— А все-таки.

Отношения с Бирманом у меня не простые. С одной стороны, я его знаю со студенческих пор и горжусь, что первая его монография была подарена мне автором с надписью весьма лестной для меня — еще студента. Это когда я был на практике у его будущей жены Альбины и по ее просьбе просмотрел рукопись на предмет наличия математических неточностей: я учился на мехмате МГУ. Зато потом он устроил мне перед защитой свистопляску, написав в отзыве официального оппонента буквально следующее: «В недавнем КВН мы видели плакат — **Очень средняя школа № 286**. Так и эта диссертация очень средняя, но как средняя вполне может быть допущена к защите». Шуточки! И это за несколько дней до защиты! Слава Богу, мой шеф Попов уговорил Игоря сделать отзыв менее экстравагантным, и защита прошла нормально.

Но с тех пор прошло больше десятка лет, и сводить с ним счеты с помощью ГБ — извините. Да я и действительно ничего про него не знаю: после отъезда Саша АВ (у нас на потоке было два Саши Смирнова: Владимирович и Дмитриевич, вот мы их и звали АВ и АД) как-то в бане читал одно или два письма, но это было очень давно.

— Я думаю, ему хотелось большего признания — он был вполне на докторском уровне (мало, что ли, у нас докторов полных недоумков — Бирман заведомо не таков), но ему хотелось защитить одну из монографий, а не писать докторскую: без выпендрежа он жить не мог. Тут и нашла коса на камень.

— А Вы знаете, что он работает на ЦРУ?

— Откуда?

Действительно — откуда? Я читал несколько его статей в «Континенте», слышал выступления по вражеским голосам, но про ЦРУ откуда мне знать?

— А когда Вы встречались с ним здесь, о чем беседовали?

— Как о чем? Об экономике, математических методах и моделях, вычислительной технике и тому подобное.

— А о политике?

— Извините, у нас с ним большая разница в возрасте и отношения вовсе не приятельские, чтобы он или я откровенничали про политику. Да и не так часто я с ним виделся: все больше научные семинары и конференции, ученые советы и симпозиумы — там про политику не говорят.

— Ну ладно, а Смоляра Вы знаете?

— Конечно.

Ну вот — это теплее. С ним мы проработали больше десяти лет и были достаточно близки, хотя с тех пор как его «ушли» с кафедры, видимся реже. И смысл беседы проясняется: Липа, небось, втихаря заявление на выезд подал, вот на него и собирают материал.

— А о нем что можете сказать?

— Липа Израилевич Смоляр — известный ученый, автор нескольких монографий, работал у нас на кафедре.

— Вы знаете, что он тоже уезжает в Израиль?

— Нет.

Правда, не знаю. Липа такой темнушник, что многое из предшествовавшего его отъезду он мне рассказал, только когда я приехал к нему в гости в Бостон в 97-м году. А уехал он в 91-м, о чем я узнал буквально накануне. Сейчас же только 83-ий.

— Ну, а о его взглядах что можете сказать?

— Мы с ним резко расходимся во взглядах на возможности и перспективы применения математики и вычислительной техники в экономике: Вы и представить себе не можете, какой он технократ!

— А в политике?

— Он политикой не интересуется. Только один раз я от него услышал каламбур: **курил при жизни трубку мира, но обосрала труп кумира**. Да и это не он придумал.

— О притеснениях евреев он не говорил?

— Так я же не еврей, что ему со мной на эти темы беседовать?

— А что у Вас за странное отчество?

Ну вот, и этот туда же. Должен я ему объяснять, что святой Шио — один первых грузинских святых мучеников, что грузины приняли православие на полтыщи лет раньше русских и вообще, — **когда русские в лесах бродили, мы евангелие переводили...** И Марк — вовсе не еврейское имя: Марк Тулий Цицерон, как и Марк Аврелий, на дух не были евреями. А меня назвали в честь Марка Волохова — кто помнит сегодня такого героя «Обрыва» Гончарова (вот и компьютер подчеркнул Волохова — нет в словаре, как, впрочем, и Цицерона с Аврелием)? Так назвала (в память Волохова) тетка матери, сельская учительница и народоволка в душе, моего двоюродного дядю, умершего ребенком, после чего моя мама, очень его любившая, решила: если у нее родится сын, она назовет его Марком, что и сделала через много лет..

Объяснил.

— Ну, ладно, не обижайтесь.

На что? Что посчитал меня евреем? Так, во-первых, мне не впервой, а во-вторых, — я никогда людей по национальностям не делил, а делил на хороших и плохих.

Этого объяснять не стал, просто промолчал.

— А Завельского Вы знаете?

Снаряды рвутся все ближе. Хотя и Миша, усердно занимающийся изучением английского, тоже мог оказаться в их поле зрения. Для чего нормальному человеку учить язык, если он не намылился линять в страну обетованную?

— Михаил Григорьевич Завельский — известный ученый, автор нескольких монографий. (Капитан мой поморщился). Вот его политические взгляды мне хорошо известны. Вам это интересно?

— Да, да, конечно.

— Завельский — социалист по убеждениям, и когда мы учились в институте, более принципиального члена комсомольского комитета, чем он, не было. С ним до сих пор многие не разговаривают, обиженные его прямолинейностью. Мы с ним много спорили, я пытался его убедить, что его непримиримость уместна в период революции, а сейчас выглядит анахронизмом. Ему бы кожанку, револьвер, шашку, коня — и поскакал делать мировую революцию.

• — Вы видите в этом что-то удивительное?

— Согласитесь, что таких людей сейчас немного.

— Пожалуй. Ну, а что еще?

— А больше ничего.

Так я и рассказал тебе, что несколько чемоданов самиздата Завельский прятал у меня дома, а потом мы их зарыли на даче у приятеля.

— А Рассадина как давно Вы знаете?

Приехали. Витя-то тут при чем? Не еврей, никуда не собирается, язык не учит.... Значит, отъездная тема не главное. А что тогда?

— Со студенческих лет. Мы друзья, он даже сына Марком назвал.

— А про него что скажете?

— Виктор Николаевич Рассадин — известный ученый, правда, с монографиями у него похуже, но его многие очень ценят — например, его научный руководитель академик Аганбегян.

— А о чем Вы беседуете?

— Видите ли, мы с ним постоянно дискутируем и резко расходимся в оценке возможностей разных направлений экономической кибернетики: он убежден в необходимости использования прежде всего статистических методов, а я стою за более широкое применение оптимизационных.

Тут капитан не выдержал.

— Да что это у Вас все известные ученые, и ни о чем кроме науки вы не разговариваете?!

— А что Вас удивляет? Вы что ж со своими коллегами только о бабах и пьянке разговариваете? А на профессиональные темы ни-ни?

— Да, нет. Разговариваем.

— Вот и мы тоже.

— Хорошо. А с кем еще Вы последнее время общаетесь?

Вот те раз! Да мало ли с кем я общаюсь. Про кого же ему рассказать? Надо ведь, чтобы все было правдоподобно и при этом людей не подвести.

— Ну, вот Иванчиков, он крупный ученый-физик, декан физтеха, но последнее время заинтересовался экономикой. Я несколько раз был у него на семинарах в ВЦ Академии наук на Вавилова.

— А еще кто?

Куда же он клонит? Хоть бы намекнул, а то если всех «известных ученых» перечислять, никакого времени не хватит. Может, сказать про Игоря? Ведь если

они за мной наблюдали, то не могли же не заметить, что я чуть ли не каждую неделю таскаюсь в Бахрушинский музей, благо от Плешки пять минут пешком.

— Хохлушкин Игорь Николаевич.

— А это кто?

— Реставратор театрального музея.

— Как же так? То Вы общаетесь только с известными учеными — и вдруг реставратор? (Это не без издевки в голосе, достал я его своими учеными).

— Ну, тут Вы не правы. Он закончил наш институт (сидим-то в Плехановском), аспирантуру, много занимался самообразованием, начитан в самых разных областях — с ним очень интересно разговаривать.

— О чем, например?

— О чем угодно. Кроме того, он человек очень тяжелой судьбы, был незаконно репрессирован, прошел лагеря и ссылку. У него богатейший жизненный опыт.

— И о чем же Вы чаще всего беседуете?

— Вы не поверите — о религии, о Боге.

— Как так?

— Дело все в том, что он человек верующий, причем в искренности его веры у меня нет и тени сомнений (вспомним, что дело происходит в 1983-м году, когда секретарям обкомов и московским градоначальникам в страшном сне не приснилось бы, что на Пасху они будут стоять в Елоховском Храме с горящими свечами и истово креститься). В то же время, я Вам уже говорил об этом, он энциклопедически образованный человек, и мне очень интересно, как такая образованность уживается с верой в Бога.

Сидим уже третий час, а что ему нужно, так и не пойму. Но и он, видно, приустал, вопросов почти не задает, много курит, скоро, наверное, конец.

И действительно:

— Ну, большое Вам спасибо, Вы нам очень помогли (в чем же это, интересно?). Если у нас появится потребность, Вы не откажитесь снова встретиться?

— Конечно, нет.

— И, пожалуйста, о нашем разговоре никому ни слова.

— Ну разумеется.

Тут и хозяин кабинета появился, как бы случайно. Попрощались, и я ушел.

Сказать, что я такого совсем не ждал, значит слукавить. Круг знакомых, круг чтения, да и семейные «традиции» (кроме отца сидели двое дядьев и муж тетки, причем один — Акакий — бежал из плена, воевал в маки, имел несколько французских орденов, но свой четвертак все равно получил) давали массу подтверждений справедливости народной мудрости про суму и тюрьму. Самиздат и тамиздат были в доме постоянно. «Посев» я читал гораздо чаще «Огонька». Но, с другой стороны, этим все и ограничивалось: в публичных акциях я не участвовал, писем не подписывал, сам для самиздата ничего не писал. Таких «диссидентов» (кстати, кавычки поставил зря, изначальный смысл все-таки **инакомыслие**, а не **инакодействие**) было множество, и всех сажать — места не хватит.

Беседа с капитаном особых опасений не вызывала — ко мне никаких претензий, про друзей и знакомых дурацкие вопросы: о чем разговариваем? Мало ли о чем, да и разговоры к делу не пришьешь. Про неразглашение — это их обычный трюк, это не подписка, Телесин подробно про это рассказывал у За-

вельского в лаборатории, где одно время работал, а потом даже написал и пустил в самиздат руководство — как вести себя на допросах в ГБ. Намек на дальнейшие встречи тоже казался скорее стандартным штампом: чего встречаться, я уже всё рассказал.

Настроение, однако, паршивое.

А не сходить ли мне к Игорю? Хотя им капитан прямо не интересовался, я его все-таки упомянул. Постоянно за мной, конечно, не следят, не велика птица. Да и капитан еще у кадровика сидит.

Захожу. В мастерской у Игоря и так особого порядка нет: комнатка маленькая, кругом навалены инструменты, дрели, сверла, струбины, баночки-скляночки, лаки, краски, картины, мебель. А сейчас вообще полный раскардаш.

— Обыск был, — объясняет.

— А что взяли?

— Да все, что нашли.

Вот, оказывается, что. Рассказываю про встречу.

У Хохлушкина и дома, и на работе демонстративно раскидан самиздат и тамиздат, причем все книги он подписывает.

Так не бывает, но однажды на Кузнецком у невзрачного мужичонки я купил пропавший у Игоря томик стихов Странника, который узнал по автографу на титуле. Когда я принес Игорю книжку, он показал мне незадолго перед этим полученное письмо от Владыки Иоанна, где на сетования о пропаже книги (кто-то зачитал), тот писал, что скоро она вернется. Вообще же и на Кузнецком, и около первопечатника довольно часто появлялся тамиздат: «Архипелаг» ходил под псевдонимом «Таинственный остров». Слышал байку, как один чуть ли не академик купил внуку в подарок Жюль Верна, а когда пришел домой, обнаружил Солженицина.

Здесь, в мастерской, стопками лежал большой и малый «Посев» и горы всякой антисоветчины. Только первый том большого коричневого собрания сочинений Исаича, с дарственной надписью автора, Игорь отдал мне и попросил хорошенько спрятать. Договорились, чтобы пока ни сюда, ни домой к нему я не ходил, а если будут какие новости — звонить на работу Фае, жене Игоря, и договариваться о встрече. И чтобы ничего не говорить по телефону.

В тот же вечер я собрал у себя дома всех фигурантов моего разговора кроме, разумеется, Бирмана, и подробно пересказал содержание беседы с капитаном. А дальше думайте ребята сами: чем это Вы заинтересовали компетентные органы.

Единого мнения по поводу «что бы это значило» — помните такую игру на шестнадцатой странице Литратурки — не было. Единственное, в чем все сходились: на этом дело не кончится. И в этом, к сожалению, не ошиблись, хотя главный объект интереса сообща не вычислили, тогда как он был уже очевиден.

Примерно через неделю — новый звонок на кафедру, где я, конечно, никому не сказал ни слова: про Алешина все знали, что он стукач, а вдруг кто еще. Бодрым голосом:

— Это Олег Евгеньевич, помните?

— Конечно.

— Не смогли бы еще раз зайти?

— Когда и куда?

— Давайте теперь уж к нам.

Согласовали число и время, записываю адрес: улица Бахрушина, дом такой-то, квартира такая-то.

Шуточки! Специально, что ли, поближе к Игорю расположились?

В назначенный день и час подхожу к дому. Ни вывески, ни большого количества машин, ни скопления народа. Вход в подъезды со стороны двора. Мой — последний. Вхожу. Никаких указателей, только черная кнопка звонка на нужной мне квартире с железной дверью, что тогда было еще в диковинку. Звоню. Дверь тут же открывается.

— Вас вызывали? — быстрее, чем я успел рот открыть.

— Да. Олег Евгеньевич.

— Проходите.

Два здоровенных амбала в штатском быстро закрыли дверь, и один из них повел по пустому коридору с чистыми, без табличек, дверями. Около одной мы остановились, и он как-то хитро постучал. Через мгновение из нее вышел мой капитан, как в прошлый раз — в штатском, и плотно прикрыл за собой дверь. Крепкое мужское рукопожатие.

— Здравствуйте! Вы извините меня, я немного не рассчитал время, Вы можете немного подождать?

— Могу.

Он провел меня по коридору и ключом открыл одну из дверей.

— Я буквально через несколько минут.

Вхожу в комнату, оглядываюсь. Да это почти камера: окно зарешечено, комната крошечная, маленький пустой стол, около него стул и табуретка. И всё. Так в наших детективных фильмах выглядят помещения, где подследственные беседуют со следователями и адвокатами.

Сажусь на табуретку. Жду. Проходит минут пять, капитана моего все нет. Вспоминаю: сегодня же мне Чита, позор грузинской нации, как называет его секретарша из деканата Таня (тоже с какими-то грузинскими корнями), отдал том Монтеня, который читал или просто держал чуть ли не год. Вынимаю его из портфеля, разворачиваю газету, в которую Чита неизменно заворачивал книги, получаемые от меня (почему-то он не хотел, чтобы все видели, что он читает, хотя самиздата я ему не давал), открываю.

Ей Богу не вру, но раскрылась она на начале любимой моей главы «О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер». Возможно, никакой мистики в этом не было: это место я часто перечитываю, и оно лучше в книге раскрывается. В то время мне было не до рассуждений, но, странное дело, я успокоился. Если кто думает, что я шел сюда, насвистывая и бодрым шагом, тот сильно ошибается. Я потому и отказывался от всякой публичной и подпольной деятельности, что не был в себе уверен: вот прижмут дверью или сапогом, извините, яйца, тут я всех и продам.

На часы я не смотрел, но по количеству прочитанных страниц прошло минут пятнадцать-двадцать. Голову даю на отсечение, что это он делал специально, да еще, может быть, через какую-нибудь дырочку наблюдал за мной.

Тут он, наконец, появляется, садится за стол и после извинений:

— Я бы хотел, что бы Вы подробнее рассказали про Хохлушкина.

Теперь перед ним лежит блокнотик и ручка. Вспоминаю: в прошлый раз он ничего не записывал. Теперь всё ясно. Все остальные для отвода глаз и для проверки моей готовности с ними разговаривать. Заранее зная все ответы на вопросы, которые он задавал, капитан проверял мою правдивость и готовность помочь любимым органам. Видать, остался доволен, раз позвал еще раз. А что, я ему чистую правду говорил, хотя и не всю. Но ведь не врал же?

— Так я все рассказал в прошлый раз.

— Ничего, ничего, давайте все с самого начала и поподробней.

Рассказываю снова — и поподробней. На этот раз он часто перебивает меня наводящими и уточняющими вопросами.

— А дома у него часто бываете?

— Не очень.

— А какие люди у него бывают?

— Разные.

— А о чем чаще всего разговаривают?

— О литературе, об искусстве, о музыке.

— А о политике?

— При мне, во всяком случае, нет.

— Почему же? Сейчас все о политике разговаривают.

— Может, не доверяют.

В это время дверь открывается и входит небольшого росточка человек (капитан-то здоровый — много выше меня) в штатском.

— Здравствуйте. О чем беседуете?

— О Хохлушкине.

— Ой, как интересно, я, пожалуй, послушаю.

Капитан уступает свое место за столом, некоторое время стоит, а затем, сделав вид, что о чем-то вспомнил, выходит из комнаты. Больше я его не видел. Хотя нет, как-то на очередной демонстрации он шел под ручку с Мочаловым. Я специально прошел рядом и поздоровался с обоими, но капитан сделал вид, что меня не знает.

— Вы не могли бы рассказать все сначала?

Мне, конечно, не хочется второй раз повторять одно и то же. Да и не понятно, кто этот мужик, не назвался, не представился. Пытаюсь отвертеться.

— Да я уже дважды все Вашему коллеге рассказывал.

— Ничего, ничего, повторенье — мать ученья, Вы же преподаватель, Вам ли этого не знать!

Делать нечего. Вновь повторяю все, стараясь говорить в одних и тех же выражениях и упоминать одни и те же детали. Слушает, не перебивает. Наверняка, уже в третий раз: представил же капитан начальству (а что этот для капитана начальство, ежу ясно) либо письменный отчет, либо пленку с записью первого разговора, и сегодняшнюю беседу наверняка слышал с самого начала — уж больно вовремя он вошел.

Закончил.

— А что это мы с Вами тут сидим, давайте пройдем ко мне в кабинет.

Проходим по коридору, входим в кабинет, опять на двери ничего. Обычный советский, деловой кабинет: стол, заваленный бумагами, к нему приставлен

буквой Т еще один, стулья, несколько шкафов с бумагами. Садится за стол, усаживает меня.

— Я начальник Москворецкого отделения КГБ, зовут меня Василий Макарович, — и через стол показывает раскрытое удостоверение. Действительно — начальник, полковник, и зовут — Василий Макарович. Я уставился на имя, удивляясь редкому совпадению с Шукшиным, он удостоверение убрал, а фамилию я разглядеть не успел. О чем до сих пор жалею.

Не успели мы сесть, как дверь открывается, Макарыча зачем-то просят выйти.

— Посидите, я мигом.

Остаюсь один в кабинете, внимательно осматриваюсь. На столе, прямо передо мной лежит до боли знакомая стопка «Посева», из мастерской Игоря. Что делать? Не обращать внимания или взять посмотреть? Если полковник не хотел, чтобы я это видел, мог попросить подождать в коридоре. И скорее всего за мной опять наблюдают, а желание хотя бы из любопытства полистать неизвестный и недоступный журнал вполне естественно. К тому же все мы насмотрелись и начитались детективов: начнут проверять отпечатки пальцев, я и скажу — в Вашем кабинете и наследил.

Проходит некоторое время, возвращается. Я демонстративно листаю журнал, потом спокойно кладу его в стопку.

— Вот, вот! Изъято у Хохлушкина. Это ужасно. Вы не представляете, какие это люди! Если они придут к власти, мы все будем висеть на фонарях.

Что-то полковник заговаривается: во-первых, кто это мы и с какой стати я окажусь на фонаре? Во-вторых, кто будет вешать — НТС, или Игорь? Представить его или кого-то из нашего близкого окружения, намыливающего веревку или вышибающего табуретку из-под ног бедного Василия Макаровича, как ни силюсь — не могу. А вообще-то, увидев нескольких гебешников на фонарях, не удивился бы и слезу не пролил, хотя это не вполне по-христиански. Не будучи верующим, я к христианству отношусь с уважением и вниманием и стараюсь без нужды заповеди не преступать.

Кстати, я вовсе не лукавил, когда говорил, что одной из частых тем наших бесед была религия. Я высказывал Игорю еретическую для верующего мысль, что вера в Бога есть некий дар, условно назовем его мистическим, как и дар, скажем, математика, конструктора, поэта, художника или музыканта. И если дара нет, то ты и не станешь математиком, конструктором, поэтом, художником или музыкантом. Следовательно, не обладая мистическим даром, не станешь и верующим. Ни воспитание, ни принуждение ничего не дадут: интересно, к чему привели бы усилия Леопольда Моцарта, не будь его сын гением?

Игорь, конечно, всего этого и слушать не хотел: читай, мол, каждый день перед сном несколько страниц Евангелия, и все придет само собой.

Но сейчас об этом, конечно, молчу.

— Вы не могли бы нам помочь?

— В чем это?

— Вы же бываете у Хохлушкина дома?

— Изредка.

— А могли бы бывать чаще?

— Вероятно.

— Вот и отличненько! Постарайтесь бывать там чаще, и обо всех, кого увидите, и про все разговоры — нам.

Приехали! Либо они вообще не ожидают отказов от таких предложений, либо я настолько «честно» отвечал на их вопросы, что они посчитали меня готовым к этой деятельности.

— Для меня это очень неожиданно, мне нужно подумать.

— Сколько времени?

— Ну, хотя бы недельку.

Подавляя видимое неудовольствие:

— Хорошо. Через неделю в это же время жду Вас.

И записывает в календарь. Встает, жмет руку, провожает до выхода из помещения. Стоящие при входе амбалы молча открывают дверь и выпускают меня.

Вербуют меня в стукачи уже второй раз.

Первым был незабвенный Ли Андреевич Пахомов, которого прислали в наш институт сразу после знаменитого процесса о взятках, когда посадили нескольких преподавателей. Пришедши на скромную должность начальника учебной части (из ГБ, в чем никто не сомневался, да он это не слишком и скрывал), он за два года сделал головокружительную карьеру: стал проректором, закончив при этом за два года Плешку. По его словам это было третье (!) высшее образование — плюс к историческому и военному, да еще адъюнктура в какой-то академии. Кроме того он утверждал, что мать его была якутка (в чем не приходилось сомневаться, глядя на него), а отцом прозябающий где-то в нашей стране после венгерской революции 56-го года Матиас Ракоши, у которого мой дед служил секретарем в Коминтерне в двадцатых годах. Может, и не врал: по годам вроде проходило, Ракоши попал во время войны в плен, был где-то в Сибири, а после революции там же организовал из венгерских военнопленных отряд, воевавший с белыми в Сибири, а Пахомычу лет сорок — как раз. Да и Иван Герасимович Попов, мой шеф, много позже рассказывал, как, замещая Мочалова в ректорском кресле, подписывал Пахомову командировку в Алма-Ату, куда он ехал на похороны своего отца — М.Ракоши (так было написано в заявлении о командировке).

Так вот. Его кабинет находился рядом с нашей кафедрой, и Пахомов имел обыкновение, поздоровавшись так, что у тебя трещала рука (он был очень здоров, человек-гора пудов этак на десять и чемпион института по штанге в супертяже; правда, в этом весе соперников у него просто не было — где это студенту набрать столько живого веса; и вид у него был весьма колоритен: на огромном монгольском лице крохотное пенсне смотрелось весьма забавно — под Берию, что ли, косил), затаскивать к себе в кабинет и беседовать на разные отвлеченные темы. Человек он был небезынтересный, во всяком случае — своеобразный. Он всячески превозносил Сталина и как полководца, и как государственного деятеля, утверждая (а это шло вразрез и с официальной трактовкой, и с распространенным в то время среди части интеллигенции мнением о необходимости возврата к ленинским нормам), что если по части репрессий и концлагерей Ленину, несомненно, принадлежит пальма первенства, то как руководитель государства он Сталина в подметки не годился. Провоцировал он меня и других или на самом деле так думал — не знаю, но суждения для того времени (первая половина шестидесятых) были не стандартные.

Однажды, после беседы на общие темы, он вынул из ящика стола внушительную пачку бумаг одинакового формата в пол-листа и начал перебирать их, некоторые зачитывая. Вот аспирант такой-то в общежитии рассказал антисоветский анекдот, а студент такой-то занимается фарцовкой, а студентка такая-то спит с африканцами. Видите, Марк Шиевич (он, кстати, был один из немногих, кто правильно произносил мое отчество, что выдавало профессионала — личное дело штудировал), какая сложная обстановка, а Вы все про либерализацию режима, да свободу слова и печати. Лучше бы рассказали про свою кафедру — кто чем дышит.

Тут только до меня дошло, что у него в руках доносы, причем очень много доносов, не один десяток.

Ну, с Ли Пахомычем (так мы его звали между собой) просто: он хоть и ректор, но по вечернему и заочному обучению и мне вроде не прямой начальник. Во второй своей работе, а может быть и первой, он прямо не признается, следовательно, в гробу я его видал. Побалагурив немного и даже немного позлив его, я отказался, и больше он к этой теме никогда не возвращался.

Сейчас ситуация совершенно иная: официальное лицо в официальной обстановке предлагает мне сотрудничать с ГБ, причем с конкретным заданием.

Первым делом звоню Фае и договариваюсь о встрече на завтра у Завельского в институте — она там должна быть по своим делам. Сообщаю о разговоре и полученном предложении. Обсуждаем, как лучше держаться, и обговариваем, как встретиться с Игорем.

Как в шпионском кино, встречаемся в метро, проезжаем несколько остановок, не подходя друг к другу, делаем несколько пересадок, наконец, присаживаемся на скамеечке. Я с места в карьер:

— Игорь, может согласиться, они все равно кого-нибудь тебе воткнут, а тут все будет известно, и я стану им лапшу на уши вешать по договоренности с тобой.

Игорь, вообще-то человек деликатный и, несмотря на лагерную школу, неформальной лексикой, как принято теперь называть мат, пользовавшийся редко, тут мне выдал по первое число. Воспроизвести это не возможно, но смысл понятен: с этими суками ни в какие игры играть нельзя.

Он мне дал картбланш — говорить, что угодно, не боясь впасть с ним в противоречие, так как он никаких показаний давать не собирается.

Обсуждение ситуации со всеми посвященными вылилось в недельную пьянку, в ходе которой я получил массу советов и наставлений (часто противоположного толка и смысла) от людей, никогда в таком положении не бывавших. Конструктивным был лишь совет доктора Юлика: ложись ко мне в больницу, хоть на месяц, глядишь и забуду. Не воспользовался в тот раз. Среди всех советчиков только один, не буду его называть, порекомендовал принять предложение по тем же мотивам: свой стукач, все-таки лучше.

Неделя прошла. Прихожу на Бахрушина, звоню в дверь.

Открывают, ничего не говоря и не спрашивая. Видать, уже за своего держат. Один ведет прямо к кабинету начальника, стучит, открывает дверь и пропускает меня.

— Здравствуйте, садитесь, как дела в институте?

Разговор предстоял не из приятных, и я, решив оттянуть его, вошел в роль человека из анекдота, который на аналогичный вопрос всерьез — долго, нудно

и с подробностями — начинает рассказывать про свои дела: про заседания кафедры, про Ученый совет, про студентов и так далее. Говорил я добрых минут десять и, кажется, полковник все понял, но меня не перебивал. Наконец, я выговорился и замолк.

— Ну, а как с нашим предложением?

— К сожалению, вынужден Вас огорчить: по нескольким причинам не могу принять это предложение.

— Что же это за причины?

— Во-первых, мне уже за сорок, и менять профессию поздновато. Мне известен только один такой успешный случай: Альберт Швейцер из известного органиста переквалифицировался в не менее известного врача. Будь у меня склонность и призвание к Вашей профессии я, не дожидаясь приглашения, сам предложил бы свои услуги. Во-вторых, насколько это мне известно из истории, людей такого рода одинаково презирают и ненавидят как те, кому они служат, так и те, против кого они работают. Примеры Липранди, Дегаева, Азефа и Ма-линовского достаточно красноречивы. Наконец, последнее. Василий Макарович, у Вас есть дети?

— Есть.

— Они знают, где и кем Вы работаете?

— Конечно.

— И они гордятся Вами?

— Разумеется.

— А как Вы думаете, моим сыновьям будет, чем гордиться, если я приму это предложение?

Такого оборота полковник, видимо, не ожидал, потому что ответил после некоторого раздумья.

— Да... Не выдержали Вы экзамен на гражданскую зрелость, товарищ Барбакадзе.

Ишь как сразу официально, а раньше все Марком Шивичем величал.

— Я буду вынужден проинформировать об этом руководство Вашего института.

— Это как так? Вы предупреждаете меня о конфиденциальности нашего разговора, а сами расскажете все моему начальству, меня выгонят с работы (как в воду глядел!), а я даже слова в свою защиту не смогу сказать?

— Ну что Вы, что Вы! Спокойно работайте, никто Вас не тронет.

Конечно, полковник соврал.

Не прошло и нескольких месяцев, как завкафедрой через парторга посоветовал мне искать работу, так как очередного конкурса мне не пройти. На прямой вопрос об источниках информации, поломавшись, ответил: ректор. Я сказал, что унтерофицерской вдовой быть не собираюсь и сам из института, где проработал 22 года, не уйду.

Тут началась мышиная возня. То партбюро долго уговаривало меня сбрить бороду — Вы же понимаете, что это не наш стиль! Мои робкие намеки на Маркса и Энгельса были с возмущением отвергнуты. То, посыпались докладные на будто бы не квалифицированное чтение лекций. Куратор группы (что-то вроде классной дамы в дореволюционных гимназиях), где я вел занятия, написал де-

кану докладную о том, что студенты не усваивают мой курс, так как забыли или плохо усвоили предыдущий курс (!?). Поэтому они пропускают занятия и будут испытывать затруднения при сдаче экзамена. От меня требовалось дать дополнительные консультации — это прогульщикам и лодырям, не ходившим на основные занятия. Тот декан, будто не видя абсурдности ситуации, начертил резолюцию моему декану: убедительная просьба убедить (так в тексте!) доцента Барбакадзе выполнить долг преподавателя — назначить обзорные лекции!

Тут подошло сокращение штатов. По всему институту сокращали 30 преподавателей. В институте более 50 кафедр. Без компьютера можно посчитать, что сокращение не всех кафедр вообще коснется. И вот на нашу кафедру, лучшую кафедру лучшего факультета Плехановского института, приходит разнарядка: сократить 4 преподавателя, т.е. в 7 раз больше, чем в среднем по институту. И хотя у меня стаж работы был больше, чем у кого-либо на кафедре, публикаций было едва ли не столько, сколько у всех остальных преподавателей, и на моем иждивении было двое несовершеннолетних детей (я перечисляю пункты статьи 37 тогдашнего КЗОТа, которые давали преимущества при сокращении штатов), меня с треском выгнали.

Тяжело было смотреть на своих бывших коллег, когда они, как марионетки, голосовали за увольнение. Почти половина состава кафедры — мои бывшие студенты и аспиранты...

Из протокола заседания кафедры:

«Доц. Барбакадзе М.Ш. Какова мотивировка моего сокращения?»

Проф. Филипповский Е.Е. (заведующий кафедрой). Мотивировка Вам изложена в состоявшейся ранее нашей беседе.

Доц. Барбакадзе М.Ш. Мне мотивировка изложена не была.

Проф. Филипповский Е.Е. Хорошо, тогда я Вам изложу ее отдельно после заседания кафедры (?).

Доц. Барбакадзе М.Ш. Прошу это сделать здесь и сейчас.

Проф. Филипповский Е.Е. Имелась жалоба деканата Госснаба на низкий уровень Вашей учебно-воспитательной работы.

Доц. Барбакадзе М.Ш. И это единственная причина?

Проф. Филипповский Е.Е. Я изложу Вам отдельно.

Доц. Барбакадзе М.Ш. Вы отказываетесь отвечать здесь?

Проф. Филипповский Е.Е. Да.

Доц. Барбакадзе М.Ш. Какие конкретно претензии были со стороны деканата Госснаба?

Проф. Филипповский Е.Е. Согласен занести в протокол, что Вы не удовлетворены ответами на Ваши вопросы. Далее не хочу терять на это время кафедры.

Доц. Новиков В.А. (парторг кафедры, мой бывший студент). Видимо, не стоит так подробно протоколировать все высказывания».

Так единогласно и проголосовали: а как же, иначе можно и самому попасть под сокращение — разнарядка-то на 4 преподавателя!

Терять мне было нечего, я нахально заявился к ректору и сказал:

— Заведующий кафедрой и парторг утверждают, что инициатором моего увольнения являетесь Вы, Борис Михайлович.

Пузырь аж изменился в лице:

— Бывают же такие нечестные люди: сами не могут справиться, а валият на других. Уверяю Вас, что никакого отношения к этому не имею.

Нет, так нет. Я свое дело сделал. Тут же захожу к Филипповскому и все рассказываю. Побледнел, как полотно.

— Но это ведь не правда!

— Во-первых, это правда, а, во-вторых, расскажите это теперь Мочалову.

Пулей выскочил из кабинета и понесся к ректору оправдываться. Но не помогло. Вышел оттуда с подписанным заявлением по собственному желанию и вылетел из института еще раньше меня. Крут был Мочалов! Замечу, со мной он был отменно вежлив, а вот несколько раз я случайно видел выходящих из его кабинета приближенных (в том числе и ставшего впоследствии знаменитым Хасбулатова, прыгавшего в свое время от счастья по случаю избрания замсекретарем парткома института) с красными рожами, как будто из парной. Все они продукты своей системы. Каждая ячейка общества от министерства до артели инвалидов проецировала на себя структуру и свойства целого: во главе вождь (или пахан, кому как больше нравится), вокруг него ближний круг доверенных и прикормленных клевретов, готовых на все, а дальше серая масса для труда и экспериментов над ней? И лозунг «Кадры решают все» — отнюдь не праздная агитка. Мочалов не расставался с пухленьким блокнотом, где подробно были изложены анкетные данные практически на весь кадровый состав института (может быть, уборщиц там не было, а уж секретари и лаборантки наверняка) — сам неоднократно видел его на столе ректора. Изучение этого блокнота, постоянное его пополнение и совершенствование было едва ли не главным занятием Мочалова. Чем выше и чем ближе к нему стоял человек, тем более весомый компромат должен на него быть собран, иначе им трудно управлять (вспомните жен президента и премьера, сидевших в сталинских лагерях, и не пикнули ведь!). Кстати, когда Мочалов был секретарем парткома МГУ, Хасбулатов начальствовал над комсомолом — там-то они и спелись.

На профкоме, обычно послушно и единогласно штамповавшем решения ректора, три человека выступили в мою защиту и проголосовали против увольнения. Многие отводили глаза и бормотали, что сделать ничего нельзя и все решено заранее. Адвокат, к которому я обратился за советом, сказал, что шансов на восстановление у меня практически никаких. Когда же я намекнул ему о возможной причастности к этому делу ГБ, он замахал руками и сказал, что после суда, какое бы решение он ни вынес, я на работу не устроюсь вовсе. Да и все знакомые говорили: только не суйся в суд, даже если выиграешь, что практически нереально, устроиться на другую работу (в Плешке все равно тебе не жить) будет очень сложно — кто же любит сутяг, скандалистов и правдоискателей?

На том все и кончилось. Я поступил на работу в другой институт.

Через несколько лет, уже во время «перестройки», когда все выписывали по десятку газет и журналов, попалась мне в «Московских новостях» статейка, автор которой рассказывал о своем отказе от вербовки, за что ему ничего не было. Я тут же накатал письмо в редакцию с выражением сомнения в столь благополучном исходе дела и предложил выступить с инициативой: пусть все, кого

удачно или неудачно пытались вербовать, напишут в редакцию, хотя бы анонимно. Так может собраться интересная статистика. Ничего не ответили. Бережно в нашей стране относятся к стукачам и сексотам. Всякий раз, когда где-то всплывает вопрос о люстрации, раздается хор голосов, пекущихся о милосердии: и так в обществе социальная напряженность, а Вы еще хотите подбавить масла в огонь? Знаете, сколько авторитетов рухнет, если раскрыть архивы КГБ, — говорил мне один оклодумский знакомый. Но почему это чекам можно, а нам нельзя? Видать, не только получивший недавно политическое убежище в Польше бывший член Государственной думы замешан в делах с ГБ, а и кто-то еще, да и, небось, не мало.

С началом «перестройки» я написал письмо Горбачеву о положении дел в Плехановском институте. Меня вызвали в горком и долго пытали: кто подготовил написать письмо, чего я добиваюсь и вообще. Затем написал и Ельцину. Снова горком, но беседа уже более доброжелательная: да, много жалоб, собирается назначить комиссию, разберемся, не нужна ли Вам какая-нибудь помощь.

Нет, спасибо, я сам себе помогу.

Не помог, однако. Мочалова сняли, статью под громким названием «Уроки мочаловщины» напечатала «Московская правда», назначили нового ректора, я дважды подавал на конкурс и дважды меня благополучно проваливали — демократия, тайное голосование, ничего не напишешь. Я, правда, пытался писать, но безрезультатно. Да и то — кому охота мне в глаза смотреть? Недавно голосовали против, с какой же стати теперь голосовать за?

Реакция Ученого совета во время моего выступления была весьма значительна: стоило мне заикнуться о порядках в институте, о Мочалове и необходимости преодоления «мочаловщины» как «мрачного явления, свидетельствующего о коррупции в системе высшего образования» (цитата из «Московской правды»), — зал едва ли не стал свистеть и топтать ногами, а ректор тут же лишил меня слова: сколько можно говорить про одно и то же (хотя статья ни разу публично в институте не обсуждалась, все только по углам шушукались)?

Или, может быть, таково уж свойство памяти и отдельных людей, и групп, и сообществ, и всего человечества — отторгать, как можно скорее, мрачные стороны прошлого, стараться их забыть и не тревожить себя никакими о них напоминаниями?

Очень может быть. Иначе, как объяснить популярность нынешнего президента, который по окончании юридического института работал куратором от КГБ Ленинградского университета, то есть в той же должности, что и капитан КГБ Олег Евгеньевич, куратор Плехановского института? Интересно, сколько преподавателей и студентов не сдали Путину экзамен на гражданскую зрелость?

Или все забыли уже, что ФСБ — всего лишь эвфемизм наших славных и давних знакомых ЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ?

Анатолий КРАСИКОВ

Мы — народ исключительный, мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь страшный урок.

Петр Чаадаев

НАЗАД К ЕДИНОМЫСЛИЮ?

/Религиозные свободы в России конца XX века/

...Его заставили раздеться, уложили на кушетку и избили. Били нагайками, да так, что молодой мужчина 29 лет от роду, когда его, наконец, освободили от дальнейших истязаний и выбросили на улицу, еле добрался до больницы. Пострадавший Юрий Владимирович Салов рассказывает:

— Я приехал в город Анапа в составе молодежной группы христиан-адвентистов. Мы соорудили палаточный лагерь в районе села Варваровка, неподалеку от моря. Сочетая отдых с полезной, в том числе благотворительной деятельностью, занимались благоустройством территории Анапской центральной больницы, причем делали это все бесплатно.

В протоколе, который был составлен по показаниям Салова в отделении милиции, далее говорится:

— Я находился в парке около кинотеатра «Родина» и распространял там христианскую литературу. Ко мне подошли незнакомые парни в камуфляжной форме и черных беретах, без знаков различия. Они начали задавать мне вопросы, связанные с толкованием Библии, затем усадили в машину и привезли в здание «казачьей управы» на улице Крымской, около главпочтамта. Ко мне подошел мужчина с погонами капитана, к которому все обращались по отчеству «Пет-

**Анатолий
КРАСИКОВ**

— родился в 1931 г. в Москве. Закончил Московский институт международных отношений. Доктор исторических наук, профессор. В 1992-1996 годах работал в Администрации Б.Н.Ельцина, был руководителем Пресс-службы Президента, ответственным секретарем президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями. В настоящее время — руководитель Центра социально-религиозных исследований Института Европы РАН, президент Российского отделения Международной ассоциации религиозной свободы. Живет в Москве.

рович». Он сказал: «Сейчас я тебя проучу. Будешь знать, как предавать православную веру. Я выбью из тебя эту буржуазную дурь!».

До 1917 года ограничились бы первым из этих двух аргументов, после — вторым. А сейчас в массовом сознании добровольных «спасателей родины» причудливо переплелись и смешались стереотипы обоих ушедших режимов. Национал-православие (не имеющее, естественно, ничего общего с настоящей верой в Христа) и национал-большевизм вполне уживаются, больше того — сливаются воедино в агрессивном служении делу «возрождения православной духовности и великих традиций прошлого».

Но традиции традициям рознь. Нашим далеким предкам — жителям Киевской Руси не было чуждо понятие свободы выбора. Когда тысячу лет назад они решали, какой же из религий отдать предпочтение, князь, его бояре и старцы выслушали поочередно представителей мусульман, иудеев, западных и восточных христиан (их церковь была еще неразделенной, однако в ней уже сложились две разные традиции). Потом из Киева за рубеж были отправлены десять разумнейших мужей. По их докладу и было принято окончательное решение. Победила православная Византия.

Исторический вклад православия в создание нашей национальной культуры и собирание русских земель вокруг Москвы как столицы единого государства российского общеизвестен и в доказательствах не нуждается. Но не будем забывать и другого: православная церковь оказалась, в конце концов, в подчинении у светских государей и была вынуждена во всех, в том числе и внутрицерковных, вопросах следовать их указаниям.

Государственный атеизм ввел новую веру. Место церкви в обществе заняла политическая организация со своими квазирелигиозными заповедями и ритуалами. Одно единомыслие сменилось другим, и малейший намек на несогласие с этой квазирелигией грозил каждому жестокой расправой. В назидаение своим и на страх «всяким прочим шведам». При этом церковь оставалась в плену у государства.

Лишь в начале последнего десятилетия XX века россияне обрели свободу совести и право самостоятельно, без «высочайшего соизволения», решать, кому и чему они верят, а кому и чему — нет. Одобренная на референдуме в декабре 1993 года Конституция России освободила все религиозные организации, в том числе и православную церковь, из многовекового плена. В соответствии с одной из ее статей, отныне у нас «никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Абсолютной новостью стало и другое положение Конституции (статья 13), в соответствии с которым «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Русская Православная Церковь (РПЦ), со своей стороны, официально высказалась против слияния с государством. В одном из публичных выступлений вскоре после избрания на престол Патриарх Алексий II говорил: *«Положение государственной церкви принесло нам много бед и страданий. Церковь должна быть отделена, но подлинно отделена от государства. Она должна иметь право оценивать все события, происходящие в стране, с позиций духовности и нравственности»*. Эта позиция Патриарха была одобрена высшими коллегиальными органами РПЦ: Священным синодом и Архиерейским собором.

За сотрудничество без вмешательства в компетенцию друг друга сразу же после краха советской системы выступило и государство. В 1995 г. по распоряжению Бориса Ельцина был сформирован Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. В состав этого консультативного органа входят, наряду с представителями Священноначалия РПЦ и православных-старообрядцев, высшие руководители российских мусульман, иудеев, буддистов, а также инославных христиан: католиков, адвентистов, баптистов, лютеран, пятидесятников, и епархиальный архиерей Армянской апостольской церкви. Совету было дано право формулировать рекомендации президенту по различным вопросам политики государства.

Когда шесть лет назад разрабатывались предложения о создании Совета, в основу их была положена идея предоставить религиозным лидерам — впервые за всю тысячелетнюю историю России — реальную возможность вести диалог с главой государства на основе партнерства, исключающего какое бы то ни было вмешательство светских властей в церковные дела. Кроме того, Совет должен был, опять-таки впервые, стать тем местом, где представители разных религий собирались бы за одним столом для совместной работы на равных, постепенно преодолевая многовековые традиции взаимного недоверия и нетерпимости.

Увы, этот эксперимент удался лишь отчасти. Довольно скоро «ястребы» в Кремле добились введения в новый консультативный орган большой группы высокопоставленных правительственных чиновников и установления над ним контроля со стороны руководителя президентской администрации, который по совместительству стал председателем Совета (по аналогии с «обер-прокурором» Святейшего правительствующего синода Российской империи).

Живучей оказалась и тысячелетняя традиция официального единомыслия. В феврале 1997 года, поздравляя Патриарха Московского и всея Руси с днем его тезоименитства, Ельцин сделал — явно с подачи кого-то из входящих к нему чиновников — сенсационное заявление, смысл которого, в лучшем случае, остался за пределами его понимания. *«Религиозное руководство и руководство государственное слито воедино»*, — заявил Президент. И тут же добавил, что именины Предстоятеля Русской Православной Церкви — это праздник *«не только личный, не только его паствы, но и всех россиян»*.

Очень точно, на мой взгляд, отреагировал на этот новый вариант византийской церковно-государственной «симфонии» Юрий Петрович Зуев, известный социолог религии, вместе с которым мы несколькими годами раньше работали в президентской Администрации (практически одновременно ее и покинув):

— Конечно, в словах, сказанных по торжественному поводу, зачастую допускаются преувеличения. Однако есть немало людей не только в церкви, но и в обществе, и в структурах власти, для которых они послужат основанием и вдохновляющей поддержкой в их стремлении добиваться государственного статуса Русской Православной Церкви, не задумываясь о негативных последствиях этого как для религиозно-конфессиональных отношений, так и для общественного согласия в стране в целом.

А в конце того же 1997 года был принят новый Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Выступая в Государственной

думе в день окончательного голосования по этому закону В.В.Жириновский заявил: *«Мы должны исходить из позиции Русской Православной Церкви. Если нам сейчас из патриархии скажут: принять закон — примем. Скажут: не принимать — не примем».*

Закон оказался откровенно дискриминационным. Юридическим экспертам правительства пришлось несколько месяцев упорно трудиться в попытке хоть как-то состыковать его не совместимые между собой положения. Действительно, некоторые статьи этого документа дословно воспроизводят провозглашенные в Конституции положения о правах и свободах человека и гражданина, в то время как другие — и в этом была главная цель законодателей — фактически перечеркивают подтвержденное той же Конституцией право каждого исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой.

1. Закон о свободе от совести

Составители закона задались целью втиснуть религиозное сознание россиян в прокрустово ложе собственных представлений о терпимости. В нашем законодательстве впервые появилось понятие «территориальной сферы деятельности религиозных организаций». Как если бы существовала порознь, скажем, вера московская, тверская или владивостокская. Для местных общин был введен 15-летний «кандидатский стаж». Даже если их члены исповедуют религию, которая известна во всем мире и родилась, когда и России-то еще не было на белом свете.

За новым законодательным актом в кругах правозащитников закрепилось название «закон о свободе от совести». Весной 1999 г. с критикой его неожиданно для многих выступил Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации О.О.Миронов, который, будучи в 1997 г. депутатом Думы, голосовал за этот документ. В своем заключении, направленном руководителям различных ветвей власти, он подчеркнул, что «помимо декларированного в преамбуле привилегированного положения отдельных религий, ряд других положений закона устанавливает нормы, по сути ведущие к дискриминации отдельных конфессий на практике».

Политики в России в большинстве своем столь же далеки от подлинной религиозности, как и в советские времена. Однако их манит перспектива воссоздать «монолитное единство» российского общества под новым знаменем. Религия для многих — синоним идеологии, а Бог — средство для обеспечения собственной власти, причем епископам РПЦ как в центре, так и на местах они отводят ту же самую роль охранителей «идеологической чистоты» общества, которую в советский период играли партийные комитеты КПСС.

Сторонники клерикализации государства, действующие внутри РПЦ, со своей стороны, используют чиновников светской власти, чтобы их руками решать проблему привлечения в церковь потенциальных верующих. Эти люди так и не научились подлинному христианскому миссионерству. Они предпочитают достигать своих целей иным путем — через фактическое слияние с государственными структурами, монополизацию религиозного вещания на

государственном телевидении и радио, ограничение свободы проповеди других культов.

Известный русский юрист и общественный деятель А.Ф.Кони, занимавший посты сенатора и члена Государственного совета Российской империи, еще в царские времена обращал внимание на опасность слияния церковных и государственных структур. *«Соединение политики и веры всегда приводило к дурным последствиям, — констатировал он в одной из своих работ. — Там, где Церковь подчиняет себе политику, это вырождается в инквизицию; там, где политика подчиняет себе Церковь, там Церковь обращается в полицейское учреждение и несет службу городского в защиту веры и действует огнем и мечом».*

В дальнейшем поборники религиозной дискриминации потерпели одно за другим два поражения в Конституционном суде. Не решившись открыто признать вступивший в силу закон антиконституционным, суд тем не менее фактически дезавуировал несколько его положений, вызывавших особенно серьезные возражения правозащитников, в том числе известных юристов А.В.Пчелинцева и В.В.Ряховского. 23 ноября 1999 г. он отменил требование о 15-летнем сроке легального существования «на данной территории» как условия для перерегистрации всех местных религиозных организаций, — в том числе и тех, которые уже были зарегистрированы до принятия закона. Введение законом этого условия автоматически лишало права на перерегистрацию организаций, которые не были официально признаны властями во времена Брежнева и Андропова.

А 13 апреля 2000 г., согласившись с аргументами адвоката Г.А.Крыловой, тот же суд признал неправомерным навязывание религиозным организациям канонической структуры по образцу православной, которая строится по территориальному признаку. При этом было разрешено использовать в наименованиях религиозных организаций слова «Россия», «российский» и производные от них, если до вступления нового закона в силу они уже использовали эти слова. Тем самым для этой категории религиозных организаций снималось требование доказывать, что они легально существовали под своим нынешним наименованием, 50 лет назад, то есть во времена Сталина и Берии.

Еще одну грубую ошибку, допущенную при принятии закона 1997 года, пришлось исправлять самим законодателям. Избранная в декабре 1999 г. Дума нового созыва была вынуждена начать свою работу с принятия закона, который продлевает до 31 декабря нынешнего года срок окончания перерегистрации религиозных объединений. В соответствии с законом 1997 г. перерегистрация должна была занять два года и завершиться 31 декабря 1999 г. За это время официальное признание предстояло вновь получить 16 тысячам объединений, значившимся в государственном реестре религиозных организаций на момент принятия закона. Сделать это не удалось.

Правозащитники с самого начала предупреждали, что проделать такую работу в столь короткий срок физически невозможно, учитывая огромное число кандидатов на перерегистрацию. Законодатели не прислушались тогда к этим предупреждениям. Они исходили из того, что основную массу религиозных объединений составляли приходы «традиционной» РПЦ, перерегистрация которых никаких трудностей не вызовет. Напротив, общины «нетрадиционных»

религий должны были, по духу закона, доказывать свою легитимность и могли не успеть представить в срок все документы, необходимые для их включения в государственный реестр. Что привело бы, как на то надеялись авторы закона 1997 г., к «упрощению религиозной географии России».

Оказалось, однако, что опоздала с оформлением документов как раз РПЦ. Разработанные ее юристами проекты не смогли вписаться даже в требований заведомо дискриминационного закона, и всю работу пришлось начинать заново. Возникла реальная угроза утраты легитимности большинством, то есть многими тысячами православных приходов. Это был бы скандал поистине международного масштаба: к намеченному первоначально сроку успели перерегистрироваться только 40 процентов организаций федерального уровня и чуть больше 20 процентов организаций регионального и местного уровней.

Председателю Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы В.И.Зоркальцеву пришлось признать очевидное: *«Учитывая масштабы территории Российской Федерации, слабую юридическую подготовку священнослужителей, а также недостаточную численность специалистов регистрирующих подразделений Минюста России и его территориальных органов <...> перерегистрация религиозных организаций в установленный Законом срок не может быть завершена. Поскольку религиозные организации, не прошедшие перерегистрацию, подлежат ликвидации, это может вызвать многочисленные конфликты, осложнение государственно-церковных отношений в стране, новую волну критики как в Российской Федерации, так и за ее пределами в отношении данного Федерального закона».*

К счастью, пока что реального слияния государственного и церковно-православного аппарата в России не произошло. Выступая в январе 2000 г. на приеме в Кремле по случаю 2000-летия рождества Христова, Владимир Путин заявил, что *«у миллионов россиян разные религии, но у всех у нас — одно будущее, одна страна».*

РПЦ, со своей стороны, официально подтвердила, что не намерена брать на себя функции, принадлежащие государству. На юбилейном Архиерейском соборе в августе она впервые приняла собственную социальную концепцию, которая резервирует за Церковью право отказывать государству в повиновении и даже призывать верующих к «мирному гражданскому неповиновению» властям, если те принуждают народ «к тяжкому греху».

Однако от внимания общественности не ускользнул тот факт, что новый президент избрал в качестве личного духовника человека, известного приверженностью православному фундаментализму. Речь идет об архимандрите Тихоне Шевкунове (выпускнике ВГИКа). Еще десять лет назад этот молодой клирик опубликовал в газете «Литературная Россия» программную статью «Церковь и государство», в которой обрушился с нападка на демократию, способную, по его мнению, лишь подорвать основы государственности в нашей стране.

Поборник «православного сталинизма» (термин этот, правда, принадлежит не архимандриту Тихону, а другому представителю того же течения в православии игумену Алексию Просвирину), духовник президента пропагандирует свои идеи в обскурантистской националистической телепрограмме «Русский

дом». Он «прославился» также рьяным участием в уничтожении общины отца Георгия Кочеткова в московском храме Успения в Печатниках, руководя действиями специально поставленного туда «помощника».

Нельзя не заметить и того факта, что Архиерейский собор РПЦ, упомянув среди «областей соработничества» Церкви и государства «противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и государства», не смог назвать критерии, по которым Церковь причисляет к «псевдорелигиозным» и «опасным» те или иные организации верующих. Не раскрыт и характер «противодействия» деятельности этих организаций, хотя мы можем судить о нем по многочисленным примерам нарушений прав человека, в том числе права каждого верить или не верить в соответствии с собственным личным выбором.

Сегодня Церковь вынуждена, хотя и нехотя, считаться с фактом легального существования в России многих из тех, кого в прошлом она гнала «в соработничестве» с самодержавием. Ее представители сидят с ними за одним столом в Совете по взаимодействию при президенте РФ. Однако старые рефлексy то и дело срабатывают, и тот же митрополит Кирилл, который по должности поддерживает контакты с инаковерующими, ратует в докладе на соборе за ограничение руками государства деятельности «новообразований», каждое из которых представляется ему априори «деструктивным» и «псевдорелигиозным».

2. Милитаризация общественного и церковного сознания

Власти вот уже несколько лет расширяют сотрудничество с РПЦ в самых различных сферах жизни общества. Симптоматично, однако, что процесс этот набирает обороты прежде всего в тех областях, где работают люди в погонах. Церковь заключила целую серию эксклюзивных соглашений с силовыми ведомствами государства: министерством обороны, министерством внутренних дел и несколькими ведомствами, входившими в советские времена в состав Комитета государственной безопасности.

На одном из заседаний Совета Российского Отделения Международной ассоциации религиозной свободы в этой связи говорилось о нарушении Конституции, статья 14 которой провозглашает многонациональную и многоконфессиональную Российскую Федерацию светским государством. Была упомянута и статья 8 Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих», которая запрещает людям в военной форме, в том числе генералам, «использовать свое служебное положение для пропаганды того или иного отношения к религии».

Тем не менее генералы, следуя примеру политиков, стараются не пропустить ни одного случая продемонстрировать свою близость к Русской православной церкви, позируют перед телекамерами рядом с ее архиереями со свечами в руках, вызывают к «боевым традициям Святой Руси» и «ратным подвигам» ее сынов, встречая блажелательный отклик в церковной среде. Как сообщил на последнем Архиерейском соборе РПЦ председатель «военного» отдела епископ Савва, должность руководителя информационно-аналитической службы в отделе занимает кадровый офицер. Кроме того, каждая силовая структура командировала в отдел по консультанту.

Вряд ли кто-нибудь стал бы возражать против заботы религиозных организаций, в том числе и РПЦ, о духовном окормлении верующих военнослужащих. Напротив. Однако эта задача стоит лишь на четвертом месте в списке основных направлений работы отдела, перечисленных епископом Саввой. Среди более важных задач отдела его руководитель назвал:

1) представление церкви в ее сношениях с руководством и различными структурами «силовых» министерств и ведомств, в том числе «ответственных за правоохранительную деятельность и содержание лиц в местах лишения свободы», 2) координацию взаимодействия священноначалия и духовенства с военным руководством, в том числе по вопросам реализации программ двустороннего церковно-военного сотрудничества и 3) помощь военному командованию в исследовании религиозной ситуации, причем не только в войсках, но и в районах их дислокации.

Даже невооруженным глазом видно, что РПЦ берет на себя функции, свойственные скорее военным и военизированным государственным структурам, нежели религиозным организациям. Кроме того, она выступает в роли пропагандистского ведомства, соучаствуя *«в мероприятиях историко-патриотической и религиозно-нравственной тематики в рамках подготовки и проведения Дней воинской славы (победных дней России)»*.

Это вызвало решительный протест представителя мусульман, второй по численности религиозной общины страны, председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который выразил сожаление, что в России продолжают торжественно отмечать годовщины давних побед над мусульманами, забывая, что для завоеванных народов победы русского оружия обернулись утратой независимости и эти даты воспринимаются ими *«как дни великого траура. К примеру, взятие Казани»*.

Тем временем по всей стране развернулось массовое открытие православных храмов на территории воинских частей. На Архиерейском соборе было сообщено, что только в военных городках Министерства обороны сейчас насчитывается 117 православных храмов, причем не прекращается строительство новых храмов. Почти в каждом воинском коллективе и исправительном учреждении, сказал епископ Савва, имеется если не храм, то моленная комната. И тем не менее епископ озабочен «попытками прозелитизма со стороны некоторых протестантских конфессий и особенно новых сект», о чем, как он сообщает, «поступают сигналы из епархий и от руководства исправительных учреждений» (!).

Самый знаменитый из войсковых храмов (во имя преподобного Ильи Муромца) сооружен при Главном штабе ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковном поселке Власиха. 27 апреля 1998 г. министр обороны России Игорь Сергеев самолично присутствовал на его освящении Патриархом. «Небесной покровительницей» военных ракетчиков России была объявлена святая Варвара Великомученица (могла ли она представить себе при жизни, что много веков спустя на ее покровительство будут рассчитывать те, в чьих руках окажутся ключи от ядерного апокалипсиса?).

30 июня 1999 г. агентство РИА-Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу РВСН о предстоявшей отправке в космос икон Варвары Великомуче-

ницы и Илии Муромца. Эта необычная акция началась с освящения обеих икон настоятелем храма во Власихе отцом Михаилом. После освящения, писало агентство, планируется отправить иконы «на космодром Байконур, а оттуда с ближайшим кораблем-носителем — на околоземную орбиту». «Побывав в космосе, — указывало далее РИА-Новости, — лики святых возвратятся на землю и к сорокалетнему юбилею РВСН, который будет отмечаться 17 декабря, займут свое место в храме главного военного городка ракетчиков».

Юбилей во Власихе был отпразднован в указанный день с большой торжественностью. Правда, в официальном сообщении Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата об иконах уже ничего не говорилось. Зато там были процитированы высказывания главнокомандующего РВСН генерал-полковника В.Н.Яковлева, который заявил, что *«российская армия и Русская Православная Церковь вместе стояли и будут стоять во всех испытаниях и трудностях, выпавших на долю Отечества»*.

Ракеты стратегического назначения — средство доставки оружия массового поражения. Доставляются же ими боеголовки, призванные поразить заданную цель. Поэтому есть некая логика в том, что для проведения в марте 2000 г. конференции, посвященной взаимодействию с учеными, выбор РПЦ пал на закрытый город создателей ядерных боеголовок Саров, на месте которого когда-то жил один из самых почитаемых православных святых — преподобный Серафим.

На конференции был принят документ, предлагающий *«не откладывая, подготовить и подписать соглашение между Московским Патриархатом и Министерством по атомной энергии»* и при этом *«проработать вопрос о том, чтобы отдельные священнослужители могли в соответствии с действующим порядком получить доступ к секретным сведениям»*. Решение конференции изумило даже благожелательно настроенных к РПЦ журналистов, один из которых не удержался в своем комментарии от вопроса: «Какая связь между «секретными сведениями» и духовным окормлением верующих ученых?!»

«Силовики» советуются со Священноначалием РПЦ и по вопросам большой политики. Так, по сообщению ОВЦС, на состоявшейся 15 марта 2000 г. рабочей встрече Патриарха с министром внутренних дел РФ генерал-полковником В.Б.Рушайло *«собеседники обсудили общественно-политическую ситуацию в стране накануне президентских выборов»*. В.Б.Рушайло, указывалось в сообщении, высоко оценил миротворческую миссию РПЦ на Северном Кавказе и позицию Московского Патриархата в сохранении единства и стабильности в России. В ходе беседы было высказано «общее мнение о необходимости более активного участия православного духовенства в духовно-нравственном воспитании военнослужащих. Особая роль здесь отводится священнослужителям, духовно окормляющим воинов в «горячих точках».

Самой «горячей точкой» в России, как известно, сегодня является Северный Кавказ. Церковь безоговорочно поддержала военную операцию в Чечне. Вскоре после начала первой чеченской войны, в феврале 1995 г., созданная по инициативе председателя ОВЦС митрополита Кирилла церковно-общественная организация «Всемирный русский собор» откликнулась на это событие принятием специального документа «О святости ратного служения». В нем го-

ворилось, что *«служба в армии требует от человека подчинения дисциплине и самодисциплине, специфичность которых — одно из основных отличий армии от гражданских институтов: точная регламентация прав и обязанностей каждого, безоговорочное выполнение приказов вышестоящего начальника, строжайшая личная ответственность за порученное дело и свое поведение»*.

Сказанные руководителями РПЦ вполголоса слова о необходимости по возможности щадить мирное население потонули в мощном потоке национал-патриотической пропаганды, которая не делала различия между чеченскими террористами и похитителями людей, с одной стороны, и всем чеченским народом — с другой. Причем активную роль в раздувании этой пропаганды играли и продолжают играть — в унисон с генералами — высокопоставленные церковные иерархи.

Весной 1999 г. главнокомандующий Северокавказским военным округом генерал-полковник В.Казанцев (поставленный Путиным год спустя во главе одноименного федерального округа) и архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание объединенной постоянно действующей рабочей группы по взаимодействию между СКВО и Ростовской епархией. В беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС генерал Казанцев заявил, что *«единство российской армии и Русской Православной Церкви, завещанное нам еще преподобным Сергием Радонежским, особенно ярко проявляется в грозные для России времена»*.

А через несколько месяцев снова начались широкомасштабные операции вооруженных сил России в Дагестане и Чечне, и 23 октября 1999 года по первой (общероссийской) программе Центрального телевидения был передан репортаж о том, как рядом с солдатами свою духовную миссию выполняет бывший военнослужащий, а ныне монах Филарет.

Второй чеченской войне предшествовали взрывы, прозвучавшие в сентябре 1999 г. в Москве и в нескольких других городах России. Ответственность за них не взяла на себя ни одна конкретная организация, отмежеваться от террористических актов поспешили и чеченские власти, однако в общественном сознании россиян сложился стереотип чеченца — исламского экстремиста, который чуть ли не от рождения является потенциальным преступником.

Совет муфтиев России выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что *«террор и насилие, навязывание норм дикого средневековья не имеют ничего общего с исламом»*, и одновременно выразил глубокое сожаление в связи с тем, что *«нашлись в обществе разрушительные силы, заинтересованные в расколе страны по национальному и религиозному признаку»*. *«Эти силы,— указывалось в заявлении,— используют трагические события на Северном Кавказе, террористические акты в центре России для развязывания оголтелой антиисламской пропаганды, создания в лице мусульманина «образа врага»*».

В отделе Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями придерживаются иной точки зрения. 12-16 января 2000 г. этот отдел провел в Чечне «гуманитарную акцию». К тому моменту в результате военных операций российской армии большинство населенных пунктов на чеченской территории уже были превращены в руины, множество мирных жителей — представителей различных этни-

ческих групп — погибло. Сотни тысяч стариков, женщин и детей бежали из родных мест, и те, кому удалось, несмотря на холод, голод и болезни, выбраться из зоны боев, оказались в трагическом положении никому не нужной «лишней обузы».

По линии РПЦ в Чечню были доставлены продукты питания, предназначенные практически только для армии. Как видно из сообщения Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата (ОВЦС), отправители «гуманитарной помощи» солдатам не забыли и о «духовно-воспитательной» работе с личным составом действующей армии: *«При следовании рейсом военно-транспортной авиации непосредственно в полете иеромонахом Софронием освящалось воздушное судно, а затем два члена экипажа высказали просьбы принять таинство крещения». И крещение «было совершено во время полета на высоте 9 тысяч метров».*

Освещаются не только самолеты, но и другая военная техника, применяемая в ходе боевых действий на земле, в море и под водой. Многочисленные факты таких освящений были приведены во все том же победном докладе владыки Саввы (судя по отчету ОВЦС). Не нашлось места в докладе только для слов сочувствия родным и близким членов экипажа атомной подводной лодки «Курск». Правда, собор помолился за спасение попавших в беду подводников, а Патриарх откликнулся на катастрофу в Баренцевом море телеграммой главнокомандующему Военно-морского флота России...

3. «Тоталитарные секты» и «иностранные лжемиссионеры»

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» готовился и принимался под громкие возгласы поборников своеобразно понимаемой «духовности», которые требовали положить конец деятельности зловредных «тоталитарных сект» и всякого рода «лжепроповедников», угрожающих якобы подчинить себе всю Россию.

Удалось ли в результате его вступления в силу победить, наконец, этого «опасного врага»? На самом деле ответ на этот вопрос был дан еще до того, как новый закон вступил в силу. И дал его не кто иной, как сама же Русская Православная Церковь.

Передо мной изданный еще в 1997 году Миссионерским отделом Московского Патриархата справочник «Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера». По признанию его авторов, *«даже с принятием соответствующей законодательной базы по деструктивным религиозным организациям проблема их роста не будет снята»* в силу многих причин.

«После запрета,— поясняют они свою мысль,— многие деструктивные культы перейдут на нелегальное положение, ужесточат конспирацию и увеличат свою мобильность (постоянные передвижения adeптов культа), что еще больше снизит контроль над ними со стороны властей». Кроме того, *«даже при ликвидации конкретного деструктивного культа и изоляции его лидеров остается проблема adeптов этого культа, действия которых непредсказуемы».*

Этот вывод лишний раз подтверждает, что новый закон был направлен не против реальных или мифических «тоталитарных сект» и «лжепроповедников».

Он наносит удар по законопослушным религиозным общинам, которые хотят жить и пользоваться своими конституционными правами, ни от кого не прячась, при ярком свете дня.

В любом цивилизованном государстве, если оно действительно уважает своих граждан, для пресечения преступных действий существует суд — от кого бы ни исходили такие действия, будь то отдельная личность или целая организация, в том числе (но совсем не обязательно) религиозная. Заставить же людей отказаться от данной им изначально способности думать не удавалось пока еще никому. Даже во времена средневековой инквизиции, русской опричнины и сталинского ГУЛАГа.

У нас же к числу «иностранцев» были отнесены чуть ли не все российские религиозные организации, чьи центральные руководящие структуры находятся за пределами России. Как будто сама РПЦ не находилась всю первую половину собственной 1000-летней истории в прямом каноническом подчинении «иностранного религиозного объединения» — Константинопольской православной церкви. И не остается по сей день хотя и автокефальной, но все же неотъемлемой составной частью вселенского православия.

Интересно, что первый после принятия Федерального закона бой защитникам религиозной свободы интегрисы дали не на исконно русской земле, а на территории, которая вошла в состав Российской империи лишь на последнем этапе продвижения царских войск на Восток, к Тихому океану. Всего два месяца спустя после подписания Ельциным текста, одобренного Государственной Думой и Советом Федерации, власти Республики Бурятия приняли свой закон «О религиозной деятельности», ущемляющий права верующих самых различных религиозных культов.

Ни о христианстве в целом, ни об исламе и иудаизме бурятский закон, в отличие от общероссийского, не упоминал вообще. Как будто их никогда и не существовало. Статья 1 провозглашала «исторически сложившимися конфессиями и верованиями» жителей Бурятии «Буддийскую традиционную сангху России, Древлеправославие, Православие и... шаманизм». Хотя слово «шаманизм» в списке «исторически сложившихся» в Бурятии религий, в отличие от других, написано с маленькой буквы, составители закона явно питали особые чувства по отношению к колдунам. Они посвятили специальную статью «праву служителей культа на занятие народной медициной (целительством)».

Зато религиозные организации, находящиеся «в каноническом подчинении иностранных религиозных организаций» (то есть, в понимании бурятских законодателей, отправлявшиеся сюда сначала царями, а потом Сталиным в ссылку католики и протестанты), равно как и общины, принадлежащие к «конфессиональным новообразованиям», оказались в роли изгоев. В гораздо большей степени, чем в целом по России.

Несколько лет назад я наткнулся на любопытную статью, опубликованную в бурятской газете «Селенга». Автор статьи, настоятель одной из местных церквей православных священник Виктор (Трофимов), обрушивался на «лютых врагов Церкви»: *«Православные христиане! Что это делается у нас на Руси святой?! Из далеких стран, из-за вражьих морей понахлынула к нам рать нечистая в облике «верующих во Христа» еретиков протестантского и иудейского*

толка: адвентисты, баптисты... Да разве это не издевательство над русскими! Ну, поехали бы в Китай, в Японию, где не слышно о Христе. Знать, не вера надобна им, а нечто другое».

Проживая в Восточной Сибири, автор, судя по всему, не имеет ни малейшего представления о существовании христианских общин в упомянутых им Китае и Японии. В частности, о том, что миссионеры из России еще в прошлом веке познакомили с православием японцев. И что теперь в соседнем с нами островном государстве большим уважением пользуется Японская автономная православная церковь, которой предоставлены те же права, что и всем остальным обосновавшимся там культам. При этом она сохраняет полное каноническое общение со своей Церковью-матерью.

Общение это выразилось, в частности, в личном участии Патриарха Алексия II в интронизации новоизбранного архиепископа Токийского, митрополита всей Японии Даниила в мае 2000 г. При этом Патриарх был принят императором, премьер-министром и министром иностранных дел Японии, и никто не упрекнул его во «вторжении» на чужую «каноническую территорию». Ибо для японцев (как и для австрийцев, немцев, французов, англичан, американцев — для всех, кто приютил на своей земле приходы, епархии и даже автономные структуры РПЦ) принципы свободы совести, провозглашенные в международных документах о правах человека, — не мертвая буква, а живая реальность.

Невольно вспоминается то остервенение, с которым наша церковная и околоцерковная печать обрушивается на католиков, чей первосвященник объявлен ею «персона нон грата». Причем происходит это в то самое время, когда сама РПЦ открыто заявляет (в одном из итоговых документов последнего Архиерейского собора), что «сознает свою ответственность за развитие православной жизни не только в странах, на которые распространяется ее каноническая территория, но и в других государствах, особенно там, где возможно и необходимо православное миссионерское служение и где присутствует наша церковная диаспора».

Весьма ощутимым средством давления на «нетрадиционных» христиан является неопределенный статус священников-иностранцев, которые духовно окормляют свою паству в России. Ни для кого не секрет, что в условиях тоталитаризма Римско-католическая церковь не имела возможности готовить в нашей стране достаточное число священнослужителей из числа местных граждан. Поэтому с провозглашением религиозной свободы и воссозданием все новых католических общин на территории бывшего СССР вопрос о католических священниках в России приобрел большую остроту.

За отсутствием иных вариантов Ватикану пришлось направлять сюда изучивших русский язык священнослужителей-граждан других государств. И тут же против них была развязана шумная пропагандистская кампания. Многие были обвинены в «лжемиссионерстве» и «прозелитизме». Некоторые натолкнулись на отказ продлить срок действия российской визы, полученной в соответствии с существующими правилами пребывания иностранцев в России. Сами эти правила были ужесточены, в результате чего на одного священника сейчас нередко приходится не одна, а несколько общин верующих.

Яркий тому пример — трудности, испытываемые католиками Ростовской области. О них сообщил нам по факсу священник Ярослав Вишневский, поляк по национальности. Он был приглашен, но не смог приехать на организованную нашей Ассоциацией в феврале 1998 года в сотрудничестве с рядом академических институтов и других исследовательских центров в г. Пятигорске научно-практическую конференцию «Межрелигиозный мир и согласие как условие мирного будущего народов Северного Кавказа». Приезд католического священника был сорван, так как за несколько дней до конференции Ростовский ОВИР потребовал его выезда из России для продления срока действия визы по месту ее получения, то есть в Польше. Нужный штампик в паспорте был проставлен, однако на обратном пути, в Бресте, его сочли недостаточным основанием для выдачи разрешения на поездку в Пятигорск, где проходила конференция.

Но предоставим слово отцу Ярославу:

«В Польше свободно несут служение 7 православных епископов. Православные священники преподают в школах Закон Божий. В Вильнюсе, Мюнхене, Вене, Брюсселе, Мадриде, Париже, Риме местное католическое население гордится тем, что там действуют православные храмы. А король Бельгии Бодуэн, оставаясь искренним католиком, построил в центре своей столицы мечеть для местных мусульман. И как же обидно, что на территории нашей области невозможно добиться не то что строительства, а хотя бы возвращения церковного имущества его законным владельцам!»

А вот что пишет о новом законе москвичка Юлия Пономарева, 65 лет: *«Я родилась, выросла, получила образование, вырастила детей и дождалась внуков в России. По паспорту — русская, по вере — католичка. Дочь имеет звание мастера спорта международного класса по велоспорту. Сын — ученый, кандидат технических наук. Как же нам больно и обидно сознавать, что этот закон был написан без предварительного обсуждения в конфессиях, которых он касается! Научатся ли когда-нибудь наши депутаты уважать свой народ? Ведь они разделили нас на людей первого и второго сорта».*

Юлия Пономарева напоминает о той благородной миссии, которую взяла на себя мать Тереза из Калькутты: *«Всю свою светлую подвижническую жизнь она так много и самоотверженно занималась делами милосердия, что память о ней сохранится навсегда, и не только в Католической Церкви. А по закону, в котором нет места свободе, получается, что миссионеров, которые занимаются делами милосердия, из России надо выгнать».*

Далеко от центра России, вдоль тихоокеанского побережья, раскинулись обширные земли Хабаровского края, наш Дальний Восток. На этой земле сигнал к атаке на «чужаков» подал, не дожидаясь даже принятия нового антикультурного закона, правящий архиерей местной епархии РПЦ епископ Марк. Он мобилизовал все подведомственное духовенство на коллективное выступление против католиков, баптистов, адвентистов, пятидесятников и прочих «безблагодатных», которые, по его мнению, *«не слово Божие несут, а проповедуют и ставят в пример губительный западный образ жизни».*

Запугивая православных угрозой, якобы исходящей от всех остальных христиан, этот архипастырь прибегает к аргументации, заимствованной из арсеналов тоталитарного прошлого. По его словам, появление в России религиозных

общин, не принадлежащих к РПЦ, — «государственная политика зарубежных стран под руководством их спецслужб».

И епископ Марк был услышан, в чем могли убедиться не только жители Дальнего Востока, но и люди, живущие на обратной стороне планеты Земля. Весной 1998 года средства массовой информации сообщили о том, что из Хабаровского края на родину, в США, выпровожден баптистский миссионер Дан Поллард. Ему пришлось покинуть Россию вместе с членами своей семьи.

Дан Поллард основал автономную баптистскую общину в тихоокеанском порту Ванино еще в 1992 году. *«Для тех, кто знаком с Российской историей, — заявил он корреспонденту Кестонской службы новостей, — обвинения, выдвинутые против меня, не должны вызывать удивления».* Поллард считает, что с ним произошло то же, что и с офицером Красной армии из романа Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», которому сказали, что был бы человек, а дело против него найдется.

В январе 2000 г. местные власти в четвертый раз отказались перерегистрировать ванинскую церковь, хотя в соответствии с определением Конституционного суда от 23 ноября 1999 г. она должна была получить документ о перерегистрации, так как обладала официальным статусом до принятия закона 1997 года. Теперь, сказал Поллард, наша церковь готова уйти в подполье.

А недавно в адрес РО МАРС поступило письмо буддистского религиозного ордена Ниппондзан, получившего официальную регистрацию в Москве. Авторы письма сообщают об отказе в выдаче российской въездной визы монаху этого ордена японцу Дзюнсэю Тарасаве. *«Причины отказа, — указывается далее в письме, — очевидны. Тарасаву как представителя неправительственной организации Международное бюро мира участвовал в работе 56-й сессии Комиссии ООН по правам человека, которая проходила с 20 марта по 28 апреля 2000 г. в Женеве, и в своем выступлении, а также в общении с членами делегаций говорил правду о фактах военных преступлений против мирного населения и серьезных нарушениях прав человека в Чечне с начала нынешней войны <...> Очевидно, что как раз все эти обстоятельства и побудили российские власти к ответным мерам, своеобразному реваншу, мести. Такие шаги практикуются только в авторитарных государствах и были типичны для СССР, но никак не приемлемы для стран, претендующих быть частью демократического сообщества».*

4. Обострение противоречий в мире религий

Новый закон поначалу устроил — в целом — те религиозные общины, которые более или менее однородны по этническому составу и, как правило, не конкурируют с РПЦ в борьбе за потенциальных верующих русской национальности. Это касается в первую очередь буддистов и иудеев, а также в какой-то степени и мусульман. Представители этих вероисповеданий опасались худшего и были удовлетворены тем, что поименно названы в преамбуле среди религий, «составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России».

Особенно важным такое упоминание представляется иудеям. И это понятно: российские евреи тысячу лет подвергались унижениям и дискриминации, они до сих пор продолжают сталкиваться с проявлениями антисемитизма в

самых различных областях. Яркий тому пример — возмутительные расистские высказывания генерала Альберта Макашова. Государственная дума, членом которой он являлся до последних выборов, не нашла в них ничего предосудительного и оградила «одного из своих» от судебного преследования. Не наказан и ни один из антисемитов среди священнослужителей РПЦ.

Иудейская община не протестовала даже против явно неудовлетворительных, в том числе и для нее, положений нового закона, в котором она видит для себя сегодня больше плюсов, чем минусов. «Мы поддерживаем этот закон», — неоднократно повторял как публично, так и в беседах со мной, главный раввин Адольф Шаевич. Хотя и добавлял при этом, что в любом случае приоритет должен оставаться за Конституцией, которая, как указывается в ее 15 статье, «имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации».

Однако тот же А.С.Шаевич познал на себе, что благосклонность власть имущих — вещь переменчивая. После нескольких публичных высказываний (по правде говоря, достаточно осторожных) в защиту мирного населения Чечни, которое страдает от войны без правил, он столкнулся неожиданно для себя с попыткой отстранения от руководства своей религиозной общиной. Вот что писала по этому поводу в июньском номере за 2000 г. выходящая в Москве «Международная еврейская газета»: *«Если говорить всерьез, то произошло невероятное. Одно из подразделений нынешней администрации осмелилось в стране, где в соответствии с Конституцией государство отделено от религиозных институтов, предложить главному раввину уйти в отставку».*

13 июня созданная несколькими месяцами раньше, в конце 1999 года, в противовес Конгрессу еврейских религиозных организаций (КЕРОР) новая религиозная организация под названием Федерация еврейских общин России (ФЕОР) избрала «параллельного» главного раввина России. Им стал представитель хасидского направления в иудаизме, первоначально гражданин Италии, а затем американец Берл Лазар. За несколько недель до избрания главным раввином ему было предоставлено и российское гражданство.

Осложнилась обстановка и в мире российских мусульман. Состоявшаяся в июне 1999 г. в Москве международная исламская конференция «Роль мусульман в духовном возрождении России» приветствовала возрождение религиозной жизни, которое стало возможным «благодаря демократическим переменам в России, изменившемуся отношению государства к нуждам мусульман и их организациям». В то же время конференция обратила внимание властей на «недопустимость незаконного отказа мусульманам в регистрации их общин и предоставлении им возможности иметь храм».

Незадолго до этого, 1 апреля 1999 г., шейх Равиль Гайнутдин направил руководителям государства письмо, в котором вслед за лидерами ряда других религиозных организаций (главным образом протестантских) подверг критике практику передачи православному священникам права решать судьбу инаковерующих. *«Мусульмане России с искренним уважением относятся к Русской Православной Церкви, — указывал Р.Гайнутдин. — Но мы не можем и по закону не должны каждый случай появления новой общины, строительства мечети согласовывать с деятелями РПЦ».*

Приведя несколько конкретных примеров того, как мусульманам отказывают в регистрации их общин и препятствуют строительству мечетей под тем предлогом, что речь идет об «исконно русских территориях», Р.Гайнутдин предупредил: подобная практика может привести к ответным действиям со стороны тех, кто живет на *«исконно татарских, башкирских, балкарских, узбекских, азербайджанских, дагестанских и т.д. землях. Но на сей раз они будут направлены против русских, против православия»*. *«Споры о том, кому какая территория принадлежит, ни к чему хорошему не приведут»*, — добавил муфтий.

Как напоминает известный специалист по вопросам мусульманского права профессор Л. Сюкияйнен, *«мусульмане составляют никак не меньше десяти процентов населения страны. Ислам они восприняли где-то четырнадцать столетий назад. Это не пришлый народ. В отличие, например, от турок или алжирцев, которые приехали в шестидесятые годы работать в Германию и Францию, да так там и остались»*. В этой связи ученый выражает сожаление, что представители власти воспринимают порой российских мусульман как «чужаков». Забывая, что *«даже на московских улицах, где у них милиция то и дело проверяет документы, эти люди у себя дома. Каково же им слышать: «Чего черным здесь надо?» Можете представить, какие ответные чувства рождаются в душах?»*

Еще до чеченской войны 1994-1996 годов, то есть задолго до Буденновска, мусульмане имели возможность познакомиться с оценками роли православия в завоевании русскими Кавказа в XIX веке и сохранении этого региона под контролем России. Оценки эти открытым текстом изложены в книге митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедона «История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России» (Издательский отдел Штаб-квартиры Всецерковного православного молодежного движения, Москва — Пятигорск, 1992).

Упомянув об *«идейном и моральном превосходстве христианства над исламом»*, православный владыка, который по сей день духовно окормляет свою паству в соседних с Чечней районах России, пишет о том, как в период кавказской войны в прошлом веке *«благодаря невероятным усилиям Русской Церкви ей удалось вырвать из цепких фанатичных лап ислама (!) большинство осетинского населения»*. Хотя кому-кому, а высокопоставленному представителю Московского Патриархата следовало бы знать, что оценка, которую он дает сегодня всему исламу в целом, да еще как само собой разумеющуюся, может вызвать у коренных жителей соседних со Ставрополем земель все что угодно, только не добрые чувства по отношению к Русской Православной Церкви, к русским и к России вообще. Жалко, что, судя по всему, владыке Гедону все это невдомек. И никто не догадался (или не решился) объяснить ему, что он наносит вред своей собственной Церкви.

Как и ожидалось, изменение законодательства о культах осложнило не только межрелигиозные и межконфессиональные отношения. Оно вызвало вспышку напряженности в самом православном мире, начиная с взаимоотношений между Московским Патриархатом и старообрядцами. Были практически прерваны контакты, которые начали было налаживаться еще в советские времена — после того как в 1971 году Поместный собор РПЦ принял по докладу митрополита Никодима решение об отмене клятв (т.е. проклятий),

которым сторонники сохранения старых обрядов в Церкви были преданы в 1666 и 1667 годах при Патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче.

«Принятие закона,— констатировал старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси Алимпий, — существенно понизило уровень доверия в отношениях религиозных конфессий между собой, привело к тому, что межконфессиональные противоречия в России приобрели острую политическую окраску».

Митрополит Алимпий рассказал о том, как председатель одной из старообрядческих общин Москвы был вызван в прокуратуру, где ему пришлось отвечать на вопрос, не создает ли его община военизированных формирований, не занимается ли незаконной коммерческой деятельностью и так далее. А на встречный вопрос, проверяют ли таким образом все религиозные организации и, в частности, приходы Московского Патриархата, ему ответили, — нет, проверяют только подозрительные организации. К каковым, очевидно, числены и старообрядцы.

В этой связи предстоятель старообрядческой религиозной общины процитировал опубликованное в «Красной звезде» заявление официального лица, отвечающего в Министерстве обороны за взаимодействие с религиозными организациями: *«Нужно следовать простому правилу: контакты всех конфессий с армией в Москве осуществляются только через Московскую Патриархию».*

Исключительно болезненным для старообрядцев остается вопрос о возвращении недвижимости и другого церковного имущества, отобранного после 1917 года. И здесь их интересы опять сталкиваются с интересами Московского Патриархата. *«Большая часть передаваемого государством в РПЦ имущества имеет старообрядческое происхождение,— пишет журнал «Древлеправославный вестник». — Это имущество либо было ранее национализировано, либо похищено из старообрядческих храмов и жилищ, а потом конфисковано на таможенных и в других местах. У этого имущества (особенно у медного литья) имеются четкие признаки, позволяющие утверждать, что данные иконы, другие предметы культа ранее принадлежали старообрядцам и к РПЦ никакого отношения не имеют. Более того, на некоторых имеются надписи, ясно говорящие о том, что это собственность конкретного старообрядческого прихода. Тем не менее представители РПЦ бесовски присваивают подобные предметы».*

«Самым ярким примером подобной практики» журнал называет историю с трехтонным колоколом, который еще до принятия нового закона был передан властями в построенный заново Казанский собор на Красной площади в Москве, да так там и остался. Хотя на нем имеется литая надпись о том, что это дар семьи Морозовых московскому кафедральному старообрядческому Покровскому собору в память об умерших родственниках, имена которых перечислены тут же на колоколе (в том числе и знаменитый Савва Морозов).

«Колокол долгое время стоял на площади у Казанского собора, где его и обнаружили московские старообрядцы, — сообщает журнал. — Митрополит Алимпий написал очень спокойное и доброжелательное письмо патриарху Алексию II с просьбой отдать колокол законным владельцам. Представители митрополита отвезли его в приемную в Даниловом монастыре. В приемной их продержали, не дав присесть, несколько часов, а потом объяснили, что просьба напрасна, Патриархия, мол, достаточно сильна, чтобы игнорировать любые, в том числе и справедли-

вые обращения. Колокол остался у захватчиков. Он, правда, из-за своей большой величины никак не помещался на миниатюрной колокольне Казанского собора. Ничего, разломали колокольню, втащили колокол, а колокольню построили заново.

Сегодня православный мир за церковной оградой РПЦ не исчерпывается старообрядцами. И время от времени средства массовой информации сообщают о конфликтах на местах в связи с отказом властей зарегистрировать приходы нескольких организаций, которые, как и Московский Патриархат, ведут свою родословную от досоветской Православной Российской Церкви, но сегодня принадлежат к самым различным юрисдикциям.

Местные власти зачастую не хотят предоставлять им права юридического лица, сохранять действующие или разрешать строить новые храмы. Над общинами, которые в эпоху тоталитаризма подвергались гонениям за уклонение от сотрудничества с антирелигиозным режимом, снова нависла угроза если не полной ликвидации, то, как минимум, ущемления в правах до истечения пресловутого 15-летнего «испытательного срока». Конфликты такого рода имели место в Ногинске (под Москвой), Борках (Рязань), на Валааме, в населенных пунктах Павловское (Владимирская область), Поселки (Пензенская область) и Ивня (Белгородская область), в ряде других мест.

Во многих случаях общины этих церквей создаются теми, кто разочарован позицией высших руководителей РПЦ в вопросах взаимоотношений с государством, религиозными организациями и светским обществом. Особенно в связи с принятием и осуществлением на практике нового закона. Наиболее радикальные критики священноначалия РПЦ ставят знак равенства между действительно возникшим в церковной ограде движением, которое выступает с позиций этнической и религиозной нетерпимости, и всеми ее руководящими структурами.

Тем временем продолжается «охота на ведьм» внутри Русской православной церкви. Не стихают угрозы по адресу тех православных священнослужителей Москвы, которые призывают к диалогу с инаковерующими. Не восстановлен на работе преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии игумен Вениамин (Новик), который был уволен после того, как выступил с критикой закона и осудил ограничение прав неправославных верующих. До сих пор «не прощен» самый выдающийся православный иконописец XX века, лауреат Госпремии России игумен Зинон, «провинившийся» тем, что принял причастие из рук католического священника. Сжигаются «не те» (то есть изданные не православными) Библии, а также книги известных православных богословов отцов Н.Афанасьева, И. Мейендорфа, А.Меня и А. Шмемана.

5. РПЦ и средства массовой информации

Ущемление свободы совести, как и следовало ожидать, сопровождается попытками ограничить другие права граждан и в первую очередь — свободу печати. Вспомним — без малейшей тени злорадства, — что большинство российских масс-медиа поддержали кампанию за ограничение свободы совести, против равенства всех религиозных объединений перед законом. Они попались на удочку тех, кто утверждал, будто изменение закона 1990 года «О сво-

боде вероисповеданий» необходимо для того, чтобы ограничить возможности «деструктивных сект» и различных «нетрадиционных религий».

Созданная указом президента от 31 декабря 1993 г. Судебная палата по информационным спорам рассмотрела немало дел, связанных с необъективностью и недостоверностью сообщений средств массовой информации по вопросам свободы совести в России. Особенно широкий общественный резонанс вызвало обращение члена Совета директоров МАРС депутата В.В.Борщева в связи с публикацией в газете «Российские вести» материала под броским заголовком: «Берегись лжепророков». В итоге рассмотрения этого обращения 10 апреля 1997 г. палата рекомендовала российским СМИ освещать проблемы, связанные с религией, «взвешенно и деликатно».

А год спустя, в феврале 1998 г., та же палата объявила замечание автору появившейся на страницах «Комсомольской правды» статьи «Сект-Петербург. Здесь будет город-храм». При этом редакции было рекомендовано принести извинения религиозной организации «Свидетели Иеговы», которую автор пытался опорочить с помощью целого набора сведений, оказавшихся недостоверными. Палата отметила, что в силу сложившихся в обществе представлений термин «секта» несет безусловно негативную смысловую нагрузку и, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих.

Судебная палата по информационным спорам не имеет механизма принуждения для реализации принятых ею решений. Таким механизмом обладают государственные органы, именующие себя правоохранительными. А они, как мы видели выше, установили особые, договорные отношения с РПЦ и нередко воспринимают православие как новую государственную идеологию. В итоге все, в том числе и включившиеся в «антикультистскую» кампанию, средства информации оказались под прессом поборников введения официального единомыслия.

Слов нет, в работе российских журналистов, которые после принятия в феврале 1992 г. закона «О средствах массовой информации» впервые оказались в условиях реальной свободы, имеются проблемы и недостатки, в том числе порой существенные. Я отнес бы к ним не только использование недостоверной информации (порой по заказу издателей), но и снижение требовательности к литературной стороне творчества, бесцеремонное порой вмешательство в личную жизнь людей, смакование насилия в самых различных его формах.

Разумеется, церковь могла бы авторитетно высказаться по этим вопросам, изложить по ним христианскую точку зрения. Но созданный при решающем участии РПЦ околоцерковный форум Всемирный русский собор дал им не морально-этическую, а политическую оценку, причем на языке совершенно иной исторической эпохи. Еще в феврале 1995 г. он принял весьма жесткий документ, в котором выразил *«возмущение работой большинства средств массовой информации, тем разрушительным и отравляющим воздействием, какое они оказывают и продолжают оказывать на общественное сознание».*

Собор заклеил *«вопиющую антигосударственную, антипатриотическую и антирусскую позицию»* средств массовой информации, добавив, что они становятся чуть ли не *главным оружием, направленным на уничтожение российской государственности, христианских ценностей, традиционных устоев русского на-*

рода. «В качестве формы сопротивления этому беспределу» члены собора предложили «поставить СМИ под контроль общества и государства», учредить «общественные наблюдательные советы над средствами массовой информации», подвергать судебному преследованию тех «лиц, работающих в СМИ, которые злоупотребляют служебным положением..., оскорбляя русский народ и общество, разрушая духовно-нравственные основы исторического Российского государства».

Еще дальше пошел в вопросе об ограничении свободы печати следующий форум Всемирного русского собора, проходивший в мае 1997 года. На нем был выдвинут тезис о необходимости «*ввести в официальную практику принцип национального протекционизма в информационной политике России*». По утверждению авторов этого тезиса, «*осмысленная доктрина государственной информационной политики отсутствует*», «*единое информационное пространство страны разрушено, заметная его часть контролируется иностранным информационным капиталом*». Вывод — «*информационная безопасность России (запомним этот термин, он скоро встретится нам снова!) серьезно подорвана*».

А посему «*собор настоятельно требует от Президента, Правительства и Федерального собрания незамедлительно приступить к формированию законодательной базы, которая должна обеспечить действенную и активную защиту интересов общества в духовно-нравственной области, а также безотлагательно начать выработку и формирование основных направлений государственной информационной политики России на федеральном и местном уровне*».

Этот язык поразительно напоминает формулировки решений КПСС по идеологическим вопросам. И что особенно интересно — программа, намеченная Всемирным русским собором, проводится в жизнь гораздо более решительно и энергично, чем осуществлялись в прошлом соответствующие многочисленные постановления. Сразу же после принятия закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», который в его нынешнем виде был принят 27 декабря 1991 года.

Законодатели-сторонники ограничения свободы мысли и слова предложили сократить список тех, кому дано право создавать средства массовой информации, и одновременно расширить перечень оснований для прекращения их деятельности. С помощью хитроумных формулировок они рассчитывали отрезать россиян от всемирной компьютерной сети «Интернет», загоняя нас в изолятор, откуда страна выбралась всего десять лет назад.

Против пересмотра законодательства о свободе печати на страницах официальной «Российской газеты» выступили три видных юриста, участвовавших в разработке закона 1991 года, в том числе помощник Президента России Юрий Батурин. В новом варианте закона, констатировали они, «*привычные статьи, нацеленные на обеспечение свободы информации, сохранив названия, приобретают нередко противоположный смысл. Так случилось со статьями о недопустимости цензуры*».

Два дня спустя после появления публикации в «Российской газете» было объявлено об освобождении помощника Президента от работы «по сокращению штатов». Он перешел в отряд космонавтов и позднее в составе экипажа

станции «Мир» облетел планету, где, увы, на пути к настоящему миру и терпимости людей ко взглядам и вере друг друга еще немало препятствий, о чем говорит, в частности, война в Чечне.

Наступление на свободу печати продолжалось в 1999 году, не окончилось оно и в 2000-м. Карающая десница военно-правоохранительных органов опустилась на корреспондента радио «Свобода» Андрея Бабицкого. На беду себе этот журналист обратил внимание на недоказанность утверждений, согласно которым взрывы в жилых домах Москвы и ряда других городов России в канун второй войны на Северном Кавказе были организованы чеченскими террористами. В своих репортажах из зоны боев он рассказывал, что главными жертвами войны оказываются старики, женщины и дети.

В середине марта 2000 г. не смог поступить в продажу очередной номер московской «Новой газеты». Когда работа над ним в редакции была почти завершена, произошел взлом компьютерной сети, в результате которого исчезли уже сверстанные полосы. Рассказывая о случившемся, заместитель главного редактора газеты Сергей Соколов сообщил, что перед этим в телефонных разговорах и частных беседах представители силовых и «иных» государственных структур указывали, что редакция ведет себя «недопустимым образом» при освещении войны в Чечне. Мы, пояснил Соколов, всегда говорили, что террористы — террористами, но мирное население здесь ни при чем.

Затем наступила очередь телекомпаний НТВ и других СМИ, входящих в информационный холдинг «Медиа-мост». В середине мая 2000 года московским журналистам пришлось выйти на Пушкинскую площадь, чтобы привлечь внимание к попыткам властей возродить политическую цензуру. Непосредственным поводом для манифестации стал налет вооруженных сотрудников ФСБ в масках на помещение холдинга «Медиа-мост».

Секретариат Союза журналистов России (СЖР) охарактеризовал этот налет как *«акт государственного произвола с целью запугать независимые средства массовой информации»*. *«Данная акция, — указывалось в заявлении СЖР, — стала звеном в цепи многочисленных попыток власти ограничить свободу слова в России»*.

Так дискриминационный закон 1997 года продолжает приносить отравленные плоды.

6. На очереди — другие гражданские свободы?

Среди этих плодов я упомянул бы родившийся первоначально в недрах того же состава Государственной Думы проект закона «Об обеспечении безопасности психосферы человека». Он был нацелен по существу на установление контроля над психикой россиян с использованием новейших методов, о которых средневековая инквизиция и помыслить не могла. Принятию этого и некоторых других подобных законодательных актов в окончательном виде помешало истечение срока полномочий депутатов.

Однако с истечением срока полномочий Думы, избранной в конце 1995 года, точка в усилиях по строительству посткоммунистической России на «духовно-нравственных основах исторического Российского государства» поставлена не была. Эстафету прежней политики с первых недель 2000 года приняла

Дума нового созыва. Минувшей весной 17 ее депутатов, в числе которых оказались и некоторые известные политические деятели, как, например, бывший премьер-министр В.С.Степашин, выступили с инициативой принятия закона, озаглавленного: «Об информационно-психологической безопасности». В полном созвучии с «положениями и выводами» документов все того же Всемирного русского собора.

Очередной вид «безопасности» определяется в проекте как *«состояние защищенности отдельных лиц и (или) групп лиц от негативных информационно-психологических воздействий и связанных с этим жизненно важных интересов личности, общества и государства в информационной сфере»*. Сразу возникают вопросы: кто и на основании каких правовых категорий будет устанавливать негативный или позитивный характер «информационно-психологического воздействия» одних «лиц и (или) групп лиц» на других? И кому при этом будет предоставлено право формулировать не декларативно-политическое, а юридически обоснованное определение «жизненно важных интересов личности, общества и государства»?

XX век дал нам два ярких примера того, как решали эти проблемы режимы, претендовавшие на монополию в обладании истиной. Каждый из них создал систему «информационно-психологического воздействия» на людей через четко отлаженную пропаганду собственного превосходства (в одном случае этнического, в другом — социального) и одновременно — систему ограждения своего народа от иных, «негативных» воздействий с помощью тотальной слежки, цензуры, глушилок, психушек и концлагерей. Обобщенный портрет этих двух режимов нарисован в знаменитом фантастическом романе Дж. Оруэлла «1984». Чем все это кончилось, знают все.

И вот теперь, на пороге нового века (и тысячелетия), российские законодатели предлагают забыть о Конституции 1993 года, которая провозгласила высшей ценностью человека, его права и свободы (ст. 2), и воссоздать оруэлловское «министерство правды» в лице нового федерального органа, которому должна быть передана *«монополия на разработку и производство специальных средств информационно-психологического воздействия»* (ст. 4 и 9 законопроекта). При этом новому монстру должно быть разрешено не только *«выявление и учет субъектов, осуществляющих негативные»* (с точки зрения власти имущих) *«воздействия»* (ст. 7), но и *«применение специальных средств и методов информационно-психологического воздействия»*, в том числе — в объявленных «чрезвычайными» ситуациях — *«без согласия субъекта, в отношении которого применяются такие средства и методы воздействия»* (ст. 15).

Для того, чтобы дать зеленый свет возврату к методам, с помощью которых при менее изощренной технике тридцатых годов действовали Сталин, Ягода, Ежов, Берия и служивший им Вышинский, сегодняшние депутаты заимствуют аргументы у вождей Всемирного русского собора. Это и «разрушение единого информационного и духовного пространства Российской Федерации, традиционных устоев общества и общественной нравственности», и «манипуляция общественным сознанием» (ст. 5), и многое другое.

Закон еще не принят, а наступление на «манипуляторов общественным сознанием» уже началось (к числу таковых, конечно же, не были отнесены

сами депутаты, которые прошли в Думу на волне четко срежиссированной массовой милитаризации общественного сознания в связи с войной в Чечне).

В наследство новой Думе от ее предшественницы достался проект федерального закона «О противодействии политическому экстремизму», который был внесен еще летом прошлого года С.В.Степашиним незадолго до его смещения с поста премьер-министра России. Нельзя не согласиться с официально провозглашенной целью важного правового акта — не допустить применения насилия для решения политических задач, защитить конституционный строй Российской Федерации. Однако, как отмечали на состоявшемся в августе в Центральном доме журналиста в Москве «круглом столе» представители правозащитных организаций, некоторое формулировки этого документа могут быть использованы для возрождения системы политического сыска и развертывания в стране настоящего террора против инакомыслящих.

Движение «За права человека» выразило крайнюю озабоченность правозащитников тем, что 7 июля 2000 г. «государственное» большинство Госдумы, действуя с подачи представителей Президента и Правительства в парламенте, отменило положения ряда статей Гражданско-Процессуального кодекса. *«Этим позорным и антиконституционным решением, — указывается в заявлении правозащитников, — общественные организации, в первую очередь — правозащитные, а также трудовые коллективы лишаются права защищать в судах интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти».*

Встанет ли на защиту прав человека Русская Православная Церковь? Ответ на этот вопрос дал в мае 1999 г. митрополит Кирилл. Выступая в Афинах, он высказался за пересмотр действующих ныне международно-правовых норм в этой области, поскольку они являются *«исключительно западными и либеральными»*. *«К сожалению, — заявил владыка Кирилл, — по идеологическим и политическим причинам православная духовно-культурная традиция никак не была представлена советской дипломатией при выработке современных стандартов межгосударственных отношений и прав человека».* Владыка Кирилл считает *«нравственным долгом как посткоммунистической России, так и других стран, принадлежащих к духовно-культурной традиции православия, представить мировому сообществу свое видение проблемы».*

Прошло чуть больше года, и РПЦ попыталась сформулировать это видение в одиночку, рассчитывая, видимо, что в дальнейшем оно станет общей позицией не только всех православных церквей, но и государств, «принадлежащих к духовно-культурной традиции православия». В одобренный Архиерейским собором в августе 2000 г. документ, озаглавленный *«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»* (а разрабатывался он синодальной рабочей группой под руководством все того же митрополита Кирилла), был включен параграф, в котором говорится: *«Современная международно-правовая система основывается на приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ перед религиозными ценностями (особенно в случаях, когда первые и вторые вступают в конфликт). Такой же приоритет закреплён в национальном законодательстве многих стран... Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может положительно воспринимать такое устройство миро-*

порядка, при котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность».

Так на кого же могут опереться те, кто противостоит поборникам возврата к прошлому? Церковь не хочет видеть в людях творение Бога, созданное Им по своему образу и подобию, и воспринимает человека прежде всего не как свободное существо, свобода которого лежит в основе его богоподобия и является исходным условием любого его самоопределения, в том числе и религиозного, а как фатального грешника. Рассчитывать на наших законодателей, ясное дело, не приходится. Судебная власть по-настоящему еще только формируется, и мышление многих судей застыло на представлениях, унаследованных от советских времен. Новый Президент России, кажется, еще не сделал свой окончательный выбор.

И тем не менее, как бы это ни было неприятно некоторым политическим и церковным деятелям (даже если их и немало), остаются сохраняющие всю свою силу хорошо проработанные правила поведения мирового сообщества, частью которого являемся и мы сами. Подписанный на Московском совещании Конференции по человеческому измерению СБСЕ 3 октября 1991 года документ устанавливает, что *«вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ международного порядка».*

Страны-участницы Хельсинкского процесса, и в их числе Российская Федерация, *«категорически и окончательно»* заявили, что *«обязательства, принятые ими в области человеческого измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников, и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства».*

А в нашей Конституции прямо записано (пункт 4 статьи 15): *«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».*

Отказ от этих обязательств возможен только ценой возврата к тоталитаризму, самоизоляции и в конечном итоге разрушения России. Согласится ли на такой бесславный конец своей тысячелетней истории наш народ? Великий Пушкин верил: «Россия вспрянет ото сна».

Дай Бог.

КОНЕЦ СВЕТА С ПОСЛЕДУЮЩИМ СИМПОЗИУМОМ

Эссе

1. История всегда продолжается

Даты уходят, а слова остаются.

Это, строго говоря, и есть *история*: временная дата, ставшая *словом*; хронология, наполнившаяся вдруг глубокомысленной семантикой.

Слово «миллениум», если подумать, повторяет судьбу слова «век». Как оно навязло в зубах в новогодние дни двухтысячного, так и осталось. Везде только слышишь: миллениум, миллениум. Что такое этот «миллениум»: исполненное событие? Поросячий пьяный восторг по поводу трех нулей? Так он давно прошел. Семантический шок от «столкновения с будущим»? Я думаю, даже что-то большее: какой-то **формат истории**, линейка, которой человечество собирается **и дальше** измерять себя в истории.

После миллениума.

Возьмите слово «ВЕК». Это был тоже своего рода миллениум в миниатюре. Хронологическая шпаргалка, придуманная в начале 1900 годов. Синоним зона.

Раньше о «веке» не говорили. Как отдельного измеряющего понятия зона его не существовало ни в XIII, ни в XIX столетиях. Появился «век» только с *двадцатым* столетием.

Помните, как его произносили: «Век!», «Век!», «Век — волкодав!» — тут уже и чистой хронологии не было, а ощущение чего-то страшного, *наступившего*, какого-то водоворота времен и событий, в который затягивали людей.

То же самое с «миллениумом». Что, в сущности, он значит? Ну «милленулись» мы раз, а дальше — что?

Дальше — пустота. Время как матовое стекло. Ничего еще не понятно. (Мне, правда, оно все чаще в последнее время напоминает **средневековье**, отразившееся в некоем Зеркале. История, повернутая вспять.)

**Андрей
НОВИКОВ**

— родился в 1966 г. в г. Рыбинске. Корреспондент «Литературной газеты». Автор многих политологических и историко-философских статей, печатался в журналах «Новый мир», «Юность», «Дружба народов», «Москва», «Звезда», «Новое время», «Век XX и мир» и др. Живет в Рыбинске.

Двадцатое столетие, видимо, останется *единственным* в своем роде. Больше таких «веков-зонов» не будет. Будет что-то другое, более растянутое: МИЛЛЕНИУМ.

Тысячелетие — мера средневековья. Это не технократическая квинтэссенция Нового времени («век», «десятилетие», любое другое понятие «настоящего будущего», выраженное в *данном* отрезке времени), и не абстрактная футуристическая перспектива («светлое будущее»), но что-то глубоко дискретное, как бы разорванное, продолжающееся очень, очень долго, да с привкусом еще такой апокалипщины: *millennium* — словно написанное горящими готическими буквами.¹

Прямо-таки конец света — «С ПОСЛЕДУЮЩИМ СИМПОЗИУМОМ», по блестящему выражению английского драматурга Артура Копита.

Последующие симпозиумы, наступающие сразу после концов света — самый распространенный сюжет в человеческой истории.

Все «настоящие времена» (эпохи, эры, зоны) возникают вследствие превращения первоначального эсхатологического ожидания в банальную «эпоху».

Все «эры» в человеческой истории были **несостоявшимися концами света**: как бы сорванными эсхатологическими проектами.

Возьмем, к примеру, христианский эон. Первоначально считалось, что Иисус Христос вернется через год, через десять лет, через столетие. Даже апостолы еще при жизни хотели дожидаться Второго пришествия. Но время шло, а Христа не было. Эсхатологическое ожидание растягивалось на две тысячи лет, составивших реальное время «нашей эры».

Максимум, к чему готовились, скажем, в Византии, где провозгласили целью т.н. «катехон» («удержание мира» до Страшного суда), было *тысячелетие*. Когда турки в 1453 году ворвались в Св. Софию, византийцам казалось, что и впрямь наступил конец света.

Тем не менее, история продолжалась. Конца света не было.

Продолжалась она и на Руси, где также готовились к светопреставлению. Минуты до него превращались в столетия. Люди женились, рожали детей, забывая о том, что послужило точкой отсчета их времяисчисления...

Эсхатология — это вообще вулкан. Реальная история — плато, остающееся *после* извержения, на котором возникает фауна и флора. Мы всегда живем по ту сторону «конца света». История **всегда** продолжается.

Время — это несостоявшаяся Вечность. (А может быть, наоборот, *состоявшаяся*. Помните слова В. Соловьева: «**история — это сам по себе страшный суд**»? Кто, собственно, сказал, что Вечность приходит после жизни, после истории? Может, жизнь, история — и *есть* Вечность? То есть: может, все уже произошло?)

Или взять коммунистическую эпоху. Чем она была поначалу? Идеей мировой революции, которая вот-вот должна грянуть. Затем перспектива ее отодвигалась все дальше и дальше, и — странное дело! — именно **внутри** этой «несбывшейся перспективы» и развивалась реальная советская цивилизация, рож-

¹ Средневековье — вообще не «будущее» и не «прошлое», но особый род времени; я бы его определил термином «*длится прошедшее*», что очень близко по смыслу термину «консервативная революция»; *динамично-консервативная* форма существования, в котором прошлое обретает фактор настоящего и будущего.

дались дети, защищали Родину, сменялись поколения, то есть происходила настоящая человеческая жизнь.

По ту сторону эсхатологии, по ту сторону революции: здесь, в реально-человеческом измерении.

Теперешний «миллениум-тысячелетие» — из той же породы понятий. Это — **несостоявшийся конец света** (впрочем: а может быть, состоявшийся?) «с последующим симпозиумом». Эра Водолея — как нечто, преодолевшее заданную эпохой Рыб эсхатологию «конечного тысячелетия» и открывшую новую, почти уже сюрреалистическую перспективу с неевклидовыми понятиями пространства и времени. (Продолжая эту «рыбью» аналогию, я бы сравнил эту ситуацию с выходом рыб за пределы акватория: высунула голову из воды, а там еще один мир! В эпоху Водолея мы становимся чем-то похожими на **дельфинов**, выпрыгивающих на миг из привычной среды. А может — даже не на дельфинов. На **земноводных**, выходящих из океана на сушу, стирая до костей плавники, идя навстречу земле, но где она, суша-то?).

«Миллениум» — слово, которому суждено стать определяющим в предстоящий период человеческой цивилизации. В нем — квинтэссенция **непонимания**, в котором человечество оказалось, перешагнув отметку 2000 года.

Очень трудно, действительно, сказать, что за «эра» наступила, ибо в ней нет даже **начала**, которое было в зре христианской. Есть ощущение какого-то **срыва**, «безвременья», распада всех привычных форм человеческого общежития, сложившихся под влиянием технократической цивилизации XX века (да и, пожалуй, всего Нового времени в целом).

Есть ощущение тупика, ПРЕДЕЛА Будущего. Футуристической перспективы больше не существует. Становится очевидным, что человечество не будет, скорей всего, осваивать Луну, Марс, тем более посылать межгалактические экспедиции. Футуристический XXI век был вымыслен от начала и до конца, давайте это признаем. Он мыслился как технократическое **продолжение** XX века, а реальным оказался даже не «век» — **м-и-л-л-е-н-и-ум**. Вообще черт знает что, растянутое на тысячелетнюю перспективу. Это словно вы идете через горы, перешагиваете один хребет, потом второй. Потом вам кажется, что за ним будет еще один, а «там» уже нет ничего. Пустыня. Можно спуститься, ногами потопать. В горизонт взглянуть и спросить: граждане, что же за х/ня такая наступила? Где мы? Откуда взялась эта пустыня?

Помните фильм «Кин-дза-дза»? Вот это он, возможно, и есть.

М-и-л-л-е-н-и-ум!

«Милленуться» было нетрудно, вопрос в том, что дальше делать. Хотите, шампанское откупорим, веничек церковный в него окунем. На ящериц пробегающих побрызгаем:

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. **Ми-лле-ни-ум!**

Ну а дальше — что? По этой пустыне ведь топтать придется. В неизвестном направлении. Ау!

Ощущение наступающего средневековья («миллениумной эры») появилось, если не ошибаюсь, где-то в двух последних десятилетиях XX века. Именно тогда

стали популярны романы в стиле «фэнтези» (нетрадиционной фантастики, отказавшейся от линейно-футуристических подходов в стиле Ст. Лема и И. Ефремова). Вместо привычного технологического будущего пришла идея «виртуальной истории», в которой соседствует и прошлое, и будущее.

Конечно, нет оснований исключить, что стиль «фэнтези» окажется лишь экстраполяцией представлений современных, подобно тому, как технократические прогнозы Ефремова — психологических ожиданий середины столетия.

Тем не менее, общая перспектива «консервативного будущего» вырисовывается не только по романам. Достаточно бросить беглый взгляд на человечество начала «миллениумной эры», чтобы увидеть рост консервативных настроений. Человечество словно уперлось в стеклянную стену, в которой причудливо отразилось его прошлое. **Сегодня само прошлое становится будущим.** Можно не сомневаться, что мы стоим на пороге разрывания фундаменталистских проектов. Прогресс, как змея, кусает себя за хвост...

Я не рассматриваю здесь идею **технологических пределов**. О ней уже писали. Рост технологий не бесконечен. Античная цивилизация, создав первую индустриальную экономику с рабами, канатами и свинцовыми водопроводами, не пошла дальше. Не пошел дальше и последующий средневековый мир.

Лишь с XIV века, то есть изобретения пороха и книгопечатания, начался новый этап технологического прогресса.

Одному Богу известно, чем люди занимались с IV по XIV столетие. Тот «миллениум» промелькнул, как сон в темную ночь. Никаких технологических событий в нем не было. Была мощнейшая концентрация *духовной жизни*, сведенная до ангелов на острие иглы, до прямого общения с Богом и такого же прямого, дантовского, видения ада: в сущности, эта духовная пружина и развернулась затем в эпоху Возрождения. Последнее было реализацией, я думаю, **именно средневекового** (а не «античного») потенциала.

Средневековье — это всегда «провал» во времени. Всегда сон. Погружение в бессознательное, тянущиеся гигантские отрезки времени. Это, собственно, вообще **не-история**, а плутание в разрозненных мирах без какой-либо обозначенной цели. Средневековье — всегда «застой», если мерить его мерками линейного прогресса. Но последний — всегда ложь, если его мерить мерками средневековья.

Жестокость и темнота таких времен (правильней сказать: *межвремений*) хорошо известна.² Честно говоря, я не ожидаю ничего хорошего и от этого средневековья. Но каждый волен нести в наступающей тьме *свой* факел. Каждый волен получить *свой* ожог от Вечности, которая будет страшно присутствовать в наступающем безвременье.

Каждому — свое.

Свое место в открывающемся Симпозиуме.

² Хорошо известна мысль Николая Бердяева о «новом средневековье», которую у нас поспешно связывали с коммунистическим режимом. В действительности этот режим был только **прологом** в **НАСТОЯЩЕЕ** средневековье, которое начинается только теперь.

2. Гнозис павшего ангела

Творчество г-на Дугина в последние годы приобрело чрезвычайно большую популярность — главным образом акцентированной эсхатологической проблематикой. Без всяких сомнений, русские сегодня одержимы какой-то странной идеей определять историю, находя в ней «конец» (впрочем, они были одержимы ею всегда). «Конец истории» Фукуямы, о котором так много говорили, выполнен в совершенно ином темпераменте, чем русские эсхатологические поиски. Можно сказать, что смысл их диаметрально противоположный, ибо «конец истории» Фукуямы состоит в том, что история, пусть и в завершенном состоянии, «продолжается». В русском же эсхатологическом сознании история, мир, человек «кончаются» бесповоротно, со страстью, странным религиозным экстазом, словно что-то после этого будет и «еще».

Я в данном случае не имею желания полемизировать ни с г-ном Дугиным, ни вообще с русской эсхатологической традицией.

Меня в большей степени интересует *имманентная* критика «эсхатологического гнозиса», производимая как бы изнутри этой идеологии. Именно поэтому я хочу привлечь внимание читателя к нашумевшему сб. «Конец света» (изд. Арктогея, 1998), являющемуся энциклопедией эсхатологического гнозиса. Еще точнее — к статьям самого г-на Дугина «Метафизика» и «Бремя ангелов».

В главе «Метафизика» автор следующим образом рисует необходимость Гнозиса. Есть Бытие и Небытие. Небытие является Всевозможностью, включая возможность самоотрицания, в результате которой рождается Бытие-Вседействительность. Но такое рожденное из небытия бытие *случайно*. Его могло и не возникнуть, а возникнув, оно обречено на конечность и возвращение в небытие. Бытие — фантом, простая функция небытия. Вследствие своей случайности оно обречено рождаться бесконечное количество раз, но для того, чтобы вновь исчезнуть в небытии. Великая Печаль овладевает этим бытием, чувствующим за собой мрак и холод первородного небытия, напоминающего чем-то ленту Мебиуса: жизнь переходит в смерть, смерть — в жизнь. Ложный путь освободиться от Великой Печали — культ Смерти, Небытия. Но самобийца, уйдя в ничто, с неизбежностью появится еще раз. Выхода нет...

Единственным выходом является переход в нечто Иное, лежащее по ту сторону бытия и небытия. Бытие, предполагает Дугин, не могло возникнуть как слепая функция небытия, как игра случайностей. Оно потому, быть может, и возникло, что является *знанием* о том, что существует нечто Иное. Это знание, которым владеет исключительно человек, добавим мы от себя уже, конечно же, не есть лишь трагическое знание бытия о своей конечности. «Знание небытия» банально для бытия, оно противоречит самому факту бытия, которое — поскольку оно *есть* — должно знать гораздо больше. Эту Драму можно сравнить с сюжетом фильма Тарковского «Солярис»: субстанция порождает бесчисленное число раз воспоминания астролетчика, который последовательно убивает их. Драма бесконечна, но есть Земля и та *настоящая* жизнь, воспоминание о которой рождает фантомы. Она, эта трагическая земная жизнь астролетчика, и есть подлинный субъект его воспоминаний. Значит, и в Небытии есть загадка, оно является «затмением Бога», «сумеречным состоянием» Трансце-

дентного, обрешего себя на тьму Небытия и спорадическое «воспоминание» о Самом Себе в виде бытия или, как считает Дугин, на Богорождение себя именно через драму относительного человеческого бытия, которое должно пройти «сквозь» небытие к своему трансцендентному Источнику.

Трансцендентное Иное не тождественно Небытию, пишет Дугин. Но если так, то чему оно «тождественно»? «Есть» ли оно вообще? Если «есть», то Оно (это трансцендентно Иное) также должно иметь статус Бытия. А если «нет», то оно должно быть Небытием.

Не будем занудами: допустим, Оно не «есть» и не «нет», а как-то *присутствует* в драме Бытия и Небытия. Иное «было» или «может быть» именно через эту драму. Допустим, что это *Иное* рождается посредством теогенеза. Бог перестает рождать «фантомы», выходит из «сумеречного состояния» и создает нечто особенное, по ту сторону бытия и небытия, — назовем это Инобытием. Картина захватывающая. Но меня, строго говоря, интересует *субъект* этой драмы. Кто носитель Великой Печали? Почему взялась эта Печаль? С какой целью совершается трансцендирование Печального Бытия в состояние Абсолютного Инобытия?

Ответ я неожиданно нашел в предшествующей главе **«Время ангелов»** (с. 11-14), где г-н Дугин описывает эоническую драму Падших Ангелов:

«Часть ангелов, — пишет он, — выбрала кенозис, «самоунижение» перед лицом Бога, другая предпочла заявить о своей онтологической самодостаточности, о сущностном единстве своего ангельского естества с природой Высшего Принципа... Эти «проклятые» ангелы заявили о своей *«божественности»* (NB — А.Н.). Их имена Гекагриил, Люцифер, Самаил, Сатана, Аза и Азаил и еще 994 других. Им отведен эонический ад».

Сопоставив эту эоническую драму с драмой Бытия и Небытия, мы видим их удивительное сходство. Ведь в определенном смысле «падшие ангелы» своим «темным знанием», опытом отпадения и олицетворяют Великую Печаль бытия, исторгнутого из Первоисточника и стремящегося к Иному. Благие ангелы, никогда не отпадавшие от Бога, не имеют, строго говоря, никакого знания. Они пребывают в Трансцендентном, светоносно слиты с Принципом, то есть их в определенном смысле *вообще не существует* — именно вследствие «прозрачности». Как это ни покажется странно, но именно они, эти благие ангелы, пропускающие сквозь себя лучи Абсолюта и не отражающие ничего, не являющиеся, строго говоря, «ничем», не имеющие никакого собственного Эго, т.е. никакого наличного бытия, и олицетворяют небытие, Полное Ничто, Всевозможность. Напротив, все *бытие* и все *печальное знание* присуще исключительно Отпавшим Ангелам. Именно их Печаль делает актуальным поиск Иного (и, кстати, только для них Иное и является в полном смысле «иным»), трансцендирование своего знания в божественном. Светоносные ангелы не имеют такой необходимости. Абсолют для них не является Иным, поскольку они пропускают через свое прозрачное «я» лучи этого Абсолюта: он для них и есть настоящее «сверх-я» (настоящее «свое»), в то время как мир падших ангелов и мир конечного материального бытия и есть, с точки зрения благих ангелов «иное», «отпадение», «отчуждение».

Таким образом, мы получаем подлинную картину т.н. «эсхатологического гнозиса» — с точностью до наоборот, чем это излагает г-н Дугин. Эсхатологический гнозис — это не что иное, как попытка Темного Субъекта трансцендировать себя: условно говоря, попытка дьявола стать Богом. «Падшее бытие», проходя *сквозь* небытие, создает какое-то новое «падшее-возвышенное» бытие-инобытие. Вместо чистого неба возникает «темно-матовое» небо. Абсолют псевдоморфируется в Иное (вообще желание г-на Дугина отождествить Абсолют с Иным кажется нам подозрительным). То есть мы видим прямую попытку превратить эонический Ад в эонический Рай.

Вот что такое «эсхатологический гнозис». Вот в чем его подлинная цель. Драма же самого человека как существа, лежащего между Добром и Злом, отражает эту страшную эоническую драму, — в зависимости от того, с какой именно Стороной человек сам себя отождествляет: со светло-ангелической или с темно-демонической. В первом случае мы имеем креационистскую картину мира (человек «сотворен» и «пал»), во втором — то, что г-н Дугин называет «манифестационизмом» (человек «не сотворен, но рожден» и не «пал, но *предназначен*»).

В геополитическом плане, как можно понять, почитав г-на Дугина, роль манифестационной трансформации мира принадлежит России — той России, заметим мы, которая, не имея собственного бытия, стремилась всегда к инобытию, к рождению какой-то русской Сверхновой. Именно отсутствие нормальной государственности и нормальной жизни вынуждало Россию к тому, чтобы «сказку сделать былью». Коммунизм и был проявлением этого русского манифестационизма. Если я не ошибаюсь в астрономических аналогиях, сверхновые рождаются именно «белыми карликами» или — чем там еще — «черными дырами»... Жажда инобытия есть отсутствие бытия.

Такие вот пряники получаются с «эсхатологическим гнозисом». Никакой это не «конец света», а, если повторить слова английского драматурга А. Копита, **КОНЕЦ СВЕТА С ПОСЛЕДУЮЩИМ СИМПОЗИУМОМ**. Разговоры о «конце света» («конце мира») всегда казались мне косвенной формой разговора о самих себе. У Иосифа Бродского есть очень хорошая мысль: **«Человек есть конец самого себя и вдается во Время»**.

Каждый «кончится» по-своему и в свой срок.

Адью

О ТРЕХ «АНТИПОСВЯЩЕНИЯХ» АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

Творчество Галича, до недавнего времени практически не интересовавшее ученых, таит в себе массу интереснейших тем. В их числе — объекты посвящений и адресаты поэта. О песне, посвященной А. А. Ахматовой, из цикла «Литераторские мостки» рассказано в одной из наших статей¹. Еще среди работ на эту тему можно назвать, пожалуй, лишь главу из дипломной работы Н. Волкович, посвященную образу М. Зощенко в другой песне того же цикла — «На сопках Манчжурии»².

Но есть среди адресатов Галича и такие, имена которых он сам не выносил в печатные тексты, а в лучшем случае лишь упоминал в узком кругу своих друзей и хороших знакомых.

1. «За верность общей подлости»

Писателей растлевали, гноили в лагерях, доканывали в ссылках, иных и морально растлевали. Честные люди: литературовед Я. Эльсберг, сын знаменитой Цыпкиной, лечившей зубы Маяковскому, и поэт-прозаик Н. Асанов, тоже из хорошего дома, — вышли на волю стукачами.

Ю. Нагибин.

*«Дафнис и Хлоя эпохи культа личности,
волюнтаризма и застоя»*

У Галича есть одна небольшая песня — в тринадцать строк. Она входит в цикл таких же «коротеньких <...> песенок-эпиграммок»³, который автор назвал «Антипесни». (Этот цикл состоит из таких его произведений, как «Слава

**Андрей
КРЫЛОВ**

— родился в 1955 г. в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт. Работает в Государственном культурном центре — музее В. Высоцкого. Текстолог, составитель нескольких сборников В. Высоцкого и воспоминаний о нем. Автор ряда статей по его творчеству и по творчеству А. Галича. Живет в Москве.

¹ Крылов А.Е. Снова август // Вопр. лит. 2001. № 1. (В печати).

² Волкович Н.В. Проблематика и поэтика цикла А. Галича «Литераторские мостки»: Диплом. работа. М.: МГПУ, 2000.

³ Здесь и далее цит. по фонограммам А. Галича из собрания автора статьи.

героям», «Смерть Ивана Ильича», «Вот он скачет, витязь удалой...», «Когда со-
бьет меня машина...», «Исидор пришел на седе...», «Предполагаемый текст
моей предполагаемой речи на предполагаемом съезде историков стран соци-
алистического лагеря, если бы таковой съезд состоялся и если б мне была
оказана высокая честь сказать на этом съезде вступительное слово»⁴...)

Впервые эта антипесня с одной искаженной строкой и без даты была
опубликована на Западе, в книге «Поколение обреченных»⁵. Отечественными
публикаторами она датировалась по-разному: Н. Крейтнер и В. Гинзбургом⁶ —
1968 годом; А. Шаталов и вслед за ним Ю. Поляк⁷ предполагают годом напи-
сания 1970-й; А. Костромин⁸ даже допускает 1967-й.

Вот полный текст этой песни:

ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ

...Понимая, что нет в оправданиях смысла,
Что бесчестье кромешно и выхода нет,
Наши предки писали предсмертные письма,
А потом, помолившись — во веки и присно,
Запирались на ключ и к виску — пистолет.
А нам и честь, и чох, и черт —
Неведомые области!
А нам признание и почет —
За верность общей подлости!
А мы баюкаем внучат
И ходим на собрания,
И голоса у нас звучат —
Все чище и сопраннее!..⁹

⁴ Интересно отметить следующую параллель. У А. Галича, кроме песен и антипе-
сен, в цикле о Климе Петровиче Коломийцеве есть еще две, как он их называл,
«интермедии». В. Высоцкий называл некоторые свои произведения, «не тяну-
щие на песни», — зарисовками («Зарисовка о Ленинграде», «Зарисовка о Пари-
же»). Е. Клячкин написал цикл коротеньких несерьезных песенок, которые он
называл «фишками» и нумеровал их.

⁵ Галич А. Поколение обреченных / Предисл. А. Дрора. Франкфурт-на-Майне:
Посев, 1972. С. 206. В переиздании 1974 года искажения устранены лишь частич-
но. Полностью это было сделано лишь в посмертном издании (Галич А. Когда
я вернусь: Полн. собр. стихов и песен / Предисл. А. Югова. Франкфурт-на-
Майне: Посев, 1981. С. 214).

⁶ Горизонт. М., 1988. № 5. С. 54; Я выбираю свободу: Сб. Кемерово: Кн. изд-во,
1990. С. 166–167.

⁷ Соответственно: Галич А. Петербургский романс: Избр. стихотворения. Л.: Ху-
дож. лит., 1989. С. 191; Галич А. Песни; Стихи; Поэмы; Киноповесть; Пьеса; Статьи.
Екатеринбург: У-Фактория, 1998. С. 114.

⁸ Галич А. Облака плывут, облака: Песни, стихотворения. М.: Локид; ЭКСМО-
Пресс, 1999. С. 182.

⁹ Знаки препинания печ. по авторизованной машинописи из архива Л. М. Тур-
чинского.

На магнитофонных пленках она встречается редко: нам известно лишь четыре ее оригинальные фонограммы. Текст ее стабилен, лишь в одной строке есть равноправный вариант: «А нам — *и слава* и почет...»¹⁰. В первую очередь песня интересна своей финальной рифмой *собрания* — *сопраннее*, которой автор, кстати, очень гордился. И гордиться было чем: это он впервые в русской поэзии употребил эту рифму, для чего и изобрел окказионализм.

«...Как известно, сейчас уже очень трудно открывать новые рифмы — все поэты перешли на корневые и ассонансные, — а новую чистую рифму открыть почти невозможно. Мне кажется, что я вот в этой песне открыл новую чистую рифму» (А. Галич, 1968)¹¹.

Обращает на себя внимание лирическое *мы* в этом тексте, которое невозможно отнести к самому автору. И возникает вопрос: кто такой Эльсберг или Эльсберг, которому, судя по разным авторским комментариям, записанным на пленку, посвящена песня? И кто он: «честный литературовед» и единомышленник Галича, или он оттуда — из лирического *мы*, из тех, для кого, выражаясь словами другого поэта, «слово «честь» забыто»?

Молодым поколениям литературоведов и филологов, а уж тем более людям других профессий, фамилия Эльсберга ни о чем не говорит, зато ее очень хорошо помнят литераторы постарше. «Краткая литературная энциклопедия» говорит о нем как о советском литературоведе и критике, докторе филологии. Приведен там и солидный список его книг: «Общественный смысл русского литературного футуризма» (1922); «А. И. Герцен и «Былое и думы»» (1930); «А. И. Герцен. Жизнь и творчество» (1948); «Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество» (1953); «О бесспорном и спорном. Новаторство социалистического реализма и классическое наследство» (1959); «Стиль Горького и стилевые искания советской прозы» (1968); «Современная буржуазная литературная теория» (1972). Значится там и книга 1924 года «Во внутренней тюрьме ГПУ. Наблюдения арестованного»¹² (значит, в эпиграфе из Нагибина — не перепутано: Эльсберг сидел, и довольно рано).

Но в статье нет никакой оценки. Зато интересна подпись под статьей: «Г. П. Уткин», — напоминающая один из псевдонимов М. А. Булгакова — «Г. П. Ухов». В год выхода тома из печати (1975) было уже как-то «не принято» напоминать о массовых репрессиях, а такой прозрачный намек на связь объекта энциклопедической статьи с карательными органами был все еще далеко не безопасен. Рассказывают, что история с аббревиатурой из начальных букв этого псевдонима закончилась в редакции скандалом.

Следовательно, и в этом читатель может положиться на сведения из последнего романа Нагибина. По всей вероятности, впервые о страшном «хобби» этого «писателя» читатели могли узнать из воспоминаний Н. Я. Мандельштам. В своей книге она рассказала о том, как по доносу Эльсберга был посажен дружив-

¹⁰ Здесь и далее курсив в цитатах мой; выделение разрядкой принадлежит авторам цитируемых источников. — А.К.

¹¹ Комментарии А. Галича к песням здесь и далее цитируются по фонограммам из собрания автора статьи.

¹² Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 8. М., 1975. С. 882–883.

ший с ним профессор-историк Е. Л. Штейнберг¹³. (Но книга эта появилась в самиздате чуть позже, и Галич прочтет ее только через полгода после написания песни «Век нынешний и век минувший».) К. И. Чуковский в своем дневнике приводит еще несколько имен — жертв Эльсберга: писатели Исаак Бабель и М. Ю. Левидов, литературовед С. А. Макашин¹⁴.

А сколько их было еще?..

Из всех найденных к этому времени фонозаписей песни Галича — еще одна (довольно редкая) позволяет отбросить оставшиеся сомнения. Вот авторских комментариев к ней: «...она посвящается Эльсбергу. Это такой человек, который был... официальным стукачом при Союзе писателей. Его пытались году в пятьдесят седьмом исключить из Союза... Его сначала, было, исключили из Союза и из партии, но потом его восстановили и в Союзе, и в партии».

Что же касается неверного произнесения фамилии адресата песни (кстати, *Эльсбург* звучит на самой ранней фонограмме; потом, видимо, кто-то поправил автора), то подобные истории с Галичем случались. Иллюстрацией, например, могут служить комментарии к песне, посвященной Даниилу Хармсу, которая называется «Легенда о табаке». Во всех имеющихся фонограммах (вплоть до последней, известной нам, — 1975 года), где автор называет настоящую фамилию Хармса, он тоже произносит ее неверно: *Урвачев*. Так же она напечатана и во всех западных сборниках Галича. И лишь отечественные публикаторы (вслед за редактором первой на родине книги Галича Н. А. Богомоловым¹⁵) печатают ее верно: Ювачев. Примерно та же история произошла с названием фашистского лагеря уничтожения Трешлинка в Польше (песня «Аве Мария», 1966). Очень долго Галич произносил и писал его как *Тремблинка*¹⁶. Только через несколько лет на фонограммах появилось верное произношение.

Приведенные случаи могут, на наш взгляд, свидетельствовать лишь об одном: о том, что это название и обе эти фамилии Галич неверно воспринял на слух. А значит, не прочел, а от кого-то услышал.

Резонно предположить, что в таком случае он вряд ли был знаком с Эльсбергом.

Тогда естественен вопрос: каким образом именно Эльсберг стал героем антипесни Галича? И от кого Галич узнал о нем? «Намек» на это дала тоже магнитофонная запись.

Известно, что в те годы, о которых идет речь, магнитофонная пленка и стоила дорого, и купить (то есть «достать») ее подчас было сложно, поэтому тогда мало кто записывал комментарии к песням бардов. Сейчас же, когда эти песни известны во многих вариантах, случайно записанный разговор или комментарий бывает во много раз ценнее самого звучащего произведения. Так случилось и здесь: на одной из множества пленок с одним и тем же исполнением песни обнаружилось дополнение, которое вроде бы не относилось к песне и потому

¹³ См.: *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 33.

¹⁴ *Чуковский К.И.* Дневник 1930–1969. М.: Современ. писатель, 1995. С. 285, 306.

¹⁵ *Галич А.* Избранные стихотворения / Сост. А. Шаталов. М.: Изд-во АПН; МГЦ АП, 1989.

¹⁶ См., напр., автограф, воспроизведенный в кн.: *Заклинание Добра и Зла: Сб.* / Сост. Н. Крейтнер. М.: Прогресс, 1991. С. 126.

на каком-то этапе было выброшено при одной из первых перезаписей: «...А где Леонид Ефимыч? ...Потому что это его другу посвящена песня. ...Прекрасно! — И после паузы Галич уже обращается к конкретному человеку: — Посвященная вашему другу...». После произнесенной фамилии — взрыв хохота слушателей, свидетельствующий о том, что уж кого-кого, а Эльсберга собравшиеся знают.

Фонограмма наводит на некоторые мысли. Во-первых, скорее всего, запись происходила в доме упомянутого Леонида Ефимовича, иначе кто еще может свободно ходить по квартире в то время, когда Галич дает свой домашний концерт, как не хозяин этой самой квартиры. Во-вторых, происходящее указывает на давнее знакомство выступающего и хозяина, который, видимо, хорошо знает предлагаемый сегодня репертуар и может себе позволить, не обижая автора, в этот момент выйти. И в-третьих: хозяина позвали, чтобы тот услышал песню, по-видимому им еще не слышанную, то есть н о в у ю .

С каким Леонидом Ефимовичем общался во второй половине 60-х Галич, установить не трудно: за два года до описываемых событий песню «Летят утки» он посвятил Л. Пинскому. Вот что говорит все та же «Краткая литературная энциклопедия» о нем: «Пинский, Леонид Ефимович (р. 24.X/6.XI.1906, г. Брагин бывшей Могилевской губернии) — русский советский литературовед. С 1924 года — учитель в сельской школе. В 1930 году окончил литературное отделение Киевского института народного образования. В 1936 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рабле и реализм Ренессанса». С 1937 года в течение многих лет преподавал зарубежную литературу в ИФЛИ, МГУ и др. Литературную деятельность начал в 1930 году. Опубликовал работы о Данте, Сервантесе, Рабле, Шекспире, Ф. Вийоне, в том числе книги «Реализм эпохи Возрождения» (1961) и другие. Основное направление работ Пинского — история и теория западно-европейской литературы Возрождения и XVII века, определение своеобразия реализма этой эпохи. Исследованиям Пинского свойственны масштабность и смелость обобщений, живое ощущение истории, тщательное изучение реального литературного процесса»¹⁷.

Энциклопедическую статью дополнила его вдова Евгения Михайловна Лысенко¹⁸. Первую половину 50-х Л. Е. Пинский провел в лагерях, был реабилитирован, позже помимо своей научной деятельности активно занимался «изданием» и распространением неподцензурной литературы. С Александром Галичем познакомился в 1965 году, работал с ним над его самиздатскими книжками¹⁹. Будучи преданным литературе и самиздату безоглядно, Л. Е. Пинский, подобно героям песни Юлия Кима «Мы с ним пошли на дело неумело...», был плохим конспиратором. В июне 1972-го в связи с делом о «Хронике текущих событий» его квартира была подвергнута обыску, при котором в числе других материалов изъяли все машинописные тексты и пленки с записями Галича. Пинский был в

¹⁷ Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. М., 1968. С. 747.

¹⁸ Запись беседы 1996 г. из архива автора.

¹⁹ О Пинском в связи с Галичем см. также: *Крылов А.Е.* О жанровых песнях и их языке: (По материалам твор. наследия А. Галича) // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Вып. I. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1997. С. 368–369; *Крылов А.Е.* Галич — соавтор Шпаликова, Городницкого, Анчарова и... (В печати).

немногочисленной компании смельчаков, провожавших Галича 25 июня 1974 года в аэропорту «Шереметьево». Пинский пережил Галича на три года и умер 26 февраля 1981-го. Его труды стали классическими, они переиздаются и сейчас.

Пинский активно помогал не только Галичу. В 1972 году благодаря его стараниям появилась на свет машинописная книга неподцензурной поэзии Бориса Чичибабина, чье стихотворение «На вечную жизнь Л. Е. Пинского» имеет, в частности, такие строки:

...Неуживчив и тяжел,
бросив времени перчатку,
это он меня нашел
и пустил в перепечатку.
.....
Вечный долг наш перед ним,
что со временем не тает,
мы с любовью сохраним.
Век проценты насчитает...²⁰

Пинского в ряду близких ему по духу людей упоминает Вен. Ерофеев²¹.

Работал Леонид Ефимович и с В. Шаламовым, помогая автору разбивать его рассказы на циклы. Записано воспоминание Галича о том, как познакомились два запрещенных выдающихся русских писателя: «Я у одного *нашего знакомого* пел песни. <...Там> сидел какой-то очень высокий, костлявый человек, — сидел, приложив руку к уху, и слушал меня. Когда я сказал, что вот песня, посвященная Варлааму Тихоновичу Шаламову²², он подсел совсем близко, просто прямо лицом к лицу — мне было очень неудобно петь, и я очень злился, во время того, как пел эту песню. А потом, когда я кончил, он встал, обнял меня и сказал: «Давайте познакомимся, я и есть Шаламов...»».

Вполне вероятно, что историческое знакомство произошло в доме Л. Е. Пинского, который и был их общим знакомым.

Пинский и Эльсберг были коллегами-литературоведами. Но что известно об их знакомстве и какого рода отношения связывали их?

Оказалось, что слово *друг*, дважды звучащее в цитированном нами комментарии Галича к его антипесне, надо брать в кавычки. Выяснилось, что Пинский, как и еще несколько литераторов, был посажен — по доносу Эльсберга. (На эту сторону деятельности доктора наук и намекали, как могли, авторы «КЛЭ».) Говорят, его имя в какой-то момент в среде литераторов было довольно известно: Эльсберга единственного исключили за стукачество из Союза писателей. Правда, вскоре же и восстановили в нем: «такие люди всегда пригодятся»²³, — напишет Галич позже в «Генеральной репетиции» по поводу подобной ситуации с другим стукачом, Лесючевским.

²⁰ Чичибабин Б. И все-таки я был поэтом... Харьков: Фолио; СП «Каравелла», 1998. С. 264.

²¹ Ерофеев Вен. «Я бы Кагановичу въехал в морду...» // День лит. 2000. № 3–4 (февр.).

²² В. Шаламову посвящена песня Галича «Все не вовремя».

²³ Галич А. Генеральная репетиция / Сост. А. Н. Шаталов. М.: Совет. писатель, 1991. С. 370.

Подробнее о Л. Е. Пинском и обо всей этой истории можно прочитать в альманахе «Память», вышедшем в Париже в 1982 году, а также в опубликованных недавно воспоминаниях А. Рапопорт²⁴.

Однако, вернемся к цитированной фонограмме в квартире Пинского. Она у хозяев не сохранилась: была изъята, как уже было сказано, при обыске. Судя по контексту исполняемых песен и их вариантам, она была сделана между 23 ноября и 5 декабря 1968 года.

Но Евгения Михайловна сообщила нам ряд зафиксированных в ее записках дат, в которые Галич был в их доме и пел. Среди них в интересующем нас году оказалось и число 30 ноября, которое как нельзя лучше подтверждает наши догадки.

Более ранние фонограммы этой песни нам неизвестны. Да и по содержанию цитированного разговора Галича можно судить о том, что Пинский в тот момент слышит ее впервые. Трудно себе представить, что Галич, написав песню, навевшую в том числе и их совместными беседами и живя с ним в соседнем доме, долго не показывал ее Леониду Ефимовичу. Логичнее предположить, что этот показ произошел вскоре после написания песни.

Напомним: в ноябре 1968-го.

2. «Бесноватый и дивный»

Вы немало помаетесь
от презренья молвы
и еще вы покаетесь
в том, что каялись вы!

Е. Еатушенко, 1957

Как коня, хомутали меня хомутом.
Меня били кнутом,

усмехаясь притом...

Е. Еатушенко, 1961

Я лез из кожи вон

в борьбе
со здравым смыслом, как воитель,
но сумасшедшинки в себе
я с тайным ужасом не видел.

Е. Еатушенко, 1985

История этого сочинения Галича (песни «Так жили поэты») — в отличие от предыдущей — совсем не похожа на детектив. Ее подробно изложил сам автор, а записал на магнитофон бывший минчанин Валерий Лебедев²⁵. Но прежде чем предоставить слово Галичу, надо сказать, что все им изложенное

²⁴ Яневич И. Институт мировой литературы в 30–70-е годы // Память: Вып. 5. Париж, 1982. С. 120–122; Рапопорт А. Противостояние // Малинкович И. Судьба старинной легенды. М.: Синее яблоко, 1999. С. 130–133.

²⁵ Его мемуары см.: Лебедев В. Воспоминания о Галиче человека «со стороны» / Новый журн. № 211. Нью-Йорк, 1998. С. 138–154; Вы слышите благовест, Александр Аркадьевич? // Вестник. Бостон, 1998. № 22 (27 окт.). С. 59–61.

подтверждается и более ранними его комментариями, что в очередной раз говорит об исключительной правдивости его рассказов.

А дело началось с того, что в уже упоминавшемся втором западном сборнике песен и стихов «Поколение обреченных» было напечатано стихотворение с первой строкой «В майский вечер, пронзительно дымный...», которое появилось весной 1971 года и пелось впоследствии, по словам самого автора, «на мотив старинной воровской песни». Песня, мелодию которой позаимствовал Галич, вполне угадывается:

Начинаются дни золотые
Воровской непродажной любви...
Крикну: кони мои вороные!
Черны вороны — кони мои!..²⁶

В свою очередь, названием сочинение Галича обязано третьей строке стихотворения Александра Блока «Поэты»:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой..²⁷

Причем ударение делалось Галичем на первом слове: «*Так* жили поэты». (Заметим в скобках, что в том же стихотворении Блока есть строка, идентичная заголовку Галича, но Александр Аркадьевич в комментариях вспоминал именно строку из приведенного четверостишия.) Книга готовилась, когда песня была только недавно написана, и потому в нее вошел не первоначальный, но в то же время и не окончательный (если посмотреть из сегодняшнего дня) вариант текста.

Кстати, уже когда стихи Галича стало возможно печатать на родине, Н. Крейтнер и В. Гинзбург опубликовали еще более раннюю редакцию этого стихотворения — с датой написания 22–25 мая 1971 года²⁸. Видимо, их публикация восходит к первому (датированному) автографу, так как в ней текст практически совпадает с самой ранней фонограммой, сделанной 28 мая того же года у ленинградских друзей, когда еще эти стихи не пелись.

Мы приведем текст в его стабильной окончательной редакции:

ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ

В майский вечер, пронзительно дымный,
Всех побегов герой, всех погонь,
Как он мчал, бесноватый и дивный,
С золотыми копытами конь!

²⁶ Цит. по варианту из кн.: Городские песни, баллады и романсы / Сост., подгот. текста и коммент. А. В. Кулагиной, Ф. М. Селивановой. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1999. С. 484–485.

²⁷ Блок А. Поэты // Собрание соч.: В 8 (9) т. Т. 3. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. С. 127.

²⁸ Галич А. «В майский вечер, пронзительно дымный...» // Аврора. Л., 1989. № 8. С. 18.

И металась могучая грива
На ветру — языками огня,
И звенела цыганская гривна,
Заплетенная в гриву коня.
Воплощение веселого гнева,
Не крещенный позорным кнутом,
Как он мчал — все налево, налево,
И скрывался из виду потом.
Он нам снился, бывало, ночами,
Как живой — от копыт до седла...
Впрочем, все это было в начале,
А начало прекрасно всегда!
Но приходит с годами прозренье,
И томит наши души оно,
Словно горькое, трезвое зелье
Подливает в хмельное вино.
Постарели мы и полысели,
И погашен волшебный огонь.
Лишь кружит на своей карусели
Сам себе опостылевший конь!
Ни печали не зная, ни гнева,
По-собачьи виляя хвостом,
Он топчет налево, налево,
И направо, направо потом.
И унылый сморчок-бедолага,
Медяками в кармане звеня,
Карусельщик — майор из ГУЛАГа —
Знай гоняет по кругу коня!
В круглый мир, намалеванный кругло,
Круглый вход охраняет конвой...
И топчет дурацкая кукла,
И кружит деревянная кукла,
Притворяясь живой!

В первой публикации «Посева», о которой шла речь, песне был предпослан такой эпиграф:

У одного поэта есть такие строки:
«В воде проживают рыбы,
На солнце бывают пятна...
Поэты дружить могли бы,
Но мнительны невероятно».

На самом деле ни такого, ни какого-либо другого эпиграфа к этой песне у Галича никогда не было. А процитированное четверостишие составителями сборника было взято с той же магнитной ленты, что и текст. Но прочитано оно было Галичем в качестве комментария к самому факту написания им «склочной», «завистливой», как он иронизировал, песни о своих собратях. На фонограмме, попавшей за границу (по всей вероятности, это была запись от 5 ноября 1971 года, сделанная в доме Ю. Штейна) разбирается такой текст:

«Это чисто <локальная> песня. Это такие поэтические счеты друг между другом, мелкая зависть, которая преследует... И как когда-то писал прекраснейший к о г д а - т о поэт Коля Глазков, «Поэты дружить могли бы, // Но мнительны невероятно». (Смех.) Чудная строфа была...» — И далее то же четверостишие, что в «Поколении обреченных».

Согласитесь, до эпиграфа в процитированном контексте оно немного недотягивает. То ли поэтому, то ли почему-то еще, в переиздании упомянутой книги 1974 года в этом тексте «эпиграф» был убран, а имевшиеся опечатки исправлены.

Однако, самое скверное, что стихи в обоих изданиях сборника были опубликованы под н е с у щ е с т в у ю щ и м названием «Евгению Евтушенко».

А ведь еще при первом чтении стихотворения Галич оборвал хозяйку дома, в котором шла запись: «Она не про Евтушенко! Кстати, упаси тебя бог это произносить!» И только однажды — в конце 1971-го — автор чуть было не проговорился перед магнитофоном: «...Она не про поэтов — про одного поэта. — Но тут же поправился: — Ну, не про одного — про многих».

По свидетельству Галича, Евтушенко, когда узнал о публикации, очень обиделся. А Галичу позвонила возмущенная жена Евгения Александровича: «Весь Париж возмущен этими стихами. Они просто поражены, как можно было оскорбить...»

«Меня, к счастью, не было дома, — рассказывал Галич в марте 1974 года. — Потом, когда меня все-таки с ней соединили, я сказал:

— Галя, я так стихи не называл, — что было правильно, потому что они назывались «Так жили поэты»...

Нет, я его имел в виду совершенно впрямую, но я просто назвал их не «Евгению Евтушенко», а называются они — «Так жили поэты»²⁹... Шапка горит».

Галич, когда писал свою песню о карусельном «коне», уже не очень жаловал Евтушенко. «Если человек талантливый умышленно закрывает глаза на все, что происходит вокруг, то это кончается крушением дарования, — скажет он тремя годами позже, летом 1974 года, журналисту Олегу Красовскому. — Человеку становится не о чем говорить, и мы видим, как люди, подававшие огромные надежды, превращаются в пустышек, которые еще что-то умеют писать только потому, что они талантливы. К их рядам пристроился Евтушенко. На мой взгляд, человек необыкновенно одаренный и если не настоящий поэт, то прекрасный поэтический публицист. Но он живет импульсами — сегодня так,

²⁹ Здесь — в записи 1974 года — Галич немного путает: такое заглавие у песни появилось несколько позднее (об этом — через пару страниц), но сути дела это не меняет.

завтра иначе. И он не определил никак своей гражданской и человеческой позиции. Не захотел ее определить для самого себя и поэтому оказался у разбитого корыта. Сейчас уже большинство его поклонников в Советском Союзе относятся к нему, мягко говоря, без уважения. Слишком он уж мечется из стороны в сторону. И это жаль, потому что он человек, который мог бы многое сказать людям, потому что с него как бы содрана кожа, и он мгновенно регистрирует все колебания почвы, как чувствительный сейсмограф. Я об этом говорю с горечью, потому что относился к нему с очень большой теплотой, ждал от него многого. Человеку в двадцать пять лет кое-что позволительно. А к сорока годам нужно понять, на чьей же ты стороне, по какую сторону баррикад и, в общем, кто же ты есть на самом деле. Но он не сумел, не нашел в себе сил этого сделать и сейчас являет собой довольно трагическую фигуру. Славу, которую он имел в начале шестидесятых годов, — я не знаю, кому еще из поэтов при жизни выпадала такая популярность, такая известность и в стране, и за ее рубежами! — он разбазарил, и кончается это печально. Это один из тех примеров, когда человек не определивший свою жизненную позицию (а ее определить, мне кажется, сейчас можно только однозначно), кончает печально. Сознательно прислуживающие существующему в стране строю люди обречены на бесплодие или на шаблон мышления и, стало быть, на абсолютный творческий шаблон»³⁰.

Еще откровеннее Галич — в уже цитированной дружеской беседе, записанной Лебедевым примерно за полгода до этого интервью. Разговор в тот вечер шел об общих знакомых, о шахматах, о музыке, о поэзии вообще. Магнитофон включили, когда Галич, аккомпанируя себе на гитаре, стал напевать стихи Ф. И. Тютчева:

Вот иду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня...

Тяжело мне, замирают ноги...

Ангел мой, ты видишь ли меня?..

И тут же Галич спел для сравнения фрагмент «Катюши» М. Блантера и М. Исаковского. Потом — снова первую строфу Тютчева, но — на мотив Блантера.

«Почему одно — стихи, другое — не стихи?.. Рифма — та же. Хорошая рифма там и тут. Ритм — тот же, совершенно...

Тут я опять начинаю восхвалять это замечательное занятие, которое придумало человечество и которое не имеет ничего себе равного. Все переводимо: музыка — переводима, живопись — абсолютно интернациональна, скульптура — абсолютно интернациональна, архитектура — абсолютно интернациональна, певец — мне совершенно, в общем, наплевать, поет он «La donna e mobile» или «Сердце красавицы...»

А тут я ничего не могу понять — я могу только поверить. Я могу только поверить, что Байрон — великий поэт, хотя, в общем, в России в это никогда до сих пор (я сказал честно) никто всерьез не поверил... Даже в переводе

³⁰ Красовский О. Пять дней с Александром Галичем // Посев. 1974. № 10. С. 56–57. Курсив в цитатах здесь и далее — мой. — А.К.

Гнедича. Ну, трудно поверить! Плохой поэт, в общем, если говорить серьезно. Ну, н а в е р н о , он — великий поэт!

Гейне [Галич, хорошо зная язык, произносил эту фамилию как настоящий немец: Гайне, или даже Хайне. — А. К.] вообще не существует! Его нельзя переводить, потому что эта вот д и к а я п р о с т о т а , с которой он писал, — она непереводаима. Это можно только понимать в тех цезурах, которых нету просто в русском языке...»³¹.

Но разговор свернул на современность (мы приводим монолог Галича с небольшими сокращениями, опустив также реплики и вопросы его собеседников):

«Поэзия помимо своих о б я з а т е л ь н ы х смыслов, на мой взгляд, происходит и существует как крик о помощи. Вот если нету этого крика о помощи — к людям, к любимой, к миру, к Богу, — знаете, она не существует. Ну ладно, предположим, XX век породил другую какую-то систему поэзии. Но поэзия опять же не существует — без с т р о ч к и . Помимо смысла. Например, мы можем знать поэму Блока «Двенадцать», в которой есть определенный смысл, которого мы сегодня уже не приемлем: нам уже кажется он странным. Но мы все-таки все знаем:

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!..

Здесь — слова были. Вот слова были — волшебные! Казалось бы, они были очень простыми, но за ними стоял какой-то необыкновенный воздух, необыкновенное пространство.

Когда мне говорят: «Ну, вы читали? Это замечательные же стихи — там, вот «Бойни чикагские» Вознесенского!» — я говорю:

— Строчку!

— Нет, там — смысл! Знаете, вот он идет...

Я говорю:

— Строчку! Строчку, слова которой вам запали в душу и которые остались навсегда у вас в языке, в формуле.

Я вас любил: любовь еще, быть может...

— было такое?

На холмах Грузии лежит ночная мгла...;

Редает облаков летучая гряда...;

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя...

— было там?

Не было!

— Да нет, ну там было замечательное, понимаете, вот...

³¹ Кстати, через два года, работая на радио «Свобода», Галич в одной из передач вспомнил эту беседу и частично повторил содержание ее «теоретической» части (см.: *Галич А. Я выбираю свободу*. М.: Глагол, 1991. № 3. С. 142–144).

Я говорю:

— Нет, это не то! Это не поэзия.

Ну просто это — другая природа; вот это — «искусственная икра»: ее даже, может быть, можно есть. Но вряд ли нужно. Просто это — совсем другая система.

«Я — Гойя... Я — Горе...» — вот это единственное, что я помню из него. И это очень плохо, потому что это — выдуманное все. Потому что не было ни горя, не было ничего. Там все было другое. Аллитерации выдуманы искусственно: просто потому что там она попала под руку...

И позиции его гражданские — всегда придуманные, они — нарочные.

Чего нет у Евтушенко, — потому что он припадочный немножко, понимаете? И от припадочности иногда его прорывает в какую-то искренность. Он тут же в ней раскаивается, он тут же начинает барину лизать задницу — говорит: «Барин, прости меня, батюшка. Я вот сейчас, понимаешь, по неосторожности обмолвился. Я так больше не буду».

Но он все-таки — обмолвливается, — хоть по неосторожности. Понимаете? А этот — он такой осторожный! Он такой расчетливый!.. Он такого уже своего, понимаете, «Ленина в Ланжюму» сочиняет... Что просто с души воротит!...

Заметим, что в своих оценках Галич был не одинок. Рискавая быть обвиненными в одностороннем подходе и в то же время ни в коей степени не претендуя на роль суда, приведем все же несколько отзывов современников, проливающих свет на подобные его высказывания. К примеру, — эпиграмму поэта Бориса Чичибабина, написанную примерно в то же время, что и песня Галича, и ходившую по рукам:

Я честь бесчестию воздам.
Способны русские пророки —
Одной рукой казня пороки,
Другой — подыгрывать властям.
О Разнесенский, Петушенко —
Джамбулы атомных времен,
Между витийством и враньем
Не ведающие оттенка!
С позором родины в родстве,
В<ы> так печетесь о величьи,
Но нет величия в двуличьи,
Как нет геройства в шутовстве³².

В недавно вышедшем томе своего собрания сочинений Евтушенко напечатал своеобразную летопись («Пунктир») высказываний о себе и своем творчестве, датированных второй половиной 60-х, то есть за период, непосредственно предшествовавший песне Галича³³. Понятно, что «Пунктир» этот, хотя соста-

³² Печатается по списку из архива О. В. Ивинской.

³³ *Евтушенко Е.* Первое собр. соч.: В 8 т. Т. 3. 1965–1970 / Сост. и коммент. Е. Евтушенко. М.: NEVA group, 2000. С. 547–569.

вителем его и значится Ю. Нехорошев, не может быть свободен от «авторской воли». Но даже и в нем без труда можно найти штрихи к картине, которая говорит о стойкой репутации поэта и вполне объясняет причины написания песни Галича (оба этих «шуточных» примера были опубликованы в официальной советской периодике тех лет):

...Как совместить охотника свирепость
и зайца повседневную смиренность?

Я разный. Огородник я и плотник.

Я сам себе и заяц и охотник.

Я сам себя ловлю и убиваю.

Сам от себя бегу и убегаю.

Но сколько я себя ни убиваю,
я все равно никак не убиваю.

(Юрий Левитанский)³⁴

* * *

Сей популярнейший герой

(Отнюдь не начинающий)

Настолько «разный», что порой

Взаимоисключающий.

(Александр Иванов)³⁵

Чтобы дополнить «летопись» из третьего тома, достаточно лишь бегло пролистать несколько первых попавшихся тамиздатских журналов, которые никогда не нуждались в эзоповом языке. А надо признать, что Евтушенко во в с е советские времена давал повод говорить о себе.

В качестве еще одной иллюстрации перепечатаем стихи, посвященные Евтушенко, которые принадлежат московскому поэту, в западной публикации не названному (обратите внимание на «лошадиную» тему):

Все ты претворяешься, бескожный.

Мокнешь от искусственных дождей.

На слезу актерскую похожий,

Горестный жокей без лошадей.

Всюду поспеваешь ты, и в гриме,

С легкостью забывчивых птенцов,

Ты клянешься ранами моими,

Памятью замученных отцов.

Эту эпиграмму, а также подробный рассказ об отношении к Е. Евтушенко в литературной среде 60-х годов приводит выехавший на запад драматург Юрий

³⁴ Левитанский Ю. Монолог зайчика, рано вышедшего погулять: (Пародия) // Лит. газ. 1969. № 45 (5 нояб). С. 16.

³⁵ Иванов А. Эпиграммы // Москва. 1970. № 12.

Кротков в статье, опубликованной в американском «Новом журнале» еще в 1967 году. Здесь, кроме конкретных воспоминаний, звучат следующие авторские характеристики, основанные на личном знакомстве: «безусловный, стопроцентный карьерист», «либерал Его Величества», а также со ссылкой на народную молву и некоего «прозаика О. Г.»: «левый полусредний», «Евгений Гапон», «хрущевское издание Симонова»³⁶. И это, поверьте, не самые крайние характеристики в статье.

Вообще кто только не упражнялся в словотворчестве по поводу Евтушенко! Еще один эмигрантский журнал одобрительно цитирует писателя Л. Халифа, назвавшего Евгения Александровича — «испросившим разрешение быть смелым»³⁷. Другой писатель, М. Поповский, вспоминая о тех временах, пишет: «Не сразу мы сообразили, что Женья наш — троянский конь [опять конь. — А. К.], засылаемый на Запад ради политического обольщения и оглуления тамошней публики», а поэт Наум Коржавин в своем отклике довольно дипломатично называет позицию Евтушенко игрой «в хождение по канату между властями и публикой»³⁸.

Западная журналистка Патриция Блейк еще в 1963 году напечатала во французском журнале «Preuves» статью о своих встречах с советскими писателями, где отмечала «нападки непримиримых на Евтушенко, который, по их мнению, сильно себя скомпрометировал своими уступками власти»³⁹. И известный эмигрантский писатель Роман Гуль причисляет его — вслед за А. Толстым, Шолоховым, Фединым, Сурковым и прочими — к удачно выполняющим «задания Культпропа и Отдела пропаганды»⁴⁰.

И прочее, и прочее...

Но что же послужило непосредственным поводом к стихам Галича, почему они возникли именно весной 1971 года?

«О Евгении Евтушенко в последнее время пишут мало и неопределенно, — констатирует летом 70-го, имея в виду, конечно, отечественную прессу, критик Евгений Сидоров. — Суждения о нем напоминают движения маятника»⁴¹. Осенью того же 70-го как раз маятник (самого поэта, а за ним и «маятник суждений») качнулся влево. Началась, как писали тогда на Западе, «новая фаза» в творчестве поэта, опять, было, из-за какой-то очередной своей вольности опального. В октябре была присуждена Нобелевская премия А. Солженицыну, а через полтора месяца в газете российских писателей были опубликованы стихи Евтушенко, формально посвященные 90-летию А. Блока. Там были и такие, возмутившие многих, строки:

³⁶ См.: Кротков Ю. Письмо мистеру Смит // Новый журн. № 86. 1967. С. 266–269.

³⁷ Мальцев Ю. Русская литература в поисках форм // Грани. № 98. Франкфурт-на-Майне, 1975. С. 203.

³⁸ Новое рус. слово. Нью-Йорк, 1979. 15 марта и 8 апр. соответственно.

³⁹ Цит. по русскому переводу: Блейк П. Встречи с советскими писателями // Наши дни. Франкфурт-на-Майне, 1964. № 33. С. 114.

⁴⁰ Гуль Р. Писатель и цензура в СССР // Новый журн. № 109. 1972. С. 253–254.

⁴¹ Сидоров Е. Жажда цельности // Юность. 1970. № 8.

Художник, в час великой пробы
не опустишь до мелкой злобы,
не стань Отечеству чужой.
Да, эмиграция есть драма,
но в жизни нет срамнее срама,
чем эмигрировать душой.

.....
Эй вы, замкнувшиеся глухо,
скопцы и эмигранты духа,
мне — вашим страхам вопреки —
возмездья блоковские снятся...
Когда я напишу «Двенадцать»,
не подавайте мне руки!⁴²

К кому в отечественной печати перешло от Пастернака звание «духовно-эмигранта», тогда знали все...

А в феврале Евтушенко с его злободневными политическими стихами допустили аж на страницы главной партийной газеты⁴³.

На публикации в «Литературной России» и в «Правде» («его «Двенадцать»?) не могла не откликнуться эмигрантская периодика. Например, обозреватель журнала «Посев» писал: «Поэт всегда был чувствителен к «духу времени». При Сталине он славил «великого и мудрого», даже сборник успел выпустить; в период «оттепели» написал «Станцию Зима», «Бабий Яр» и «Наследники Сталина». Теперь, при наследниках Сталина, лягает Солженицына и клеймит американский империализм. И чуть раньше: «Судя по тому, как развивается карьера «нового» Евтушенко, его скоро опять начнут выпускать за рубеж»⁴⁴. И это предсказание «вражеского журнальчика» не замедлило сбыться. Следующие «заграничные» стихи Евтушенко датированы тем же 1971 годом.

Но красноречивей всего говорит маленькая заметочка в хронике другого номера того же журнала: «19 января 1971 г. секретарь парткома Московской писательской организации И. Винниченко в своем выступлении на партийном собрании одобрительно отозвался о том, что, в отличие от упорствующих писателей, поэт Е. Евтушенко осудил свое заявление по поводу чехословацких событий»⁴⁵. (Напомним, что его телеграмма протеста «в адрес руководителей партии и правительства» и стихи «Танки идут по Праге, // <...> Танки идут по правде» двумя с лишним годами раньше вызвали «в верхах» то, что и должны были вызвать.)

Если об «отречении» узнали в Германии, то не могли не обсуждать и в России. К тому же мы знаем, насколько остро Галич воспринимал «чехословацкую» тему. Очевидно, песня появилась бы у него несколько раньше, если

⁴² Евтушенко Е. «Вам, кто руки не подал Блоку» // Лит. Россия. 1970. 20 нояб.

⁴³ Евтушенко Е. Слово «ненависть» включено! // Правда. 1971. 27 февр.

⁴⁴ Донатов Л. Осинный кол: О Евгении Евтушенко — «поэте, который помер» / Посев. 1971. № 4. С. 55–58.

⁴⁵ Посев. 1971. № 6. С. 52.

бы не тяжелейшая болезнь — заражение крови⁴⁶, — во время которой он не мог даже писать и которая отпустила его только в мае.

Однако, как мы видим из его высказываний, Галич менее строг к Евтушенко, чем к другому своему современнику — Вознесенскому (и это видно из его рассказа, приведенного ранее). Во всяком случае, Галич довольно объективен, он не склонен следовать излюбленному методу советской пропаганды — «раз не угоден в одном, значит, плох и во всем», — он учитывает колебания «маятника» в обе стороны, н е и з м е н н о признавая талант Евтушенко.

Сближение в одном из сочинений Галича слов и образов *Русь, чрезвычайка* (ЧК) и *птица-тройка* дает нам право предположить, что в числе упомянутых им «обмолвлений», иными словами — удач, — он видел стихотворение Евтушенко «Возрождение»:

Е. Евтушенко:

ВОЗРОЖДЕНИЕ

.....

Куда, пути не различая,

ты понеслась по крови луж,

Русь — птица — тройка

«чрезвычайки»,

кренясь от груза мертвых душ?

.....

1972

А. Галич:

РУССКИЕ ПЛАЧИ

.....

Птица вещая — троечка,

Тряска вечная чертова!

Как же стала ты, *троечка,*

Чрезвычайкой в Лефортово?!

.....

Да была ль она, в сущности,

Эта Русь на Руси?

.....

1974

Могут возразить: столь крамольное для 70-х, стихотворение Евтушенко было напечатано впервые в перестроечной периодике 1989 года⁴⁷. Но его, возможно, автор читал на своих вечерах; может быть, оно ходило по рукам в машинописных копиях. Кроме того, два поэта, как мы уже знаем, были знакомы. И хотя их отношения нельзя назвать дружескими, но представить, что Галич мог слышать эти стихи от автора, мы вполне можем. Однако, эти наши «возможно» целиком относятся к области предположений.

Но вот весьма интересный факт: магнитофонный архив О. В. Ивинской содержит пленку с записью авторского чтения «Возрождения». Подчеркнем: других фонограмм Евтушенко в ее собрании нет. Да и датированы они автором 1972-м годом, то есть тем временем, когда Ивинская наиболее тесно дружила с Галичем, делала его записи. По воспоминаниям ее сына, Д. А. Виноградова, в дом Ивинской был вхож коллекционер И. Б. Гутчин, увлекавшийся поэзией Евтушенко и постоянно записывавший его новые стихи. Возможно, это он принес Ивинской фонограмму. В свою очередь, теплые отношения с Евтушен-

⁴⁶ Подробнее см.: Галич А. Генеральная репетиция. С. 366–372.

⁴⁷ См. в кн.: Евтушенко Е. 1989: [Написанное, а также впервые опубликованное в 1989 г.]. Л.: Совет-турс, 1990. С. 15–16.

ко перешли к Ивинской по наследству от Б. Л. Пастернака. Поэтому очень даже вероятно, что она сама записала авторское чтение стихотворения «Возрождение» на домашний аппарат.

К тому же Галич накануне 1972-го напел на пленку дома у Ивинской песню «Так жили поэты» (в то время он назвал ее «Цыганской обидной»). Трудно предположить, что автор не вел т о г д а с хозяйкой — человеком пишущим и тонко чувствующим поэзию — разговоров о творчестве «сего популярнейшего героя», его общественной позиции и поведении. Даже если Галич и не говорил Ивинской, к а к о й поэт может являться прототипом героя песни, она наверняка об этом догадалась. Ведь и в сборнике «Поколение обреченных» название «Евгений Евтушенко», скорее всего, появилось из воздуха, в котором оно, как в таких случаях говорят, «носилося» (на фонограмме у Штейна песня была еще без заглавия). Слишком уж все было похоже, все т о г д а указывало именно на одного человека. (Точно так же, как в свое время в народе называли «Аджубеечкой» галичевскую «Тонечку», хотя в эту песню Галич и не думал вкладывать историю женитьбы будущего главного редактора «Известий» на дочери Н. С. Хрущева.)

Вспомним, что описанный выше инцидент с посевовским названием песни относится к тому же 1972 году. В общем, слишком много совпадений говорит в пользу того, что Галич в гостях у Ивинской вполне мог слышать евтушенковское «Возрождение». Нельзя исключить и то, что Ольга Всеволодовна оставила у себя (или записала) эти — понравившиеся ей — стихи специально, чтобы показать их Галичу как аргумент в споре.

Под занавес для объективности нужно также заострить внимание читателя на свидетельстве Раисы Орловой: Евтушенко был одним «из тех литераторов, кто сразу же <...> позвонил или пришел» к Галичу после его исключения⁴⁸. Для того, чтобы п р и й т и к «бывшему» писателю и кинематографисту, т о г д а все-таки требовалось мужество. Ведь тот в одночасье стал в один ряд с «тунейдцами» Нестором, Пименом и Бродским, с одной стороны, и с «клеветниками» Синявским и Даниэлем — с другой. Не секрет, что после исключения в окружении Галича ждали его ареста⁴⁹.

Надо также сказать, что известные фонограммы 1971 года можно сосчитать по пальцам. Кроме двух упомянутых в начале главы — самой ранней ленинградской и вывезенной за рубеж (сделанной в доме Штейна), — и до записи у Ивинской песня попала нам только однажды. Причем это исполнение состоялось дома у старинного друга Галича, драматурга Л. Аграновича. Да и среди фонограмм 1972 года песня до осени не встречается. Осенью (или позднее, зимой) Галич поет эту песню Лебедеву, но уже с названием, тоже как у Блока — «Поэты».

⁴⁸ См.: Орлова Р. Чужой и родной // Заклинание Добра и Зла. С. 455.

⁴⁹ См., например, у И. Кузнецова: «Исключение из Союза не было обыкновенным лишением некоего звания. Оно означало полное запрещение заниматься литературным трудом, означало, что он не сможет литературой зарабатывать на жизнь. И не только. Угроза ареста делалась реальной и почти неизбежной (Кузнецов И. Перебирая наши даты // Заклинание Добра и Зла. С. 395).

Однако, в 1972-м книжка «Поколение обреченных» вышла в свет; скандал, который автор предугадал, но, как видим, пытался избежать, разразился; и после этого песня стала петься без ограничений.

Что касается окончательного названия — по блоковской строке, — то оно появляется уже потом, но к сожалению, когда именно — пока проследить не удастся. Во всяком случае, после фонограммы Лебедева (с заглавием «Поэты») оно зафиксировано четырежды, а других заголовков в тот же период у песни не было замечено ни разу.

А отголоски истории с н е с у щ е с т в у ю щ и м в тексте стихов посвящением Евтушенко можно тоже найти в авторских комментариях перед исполнениями песни:

«...Ее назвали вот прямо так, как я ее не собирался называть. Я по-прежнему ее не буду <так> называть, поскольку я по-прежнему не считаю, что это так уж впрямую адресовано одному поэту. Она по-прежнему называется «Так жили поэты»».

«...Я ее очень долго не пел, хотя <она> написана очень давно — года четыре или пять тому назад... Потому что я не хотел, чтобы к о е - к т о принял ее на свой счет. <А так> как к о е - к т о все равно принял ее на свой счет, уже особенной нужды дальше скрывать нет необходимости».

Кстати, в свете последнего высказывания («скрывать нет необходимости») возникает интересная версия: если все же предположить, что Галич, будучи уже на Западе, имел касательство к правке в 1974 году рукописи переиздания «Поколения обреченных», то не он ли с а м о с т а в и л в нем название «Евгению Евтушенко»? Ведь все приведенные нами комментарии он давал в России — до своей эмиграции.

Версия, безусловно, красивая. Однако все-таки, на наш взгляд, характер исправлений во в с е х текстах второго издания говорит за то, что и в нем «Посев», скорее всего, обошелся без авторской помощи.

3. Пророк или слепец?

Солженицыну будет вредна Нобелевская премия. Такие писатели, как он, привыкли и должны жить в нищете.

*Лундквист, шведский академик,
коммунист; 1970*

Ах, Расея, Россия —
Все пророки босые!

А. Галич. «Русские плачи», 1974

Адресата стихотворения «Притча» Галич не только не упоминал, но и скрывал. И даже прокомментировал однажды его такими интригующими словами: «Я прочту самые последние [стихи — А. К.], которые не знает никто, за которые меня могут презирать, догадавшись об их содержании. Но может, не догадываются, — тогда презирать не будут».

В книгах эти стихи печатаются в подавляющем большинстве по окончательному варианту, опубликованному в последнем прижизненном сборнике Галича «Когда я вернусь»⁵⁰, и потому этот текст общедоступен. Приводя здесь п е р в ы й его вариант, известный в авторском исполнении без названия, и сохранив для удобства сравнения последний рисунок строф, выделим курсивом разночтения с окончательным вариантом:

1. По замоскворецкой Галилее
Шел он, как по выжженной земле —
Мимо *потных* окон «Бакалей»,
Мимо *мертвых* окон ателье,
2. Мимо, мимо — булочных, молочных,
Переставших верить в чудеса.
И гудели в трубах водосточных
Всех ночных печалей голоса,
3. Всех тревог, сомнений, всех печалей —
Старческие вздохи, детский плач.
И осенний ветер за плечами
Поднимал, как крылья, *темный* плащ.
4. Мелкий дождик падал с небосвода,
Светом фар *внезапно* озарен...
5. Но уже он видел, как с Восхода,
Через Юго-Западный район,
Мимо показательной аптеки,
Мимо «Гастронома» на углу —
Потекут к нему людские реки,
Понесут признание и хвалу!
И не ветошь века, не обноски,
Он им даст — Начало всех Начал!..
6. И стоял слепой на перекрестке,
И призывно палочкой стучал.
И не зная, что Пророку мнилось,
Что кипело у него в груди,
Он сказал негромко:
— Сделай милость,
Услужи, браток, переведи!..
7. Пролетали фары — снова, снова,
А в *душе* Пророка все ясней
Билось то несказанное слово
В несказанной прелести своей!

⁵⁰ Галич А. Когда я вернусь: Стихи и песни 1972–1977. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1977. С. 40–41.

Много ль *есть* на свете *новых* истин,
Что способны *захватить* сердца?!

8. И прошел Пророк по *мерзлым* листьям,
Не услышав голоса слепца.

9. *Было все* — отныне и вовеки! —
Свет зари *рассеял* ночи мглу,
Потекли к нему людские реки,
Понесли признание и хвалу!
Над *неправдой* *суетно-мышинной*
Засияли истины лучи!..

10. А слепого, сбитого машиной,
Не сумели *вылечить* врачи.

Примерно тот же текст с заглавием «Пророк» и без даты был однажды напечатан в ленинградском журнале «Аврора». Стихи имели подзаголовок «Вариант»⁵¹ и иную, чем здесь и в книжной редакции, строфику: с разбивкой на четверостишья. Судя по вариантам строк, эта публикация была сделана по авторской рукописи, на которой зафиксирован промежуточный текст. На это указывает наличие строк, принадлежащих как к раннему, так и к позднему вариантам. В одной из строф даже есть разночтения, которые можно отнести к вариантам уже не первым, но еще и не к сформировавшимся окончательно:

Много ль *есть* на свете, этих истин,
Что способны *захватить* сердца?!
И прошел Пророк по *мокрым* листьям,
Не услышав голоса слепца.

(В окончательном виде эти строки выглядят так:

Много ль их на свете, этих истин,
Что способны потрясти сердца?!
И прошел Пророк по мертвым листьям,
Не услышав голоса слепца.)

Кроме этих двух первоначальных вариантов «Притчи» и последнего, нам известны еще две фонограммы авторского исполнения и авторская публикация в журнале «Время и мы»⁵². Они также свидетельствуют о целенаправленном поиске наиболее точных слов. Кроме того, журнальный текст говорит о том, что Галич все время искал адекватный рисунок строф: здесь мы имеем не четверостишья и не сложную строфику 1977 года, а стихотворение, вовсе не разбитое на строфы.

Снова упомянем лишь те строки, разночтения в которых появлялись в процессе этого поиска, но не вошли в окончательный вариант:

⁵¹ Галич А. Пророк / Публ. Н. Крейтнер и В. Гинзбурга // Аврора. Л., 1988. № 8. С. 95–96. По всей вероятности, подзаголовок принадлежит публикаторам, знавшим поздний, опубликованный на западе, окончательный вариант.

⁵² Галич А. Притча // Время и мы. Нью-Йорк, 1976. № 3 (январь). С. 97–98.

— *потные и мертвые* окна в первой строфе, прежде чем стать соответственно *светлыми* и *темными*, долго были *белыми* и *черными*;

— в строфе 2 выделенная курсивом строка была и такой: «*Позабывших веру в чудеса*»;

— какое-то время строфа 7 существовала с такими изменениями: «А в груди Пророка все *сильней* // <...> В несказанной *мудрости* своей», но уже с окончательными вариантами в остальных строках;

— к тому же, строфы 5 и 10 в журнальной публикации начинались другими союзами: «*И* уже он видел...» и «*Но* слепого, сбитого машиной...», — но в окончательном варианте они вновь вернулись к прежнему виду.

Помня авторский комментарий, естественно задаться вопросом *who is who* — кого автор имел в виду под Пророком, а кому отведена роль слепца в этом сочинении? Ни один из мемуаристов, могущих разъяснить ситуацию, не высказался по поводу «Притчи». Галич тоже, судя по всему, не оставил нам прямых указаний на ее прототипов. Тем не менее версия существует. На чем она основана, не известно, потому проверку ее на прочность начнем издалека.

Сопоставим текст «Притчи» с другими — того же времени. Именно в этот период Галич от целого ряда стихов, принадлежащих, как теперь говорят, к «автопсихологической лирике», то есть с лирическим *я*, практически всегда совпадающим с *я* самого поэта, — ненадолго возвращается к ролевой поэзии. Но герой нескольких таких его сочинений оказывается в обстоятельствах, очень напоминающих жизненные обстоятельства автора, то есть можно сказать, что Галич продолжает писать о себе, но уже в третьем лице: *он*.

Шел дождь, скрипело мироздание,
В дожде светало на Руси,
Но ровно в семь — без опоздания —
За ним приехало такси.
И он в сердцах подумал: «Вымокну!» —
И усмехнулся, и достал
Блокнот, чтоб снова сделать вымарку,
И тот блокнот перелистал.
О, номера поминовения
Друзей и близких — А да Я!
О, номеров исчезновение,
Его печаль — от А до Я!
От А трусливого молчания
До Я лукавой похвалы,
И от надежды до отчаянья,
И от Ачана до Яйлы.
Здесь все, что им навек просрочено,
Здесь номера — как имена,
И Знак Почета — как пощечина,
И Шестидневная война.

И облизнул он губы синие,
И сел он, наконец, в такси...
Давно вперед по красной линии
Промчались пасынки тоски.
Им не нужна его отметина —
Он им и так давно знаком, —
В аэропорте «Шереметьево»
Он — как в Бутырках под замком.
От контражура заоконного
Еще темней, чем от стыда.
Его случайная знакомая
Прошла наверх и — в никуда.
И⁵³ погорельцем на пожарище,
Для всех чужой, и всем ничей,
Стоял последний провожающий
В кругу бессменных стукачей.

На первый взгляд, такое совпадение «лирического он» с автором мало заметно или, во всяком случае, недоказуемо. Но, например, если взглянуть на черновую редакцию приведенного текста, то в ней, помимо прочих вариантов, можно обнаружить строфу, содержащую явно автобиографические подробности:

.....
И от Ачана до Яйлы.
Здесь каждый номер — утро ранее,
Пролет гусей за вожакон,
И то постыдное собрание,
И гул грозы над Машуком.
И все, что им навек просрочено,
.....

Сокращенная строфа содержит указание на поистине неотвязную для Галича тему его исключения из писательского Союза, прошедшую не только через многие его последующие стихи, но и через ряд передач радио «Свобода», и оставившую след на всей его прозе. Не исключено, что из-за этой одной «конкретности», намертво связанной с автором, строка (а с ней все четверостишие) и была убрана из текста.

⁵³ Все публикации этого стихотворения (публикатор А. Петраков), восходящие к одной и той же фонограмме авторского чтения, неадекватно отражали звучащий в ней текст. В последнем по времени и самом авторитетном на сегодняшний день издании поэзии Галича «Облака плывут, облака» (подготовка текстов и составление А. Костромина) большинство искажений текста, допущенных в предыдущих публикациях, устранено, за исключением ошибочного первого слова данной строки: *Ведь*.

(К слову, в скобках заметим, что вторая строка строфы 3 в варианте первой редакции: «От А до Я, — его друзья!» вместо «Друзей и близких — А да Я!» — представляется более осмысленной и логичной, чем «поздняя», опубликованная, — возможно, ошибочно произнесенная.)

Или вот еще, к примеру, первоначальная редакция известного стихотворения, которую мы по признакам фонограммы, ее содержащей, предположительно можем отнести к 1973 году:

Корабль готовится в отплытие,
Но плыть на нем —
Сойти с ума!
Его оснастку, как наитие,
Разрушат первые шторма.
И равнодушно ветры жаркие,
Не оценив его дебют,
Когда-нибудь останки жалкие
К чужому берегу прибьют!
Но я без страха и без нежности
Смотрю вдогонку кораблю.
Позорным чувством безнадежности
Я путь его не оскорблю.
Плыви с бедою силой меряться.
Простор морской — как суд мирской.
Но все, что мелет эта мельница, —
Не все становится мукой.

Здесь «рассказчик» глядит вслед символическому кораблю, на котором сам автор вынужден плыть в неизвестность, то бишь эмиграцию. По сути это тоже — рассказ о себе в третьем лице.

Это отступление сделано для того, чтобы констатировать: не стоит исключать возможность того, что и в нашем случае за одним из персонажей может скрываться «замаскированный» автор.

Итак, Пророк или Слепец? Где здесь автор, а где адресат? И — кто этот адресат (или прототип)?

Воображение рисует, к примеру, такой случай из жизни самого Галича: создавая одно из своих эпохальных сочинений, он не сделал чего-то или, наоборот, совершил какие-то действия, которыми навредил ближнему; вот потому-то, узнав о результатах своего поступка (или не-поступка) и раскаявшись (или расстроившись), он и написал стихотворение, иронически назвав себя Пророком. Но тогда причем здесь презрение, которое судя все по тому же авторскому комментарию, может обрушиться на его голову и которого он так опасается? Такое раскаяние заслуживает только уважения...

Есть еще один «загадочный» комментарий к «Притче»: «Уже один поэт так называл <себя>». Раз Галич говорит о поэте, то, видимо, речь как раз и идет об идентификации автора с одним из персонажей.

Что касается поэта, г о в о р я щ е г о от имени слепца, то на ум сразу приходит имя СМОГовца Владимира Бережкова с его «Песней старого музыканта, который вслепую бродит по Европе» (1966):

Я совершенно слепой старик.
Все что у вас — мне не надо и даром,
Что до того мне, что солнце горит, —
От солнца лишь тень на мою гитару.
Я ничего, ничего не вижу,
Да я и видеть не хочу...⁵⁴

Песня стала одной из самых популярных на Новосибирском фестивале, так что бывший и «царивший» на том форуме Галич просто не мог ее не знать. Подтверждение тому — и оценка творчества Бережкова из уст Галича в выступлении на фестивале⁵⁵.

Но у Бережкова Слепец — образ, а Галич в комментарии говорит о поэте, так называвшем с е б я. Впрочем, на беду, из-за плохой записи слово *себя*, взятое нами в угловые скобки, к тому же не разбирается с достаточной ясностью, а лишь угадывается. Так что оставим лучшим, чем мы, знатокам поэзии разбираться с этим туманным комментарием, а сами обратимся к тексту Галича.

Какие же ассоциации вызывает у нас Слепой (в «Притче», как мы помним, — со строчной)? Слепота — это не только отсутствие зрения, но и отсутствие возможности видеть, или предвидеть; неумение замечать, или правильно судить, или понимать. Слепой котенок — слепой духом — ослепленный убеждением — политическая слепота — слепая любовь — «судьба слепа» (Галич), — все эти понятия объединены одним словом: б е с п о м о щ н о с т ь.

Да плюс к этому еще вспоминаются строки, написанные через пару лет о с е б е: «Здесь мне все, как слепому, на ощупь знакомо» («Заклинание Добра и Зла», 1974).

Впрочем, есть еще одно значение слова *слепец* — человек, о б м а н у в ш и й с я в к о м - л и б о (или в чем-либо)⁵⁶.

Ну а Пророк?

Уже из первой строфы ясно, что е г о Галилея где-то рядом с нами, и искать Пророка надо во времени «бакалей» и «ателье».

Поиск его следов в творчестве самого Галича ситуацию не проясняет. Кроме строк, вынесенных в эпиграф, некий пророк (так, со строчной буквы) является героем песни «Аве Мария», — образ тоже не конкретный, явно собирательный, даже типичный для времен репрессий.

Если же взглянуть на русскую литературу с птичьего полета, то можно легко заметить, что на роль «агитатора, горлана, главаря» всегда претендовал поэт, он же со времен с л е п о г о Гомера традиционно наделялся чертами провидца

⁵⁴ Бережков В. Мы встретились в Раю... М.: Моск. дворик, 1997. С. 14.

⁵⁵ Галич А. Помни о мельнике!: Неизвест. страницы Новосибир. фестиваля песни 1968 / Публ. и предисл. К. Андреева // Мир Высоцкого. Вып. II. М., 1998. С. 439.

⁵⁶ См.: Словарь русского языка: В 4 т. / Ред. кол.: С. Г. Бархударов и др. Т. IV. М., 1961. С. 187.

и пророка — как обладатель некоего «внутреннего зрения». Пророком называют Ф. М. Достоевского.

Но есть писатель в отечественной литературе, ближе стоящий к Галичу на хронологической лестнице, прижизненное сравнение которого с пророком «Литературная газета» констатировала еще в 1969 году:

«Враги нашей страны возвели его в ранг «вождя» выдуманной ими «политической оппозиции в СССР» и даже объявили «*пророком* грядущего»»⁵⁷.

И если под Пророком в стихотворении действительно выведен А. И. Солженицын (а это о нем говорится в «Литературке»), тогда и впрямь Галичу могло ожидать общественное (не в советском смысле слова) п р е з р е н и е, о котором он говорил в первом комментарии. Критиковать «государством проклятого, госбезопасностью окольцованного» (пусть даже критиковать справедливо) считалось в интеллигентской среде в то время, как впрочем и позже, и даже сейчас, — не только некорректным, но и недопустимым. Например, в книге «Ремесло», рассказывающей о создании и существовании еженедельной газеты «Новый американец» (там она «замаскирована» под «Зеркало»), ее бывший главный редактор С. Довлатов пишет:

«Помню, мы опубликовали в «Зеркале» рецензию на книгу Солженицына. И были в ней помимо дифирамбов мягкие критические замечания.

Боже, какой начался шум!

— Кто смел замахнуться на *пророка*?! Его особа священна! Его идеи вне критики!...»⁵⁸

О том, были ли личные встречи двух писателей — Галича и Солженицына, — нам не известно ничего. А что мы знаем сегодня об их жизненных пересечениях?

16 мая 1967 года А. Солженицын обращается к VI Всесоюзному съезду писателей с просьбой обсудить вопрос о политической цензуре и об обязанностях писательского Союза по отношению к своим членам. В числе других 79 литераторов Галич подписывает письмо президиуму съезда о недопустимости замалчивания обращения Солженицына. Через полгода, 11 декабря 1968-го, в день пятидесятилетия писателя, — Галич направляет ему телеграмму следующего содержания: «Дорогого Александра Исаевича, замечательного писателя, человека, поздравляю от всего сердца. Низкий Вам поклон за великое мужество, которое позволяет выстоять всем нам. Обнимаю Вас. Александр Галич». 5 января 1974 года, еще живя в СССР, Галич вместе с А. Сахаровым, В. Максимовым, В. Войновичем и И. Шафаревичем подписывает письмо по поводу очередной волны травли и угроз в адрес Солженицына. Письмо широко публикуется в западной эмигрантской и иноязычной печати⁵⁹. Выступая уже на Западе, Галич упоминает Солженицына как своего единомышленника⁶⁰ и большого русского писателя. Наконец, последней опубликованной при жизни работы Галича является ре-

⁵⁷ От секретариата правления Союза писателей РСФСР // Лит. газ. 1969. 26 нояб.

⁵⁸ Довлатов С. Собрание прозы: В 3 т. Т. 2. СПб.: Лимбус-пресс, 1993. С. 122.

⁵⁹ Все перечисленные в этом абзаце документы собраны в кн.: Слово пробивает себе дорогу: Сб. статей и документов об А. И. Солженицыне: 1962–1974 / Сост. В. Глоцер и Е. Чуковская. М.: Рус. путь, 1998. С. 216–217, 389, 438–439.

⁶⁰ См., например, в ст.: Крылов А. Е. О жанровых песнях и их языке. С. 370.

цензия или, скорее даже, эссе о поэме Солженицына «Прусские ночи»⁶¹, написанное, естественно, в весьма доброжелательном тоне. Да и все другие известные упоминания Галичем Солженицына либо нейтральны, либо свидетельствуют о высокой оценке его подвижнической или писательской деятельности⁶².

Но жизнь Солженицына на родине — между упомянутыми здесь веками 1968 и 1974 — протекает очень бурно. В ноябре 1969-го Рязанская писательская организация, где Солженицын состоял на учете, исключает его из Союза. Этот момент отсчитывает начало официального объявления войны неуправляемому писателю со стороны государственной машины и нового, более опасного витка «бодания Теленка с дубом». В 70-м Нобелевский комитет называет Солженицына своим лауреатом, и писатель не отказывается, как это сделал двенадцатью годами ранее Б. Пастернак, от получения премии, то есть идет на еще большее обострение. В декабре 1970-го, правда, оба писателя были заочно приняты в члены-корреспонденты Сахаровского Комитета защиты прав человека, но их участие в этой организации (особенно Солженицына) было номинальным⁶³. Далее. В конце 1971 года на западе публикуется роман «Август четырнадцатого». С января по апрель 1972-го писатель подвергается травле в советской прессе...

Стоп! Вот — фрагмент воспоминаний писательницы Р. Орловой, супруги Л. Копелева, относящийся как раз к этому времени: «Летом 1972 года мы виделись особенно часто, он [Галич. — А. К.] жил в Жуковке на той маленькой улице, где жили А. Солженицын, М. Ростропович, А. Сахаров. Тогда же укрепилась дружба Галича с Сахаровым (он знал Елену Боннэр еще со студии, где ставился «Город на заре»). <...> Самая его большая обида того лета — Солженицын отказался с ним познакомиться. Легла она на потаенный пласт души, выраженный и в песнях. Даже после огромного успеха он не переставал испытывать неуверенность в себе»⁶⁴. Далее Р. Орлова, правда, цитирует (в подтверждение своих слов?) песню «Желание славы», написанную задолго до душного и дымного («Опять над Москвою пожары...») лета 1972-го. Нам поэтому остается трактовать ее слова о «потаенном пласте души, выраженном и в песнях», в самом широком смысле: отказ опального писателя п р и б а в и л Галичу неуверенности в себе. Таким образом, о связи этого случая с «Притчей» здесь ни слова.

Но, с другой стороны, это и не означает, что неудавшаяся встреча с Солженицыным не имеет отношения к рассматриваемому стихотворению. Наоборот, поэт

⁶¹ Галич А. Две исповеди: [О кн.: Солженицын А. Прусские ночи; Копелев Л. Хранить вечно] // Континент. 1977. № 12. С. 367–370.

⁶² См., например: Галич А. Песня, жизнь, борьба / [Беседовали] Г. Рар и А. Югов / / Посев. Франкфурт-на-Майне, 1974. № 8; К интервью Жореса Медведева: [Из радиопередачи 06.01.75] // Галич А. Я выбираю свободу. М., 1991. С. 29–30; Культура и борьба за права человека / Беседу вел К. Померанцев // Русская мысль. 1977. 24 нояб.

⁶³ Подробнее см.: Солженицын А. Бодался теленок с дубом. Париж: YMKA-PRESS, 1975. С. 399–402; Сахаров А. Д. Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М.: Права человека, 1996. С. 444 и др.

⁶⁴ Орлова Р. Чужой и родной // Заклинание Добра и Зла: Сб. / Сост. Н. Крейтнер. М.: Прогресс, 1991. С. 455–456.

мог на р о ч н о скрывать это произведение от тех, кто з н а л о конфликте (помните цитированный в начале авторский комментарий?). А то, что Р. Орлова была непосредственным участником событий «лета 1972 года», очевидно. Следовательно, она могла узнать об этих стихах гораздо позже их написания. Например, — из упомянутой нами первой публикации 1976 года в том же журнале, где на следующий год были напечатаны и ее мемуары. Кстати, там это стихотворение — в отличие от напечатанного рядом — не имеет авторской датировки. Не исключено, что и это сделано Галичем умышленно, — чтобы уйти от возможного сопоставления событий, не акцентировать внимания посвященного читателя на их связи. Потому, возможно, Орлова могла и не догадаться о поводе написания стихов, не обратить внимания на такое «совпадение» давнего случая с новыми (как ей могло показаться), вполне ф и л о с о ф с к и м и стихами.

А может, как раз наоборот: предположим, Орлова, знала истинную историю написания стихотворения и желание Галича скрыть ее или хотя бы все тот же цитированный нами авторский комментарий; тогда она намеренно заговорила в своих мемуарах о «Желании славы» и не стала упоминать «Притчу» в «солженицынском» контексте.

В 1999 году главный редактор журнала «Время и мы» В. Перельман опубликовал свои воспоминания о Галиче. Среди прочего он рассказал о том, как в Израиле в 1975 году слышал от автора написанную, по словам того, «п о - з а в ч е р а н о ч ь ю»... «Притчу»⁶⁵. Если Перельман не перепутал стихи⁶⁶, подобное лукавое утверждение Александра Аркадьевича тоже может свидетельствовать только об одном: он не хотел огласки повода к их созданию.

А теперь обратим внимание на юго-западное направление, Замоскворечье и всю топонимику стихотворения. Она, с одной стороны вроде бы точная (*показательная* аптека, *гастроном на углу*), но с другой — таких угловых гастрономов, булочных, молочных и «образцово-показательных» домов и учреждений в каждом районе советской Москвы, и в том числе в Замоскворечье, и даже в области (хоть по юго-западному, хоть по какому другому направлению), — пруд пруди. К тому же вряд ли людские толпы, текущие с востока («с Восхода») через юго-запад встретились бы с Пророком, шествующим по... Замоскворечью. Все-таки Галич знал географию города, в котором прожил полвека.

Если же изложенная версия соответствует действительности, тогда становится понятным, что довольно туманные приметы местности, в то же время никак не связанные с местами проживания Солженицына, также призваны отвлечь внимание читателя и слушателя «Притчи» от ее истинного прототипа.

Есть и еще один свидетель тех событий, который, кстати, тоже не упоминает стихи Галича, написанные по следам этой истории. Как раз в то время Галича в Жуковке посетил бывший ленинградец, музыковед и автор известной статьи «Не только слово. Вслушиваясь в Галича»⁶⁷ В. А. Фрумкин:

⁶⁵ Перельман В. Эмигрантская одиссея Александра Галича // *Время и мы*. № 42. М., 1999. С. 217–218.

⁶⁶ О такой возможности подробнее см.: Крылов А.Е. Написано на чужбине. Рукопись.

⁶⁷ Фрумкин В. Не только слово: Вслушиваясь в Галича // *Обозрение*. Париж, 1984. № 9 (апр.). С. 15–22; Перепечатана в кн.: Заклинание Добра и Зла. С. 216–239.

«Это дачи Совета министров СССР, где Галич жил летом семьдесят второго года после инфаркта. Он снимал дачу академика Волгина, ядерщика, тогда уже покойного, но его вдова сдала Галичу весь дом. Рядом была дача Харитона, рядом — Сахарова <...> Галич мне с большой горечью сказал, что Солженицын отказался с ним встретиться — попросил Екатерину Фердинандовну, свою тещу, мать Наташи Светловой, очень интеллигентную и умную женщину, и та передала Галичу, что тот страшно занят: заканчивает какую-то очередную работу. Вообще Солженицын пренебрежительно относился к этому творчеству... Может быть, ревновал отчасти. Он как-то в одной статье написал, будучи уже за рубежом: «Когда речь заходит о том, кто же у нас диссиденты, кто восстает, так сказать, против тиранического режима? Мне говорят — гитаристы. Опять спрашиваешь, а кто создает, вот, новые методы, новые средства в литературном языке? Гитаристы...» — с таким сарказмом: дескать, что вы, разве это литература!»⁶⁸

Не будем долго останавливаться на возможных истинных причинах, побудивших Нобелевского лауреата отказаться от встречи, которая могла стать знаменательной в истории русской литературы. Тем более, что можем о них лишь гадать. Например, это действительно могла быть и элементарная занятость писателя, и верность его известной «плановой» системе работы, помноженной на «неподходящость» момента («Это — самозащита, — скажет он позже по такому же поводу. — Если я хочу остаться писателем, я не могу встречаться и переписываться, отдать этому жизнь»⁶⁹). И, может, — недооценка Солженицыным Галича как художника. Возможно, сказалась обида за молчание Галича во время начала гонений на автора «Ракового корпуса», когда в его защиту выступили писатели А. Арбузов, Е. Евтушенко, Л. Копелев, Б. Можаяев, В. Тендряков, Ю. Трифонов, Л. Чуковская, А. Штейн и даже «гитарист» Б. Окуджава⁷⁰ (впрочем, и это вряд ли, ведь Солженицын сам, следуя своей шкале приоритетов и ценностей, открыто не протестовал против оккупации Чехословакии и не заступился за помещенного в психушку П. Григоренко). Не стоит исключать и простое недоразумение. И прочее, и прочее.

Не забудем, однако, и об отношении высланного позже писателя к эмиграции, о которой в то лето уже крепко задумывался лишенный всех средств существования Галич. «Солженицын готов уважать лишь бойцов, которые не уходят со своих позиций (и тем самым осуждает Синявского, Некрасова, Максимова, Галича, выбравших эмиграцию)», — засвидетельствует позже в своей книге Жорж Нива⁷¹.

⁶⁸ Цит. по фонограмме одной из лекций В. Фрумкина в Сан-Диего (США), 1978.

⁶⁹ Солженицын А. Пресс-конференция в Стокгольме // Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1996. С. 192.

⁷⁰ Гришин В. Информация МГК КПСС в ЦК КПСС № 328 от 20.11.69 // Кремлевский самосуд: Секрет. документы Политбюро о писателе А. Солженицыне / Сост. А. В. Коротков и др. М.: Родина, 1994. С. 85–86.

⁷¹ Цит. по изд.: Нива Ж. Солженицын / Пер. с франц. С. Маркиш в сотрудничестве с автором. М.: Худож. лит., 1992. С. 44. На соседних страницах, кстати, автор рассуждает на тему: «Антисемит ли он?» (С. 46–49).

Может быть, Александр Исаевич сам расскажет когда-нибудь о причинах его нежелания поговорить с Галичем, но так или иначе последствия оказались для последнего действительно ощутимыми, если не сказать больше.

При сравнении всех публикаций мемуаров Орловой, в самом раннем их варианте обнаруживается фрагмент, отсутствующий в тексте, переданном автором для первой (и одновременно самой распространенной) отечественной публикации:

«Любому человеку, любому литератору было бы обидно, если бы другой всемирно прославленный писатель, живущий рядом, отказался поговорить с ним. Да еще в тот момент, когда Галича, как за два года перед тем Солженицына, выгнали из Союза писателей.

Мне теперь совестно, что я тогда не ощутила его обиду так остро, не разделила ее»⁷².

Значит, обида была достаточно сильная, достойная того, чтобы выразить ее в стихах.

Как видно, с этим случаем соотносит «Притчу» и А. Шаталов, условно датируя ее 1972 годом⁷³. В сборнике статей и воспоминаний о Галиче, составленном Н. Крейтнер, есть сноска к цитате из этого стихотворения в одной из статей: «Посвящено Солженицыну», — но без указания источника информации и какого-либо комментария⁷⁴. С событиями того лета напрямую связывает «Притчу» и другой публикатор — А. Костромин. Он хоть и не рискнул предпослать стихам фрагмент воспоминаний Р. Орловой, что было бы вполне органичным для его сборника, но датировал (тоже, правда, условно) рассматриваемый текст так: <1972, лето ?>⁷⁵.

Тем не менее в других — более поздних, чем в «Авроре», — публикациях Н. Крейтнер и В. Гинзбурга и восходящих к ним — текст имеет точную дату создания: 7 февраля 1973 года⁷⁶. В подобных случаях у данных публикаторов это означает, что они располагают авторской датированной рукописью или же другими сведениями из достоверного источника (дневниковая запись и т. п.).

По высказываниям поэта мы знаем, что некоторые стихи он писал по полгода и более⁷⁷. О длительном процессе написания многих песенных произведений — более года — свидетельствуют и фонограммы за разные периоды. Известно также, что авторская датировка у Галича не всегда, но часто означает

⁷² Цит. по: Орлова Р. «Мы не хуже Горация» // Время и мы. № 51. Нью-Йорк, 1977. С. 16–17. Тот же полный текст позже опубликован и в России: Чужой и родной // Орлова Р. Воспоминания о непростедшем времени. М.: Слово, 1993. С. 344–345.

⁷³ Галич А. Петербургский романс. С. 51–52.

⁷⁴ Заклинание Добра и Зла. С. 351. К сожалению, в этой книге сноски не унифицированы и в большинстве случаев не подписаны; эта, по всей видимости, принадлежит составителю.

⁷⁵ Галич А. Облака плывут, облака. С. 383.

⁷⁶ См.: Галич А. Притча // Огонек. 1989. № 19 (19–26 авг.). С. 13; То же // Я выбираю свободу. Кемерово, 1990. С. 231–232.

⁷⁷ Галич А. Помни о мельнике! С. 441.

конец работы (см., например, точную датировку многостраничной автобиографической повести «Генеральная репетиция»: «29 мая 1973 года»).

Таким образом, позднюю временную границу, если опереться на публикацию Крейтнер и Гинзбурга, можно считать установленной. Что же касается ранней границы, то мы бы не стали всецело полагаться на (совпадающие!) свидетельства Орловой и Фрумкина, и вовсе не потому, что эти мемуаристы не заслуживают доверия читателя, а лишь в связи с тем, что у людей свободных профессий теплое время года не заканчивается первым сентября, и слово *лето* вполне может быть идентично понятию *дачный сезон*, то есть может включать в себя и сентябрь, и даже октябрь.

И не из осени ли в текст «пришли» и *мокрые*, и даже *мерзлые*⁷⁸, в итоге — *мертвые* листья?

Не будем забывать также, что Солженицын очень любил работать в своем л е т н е м домике в Рождестве-на-Истье, а пребывание на той самой даче Ростопова (с 1969-го до весны 1973-го) назвал «четыре х з и м н и м»⁷⁹.

Поэтому мы с большой долей уверенности можем констатировать, что:

— «Притча» действительно могла быть написана в связи с изложенными Раисой Орловой событиями лета или, возможно, осени 1972 года в Жуковке под Москвой, и

— 7 февраля следующего, 1973 года, Галич счел этот текст законченным.

В заключение осталось обратить внимание на одну немаловажную деталь. Почему стихотворение, названное, было, «Пророк», получило впоследствии новое заглавие: «Притча»?

Думается, как раз потому, что Галич не заикнулся на личной обиде, а, придя к обобщению и написав замечательные стихи, смог подняться над ситуацией. Отчасти и поэтому н е т у этих стихов посвящения. В общем-то даже назвать А. И. Солженицына полноправным а д р е с а т о м этого произведения — сложно. Ведь действительно стихи эти, может быть, не столько о Пророке, сколько о С л е п ц е, появившемся лишь в их шестой строфе. Ведь Галич, выгнанный отовсюду, стоящий на главном п е р е к р е с т к е своей жизни, пишет здесь именно о с в о и х ощущениях, о с в о и х переживаниях.

Точно как в стихах его соратника по песне:

У поэта соперников нету
ни на улице и ни в судьбе.

И когда он кричит всему свету,
это он не о вас — о себе...

⁷⁸ Кстати, этот образ — не случаен у Галича. Ср. в военных стихах «Когда мы вернемся домой», напечатанных в книге «Мальчики и девочки» 1942 года, — «талые листья»: «Еще не все! // Еще по талым листьям, // Домой, кольцом бульваров, // напрямик // Вбежим, ворвемся, сапоги почистим // И в темный угол бросим дождевик» (Публ. и предисл. Н. А. Богомолова // Мир Высоцкого. Вып. IV. М., 2000.)

⁷⁹ Солженицын А. Бодался теленок с дубом. С. 362.

Алла ДЕМИДОВА

ТРИ ПОРТРЕТА ИЗ КНИГИ «БЕГУЩАЯ СТРОКА ПАМЯТИ»

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Однажды в Киеве, когда со студии, где я снималась в «Лесе Украинке» в 1970 году, мы ехали в гостиницу, кто-то мне показал балкон на одном из угловых зданий. На балконе стоял бюст. Я не очень удивилась бюсту, мало ли их: мы привыкли к официальным бюстам. Но мне сказали: «Это Параджанов». На балконе стоял бюст Параджанова. Это были его балкон и квартира.

Встретились мы тогда лишь однажды — где-то мельком на студии, и после этого я стала получать подарки: уникальные расшитые украинские платья, иногда бутылку вина, гуцульскую меховую расшитую безрукавку. Причем все это не сразу, а с нарочными: кто-то приезжал в Москву, заходил ко мне и говорил: «Это от Параджанова».

Когда в 1979 году мы с театром были на гастролях в Тбилиси, он устроил прием для нашей Таганки. Я немного опоздала, но, поднимаясь по старой, мощенной булыжником улице Котэ Месхи, уже по шуму догадалась, куда надо идти. Дом номер 10.

Дом двухэтажный, маленький, огороженный небольшим каменным забором. Наверху, над воротами, сидели два, как мне показалось, совершенно голых мальчика и, открывая краны, поливали водой из самоваров, что стояли с ними рядом, всех вновь прибывающих. Мне, правда, удалось проскочить этот душ, когда я входила во двор. Двор тоже маленький. Я сразу обратила внимание на круглый, небольшой не то колодец, не то фонтан; он был заполнен вином, и в этом водоеме плавали яблоки, гранаты и еще какие-то экзотические фрукты. Вок-

**Алла
ДЕМИДОВА**

— родилась в Москве. Окончила экономический факультет МГУ, затем — Театральное училище им.Шукина при Вахтанговском театре. Долгие годы работала в театре на Таганке. Народная артистка России, Лаурет Государственной премии СССР. Автор книг «Вторая реальность», «Высоцкий — каким помню и люблю», «А скажите, Иннокентий Михайлович...», «Тени зазеркалья». В издательстве ЭКСМО выходит книга «Бегущая строка памяти», из которой и взяты печатаемые очерки. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

руг колодца стояли наши актеры, черпали из него и пили. Посередине двора на ящиках лежала большая квадратная доска, покрытая цветной клеенкой, — импровизированный стол, на котором стояли тарелки, а в середине в большой кастрюле что-то булькало, шел пар и вкусно пахло.

В левом углу двора помещался портрет Параджанова, закрытый как бы могильной или тюремной решеткой. «Это — моя могила», — сказал он мне потом. Портрет стоял на земле, а перед ним сухие цветы, столетник и какое-то чахлое деревце.

Все балконы второго этажа были устланы коврами, лоскутными ковриками и одеялами. Сам двор был выложен разноцветными плитками. Сияло солнце. Все сверкало. Было красиво и очень красочно.

А с неба свисал черный кружевной зонтик, он висел в центре двора, как абажур. Меня встретил Параджанов, я сказала: «Какой прекрасный зонтик». Он тут же его опустил, оказалось, что зонтик висел на каких-то невидимых лесках, отрезал его и подарил мне. Я только успела промямлить: «Жалко, ну хотя бы еще чуть-чуть повисел для красоты». На это Параджанов: «Ты видишь, какая ручка! Это саксонская работа. Ты ее отрежь и носи на груди, как амулет, потому что это уникальная работа севрских мастеров. Это Севр».

Потом он приказал сфотографировать меня, себя: ему очень понравилось, что я была вся в белом и в белой французской шляпе. Особенно его восхитило, что я была в шляпе — ибо шляп в то время никто не носил, и он все время приговаривал: «Ну вот, теперь наши кикелки будут все в шляпах. Как это красиво — шляпы! Я заставлю их всех в шляпах ходить. Шляпы. Шляпы...» И нас все время фотографировал какой-то мальчик, которого Параджанов рекомендовал как самого гениального фотографа всех времен и народов. Он никогда не скупился на комплименты.

На втором этаже за балюстрадой из лоскутных одеял стояла жена Гии Канчели. Безумно красивая утонченная грузинка. По балюстраде ходили, тут же ели, пили и пели актеры Таганки и театра Руставели и смотрели вниз с балкона, как в театре, на представление, которое внизу разыгрывал Параджанов. Среди актеров расхаживал какой-то милиционер, которого Параджанов всем представлял, как на светском рауте. Позже выяснилось, что милиционер пришел из-за прописки, которой у Сержи не было. Тут же был какой-то лагерник — приехал к нему в гости. Отдельно справа, на втором этаже под гирляндой красивых сухих перцев, сидела рыжая толстая женщина в байковом цветном халате с большими сапфирами в ушах и молча за всем этим наблюдала. Я спросила: «Кто это?»

«А... Это моя сестра. Я с ней уже два года не разговариваю», — бросил на ходу Параджанов.

Мы прошли в его комнатку, которая вся была забита коллажами, натюрмортами, сухими букетами, какими-то тряпочками, накинутыми на что-то уникальными кружевами. Ну просто лавка старьевщика. Комнатка Параджанова была очень-очень маленькой. Почти все пространство занимал установленный в середине квадратный стол. На столе было очень много еды в старинных разукрашенных грузинских мисках...

Я ушла быстро, потому что совсем не знала, как вести себя на таком точном празднике.

В Тбилиси Параджанов познакомил меня с гениальной художницей Гая-не Хачатурян. У меня есть несколько ее рисунков; жалко, что тогда я не сумела купить ее картины: уникальные, с призрачными фигурами людей и животных. Сейчас они висят в музеях по всему миру. Впрочем, позже я все же приобрела одну ее работу маслом: на темном фоне — разноцветные костюмы и маски странствующих актеров — как воспоминание о том первом моем посещении дома Параджанова.

С тех пор время от времени появлялись какие-то люди, словно подарки от Параджанова: например, художница-мультипликатор Русико из Тбилиси. Она долго потом мне писала письма и присылала свои по-детски примитивные престелные рисуночки.

Несмотря на то, что часто появлялись посылки с фруктами, я слышала, что Параджанов бедствует, да и живет все в той же маленькой комнатке, а я-то думала, что дом весь его! Соседи, чтобы пройти в туалет или умыться, каждый раз проходили по балюстраде мимо его окна и двери.

Потом я снова была в Тбилиси и однажды в театре Руставели смотрела «Ричарда Ш». Сидела в первом ряду вместе с англичанином, который непрерывно фотографировал. Он каждый раз со скрипом вынимал кожаный футляр, доставал фотоаппарат, долго его настраивал, потом громко шелкал и опять с таким же кожаным скрипом убирал все обратно. Через пять минут повторялось то же самое. Этот англичанин меня очень раздражал: я понимала — он ужасно мешает актерам. Видимо, я сидела очень мрачная. Вдруг в антракте ко мне подошли совершенно чужие люди и преподнесли огромный букет свежих-свежих роз. Я спрашиваю: «От кого?» — «От Параджанова».

Потом выяснилось. Шел Параджанов по улице Руставели мимо служебного входа театра. Было жарко, и актеры между сценами выходили на улицу покурить. Параджанов остановился:

— Что у вас идет?

— «Ричард».

— Как идет?

— Да неплохо. Англичане снимают для Эдинбурга, и сидит рядом с ними мрачная Демидова. Ей, видимо, спектакль не нравится.

Параджанов тут же остановил какого-то мальчишку, сунул ему три рубля и сказал: «Вот с той соседней клумбы все розы. Быстро».

Эти розы мне и подарили.

Однажды он узнал, что мы с Эфросом возобновляем «Вишневый сад», и решил сделать шляпы для моей Раневской.

И вот как-то ночью моим друзьям Катаньям позвонил один молодой грузинский священник и сказал, что привез от Параджанова для Демидовой две огромные коробки со шляпами, которые нужно сейчас же передать. И хотя этой ночью была гроза, я тут же прибежала к Катаньям за коробками.

Это уникальные шляпные коробки. Обе декорированы. Одна — черная, другая — сиреневая. Каждая из них стоит отдельного рассказа.

Сбоку на черной коробке выложена летящая чайка: Параджанов взял просто два белых гусиных пера, которые у него явно валялись где-нибудь во дворе, крест-накрест склеил их, вместо глаз приделал блестящую пуговицу, и все.

Получилась летящая чайка. А тряпку, которую он вырезал из какого-то сине-белого подола, он приклеил снизу, и получилось море. Чайка над волнами.

Еще интереснее дно этой коробки, названное им — «Тоска по черной икре». Но я бы назвала этот гениальный коллаж «рыбой». Плавники этой «рыбы» сделаны из обыкновенных гребенок, чешуя — из остатков кружев, а саму «рыбу» окружают водоросли из ниток, тряпочек, кружев — и все покрашено в черный цвет.

Изнутри черная коробка была выложена картинками из театральной жизни. А с внешней стороны — картинками типа «Крупская, сидящая за патефоном»; вырезана и надпись «Гармоничный талант». И вдруг сбоку, неожиданно — фигурка задумавшегося человека. Неожиданность / случайность — это стиль Параджанова в такого рода коллажах.

Внутри этой коробки лежала черная шляпа. Эту шляпу Параджанов назвал «Аста Нильсон». Верх — тулья из черных перьев. Об этой тулье он потом сказал: «Обрати внимание, Алла, эта тулья от шляпы моей мамы». На что Вася Катанян тут же заметил: «Врет, никакой не мамы. Где-нибудь подобрал на помойке».

Коробка из-под сиреневой шляпы была сине-бело-сиреневая, но в другом стиле: Параджанов украсил ее бабочками. Дело в том, что однажды я рассказала ему историю, как была феей-бабочкой для дочки моего друга художника Бориса Биргера. Когда девочка первый раз пришла ко мне домой, чтобы поразить ее детское воображение, я украсила всю квартиру бабочками из блестящей ткани. Большая бабочка висела также и на входной двери. И даже на длинном моем платье, в котором я была в тот день, «сидели» бабочки. Для девочки я на всю жизнь осталась феей-бабочкой. Параджанов не забыл эту историю и прислал мне «привет» бабочкой на коробке.

Изнутри коробка украшена кружевной накидкой, которая раньше, возможно, лежала на каком-нибудь столе. А на донышке приклеено зеркальце из блестящей бумаги, перекрещенное кружевами, как православный крест. И здесь тоже множество картинок, но теперь это были фотографии старинных шляп. Картинки проклеены красными полосками — казалось бы, для чего? А непонятно для чего, но так красиво!

К обеим шляпам приложены кружевные шарфы, к черной шляпе — черный, к сиреневой — сиреневый. Сиреневый расписан от руки лилиями времени декаданса. Когда Параджанов приехал в Москву и мы стали мерить эти шляпы, я его спросила: «А зачем шарфы?» — «Ну вот смотрите: Вы надеваете черную шляпу. Хорошо — но это просто Демидова надела черную шляпу. А ведь когда уезжает Раневская, она уезжает, продав свое имение. Поэтому я хочу, чтобы Вы выбелили лицо, нарисовали на нем красный мокрый рот и до глаз закрыли лицо черным кружевным шарфом, завязав его сзади, чтобы концы развевались бы как крылья. Причем лицо скрыто как бы полумаской, через черное кружево проглядывает мокрый красный рот и бледная-бледная кожа, и сверху — шляпа. Вот тогда это имеет смысл. Точно так же и сиреневая: когда Раневская приезжает из Парижа, этот шарф, легкий, яркий, как бы летит за ней шлейфом воспоминаний о парижской жизни».

Когда я показала эти шляпы и шарфы Эфросу, он мне не разрешил в них играть. Он сказал, что это кич. Я не согласна, это не кич. Кич всегда несоответ-

ствие. Хотя, если вдуматься, шляпы Параджанова действительно несоответствовали спектаклю Эфроса, очень легкому и прозрачному. Эти шляпы утяжелили бы рисунок спектакля. Но сами по себе они — произведения искусства. В искусстве есть понятие авангарда. Мне кажется, что авангард — это прежде всего эпатаж общественного вкуса, но с идеальным своим. А у Параджанова был абсолютный вкус. Шляпы его висят у меня теперь на стене вместе с картинами.

К шляпам было приложено письмо-коллаж на трех страницах. Когда его разворачиваешь, получается длинная-длинная фотография о том, как он делал эти шляпы. На обороте написано: «Алла Сергеевна! 1) Извините — на большее не способен! (не выездной). 2) Шляпа «Сирень» (условно). Шарф. Середине шарфа обматывает все лицо и делает скульптуру!!! Необходимо очертить рот и нос! Шляпа «Asta Nilson». То же самое — черный шарф, потом шляпа-заколка...

Желаю успеха! Он неизбежен! Привет супругу.

После тюрьмы Параджанову было запрещено ездить в Москву. Этот город был для него закрыт, но он появлялся иногда инкогнито. Однажды, когда он в очередной раз приехал в Москву, я позвонила Катаньян, чтобы пригласить их на общественный просмотр спектакля о Высоцком. К сожалению, об этом сказали и Параджанову. Он сразу же захотел прийти в театр, тем более что и Любимов его просил об этом. После просмотра было обсуждение спектакля: там должны были быть, естественно, кагэбэшники, потому что спектакль тогда запретили. Может быть, Параджанов и не пришел бы, но Любимов попросил помочь. И Сережа, конечно, пришел, конечно, выступил. После этого случая его опять забрали за нарушение запрета покидать Тбилиси. Правда, это был только повод.

Я помню, как он первый раз собирался за границу, в Голландию. Это было года за два до его смерти. Он опять жил у Катаньянов. Как-то придя к ним, я увидела большие чемоданы Параджанова: он вез подарки в Голландию совершенно незнакомым людям — бесконечные шелковые грузинские платки, какие-то вышивки, пакки грузинского чая, ковровые сумки, грузинские украшения и так далее. Тут же он вынимал и дарил нам эти платки. В тот раз я пришла со своей приятельницей-итальянкой, и ей тоже дарились эти платки. У меня до сих пор осталось несколько шелковых платков. Иногда я дарю их «от Сережи Параджанова». Параджанов уверял, что платки из самой Персии, а Вася Катаньян тут же комментировал: «Алла, не верь, просто с рынка Тбилиси. И то не Сережа покупал, а ему принесли».

После возвращения из Голландии он забавно рассказывал о витринах. Так как он приехал в пятницу, в тот же день были назначены пресс-конференция и тому подобные встречи — он был занят, а в субботу и воскресенье все магазины были закрыты, поэтому Параджанову осталось только рассматривать витрины: «Представляете: витрина — подушки, бесконечные подушки, или — бесконечные одеяла. И все — разной формы. Это такая красота!»

Я представляю его «зуд», когда он не мог всего этого купить, ведь делать покупки, а потом дарить было его страстью. Причем он мог дарить самые что ни на есть дешевые побрякушки и говорить при этом, что это уникальные

украшения от принцессы Английской. В то же время Параджанов мог подарить уникальные вышивки незнакомым людям, о которых забывал тут же.

Но все-таки в Голландии он не удержался, его страсть покупать оказалась сильнее закрытых магазинов. Он пошел на так называемый «блошинный рынок» и купил его весь, целиком. Когда он вернулся после поездки к Катаньянам, грузовой лифт не мог вместить всех мешков, которые он привез. Но вот он высыпал покупки: в одной куче оказались серебряные кольца и какие-то дешевые стекляшки. Зачем, Сережа, стекляшки? — «Ну, вы не понимаете, кикелки наши будут думать, что это сапфиры и бриллианты».

Не исключено, что он мог и продавать эти подделки, и очень дорого продавать. Но в то же время он мог и дарить настоящие бриллианты совершенно бескорыстно. В этом весь Сережа.

Он любил делать подарки и часто получал их в ответ. Ну, например. Пьем у него чай, вдруг приносят пельмени в огромной суповой миске. Он называет какую-то очень громкую фамилию — хозяина пельменей, потому что ему обязательно нужна громкая фамилия, хотя пельмени могли быть просто от обычного соседа: ему присылали подарки все.

Или как он сам делал подарки. Например, мне. Когда я получала две бутылки вина от Параджанова с нарочным, это вовсе не означало, что он думал обо мне, хотел сделать что-нибудь приятное, пошел и купил вино для меня. Ничего подобного. Просто кто-то подарил ему ящик «Хванчкары», и этот ящик моментально раздаривался, и, значит, в этот момент его племянник ехал в Москву, и в этот же момент разговор зашел о «Таганке» или случайно возникла моя фамилия. Потому мне и доставались две бутылки «Хванчкары».

И так было со всеми людьми, со всеми его подарками. Несомненно, о некоторых людях он вспоминал чаще, о некоторых — реже. Но все это было по случаю.

В Москве он жил у моих друзей — Васи и Инны Катаньянов. Дом этот сам по себе интересен — это бывшая квартира Лили Юрьевны Брик со всеми уникальными картинами, скульптурами, мебелью, что остались после ее смерти. Я думаю, что Сережа, помимо дружбы с Катаньянами, останавливался там еще и потому, что атмосфера этого дома соответствовала его творческому миру. Иногда он выдумывал, приезжая из Москвы в Тбилиси, что этот чемодан, с которым он приехал, — чемодан самого Маяковского. Без выдумки и игры он жить не мог.

Говорил он постоянно. Он был из тех людей, которые не могут остановиться. Кстати, это очень утомительно — общаться с таким человеком. И когда ты сама устаешь, то не очень легко идешь на такой контакт. И к сожалению, я иногда попросту бежала от этих встреч.

А разговоры... Все в этих разговорах, как в его дарах; все неважно и важно. Начиная от уникальных рассказов «про тюрьму» (хотя половина из них, я думаю, тоже выдумана) до его выступления на той же пресс-конференции в Голландии. Правду от вымысла не отличишь.

Я не слышала, чтобы он особенно много рассказывал про свои замыслы, как любят, например, делать некоторые режиссеры. С ним мог состояться такой разговор:

— Сережа, что Вы будете снимать?

— «Демона». Я хочу снимать «Демона».

— А кто Демон?

— Ну, не знаю. Плисецкая прислала мне телеграмму: хочет сыграть Демона. Ну, эта старуха! Разве я буду ее снимать?

Между тем Плисецкой в это время слались телеграммы с предложениями играть Демона.

В этих разговорах бывали иногда какие-то обидные вещи, но всегда это был фейерверк, а обидные вещи — для «красного словца».

Он даже на стуле не мог сидеть просто так — непременно залезал верхом, потому что делать «просто так» для Параджанова — невозможно.

Конечно, он был уникальным кинорежиссером, но в душе он был художником-мистификатором. Он любил делать из своей жизни легенды. В этом он похож на Сальвадора Дали, про которого тоже рассказывают бесконечные легенды и мифы. Если бы после Дали остались только картины, он не был бы так знаменит, я думаю. Известен визит к Дали Арама Хачатуряна. Хачатуряна провели в огромный зал, где за пустым столом стояло только одно кресло. «Ожидайте», — сказал ему мажордом и ушел. Послышалась музыка — «Танец с саблями». «Как это прелестно и деликатно со стороны Дали», — подумал Хачатурян. Музыка нарастала, наконец заполнила весь зал своим звучанием. Открылись двери и с саблей в поднятой руке, совершенно голый Дали пробежал через весь зал в другую дверь — она захлопнулась, музыка стихла. Затем пришел мажордом и сказал: «Аудиенция закончена».

Вот такой же был и Сергей Параджанов. Прийти в гости и просто выпить чаю он не мог и поэтому сообщал: «Только что навестил персидского шейха, который подарил мне вот этот перстень с бриллиантом, но вообще-то, если нравится, возьми». Или что-нибудь придумывал про чашку, из которой пил. Или тут же нарядит всех сидящих за столом в какие-то немыслимые одежды, найдет какой-нибудь сухой цветок, приколет кому-нибудь к платью и заставит носить весь вечер.

Ему скучно было жить «просто так».

У Параджанова был тонус не среднего человека, его жизненный тонус был завышенный. От этого — быстрый разговор, громкая речь, жестикуляция, вечные придумки, хохот. Причем иногда хохот был просто неадекватным, не на «смешное», и наоборот — он мог оставаться равнодушным к явно смешному и смеяться совершенно неожиданному.

При всем этом абсолютная естественность поведения — он говорил всегда то, что думал. Если, например, его спрашивали о том вечере, когда он принимал «Таганку» у себя в Тбилиси, он отвечал: «Ну что вечер? Ужасный вечер. Пришла Демидова, срезала зонт и сразу же ушла. Вот и все!»

Параджанова нельзя определить одним словом, в нем было все намешано. Вы у меня спросите: «Он был вор?» Я отвечаю: «Да!» — «Правдолюбец?» — «Да!» — «Честнейший человек?» — «Да!» — «Гений?» — «Да!» — «Обманщик?» — «Да!» — «Бездарь?» — «Никогда!».

Где был источник, из которого он черпал эту свою неиссякаемую энергию?

Во-первых, я думаю, что источником была сама его судьба, ощущение своей миссии. Причем с годами это ощущение росло. И он даже служил этому.

С другой стороны, болезнь. Не знаю, как диабет проявляется и как он действует на тонус, но думаю, что это тоже оказывало свое влияние.

Тюрьма. Я видела письма из тюрьмы, адресованные Лили Юрьевне Брик. Каждое письмо — это коллаж. Вставить в рамку и повесить на стену.

Вообще, все, чего бы ни касались его руки, надо вставить в раму, ибо все это — произведения искусства. Этим он, кстати, многих заразил — и Васю Катаняна, и меня. Мы жили с Катаняном рядом, по соседству. И под влиянием Параджанова бесконечно (Вася в большей степени) делали коллажи, собирали икебаны, делали лоскутные занавески и наволочки, шили какие-то лоскутные юбки и кофты. Тут всюду Сережино влияние. Собираю я маленький букетик цветов и посылаю их Васе не просто так, а ставлю в красивую вазочку, что-нибудь приклеиваю и тогда уже отправляю. Вася приклеивает мои фотографии, например, в Сережиных шляпах на какой-нибудь плакат известной фирмы. Получается Васин коллаж, но мышление опять-таки Сережи Параджанова. Словно и сделал это сам Сережа.

Он очень любил людей талантливых. В этом смысле можно сказать, он был снобом. Но это не классический снобизм, он просто очень чувствовал талантливых людей и всем им поклонялся, делал им подарки, общался с ними. Он хотел, чтобы память о нем осталась именно у талантливых людей: не было ни одного талантливого человека, которому Сережа что-нибудь да не подарил. Например, Андрею Тарковскому в их последнюю встречу он подарил кольцо. Майя Плисецкая, когда выступала в Тбилиси, была задарена Сережиними фантазиями.

Талантливых людей он находил не только в творческом мире, это могли быть просто воры, всякого рода странные люди, авантюристы: «Авантюрист? Да, но он талантлив!» Тот милиционер, которого я увидела в его доме в свой первый визит, стал постоянным посетителем — он был «талантливым милиционером». Банальных людей вокруг него я не видела, Параджанов их попросту не замечал.

Утверждают, что Параджанов был абсолютно аполитичным...

Я не знаю, что под этим подразумевается, одни говорят, что посадили его в 73-м не за политику, а за то, что был чересчур яркой личностью, другие пишут, что посадили его за какие-то гомосексуальные или спекулятивные дела, но совсем не за политику! Слухов вокруг Параджанова всегда было много и при жизни и после смерти. Во-первых, я думаю, что хороший художник всегда аполитичен, но в то же время художник всегда в конфронтации к существующему строю. Он был чужаком. Он не соответствовал строю, в котором жил. Он очень выделялся, поэтому сразу мерещилась «аполитичность» или «политичность», а ему было плевать. Параджанов был не угоден, такого человека, естественно, хочется убрать, не разрешить ему работать.

Я никогда не слышала, чтобы Сережа говорил прямо о политике, но о чем бы он ни рассказывал, его мировоззрение было ясно.

Его фильмы продолжали его жизнь, а его жизнь абсолютно отражалась в его творчестве. Одно дополняло другое. Как в случае с Дали, даром он мне не вспомнился. Фильмы Параджанова дополняли его, он — фильмы. Его «реальности» переплетались.

Я видела, например, фотографии людей, которых Параджанов находил, он отбирал их, когда начал делать «Легенду о Сурамской крепости». Я видела, как он наслаждался творчеством. Ему даже не важен был результат, куда значительнее было наслаждение, с которым он пристраивал какую-то тряпочку, одевал своих актеров, как он гордился, когда что-то получалось, как он радовался, находя для этого уникальные украшения и реквизит.

Он все умел делать сам, и когда та же «Легенда о Сурамской крепости» получила на каком-то фестивале награду — не то за работу художника, не то за операторскую работу, мне было смешно: это все Сережино, его руки, его почерк. Я просто вижу, как именно он одевает актеров и декорирует кадры, делая почти весь фильм собственноручно.

Тряпочки, аппликации, вышивки, камни, старые ковры — это было его страстью.

Он из всего делал спектакль. Например, в Тбилиси был вечер в Доме кино, посвященный режиссеру-документалисту Василию Катаняну и Инне Генс — его жене, специалисту по японскому кино. Но они были друзья Сережи! Параджанов декорировал этот вечер и сделал из него фейерверк: там были грузинские красавицы в шляпах и длинных вечерних платьях, которые просто сидели на сцене. Для украшения. Женщина за пианино сидела в такой же шляпе, а двух маленьких мальчиков Сережа одел в матроски, но не обыкновенные, а придуманные им самим. Так получился спектакль! Из ничего. И он всем запомнился!

Понимаю, что воспоминания современников ущербны и немножко узки. Например, когда читаешь воспоминания о Пушкине, то удивляешься — ну как же они не понимали, что рядом с ними живет гений, которому — изначально — прощается все! А они вспоминают какие-то мелкие конкретные фактики его жизни. Но в то же время, если бы не эти «конкретные» заметки, может быть, мы не сумели бы понять в более широком смысле того же Пушкина. Чем конкретнее, детальнее воспоминания современников, тем они лучше фиксируют душу времени. Без обобщений и «расширенного понимания». Это уже некий второй этап. Поэтому мне и хочется вспоминать только конкретные истории, которые встают абсолютно реально перед глазами, — то, что врезалось и осталось в памяти.

Сережа Параджанов заразил своим маскарадом всех, кто с ним общался. Когда Катаняны приезжали в Тбилиси и шли к Сереже в гости, Инна — прибалтийка с немецким воспитанием, очень пунктуальная, дисциплинированная — шла в обычной английской юбке, в каком-нибудь буржуазном меховом жакетике, но на голове непременно параджановская шляпа!

Меня в театре иногда обвиняют в декоративности. Я обожаю наворот тканей, не сшитых, драпированных. Я очень люблю шляпы, но тут даже не в шляпах дело. А в том, чтобы уйти от скучного, запрограммированного быта, превратить жизнь немножко в игру, не то чтобы не всерьез к ней относиться, но не так драматически.

... Твердое, короткое рукопожатие.

Яркое лидерство в разговоре.

Быстрая порывистая речь.

В разговоре с ним не может быть диалога — слишком поглощен своим «я», сосредоточен на своих чувствах и мыслях — поэтому нет дела и не интересно слушать о поступках и поведении других. По моим наблюдениям, это бывает у людей, у которых было трудное детство и, видимо, для самосохранения выработался эгоизм. И этот эгоизм детства так аукается в общении.

Нетерпелив.

Прямота и исключительная честность.

Язва, но не любит лечиться, не любит таблетки.

Природная интуиция и огромный творческий потенциал позволяют ему думать, что он любое дело может сделать лучше, чем другие.

Нет дипломатии и хитрости.

Иногда — излишняя, раздражающая прямота.

Его натуре чуждо всякое притворство.

Вспыльчив. Вспышки гнева молниеносны. Но не злопамятен.

Упорство и сила духа рядом с поэтичностью, верой в чудеса.

Всегда верит в свою счастливую звезду (я видела фотографию, снятую в Каннах: стоят спокойный Отар Иоселиани и Тарковский, как обычно, нервно грызущий ногти. Как только в зале объявили, что первый приз фестиваля получил не он, а Брессон, крикнул: «Лариса, чемодан!»)

С возрастом стал спокойнее, мудрее и серьезнее. Терпимее.

Вера в чудо часто приводит к разочарованию. У него это ненадолго. Постоянная внутренняя вера в счастливый конец.

Резко переходит из одного состояния в другое. Нетерпелив, решителен, самоуверен, романтичен.

Выдумывает людей и хочет их видеть такими.

С женой Ларисой всю жизнь на «Вы». Это, конечно, его идея. Она ему подыгрывает.

Под самоуверенностью и некоторой агрессивностью скрывается, очевидно, комплекс неполноценности.

Чувство превосходства над всеми. Над начальством — особенно, что, конечно, им не нравится.

Чтобы быть его другом, надо научиться видеть мир его глазами. Любить то, что он любит, и ненавидеть его врагов.

1987 год, 5 января. Письмо от Джеммы Салем: «Сегодня хоронят Андрея Тарковского на русском кладбище под Парижем. Должны были перевезти в Москву, для чего был заказан цинковый гроб, но Лариса решила по-своему. Перед смертью Андрея они с Ларисой приняли французское подданство — чтобы Лариса здесь получала пенсию».

В начале февраля восемьдесят седьмого года Театр на Таганке был на гастролях в Париже. Многие наши актеры сразу же поехали на русское кладби-

ще Сен-Женевьев-де-Буа, чтобы поклониться могиле Андрея Тарковского. У меня же были кое-какие московские поручения к Ларисе Тарковской, и я решила, что встретившись с ней, мы вместе и съездим туда. С ней мы не встретились. Но это другая история...

В первый же день я помчалась смотреть «Жертвоприношение». Мы сидели с Джеммой Салем в небольшом уютном зале недалеко от театра «Одеон», где проходили наши гастрольные выступления; в зале кроме нас было еще несколько человек, случайно забредших на этот поздний сеанс, чтобы отогреться в уютных мягких креслах. Начало сеанса затягивалось, потому что где-то там — в администрации — решалось: стоит ли крутить кино для такого маленького количества народа? Наконец все-таки смилостивились — не отдавать же деньги обратно, — картина началась. Я смотрела этот фильм и плакала от наслаждения и соучастия, и думала, что бы творилось в Москве, какие бы длинные очереди стояли перед кинотеатром! В то время имя Тарковского было под каким-то непонятным полузапретом, и только иногда удавалось посмотреть его старые картины где-нибудь в Беляево-Богородском — в темных залах старых домов культуры Украины Москвы.

...Уже к концу гастролей, отыграв «Вишневый сад», я сговорила поехать на могилу Тарковского с Виктором Платоновичем Некрасовым и с нашим общим приятелем — французским физиком Андреем Павловичем, с которым мы долго ждали Некрасова в его любимом кафе «Монпарнас». Наконец он появился, здороваясь на ходу с официантами и навсегда забыв этого кафе. Мы еще немножко посидели вместе, поговорили о московских и французских новостях, Некрасов выпил свою порцию пива, и мы двинулись в путь.

Сен-Женевьев-де-Буа — это небольшой городок. Километров пятьдесят от Парижа. По дороге Некрасов рассказывал о похоронах Тарковского, о роскошном черном наряде и шляпе с вуалью вдовы, об отпевании в небольшой русской церкви, о Ростроповиче, который играл на виолончели на паперти, об освященной земле в серебряной чаше, которую, зачерпывая серебряной ложкой, бросали в могилу, о быстроте самих похорон без плача и русского надрыва, о том, как деловито все разъезжались; «может быть, поджимал короткий зимний день», — благосклонно добавил он. Сам Некрасов на похоронах не был, рассказывал с чужих слов. Но, как всегда, рассказывал интересно, немного зло, остроумно пересыпая свою речь словами, как говорят, нелитературными и тем не менее существующими в словаре Даля.

Я же вспоминала Андрея начала шестидесятых, когда он нас удивлял то первыми в Москве джинсами, то какой-то необычной парижской клетчатой кепочкой, то ярким кашне, небрежно переброшенным через плечо. К костюму у него было особое отношение.

Когда я у него снималась в «Зеркале» в небольшой роли, Андрей дотошно подбирал в костюмерной мне костюм. Мы перепробовали массу вариантов, но Андрея все что-то не устраивало. Я сама люблю подолгу возиться с костюмом в роли, но даже я взмолилась: «Что же Вы все-таки хотите, Андрей?» Он не мог объяснить и только просил: ну, может быть, еще вот эту кофточку попробуем или еще вот эту камею приколем. В конце концов мы остановились на блузке с ручной вышивкой, поверх которой была накинута вязаная вытянутая ста-

рая кофта. Потом я поняла эту дотошность — мне показали фотографию 30-х годов. На фотографии — мать Андрея Тарковского (Рита Терехова на нее похожа) и ее подруга Лиза, прототип моей героини, полная высокая женщина с гладко зачесанными назад волосами. Я на нее совершенно не походила. Почему Андрей хотел, чтобы именно я играла эту роль — до сих пор не пойму.

Еще раньше — в «Андрее Рублеве» — он мне предлагал играть Дурочку, но я тогда была слишком глупа, чтобы соглашаться играть Дурочку, да еще для меня совсем невозможное — писать в кадре.

В «Солярисе» Андрей опять стал меня уговаривать играть у него. Сделали кинопробу. Мы тогда много спорили: где грань, перейдя которую героиня «Соляриса» из фантома превращается в человека, научается чувствовать. Андрей говорил, что эта грань — в страдании, а я считала, что в юморе, самоиронии. Обнаружив, например, что на ее платье сзади нет пуговиц, она должна рассмеяться. Научиться смеяться и через это — очеловечиться. Ведь страдают и животные, а чувством самоиронии наделен только человек...

Пробы прошли хорошо, и мы решили работать вместе. Но меня не утвердил худсовет «Мосфильма» — я была тогда в «черных списках».

Когда Андрей приступил к работе над «Зеркалом», мне принесли один из первых вариантов сценария. Предполагалось, что Тарковский будет снимать свою мать, где в кадре — бесконечные вопросы к ней: от «Почему ты не вышла снова замуж, когда нас оставил отец?», до — «Будет ли третья мировая война?». А в ее ответах, воспоминаниях возникают игровые сцены, в которых мне предлагалось играть ее в разные периоды жизни. Но в это время Тарковскому привели на пробы Риту Терехову, которая была удивительно похожа на его мать в юности. И Андрей с Александром Мишариным, соавтором сценария, все переписали. Сценарий стал абсолютно игровым. Главная роль была у Риты, а мне достался эпизод.

(Много лет спустя прочитала в «Мартирологе» Андрея Тарковского о подготовке «Зеркала»: «Хочу работать с Демидовой. Но нет... Она слишком чувствует себя хозяйкой на площадке»...)

Работать с Тарковским очень хотелось. Я бросала все свои дела и мчалась на студию. «Зеркало», например, долго не принимали. Я раза два или три летала из других городов в Москву, чтобы переозвучить какое-нибудь одно слово.

Не зная, как играть, я всегда немного «подпускаю слезу». Снималась, например, сцена в типографии. Сначала мой крупный план, потом Риты Тереховой. У меня не получалось. Я точно не могла понять, что от меня нужно. Стала плакать. Тарковский сказал — хорошо. Сняли. План Риты. Тоже мучилась. Заплакала — сняли. Хорошо. Мы потом с ней посмеялись над этим и рассказали Андрею. Он задумался, занялся другим делом, а потом неожиданно — так, что другие даже и не поняли, к чему это он: «А вы заметили, что в кино интересное начало слез, а в театре — последствие, вернее, задержка их?»

В этой же сцене снимали мой монолог о Достоевском, о капитане Лебядкине, о самоубийстве, самосжигании. «Проклятые вопросы» Достоевского решаются в тридцать седьмом году, когда и происходила эта сцена, а в то время само имя Достоевского нельзя было произносить. Для Андрея все это было очень важно. Вечные вопросы о Боге, о бессмертии, о месте в жизни. Откуда

мы? Ведь «Зеркало» — это фильм в первую очередь о тех духовных ценностях, которые унаследовало наше поколение интеллигенции от предыдущего, перенесшего трудные времена, войны и лишения, но сохранившего и передавшего нам духовную ответственность.

Такие вопросы Тарковский средствами кино пытался передать зрителю только через себя, через самопознание и самоопределение. Этот самоанализ рождался в муках и боли, ибо взваливал он на себя решение неразрешимых человеческих вопросов. Отсюда поиски спасения, искупления, жертвоприношения. Тарковский в конце концов принес в жертву свою жизнь.

...Мы подъехали к воротам кладбища, когда уже начало смеркаться. Калитка была еще открыта. При входе — небольшая ухоженная русская церковь. Никого не было видно. Мы были одни. Кладбище, по русским понятиям, не-большое. С тесными рядами могил. Без привычных русских оград, но с такими знакомыми и любимыми русскими именами на памятниках: Бунин, Добужинский, Мережковский, Ремизов, Сомов, Коровин, Германова, Зайцев... История русской культуры. Мы разбрелись по кладбищу в поисках могилы Тарковского, и я, натываясь на всем известные имена, думала, что Андрей лежит не в такой уж плохой компании.

Отчетливо помню тот день, давным-давно, когда я еще пробовалась у него в «Солярисе». По какой-то витиеватой ассоциации разговора о том, что такое смерть, мы поделились каждый своим желанием, где бы он хотел лежать после смерти. Я тогда сказала, что хотела бы лежать рядом с Донским монастырем, около стены которого захоронена первая Демидова, жена того знаменитого уральского купца. Андрей возразил: «Нет, я не хочу быть рядом с кем-то, я хочу лежать на открытом месте в Тарусе». Мы с ним поговорили о Цветаевой, которая тоже хотела быть похороненной в Тарусе, и что там лежит камень с надписью: «Здесь хотела бы лежать Цветаева». Как известно, Цветаева повесилась в Елабуге 31 августа сорок первого года. Когда ее хоронили, никого из близких не было. Даже ее сына. И никто не знает, в каком месте кладбища она похоронена. Могилу потом сделали условную.

Высоцкий часто рассказывал, как они все дружно жили одной компанией на Большом Каретном и как Тарковский тогда мечтал построить большой дом под Тарусой, где бы они продолжали жить все вместе, коммуной.

Дом под Тарусой Тарковский, спустя много-много лет, построил, но жил сам там мало...

С этими и приблизительно такими мыслями я бродила по кладбищу Сен-Женевьев-де-Буа. Вдруг издали слышу голос Некрасова: «Алла, Алла, идите сюда, я нашел Галича!» Большой кусок черного мрамора. На нем — черная мраморная роза. Внушительный памятник рядом со скромными могилами первой эмиграции. В корзине цветов, которую мы несли на могилу Тарковского, я нашла красивую нераспустившуюся белую розу, положила ее рядом с мраморной. Мы постояли, повспоминали песни Галича — Виктор Платонович их очень хорошо все знал — и пошли дальше на свои печальные поиски. Нас тоже «поджидал короткий зимний день». Время от времени я клала на знакомые могилы из своей корзины цветы, но Тарковского мы так и не могли найти. И не нашли бы. Помогла служительница.

Тарковского похоронили в чужую могилу. Большой белый каменный крест, массивный, вычурный, внизу которого латинскими крупными буквами выбито: «Владимир Григорьев, 1895-1973», а чуть повыше этого имени прибитая маленькая металлическая табличка, на которой тоже латинскими, но очень мелкими буквами выгравировано: «Андрей Тарковский. 1987 год». (Умер он, как известно, 29 декабря 1986 года).

На могиле — свежие цветы. Венок с большой лентой — от Элема Климова, который был в то время председателем Союза Кинематографистов и должен был перевезти тело Тарковского в Россию, чтобы похоронить под Тарусой. Но Лариса Тарковская возражала, и Элем остался на похоронах Андрея в Париже.

Я поставила свою круглую корзину с белыми цветами. Шел мокрый снег. Сумерки сгущались. В записной книжке я пометила для знакомых, чтобы они не искали так долго, как мы, номер участка — рядом на углу была табличка. Это был угол 94-го — 95-го участков, номер могилы — 7583.

Служительница за нами запирала калитку. Мы ее спросили, часто ли здесь хоронят в чужие могилы. Она ответила, что земля стоит дорого и что это иногда практикуется. Когда по прошествии какого-то срока за могилой никто не ухаживает, тогда в нее могут захоронить чужого человека. Мы спросили, кто такой Григорьев. Она припомнила, что это кто-то из первых эмигрантов. «Есаул белой гвардии», — добавила она (рядом были могилы белогвардейцев и Деникина). «Но почему Тарковского именно к нему?» — попытывался Некрасов. Но она — француженка и была не в курсе этой трагической истории, да и не очень понимала, о ком мы говорим. И мы тоже не очень понимали причины такой спешки, когда хоронят в цинковом гробу в чужую могилу. Почему было не привезти его на родину и не похоронить под Тарусой, как он хотел?..

Сейчас Тарковского перезахоронили в чистую землю, недалеко от старой могилы, потому что в том углу кладбища оставалась свободная земля.

Крест на могиле в псевдовизантийском стиле, со странной для кладбища и Андрея надписью: «Человек, который видел ангела...» На могиле по-прежнему цветы и русские монетки — это кладут приезжающие из России.

Возвращались мы печальные и молчаливые. Долго потом сидели в том же кафе «Монпарнас» на втором этаже. Опять подходили знакомые, иногда подсаживались к нам, пропускали рюмочку, и опять мы говорили о московских и парижских общих знакомых. Кто-то принес русскую эмигрантскую газету с большой статьей-некрологом об Анатолии Васильевиче Эфросе, которого мы недавно хоронили в Москве, с прекрасной рецензией на наш «Вишневый сад» и с коротким, но броским объявлением, что собираются средства на памятник на могилу Тарковского (к сожалению, эту газету у меня потом отобрали русские таможенники). Некрасов скорбно прокомментировал: «Неужели Андрей себе даже на памятник не заработал своими фильмами, чтобы не обирать бедных эмигрантов?..». Поговорили об Эфросе, о судьбе «Таганки»... Некрасов был в курсе всех наших московских дел, я ему сказала: «Приезжайте в гости», — он ответил: «Хотелось бы... На какое-то время». Тогда ни я, ни он еще не знали, что он смертельно болен и через несколько месяцев будет лежать на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа... В чужой могиле.

Новое в искусстве всегда воспринимается с трудом и не сразу. Все непривычное вызывает непонимание, а непонимание — раздражение. Не принимают иногда с одинаковой силой и невежды, и профессионалы. Общеизвестно, как Хрущев кричал на художников в Манеже 1 декабря 1962 года: «Осел хвостом может лучше...» А еще раньше один прекрасный профессионал не понял и не принял другого — Вебер о 7-ой симфонии Бетховена говорил: «Экстравагантность этого гения дошла теперь до крайности; Бетховен теперь совершенно созрел для сумасшедшего дома». Но, видимо, так было и будет во все времена: Лев Толстой тоже считал Шекспира плохим драматургом.

В 1974-м году, в Измайлово, на картины художников, вынужденных выставлять свои работы под открытым небом, пошли бульдозеры. Так теперь и зовут те выставки середины 70-х — «бульдозерными».

«Хороших и разных» по направлению художников в то время было много. Они хотели выставляться, хотели найти своего зрителя, иногда им удавалось «пробить» какой-нибудь подвал и устроить там выставку, на которую шла «вся Москва». Но, в основном, работы их можно было увидеть только у них же в мастерских, тоже запрятанных на чердаках и в подвалах...

Много лет назад, в Афинах, я была в гостях у знаменитого коллекционера Костаки. Он был уже смертельно болен. Но его дочь Лиля показала мне их галерею (теперь, к сожалению, не существующую), которая была буквально набита живописью прекрасных художников-«лианозовцев»: Краснопевцева, Рабина, Целкова, Купера, Штернберга... В комнате самого Костаки висело всего три картины — это был Слепышев.

С Толей Слепышевым меня в свое время познакомил Эдисон Денисов. И я стала часто бывать в маленькой темной мастерской художника в бывших складских помещениях за ГУМом. Водила туда своих друзей.

Слепышева покупали, в основном, иностранцы, рано распознавшие, что приобретать, что нет. А когда в 1989-м году его работы были проданы на московском Сотбисе, Слепышева начали покупать и Третьяковская галерея, и Русский музей, музеи Германии, Америки, Греции. Его картины есть у Бориса Ельцина, Франсуа Миттеррана, Бельмондо, Рязанова, Эдисона Денисова, Катрин Денев, которая, кстати, записала в книге отзывов на парижской выставке: «Слепышев — великий художник. В его работах — сочетание трагедии и радости, что, возможно, и есть суть русской души».

О Слепышеве я слышала разные, иногда противоречивые мнения. У меня дома висят несколько его работ, они спокойно уживаются рядом с Фальком, Тышлером, Шухеевым, Нестеровым, Биргером, Эрнстом Неизвестным.

Сам художник с виду подстать своей маленькой темной мастерской: походит то ли на парижского клошара, то ли на нашего забулдыгу (да простит мне Толя это сравнение). И на картинах его наша немудрящая жизнь: расхлябанная дорожная колея, пьяные мужики и бабы, покосившиеся новостройки, продуваемое ветрами пространство и бесконечное небо. Но какими чистыми и яркими красками все это изображено, каким незамутненным взором увидено! Живописец.

В последние годы я заметила, что Слепышев стал обращаться к библейским сюжетам. О том, что они библейские, догадываешься лишь по их атмосфере, ибо на картинах все те же мужики и бабы, которые живут рядом — пахнут землю, ловят рыбу, пьют, едят, любят.

— Толя, как Вы выбираете сюжеты, как они Вам приходят в голову?

— А как поэту приходят сюжеты? Когда человек постоянно пишет, сюжет возникает сам по себе. Как-то летом на даче я читал книжку про Мане. Обычно эту искусствovedческую лабудень я не люблю, а тут, случайно открыв книгу, понял — нравится. И в ней я наткнулся на сюжет — Христос с учениками в тюрьме. Ученики моют ему ноги. Я подумал: в любые времена любому начальнику подчиненные, выражаясь фигурально, мыли ноги... В каждой организации пахану моют ноги. Так у меня возник сюжет к картине «Омовение ног». Однако прошло три года, прежде чем я написал саму картину. Или — «Очередь за молоком». На той же даче я ходил за молоком для своей маленькой дочки. И вдруг однажды на обычную ситуацию посмотрел другими глазами: увидел нашего продавца одноглазым кровожадным пиратом. Почему я проходил мимо этого сюжета? Я обрадовался. Но когда стал компоновать картину — намучился. И тоже прошло года три. Дома, когда делать нечего, я постоянно рисую. Бесконечно. В день по 40 рисунков. И когда понимаю, что что-то есть, переносу этот рисунок на большой листок и, если получается, — на холст. В год возникает приблизительно 2-3 сюжета. Пишу каждый день одни и те же. Меня всегда в них что-то не устраивает. Но если понимаю, что получилось здорово — больше к этому сюжету не возвращаюсь.

— К каким сюжетам Вам не хотелось бы возвращаться?

— А черт его знает! Не помню. Вот, например, у меня есть много картин на тему «Тайная вечеря». А мне все равно не нравится. Попробовал одно состояние — не нравится, другое — тоже. Попробовал вывести на первый план женщину — плохо. Раньше какой-нибудь Репин или Серов работали одну картину несколько лет. «Утро стрелецкой казни», например. А сейчас мы занимаемся экспромтами. Много технологических эффектов. Абстрактный абстракционизм. Корни — в японской культуре. Ну что такое Матисс? Это знак. Кажется, хулиганство, а ведь невозможно повторить. Все строится на точности знака.

— Но знак же легко повторить.

— Нет. Не будет нерва первооткрывательства. Можно стихи написать под Ахматову, но Ахматовой там не будет, потому что у Ахматовой за строчками вся ее жизнь.

— Но в живописи, говорят, можно написать подделку, которую даже опытный эксперт примет за подлинник.

— Эксперты ошибаются. Им выгодно, поэтому они и ошибаются. Художник никогда не ошибется: подлинная это вещь или подделка...

Можно рисовать Бога и путь на Голгофу и остаться салонным художником, а можно рисовать пьяных баб и краснолицых мужиков и быть на служении Духа. Ведь живопись — не только отображение визуального интереса к миру, даже если художник говорит своим полотном: посмотрите, какой красивый закат, какое красивое дерево или какое удивительное лицо. Хорошая живопись прежде всего — некое отражение основных проблем духовной жизни человека. Я заметила:

почти все хорошие художники любят «философствовать», и почти всегда в их теориях есть своя стройная система, свое гармоничное обоснование мира и жизни. Во всяком случае, в любом произведении искусства главное — концепция, идея. И убеждение, что именно эту идею до тебя никто так не претворял в жизнь.

Готовая картина — трансформация чувств и идей; рука, кисть или карандаш — проводник этих чувств и идей. Форма как средство, а не как цель. Цель — выразить свое мировоззрение, которое проходит через все творчество, через все картины, пишет ли художник просто дерево, или пьяную драку, или «Тайную вечерю».

Картины Слепышева иногда кажутся незаконченными. У меня дома есть его «Охота». На переднем плане быстрыми мазками летит в беге борзая. На заднем — крадущиеся фигурки охотников, а между ними — огромное серое пространство, которое дает ощущение бесконечности, хотя картина сама по себе небольшая. Кажется, что художнику просто надоело возиться и с собакой, и с деревьями, и с людьми и он от нетерпения замазал серой краской середину холста. Может быть... Но нам — зрителям — ясна не только мысль о бесконечности пространства, заложенная в картину, но виден и сам процесс мышления, а главное — созидания этой работы. Мне кажется, стремление вовлечь зрителя в творческий процесс, сделать его соавтором — одна из основных черт современного искусства.

Все сюжетные композиции Слепышева находятся в действии. Вот мужичонка в расхлябанной телеге уезжает от беременной жены. И лошадь, и телега, и сам мужичонка проработаны, вернее — не проработаны одним коричневым цветом. На белом холсте — зыбкая фигура женщины, чахлое дерево и кусок земли, дающий ощущение всего земного шара. Все зыбко и противоречиво, хотя все — в гармонии одного мазка, одного замысла. Или другая картина: лунный свет, дерево, женщины, пасущаяся невдалеке лошадь. Опять много белого, непроработанного холста, но спокойствие лунного света и лежащих под деревом женщин — динамично, ибо и здесь мы видим, что все: и дерево, и лунный свет, и женские фигуры, и лошадь, — с одной стороны, слито в гармонию, а с другой — существует отдельно, внутренне борется друг с другом.

В картинах Слепышева не может быть застывшего состояния. Все в движении и противоборстве. Летящие мужики в других его работах — никак не напоминают персонажей Шагала. У Слепышева в этом полете заложена ярость противоборства со стихией и с собой.

— Толя, что по-Вашему самое главное в мастерстве?

— Когда не видно трудностей, не видно узелков, когда двумя-тремя фразами, интонацией, впечатлением передается суть. Чем больше художник, тем больше информация, а форма может быть при этом простейшей.

— Вы быстро пишете?

— Да, быстро. Делаю очень много вариантов. Вот «Распятие» — тоже долго возился с этим сюжетом. Сейчас перед Вами последний вариант, и он мне пока нравится.

— Чем?

— Пространством. Я попытался сделать объем. Вроде бы традиционные вещи, но ход другой. Все как будто небрежно, аляповато, наспех, но есть состояние. Виден технологический процесс, краска как бы живая... Я не хочу добиваться

пространства или объема школьными методами. Пространство у меня дает только цвет. Все должно быть на плоскости, глубина — за счет окраски пятна.

— Когда Вы писали этот вариант «Распятия», Вы входили во внутреннее состояние персонажей, как это делают актеры или писатели?

— Нет. Меня прежде всего интересовало столкновение чувств — ведь люди присутствуют при казни. Обратите внимание, какой тупой сверху красный цвет. Здесь нет ничего случайного, ни одного мазка. Вот, например, на переднем плане — белый мазок: уберите его — и все развалится. Хотя, конечно, думать об этом не надо. Вы же не думаете о дикции, читая «Реквием»...

Я не всегда согласна со Слепышевым, когда мы говорим с ним о кино, театре или живописи, но беседовать с ним люблю. Он бывает в курсе почти всех событий в искусстве. До знакомства с ним я часто видела его на концертах тогда еще редких, так называемых «авангардных» композиторов — Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Сони Губайдулиной. И хоть часто он бывает пристрастен, оценки его очень точны, он откликается на все новое в искусстве. В этом смысле у него безошибочный вкус. Внутреннее чутье. Он любит показывать свои работы людям, творчество которых он ценит.

Каждый человек смотрит на мир по-своему. И если удастся рассказать об этом людям, показать мир через Свое Окно — это и есть свойство таланта. Картины Слепышева очень эмоциональны, хотя в жизни он, по-моему, очень спокойный человек, всегда ровен. Я заметила, что большие художники, большие музыканты или актеры, то есть люди, одаренные тонким чувством меры, верным вкусом, ясным умом и хорошим воображением, как правило, в жизни очень устойчивы в своих эмоциональных проявлениях. Переживаем мы, зрители, а они, своим талантом провоцируя наши чувства, только наблюдают и изучают. Может быть, я заблуждаюсь, но глядя на картины Слепышева — и ранние, и поздние — невозможно заметить ничего мелкого, суетного. Он смотрит на мир спокойно и ясно.

— Толя, я не вижу разницы между Вашими ранними и поздними работами.

— В ранних есть обаяние задиристости, непосредственности. Сейчас я более сухой, делаю то, что запрограммировано. Нет случайности. Раньше я писал и смотрел, что получится, и удачное брал на вооружение. Я не был противником шаблона. Шаблон, доведенный до мастерства, это уже канон. Сейчас шаблонов у меня меньше, больше доверяю мастерству.

— Ваш евангельский сюжет — это канон?

— Любой сюжет — повод рассказать про сегодняшнюю жизнь. Что такое крестный ход? Канон? Да. Но это жизнь, связанная с насилием, жестокостью, искуплением. Для меня крестный ход — это когда берут человека и волокут его убивать. Я не видел, как Сталин расстреливал миллионы, но я видел другое, у меня в «Крестном ходе» — современные люди. Меня интересует борьба чувств, ведь не все же одинаково реагируют на насилие, тем более такое! Иногда художник пишет тот же «Крестный ход», и все у него есть — и мастерство, и сюжет, а искусства нет. Я много преподавал после института: сразу видно, хорош рисунок или плох. Иногда просто случайно тронул кистью — а уже искусство.

— Что такое искусство?

— Это таинство. Художник создает еще одну жизнь. Как Бог. Деревья — что такое? Жизнь! Заставить волноваться при соприкосновении с тем, что ты сделал, — в этом искусство.

Я записываю за Слепышевым его ответы на мои, иногда провокационные, вопросы, а в это время Толя показывает мне и моим друзьям свои картины — одну за другой. ...Поток мирового пространства, куда вовлечено все сущее: звери, деревья, люди. Все завихрено мировым ураганом — от этого картины так динамичны. Чувственность и мысль неразрывно связаны. Сновидческое, наивное, детское сознание. Плоть, которую он изображает, груба и примитивна, но насилие, присутствующее в его сюжетах, неагрессивно, как нет агрессии в скульптурных древнегреческих портретах, даже если изображен поединок двух воинов. Нет насилия над духом.

— Толя, Вы человек добрый?

— Незловредный.

— Можно житейский вопрос?

— Давайте. Вот тут я точно навру.

— У Вас не было ощущения, что Вам надо сменить быт, мастерскую и от этого, может быть, в работе пойдет что-то другое?

— Я был в Париже недавно. Два месяца. Жил, как Бог. Но я там не нужен. В Крыму, в Никитском саду — тоже красиво, но я не ботаник. Здорово, но не мое. Много красивых женщин, но я тут причем? На Западе нужен дизайн. Искусство там не нужно.

— А нам нужно?

— Но мы же изголодались по настоящему искусству! Вот была выставка Малевича — толпы. Ничего не понимают, а идут!

— Если у Вас такое пренебрежение к зрителям, кому Вы хотите показывать Ваши картины?

— Тем, кому они интересны. Я ведь иногда на свои картины смотрю глазами зрителя. Когда один скажет «хорошо» — я ему не верю: мол, много ты понимаешь! А когда уже много людей скажут «хорошо» про одну и ту же вещь — я начинаю смотреть на нее по-другому.

— Вы легко расстаетесь со своими работами?

— С удовольствием.

— А когда встречаете их вновь?

— Очень нравятся

— Толя, Вы скромный человек?

— Не бывает художников скромных. Они могут страдать, сомневаться, терзаться. Самоутверждение — в сравнении. Вы-то сами про себя все знаете, кто бы что ни говорил...

И все-таки несколько лет назад, вместе с женой и дочерью, Слепышев уехал в Париж. Пробыл он там шесть лет. Дела у него шли хорошо: были выставки, картины покупались. Дочь училась в Парижской Академии художеств.

Летом 1992-го года я по своим делам была в Париже и, конечно, сразу же позвонила Слепышеву. Мы сговорились встретиться. Долго перезванивались, как

найти мастерскую — она далеко. Наконец, поскольку у меня была машина и я за рулем, я в проливной дождь заехала за Толей, и вместе с ним мы поехали в его мастерскую. В этом доме — мастерские многих художников. Комната небольшая и, по погоде, пасмурная. Толя показывает свои новые работы. Манера письма изменилась, да и сам он другой: без бороды, лицо жесткое, энергичное. А картины, наоборот, потеряли тот неповторимый, энергичный слепышевский мазок, стали как будто более реалистичными. Вокруг реалистичного пейзажа или сюжетной сценки появилась нарисованная рамка. Раньше его работы в рамках не нуждались, рамой была стена, на которой они висели, их обрамляло пространство...

— Толя, зачем эти рамки?

— Нужно оформление для широкого, разбросанного, экспрессивного. Нужны границы. С этими рамками получается две энергии: рамка — безрассудная, бессюжетная, а внутри — мой сюжет.

Сюжеты у Слепышева те же, русские: лес, река, лошадь, бабы, мужики. Рамка — западная, а ля живопись Поллока, например. Иногда рамка белая, чистый холст. При этом светлые, почти белые сюжеты — очень красиво. По белому полю рамок иногда идут подписи. Сюжеты часто напоминают старые, стершиеся византийские фрески. Отара овец — явно библейский сюжет. Ни в России, ни во Франции таких нет. Порой на одном холсте расположены три сюжета: например, справа Кремль и Василий Блаженный, слева — безымянная церковь, а посередине — бульвар, люди на нем, а на лошади — дама в длинном розовом платье. И на белом фоне рамки — черная подпись из Ахматовой:

Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата.

— Толя, мне кажется, Вы пытаетесь соединить несоединимое: тому, кто любит абстрактные полотна Поллока, не нужны Ваши сюжеты, а кто любит реализм в живописи — того будет раздражать абстракция.

— Может быть. Но я стал понимать, что топчусь на месте и стал искать. В творчестве ведь всегда есть взлеты и падения. Ошибки должны быть. Здесь, на Западе, боятся отступать от найденного пути, если путь выгоден. Я, например, за последние два года продал 80 картин. Но мне стало скучно. Конечно, старые картины, которые остались в Москве, — лучше, но нельзя же все время их повторять. Здесь искусство — предмет продажи, кто пробился — тот держится. Галереи когда-то нашли художников и держатся за них. Они не ищут новых имен, им это не нужно. Они хорошо едят — это здесь главное. Искусство есть сейчас в Германии, есть, может быть, в Америке, а в Париже его нет.

— Так возвращаетесь. Я тоже думаю, в России Вы работали лучше. Спокойнее. Правда, такой пиджак, как на Вас, Вы там не купите...

— Может быть, вернусь. У меня дочка в Академии учится. Я для нее должен что-то заработать. И потому, что значит «вернуться»? Я ведь от себя никуда не уезжал. Правда, здесь я стал работать больше. Больше занимаюсь детализацией. А что касается моих поисков и Поллока, то ведь любое направление в искусстве занималось тем, что разламывало все, сделанное до него. Все дети ломают иг-

рушки, чтобы посмотреть, что там внутри. Мане, например, — это разломанный и разложенный Пуссен. Хотя в нынешних поисках дошли до абсурда. В поп-арте, например, берут кусок двери с натуральными надписями и звонками и выставляют как произведение искусства. И за счет галереи, фирмы, рекламы и мафии — продают. Но люди уже перестали верить этому обману...

...Толя вернулся в Москву, в свою старую квартиру. Его дочка, закончив Академию, шла как-то по парижской улице, встретила молодого человека, влюбилась, а он оказался туристом — бедным поэтом из Ленинграда. И они уехали жить в Ленинград. Толя с женой потянулся вслед за ними. Но московскую мастерскую он потерял — начались новые времена...

— Толя, когда через шесть лет Вы открыли ключом свою квартиру, что-то в ней изменилось?

— Да ничего! Все тоже. Тараканы появились в большом количестве.

— А как Москва?

— Очень понравилась. Чистое небо и земля. Центральные улицы стали лучше. В магазинах полно и никого народу. Хотя есть и супер-нелепости: то, что в Париже никому не нужно — архидорого, а продукты — раза в три дешевле. Или, например, подрамники: в Париже за самый дешевый я платил 200 франков, здесь — 40.

— Что будете делать дальше?

— Тараканов ловить.

— А работать будете?

— Если я не буду писать, я умру.

— Вы довольны, что вернулись?

— Очень. Я всегда хотел вернуться. Оставался из-за дочери.

Вернувшись, Толя работал в своей трехкомнатной квартире в Строгино. 16-й этаж, широкое окно во всю стену. Из окна видна Обуховская церковь, канал, Московское море, Серебряный бор.

Я как-то заехала к нему с друзьями — вся квартира была заставлена картинами. Работать там, конечно, тесно. Наконец ему дали помещение в одном офисе на первом этаже. Туда он перевез свои огромные полотна, туда ездит каждый день из своего Строгино.

Если я проезжаю по Садовому кольцу мимо дома рядом с Американским посольством и вижу свет в окне на первом этаже — я к нему захожу. Мы разговариваем, иногда он мне дарит какой-нибудь рисунок или картину. Он не изменился — такой же, каким я его увидела много-много лет назад, тоже на первом этаже, в маленькой темной мастерской за складскими помещениями ГУМа.

Я НЕ ВЕРЮ В КОНЕЧНОЕ ТОРЖЕСТВО ДОБРА, НО ДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТОБЫ ЕГО СТАЛО БОЛЬШЕ

**Интервью Художественного руководителя
Московского театра «Новая опера» Евгения Колобова
Главному редактору журнала «Континента» Игорю Виноградову**

Как уже сказано в предисловии к интервью академика Вячеслава Всеволодовича Иванова в разделе «Россия и мир на рубеже веков», рубрика «Беседы в редакции» станет в журнале постоянной — почти во всех его разделах.

Публикацией интервью Евгения Колобова «Континент» открывает эту рубрику и в разделе «Искусство». Здесь будут регулярно печататься давно уже анонсированные редакцией беседы с виднейшими мастерами современной российской художественной культуры — режиссерами и артистами театра и кино, композиторами и дирижерами, музыкантами и чтецами, скульпторами и живописцами.

Общая задача этих публикаций — познакомить наших читателей с тем, как видят сложившуюся на рубеже тысячелетий ситуацию в русской и мировой культуре те, кто ее создает и собою олицетворяет; какие тенденции, сдвиги, разломы или обнаживающие перспективы ее развития они чувствуют в ней сегодня и каким представляется им искусство грядущего XXI века; как изменились и изменились ли к сегодняшнему дню, с их точки зрения, фундаментальные критерии подхода к искусству по сравнению с XIX и XX веками и как сами они ощущают себя и свое искусство в резко изменившихся условиях современной российской действительности.

Другими словами, задача рубрики — представить читателю некое обобщенное, хотя как бы и мозаичное (но тем и репрезентативное), свидетельство о том, как эстетически, духовно, социально и просто даже житейски ощущает и сознает себя в лице своих крупнейших представителей сама художественная культура нашего переломного, меняющегося времени, — дать обобщенный образ ее сегодняшней саморефлексии.

Именно с этих общих вопросов и началась беседа с одним из крупнейших современных российских музыкантов Евгением Колобовым — художественным руководителем и главным дирижером Московского театра «Новая опера».

Представим его нашему читателю чуть обстоятельнее, — тем более, что интервью он давать не любит, для «Континента» сделал редкое исключение и вообще рекламой ни себя, ни даже своего театра не занимается, так что получить о нем какую-то биографическую информацию обычному читателю очень нелегко.

Евгений Колобов родился в 1946 году в Ленинграде — в семье, которая, по его словам, никакого отношения к музыке не имела. Но прадед, как узнал он потом, был, оказывается, регентом церковного хора, и, возможно, какие-то музыкальные гены передались мальчику и от него. Во всяком случае, когда ему исполнилось семь лет, отец,

военный, решил отвести его в Хоровое училище при Ленинградской государственной академической капелле не только потому, конечно, что оно было по дороге на его работу, но и потому, что маленький Женя любил петь. Окончив в 1963 году училище, 17-летний Колобов уехал — по совету своего учителя Владислава Чернушенко — из родного Ленинграда на далекий Урал, в Свердловск (ранее и ныне — Екатеринбург) продолжать свое музыкальное образование в Свердловской консерватории у замечательного педагога и дирижера Марка Израилевича Павермана. По его классу он и окончил в 1968 году дирижерско-хоровое отделение консерватории, после чего отслужил год в армии, а затем еще год проработал главным хормейстером в оперном театре Улан-Уде, где впервые начал и дирижировать. Вернувшись в Свердловск (дирижером театра музыкальной комедии), Колобов снова, во второй раз, поступает в консерваторию к Паверману, но теперь — на оперно-симфоническое отделение, которое оканчивает — опять с отличием — в 1974 году, получив, таким образом, в итоге своего консерваторского обучения, две специальности — и хормейстера, и оперно-симфонического дирижера. В том же году он становится дирижером Свердловского академического театра оперы и балета, а всего через три года его вызывают в Москву на утверждение в должности Главного дирижера театра, и когда высокое начальство выражает при встрече с ним некоторое настороженное недоумение и удивление по поводу его слишком уж какой-то неприличной для Главного дирижера Академического театра, одного из лучших в стране, молодости, Колобов, действительно совсем молодой еще (ему исполнился всего 31 год), но совсем не робкий и отнюдь не лезущий в карман за острым словом, невинно отвечает: а вот Тосканини в 31 год стал уже Главным дирижером «Ла Скала». Аргумент оказался убийственным, Колобов был утвержден и еще четыре года проработал в Свердловске, создав там несколько замечательных спектаклей, и — после показа их на гастролях в Москве (в том числе впервые после дореволюционных времен возобновленной на русской сцене на итальянском языке «Силы судьбы» Верди) — получил в 33 года первое свое звание — заслуженного деятеля искусств РСФСР. А в 1981 году знаменитый Юрий Темирканов пригласил его в Ленинград — дирижером в великую Мариинку, тогда называвшуюся еще в обиходе «кировским» театром (Ленинградский Государственный академический театр оперы и балета имени С.М.Кирова).

Так закончились 17-летние уральские университеты Колобова, он стал дирижером одного из ведущих оперных театров мира, где вскоре получил звание уже и Народного артиста РСФСР (кстати, от обоих званий Евгений Колобов, убежденный, что в искусстве такого рода регалии ни к чему, еще в 1990 г., то есть еще до создания «Новой оперы», официально отказался и сдал свои почетные дипломы в наградной отдел). И вдруг, когда Темирканов прочил его уже — и он знал это — в свои преемники, — вдруг в 1987 году Колобов по собственному желанию уходит из театра и примерно год перебивается где-то на случайной работе, совсем оставив дирижирование. «С тех пор про меня и пошла молва, что я сумасшедший. А я просто больше не мог. Я одно только «Лебединое озеро» отмахал и в СССР, и по всему миру раз двести, у меня эта великая музыка уже из ушей лезла, я возненавидел ее, и я понял, что как музыкант, как дирижер я погибаю, опускаюсь». А потому, когда всего через год пришел из Москвы — в связи с уходом Темирканова — приказ о назначении Колобова Главным дирижером Мариинки, он не только кате-

горически отказался, понимая, что в этом давно сложившемся, переполненном титулованными амбициями многочисленных «великих» коллективе, находящемся к тому же под неусыпным идеологическим надзором, он ничего с в о е г о не сумеет сделать, но еще и возмутился — что же, он крепостной, что ли, какой, которому можно, даже не спрашивая на то его согласия, министерским приказом назначать его место в жизни?! А высокому начальству, которое опять-таки пришло в оторопь — что за сумасшедший: отказываться стать в 37 лет Главным в Мариинке?! — ответил в своем, уже становившемся «фирменным», стиле: «Можно опуститься у пивного ларька, но можно опуститься и в великом театре. Театр великий, но мне он не интересен».

Зато когда вскоре ему предложили взять Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, находившийся тогда в полном завале, ему показалось, что вот здесь есть как раз поле для творчества, здесь можно что-то сделать. И он сделал, став не просто главным дирижером, но Художественным руководителем театра (это было его условие) и поставив несколько имевших шумный успех спектаклей. Но те самые «великие», каких и здесь оказалось достаточно и которые, условно говоря, и в свои 60 лет все еще требовали дать им петь Ленских и Татьян, а Колобов им не давал, добились-таки своего и, по его выражению, «вынесли» его из театра. Коллектив встал, однако, за него горой, начались забастовки, и война, в которой он сам, впрочем, не принимал никакого участия, выплеснулась на страницы печати...

И вот в этот момент (это был 1991 год), когда он был просто сам по себе, когда у него ничего и никого не было, а серьезных перспектив тоже не намечалось, его пригласил Ю.М. Лужков, тогда еще вице-мэр, и предложил ему самому создать новый театр. Колобов об этом тогда и не мечтал, да к тому же и не очень верил в добрую волю всякого рода начальников. А потому, когда Лужков, попросив за два дня составить смету нового театра, спросил Колобова, как, по его мнению, нужно назвать театр, он не удержался и съязвил: «Конечно, имени Юрия Михайловича Лужкова». На что, надо отдать ему должное, Юрий Михайлович не растерялся и спокойно парировал: «Это еще рано». И предложил сам — «Новая опера». Название Колобову понравилось, но он вдогонку тут же выдвинул два своих условия — на этот раз всерьез. Что, во-первых, он будет работать по контракту только с Лужковым и не будет больше никому подчиняться, кроме него, ни от кого зависеть. А во-вторых, что эти подчинение и зависимость будут выражаться только в том, что его держат, пока его работа устраивает Правительство Москвы, и в любой момент, когда она устраивать перестанет, от его услуг могут отказаться, но все, что он будет делать в театре — это только его и ничьи больше права и прерогативы, и все контракты на работу в театре заключает только он и никто другой. Лужков, подумав, согласился и на это, что опять-таки делает ему честь.

Так возникла «Новая опера» — на пустом месте, но не на безлюдье, потому что те 200 человек из театра Станиславского и Немировича-Данченко, что встали за Колобова во время конфликта, ушли вслед за ним — они-то и составили костяк «Новой оперы». Примерно три года новый коллектив, не имея собственной сцены, скитался по разным площадкам, но зато побывал несколько раз на гастролях за рубежом, а затем перебрался в переоборудованный кинотеатр «Зенит» на Таганке, где существовал еще несколько лет, пока, наконец, к 850-летию Москвы не получил прекрасное новое здание, выстроенное Москвой в саду «Эрмитаж» специально для «Новой оперы».

Сегодня «Новую оперу» уже не нужно никому представлять — ее спектакли давно уже снискали себе не только всероссийскую, но и всемирную известность — и своей верностью великим традициям русской оперной сцены, и своим истинным новаторством, свежей и талантливой музыкальной трактовкой классических оперных партитур, оригинальностью постановочных сценариев и выдающимся исполнительским мастерством. За постановку «Евгения Онегина» Колобов был удостоен «Золотой маски» (еще одну он получил как дирижер): затем — за создание нового театра — был удостоен национальной премии «Триумф». Он не раз выезжал и вместе с театром, и как дирижер-симфонист с гастрольями за рубеж, побывав и в Америке, и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Испании, и в Португалии, и в Израиле и в других странах, восторженно его и его театр принимавших, но практика зарубежных гастролей — по причинам, о которых читатель узнает из интервью — мало привлекает замечательного музыканта. Он предпочитает поездки по России, где его театр за эти совсем еще, в сущности, недолгие годы своего существования успел, тем не менее, показать свое искусство уже в 15 городах России — причем специально выбирая для гастролей прежде всего такие города, как, к примеру, Мурманск или Кострома, Севастополь или Калининград — то есть города, где нет оперных театров и симфонических оркестров и где жители лишены поэтому регулярного общения с живой музыкой — да еще в постановках и в исполнении такого класса.

Ныне в репертуаре «Новой оперы» — «Евгений Онегин» Чайковского и «Травиата» Верди, «Демон» А. Рубинштейна и «Мария Стюарт» Доницетти, «Борис Годунов» Мусоргского и «Валли» Каталани, а также оригинальные оперно-симфонические спектакли-композиции «О! Моцарт! Моцарт!» и «Россини». А на ближайшем горизонте — «Риголетто» Верди и «Гамлет» Тома.

«Новая опера» тесно сотрудничает с «Имперским балетом», руководимым Майей Плисецкой и Гедеминасом Тарандой, — на ее сцене идет несколько поставленных и «Имперским балетом», и обоими коллективами балетных спектаклей, в том числе и прекрасный феерический «Щелкунчик». В «Новой опере» — всегда аншлаги, и это тоже говорит о том, как относятся к замечательному театру и москвичи, и приезжающие в Москву россияне, и наши зарубежные гости.

Беседа с Евгением Колобовым с самого начала пошла именно в том русле и в той манере, которые органичны для этого человека, — в очень живой, острой, непосредственной разговорной интонации, не стесняясь ни свободной и нередко достаточно крепкой образностью выражений, ни естественными сбивами в сторону, ни переменами ритма и тем.

Но потому она и вылилась в то горячее и страстное исповедание художнической и гражданской веры знаменитого маэстро, которое мы и предлагаем ниже вниманию читателя.

Е.К.: Вопросы, конечно, не простые, на них сходу не ответишь. Да и жил я во второй половине XX века, не знаю, что было в XIX....

И.В.: Но вы же думали об этом.

Е.К.: Ну, конечно, но тут для меня важнее те общечеловеческие, что ли вещи, с которыми сталкиваешься. Ведь искусство, в конце концов, лишь какая-

то область деятельности человека, и ее не оторвешь от жизни общества. Я не знаю, что будет в XXI веке — и в искусстве, и вообще, но в итоге своей жизни я стал скорее пессимистом. И для своей страны тоже не вижу ничего хорошего. Страна дивная, а государство подлое, не знаю уже сколько лет. Видимо за все, что мы сами сделали с этой страной, удивительной страной, надо платить. А что касается искусства, то в течение всего XX века, не знаю, что будет в XXI, из него, к сожалению, уходило, как мне кажется, личностное начало. Происходила и происходит, грубо говоря, какая-то компьютеризация творчества.

И.В.: Компьютеризация художника?

Е.К.: Да, художника. Хотя тех, кто поддался этому наваждению, я уже боюсь считать художниками. Во всяком случае — в моем искусстве. Сейчас много дирижеров, как бы это выразиться, *махających*, а художников мало. Может быть, впрочем, так в принципе и должно быть. Но я думаю, что сейчас и вообще-то всего человек десять, о которых по большому счету можно сказать, что они — дирижируют. Себя сюда не причисляю, потому что дирижерство — это моя профессия, как бы *ремесло* мое. Но художников — очень мало. Вот эта компьютеризация — или лучше, может быть, сказать *механизация* — и губит творчество. Губит, в частности, тем, что нарушает закон, хорошо сформулированный когда-то Пушкиным — *Прекрасное не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво*. Когда мне на Западе предлагают продирижировать концерт или спектакль и я сразу же спрашиваю — «Сколько репетиций?», а мне отвечают — *одна-две*, я не считаю, что тут может идти речь об искусстве.

Или вот лет пять назад меня приглашали в Париж — была задумана серия спектаклей, посвященных Шаляпину. Звонит импресарио — знаменитая, между прочим, женщина:

— Мы хотим вас пригласить. Дирижером. Главный режиссер уже есть, солистов он тоже уже набрал...

— Извините, — говорю, — синьора. Я кто вам — гарсон? Как же музыкальный спектакль можно делать без дирижера? А вы уже, оказывается, набрали всех. Я не поеду. Я хочу заниматься делом, работать, а не просто носить блюдце или утку под великих певцов. Я хочу сделать что-то. А сделать в таких условиях я даже и попытаться уже не могу. Не поеду.

Она:

— Как? 15 тысяч долларов за спектакль!

— Не поеду.

Она обалдела:

— Вы что — не русский?...

Вот так. В том-то и беда, что если во всем мире такие точки отсчета, то уж нам ли, русским, отказываться? Но я так не умею — сегодня махать «Пиковую даму» в России, а завтра «Бориса Годунова» в Уганде. Мне после «Пиковой дамы», если я ее нормально продирижировал, то есть не промахал, а прожил, нужно дня три только для того, чтобы от нее как-то отойти... А они машут себе и машут — нынче здесь, завтра там... Это что? Это — конвейер. Это к искусству не имеет никакого отношения. А еще проще, если употребить грубое русское слово, это — халтура. Просто бывает халтура профессиональная и менее про-

фессиональная. Но все равно по сути своей это — халтура. А меня воспитывали в уважении к музыке. И я должен перед тем, как дирижировать Мусоргского, как следует поработать, попотеть. Вот это мне интересно. А так — что? Ну, зашибу я завтра 15 тысяч долларов, махну что-нибудь, неважно даже что — сейчас записи есть, в самолете посмотрю, выучу, намечу что-нибудь быстренько — сейчас ведь мировые оркестры великолепные, могут работать, что называется, на автопилоте, сходу все схватывают, профессионалы настоящие. Вот я был в Лос-Анджелесе — «Лебединое озеро» с филармоническим оркестром, который никогда эту музыку полностью не играл. У меня была репетиция с одиннадцати до часу, потом с трех до пяти, а в восемь я играл уже премьеру. Потрясающе. И вот я тогда подумал: «А если бы настоящие репетиции?» Ведь когда люди талантливые, с ними же можно столько сделать! С ними же можно уже совсем о другом говорить! Не о нотах самих по себе, а — *про что!* Чтобы сыграли, например, *запотевшим* звуком!... Или *туманным* звуком. А как же иначе? А это за два или три дня не сделаешь. Но только тогда ведь мне это и интересно! Так что уж я лучше со своими — своих ведь ребят я могу попросить: а ну-ка, ребята, попробуйте-ка сделать так...

Да, я понимаю — деньги. Но провались они пропадом, если творчества нет. В ларьке можно больше заработать. Меня, во всяком случае, именно так воспитывали. Знаете, мне повезло, что я мальчишкой поступил в училище при Ленинградской хоровой капелле на Мойке. Этакий мужской монастырь. У меня дома висит фотография моего первого директора — Роберта Игнатьевича Совейко. Мальчишки — что мы тогда понимали? Мне было всего семь лет, когда отец — он был военным и никакого отношения к музыке не имел, просто ходил на работу мимо училища — взял за руку и повел туда: — Мать, чего это Женька у нас все поет? Давай-ка отведем, пусть попробует... А там все дети интеллигентных родителей, не то что мои — оба из одной вятской деревни... Но я попал туда. И я помню, как директор нам говорил все время, чтобы мы запомнили на всю жизнь, что на свете есть только три святые вещи. Во-первых, музыка, во-вторых — родители и в-третьих — Родина. Поэтому музыка для меня... боюсь я громких слов, но понимаете, она для меня и в самом деле как религия. Моя религия. Конечно, когда мы занимаемся ею как профессией, мы и деньги зарабатываем, и вообще тут много земного, практического. Но это все второстепенное. Поэтому я не могу в музыке халтурить. Пускай результат не тот, пусть плохо получилось, но я перед Богом чист, потому что знаю, что все отдал, что мог. Что я сидел и корпел — и днями, и ночами. Поэтому-то меня и бесит, когда я вижу людей, которые прежде всего хотят урвать как можно скорее. Даже и не успев еще ничего толком сделать. Это наша сегодняшняя жизнь их совратила.. Да и у многих больших художников сегодня на месте зрочков — доллары...

И.В.: Евгений Владимирович, но ведь зато в своем театре вы находите все-таки какое-то творческое удовлетворение?

Е.К.: Удовлетворение?... Да нет, не сказал бы. Потому что если говорить о нашем театре *как жанре*, то мне кажется, что мы вообще искусством здесь почти не занимаемся. Может быть потому, что искусство вообще, я думаю, делается в одиночку. Вот мы работали тут с Сашей Сокуровым над одним проектом, и я

наткнулся у Козинцева на фразу, что всякая постановка фильма — это процесс утраты иллюзий. У нас в опере, в театре — то же самое. Я, честно говоря, все время завидую белой завистью писателям и художникам — может быть, больше даже писателям, потому что им даже красок не нужно. Но и Гоген мог уехать на Таити и там остаться Гогеном. И, пожалуй, свое самое лучшее там и создал. А я не могу, потому что мне приходится заниматься, повторяю, не столько искусством, сколько, как бы это сказать, просто творческой работой. Хотя опера — это, на мой взгляд, самый великий жанр искусства, который был создан. По заложенным в нем возможностям — музыка, драма, слово, актерская игра, лица, голоса... Но ведь все это должно быть едино, цельно. Удивительно ведь, когда говорят — гениальный дирижер, но плохой режиссер. Или — гениальный режиссер, но плохой дирижер. Ведь это значит, что спектакля уже нет. Это Венера Милосская может и без рук быть прекрасной. А здесь все должно быть на месте и должно быть конгениально. Но это, увы, не реально. Опера — это для дирижера, для художественного руководителя спектакля жанр утопический. Хорошо, если я получу сегодня хотя бы пятьдесят процентов того, что задумывал. А завтра может быть совершенно другой спектакль, потому что его играют живые люди, у них сегодня одни, завтра другие проблемы, другое настроение — просто потому уже, что погода другая, вот и все...

И.В.: Я понимаю вас, это проблема фундаментальная. Ну, а если конкретнее: коллективом своим вы все-таки довольны или нет?

Е.К.: Кем не доволен, с теми я не возобновляю контракт. Меня беспокоит сейчас другое — то, что театр вообще — не только мой, но мой, пожалуй, в особенности — стал как проходной двор. Театр — это же артисты, живые люди, которые на сцену выходят. А их у меня покупают, они дешевая рабочая сила. Им платят больше, чем может наш театр, и они уходят — в Большой, или на Запад едут. Я понимаю их — им хочется подзаработать и карьеру себе сделать. Спел, например, в «Метрополитен-опере» — это же и деньги, и карьера! А о том, чтобы сделать карьеру театру — не мне, а театру, из которого ты вышел, который тебя создал, — об этом мало кто заботится. Мы превратились, как раньше говорили, в своего рода «кузницу кадров», но — для других. Чуть сезон — сразу со всех сторон смотрят: ну, кто новенький, какой еще талант Колобов нашел, над ним потрудились? А мне только и остается — «Спасибо за внимание!». Поэтому у меня каждый сезон на сцене новые — что я могу сделать? Вы подумайте — ну какие бы спектакли были у Волчек или у Табакова, если бы они каждый год новых актеров туда вводили? Все, спектакль кончился, его, каким он был задуман и сделан именно с теми, с кем и был сделан, больше нет, — правильно? Публика, конечно, об этом может и не догадываться — она же не знает, как должно быть. Но я-то знаю, мне это больно!

И.В.: Но есть же все-таки, наверное, и единомышленники — те, кто остается верен театру?

Е.К.: Ну, конечно: моя команда, моя жена, с которой я двадцать пять лет работаю, и среди солистов, и в оркестре есть такие — я же не про всех говорю. На таких вот юродивых театр и держится — всегда так было и будет. Но приходят ко мне ведь и другие, и я вижу, как они работают. Все, в конце сезона

она или он работать у меня больше не будут. Он, может, и хороший музыкант, только он музыку не любит. Когда я принимаю солиста, для меня главное, чтобы он любил музыку, а не себя. Конечно, слова-то это все расхожие, затасканные, но это на самом деле так, это правда. Мне же важно понять, как он работает, как он мучается, а многие хотят не мучаться, а получать. Все хотят зарабатывать, а не работать. Но зарплату — получать. Ну, понятно, не все. Если бы других, сумасшедших, не было, все давно вообще бы куда-то в тартарары провалилось... Э-эх, Игорь Иванович, — нет, в театре лучше не работать / смеется/. Сейчас, может быть, если меня что больше всего и держит в моей профессии, так это долг. Я понимаю, что я должен — театру, коллективу, Лужкову, благодаря которому этот театр только и появился. Но чувствую я себя нередко, честное слово, как на кресте... Ну, может, я и утрирую, но я действительно куда лучше себя чувствую, например, на даче — с книгами, с музыкой, которую могу только слушать... И, честно говоря, если бы по второму разу выбирать жизнь, я бы никогда в дирижеры не пошел, профессию эту ни за что бы не выбрал...

И.В.: И кем бы вы предпочли быть?

Е.К.: Егерем, лесничим, садовником. Но скажешь так — ведь не поверят. А-а-а, понятно-де — кокетничает. Ему театр построили, а он... Почему и не даю интервью. Не хочется отмываться потом. Поэтому и завидую художникам и писателям. Может, это у меня природа такая...

И.В.: Но егеря ли, садовник — все равно ведь от музыки никуда бы вы не ушли

Е.К.: Но ведь музыка — это же не обязательно брякать на рояле или стоять за пультом. А у меня музыка — это, к сожалению, моя профессия, мне то и дело приходится разывать ее — подобно Сальери или какому-нибудь хирургу — как труп. А вот собирать часто уже нет ни сил, ни возможностей. Это я раньше, когда молодой был, думал — ну, вот я революцию сделаю. Ничего не сделал, хоть и по 16 часов в сутки пахал. Помните, как у Герцена: *Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного...* А сейчас и сил своих уже жалко, да и они уже не те.

И.В.: А между тем вы работаете... И вроде бы уходить не собирается.

Е.К.: Ну да, потому что мне это все-таки интересно! Делать что-то свое. Пусть получается не больше, чем на пятьдесят процентов, но свое. Не поставить все спектакли, меня это мало интересует, — мне важно хотя бы три названия поставить, но так, чтобы это было мое. На рубль, но Колобова. Не ради того, чтобы быть во что бы то ни стало непохожим на других, а потому, что я так слышу. Вот «Онегин» у меня совсем другой, чем обычно, а почему?...

И.В.: Потому что «Онегин» — это *ваш* спектакль?

Е.К.: Ну, по крайней мере близко к тому, что я задумал, что я хотел...

И.В.: Интересно, как он сейчас здесь, в новом здании у вас звучит. Я слушал его у вас, когда вы были еще в старом здании, на Таганке...

Е.К.: Уже не так. Конечно не так. От любых переездов, на любых гастролях театр всегда что-то теряет. Потому что сама аура спектакля должна быть именно такая, как задумывалась — там, на той сцене, где мы ставили, скажем, с Арцибашевым того же «Онегина».. У меня была тогда даже и такая мысль: пусть две

Татьяны поют. Когда она пишет свое письмо, пусть голос сверху звучит: «Я к вам пишу — чего же боле...». Но чего-то испугался. Но вот Гремин поет свою арию у меня не один — там весь хор, все мужики-генералы один ее куплет вместо него и как бы вместе с ним поют. Потому что это ария трагическая, а не то, что обычно нам исполняют. Любви-де все возрасты покорны в том смысле, что я мужик еще ничего, любить способен. Этакий самодовольный молодящийся бодряк. А это же трагическая ария, как бы ария Андрея Болконского — зачем я влюбился в эту девочку? Он же человек, прошедший войну, проживший жизнь, он же понимает, что она его не любит. Она ему верна, но она его не любит! Вот какой трагедии действительно все возрасты покорны, вот в чем смысл. Это же крик души, а не самохвальство. Во всяком случае, я *так* эту музыку слышу. И потому у меня и весь генеральский хор включен в эту трагическую тему. Для меня вообще весь «Онегин» — это трагедия.

Вообще все, что я делаю, я делаю только после того, как пойму — интересно мне это произведение или нет. И чем. Отсюда у меня рождаются какие-то идеи — даже непонятно как, иногда в самый неожиданный момент, в любом месте. Так, идею спектакля «О, Моцарт, Моцарт!» я придумал просто в лесу, грибы собирал. Для меня сам этот спектакль как жанр — реквием, отсюда и двухчастная форма, и решение включить сюда разную музыку — и Моцарта, и Сальери, и Римского-Корсакова, а финал сделать по Пушкину, у которого Сальери говорит Моцарту при расставании — «До свиданья», а тот ему отвечает: «Прощай». Он будет т а м, и он будет вечно жить, а Сальери навсегда останется здесь, в земном прахе...

И.В.: Вы не видели «Моцарта и Сальери» у Анатолия Васильева? По-моему, замечательный спектакль, в нем тоже главное — это прочтение пушкинского текста как трагической *мистерии* — мистерии подлинной вселенского, космического захвата, если под космосом понимать божественный космос...

Е.К.: Нет, еще не видел, но обязательно посмотрю. Я очень люблю этого режиссера, люблю, как он работает. Васильев — по-настоящему сумасшедший в хорошем смысле человек — закрытый, не тусовочный. Вот с ним бы оперу поставить! Но я боюсь пригласить его — что он будет делать с иными моими солистами? Они ведь если о чем и думают, то только о своем вокале. Многие ведь даже «Бориса Годунова» целиком не читали. Многие целиком и «Онегина» не читали. Вот что больно, вот что печально, но таков уж наш жанр. Это в драме все сложнее, Марина Неелова не пойдет же играть Шиллера, как следует не прочитав его. А в опере — что? Партию знаешь на итальянском, две репетиции, костюм напялили, показали, где выходить — ну, и валяй... То есть наш жанр — вообще панельный, грубо говоря.. Какое это искусство! Все у нас великие, все гениальные стали теперь при демократии, не только артисты. Работать мало кто хочет. Раньше он был просто сантехник, а сегодня судьбы вам по звездам предсказывает...А вот такие художники, как Васильев, меня как раз больше всего и интересуют. Я понимаю, что театр должен работать для зрителя, но в то же время Толя работает как отшельник — в хорошем смысле. Он все время размышляет. Что получится, сколько будет зрителей — это его как бы не волнует. И мне это очень близко. Про себя, может быть, и нескромно так говорить, но это прав-

да, это так. Мне сейчас по-настоящему даже премьера не интересна — мне интересен сам процесс. Когда я был мальчишкой, мне интересно было, важно — как меня примут, что скажут, а сейчас... Нет, и сейчас, конечно, я не могу сказать, что мне безразлично, как приняли. Но к прессе, например, я сейчас совершенно равнодушен, мне важнее, как я сам понимаю и чувствую свою работу. И мне больше всего интересен именно сам процесс. Ведь как раз в процессе и рождаются самые важные идеи, отыскиваются те нюансы, та музыкальная и смысловая акцентировка, которая все в искусстве и определяет.

Вот вам еще пример: как мы обычно читаем пушкинское послание к Чадаеву? С пафосом, с упором на что? Пока СВОБОДОЮ горим! Пока сердца для ЧЕСТИ живы!... А попробуйте прочитать с другим акцентом — и тише, спокойнее: *пока* свободою горим, *пока* сердца для чести живы... Совсем ведь другой смысл получается, другая музыка! Поэтому когда я беру Чайковского и тоже слышу в нем какую-то совсем другую, чем мне не раз исполняли, музыку — мне это интересно. И меня не пугает, что те же нюансы я слышу иначе, чем это написано в партитуре. Нюансы — это же было зафиксировано Петром Ильичом сегодня — погода была хорошая, и Петр Ильич написал «форте». А был бы дождь — может, написал бы «пиано». Поэтому для меня нюансы — вот здесь, в сердце. Я люблю слова Мандельштама — нет выше музыки, чем тишина. Не мертвая, конечно, а та, божественная, которая этим божественным и звучит. Поэтому сейчас, на склоне лет, я даже и не знаю, не могу определить, что такое музыка — ноты звучащие, или просто стихи, или просто шум ветра. Это ведь тоже музыка. Поэтому мне интересны люди, которые слышат свое. И помогают и мне услышать это. Вот Юра Темирканов — я ведь в Ленинград из Свердловска ради него только и вернулся. Это великий музыкант, и мне хотелось у него поработать.. Как он слышит музыку! Я просто обалдевал, слушая его. У Чайковского крещендо, а он диминуэндо делает! У Чайковского форте, а у него пиано! И все точно, все оправданно....А когда я слышу все одинаково или примерно одинаково, я готов, конечно согласиться, что это, например, Бетховен. Но Бетховен-то — Бетховен, а где ты? Однако именно такое и подается как *уважение к традициям, к классике*. А стоит мне сделать «Травиату» так, как я ее слышу и чувствую, — сразу крики: осквернил великую оперу!..

И.В.: Вот, кстати, очень важный поворот темы. Вы знаете, все спектакли, которые я у вас видел, всегда производили на меня впечатление очень в а ш и х — свежей, оригинальной трактовкой и музыки, и сюжетно-смыслового строя, и исполнением. Но у меня никогда не возникало ощущения, что вы н а в я з ы в а е т е себя той музыке, которую нам играете, что для вас важнее всего, чтобы именно ваше «я» непременно присутствовало там любой ценой — как это, увы, сплошь и рядом сегодня бывает у разного рода интерпретаторов классики. Напротив, я всегда уходил с благодарным чувством, что хотя вы показали мне действительно что-то новое, даже иной раз неожиданное, и этом я слышу и чувствую именно вас, но в то же время вы раскрыли мне этим именно то, что есть и в самой этой музыке — у самого Верди или Чайковского. У меня никогда не было впечатления какого-то вашего насилия ни над их музыкой, ни над общим духом созданных ими оперных спектаклей — наоборот, огромного и истинного

к ним уважения, подлинной любви, а потому — и проникновения. Конечно, именно в а ш е г о , но проникновения именно в и х музыку, в и х творчество...

Е.К.: Для меня здесь тоже нет никакого парадокса. Для меня это сама собою разумеющаяся творческая норма. Конечно, внесение «себя» в ту музыку, которую я исполняю, для меня не самоцель. И никак не может быть самоцелью. Это было бы просто кощунство. Но если я не могу исполнять ее так, как я ее слышу, исполнение теряет для меня смысл. Да, я слышу и слушаю именно Чайковского, именно Верди. Я пытаюсь почувствовать и проникнуть в то, что представляет собою именно и х музыка. Но я слышу и исполняю их музыку так, как именно я ее слышу и чувствую. И эта сторона в сегодняшней ситуации с нашим жанром все время выступает для меня на первый план. Потому что в драме сегодня куда легче — они там целые акты могут выпускать, и им сходит с рук, даже когда это неоправданно. А попробуй я выпустить из той же «Травиаты» или «Онегина» пять тактов, — как вы посмели?! Конечно, в ущерб это или не в ущерб тому же «Онегину» — один Бог только судить может. Но я знаю, что на том свете я могу объяснить Чайковскому, почему я это сделал. И, может, он и поймет меня. Не просто же я взял, отрубил и выбросил — чтобы поскорее закончить спектакль. У меня же в этом идея была. Это же не просто взять и озвучить ноты, как сейчас сплошь и рядом делается, — приехали, встали за пульт, помахали палочкой, озвучили и уехали. Для меня партитура — это как стихотворный оригинал, который нужно еще перевести на другой язык — язык спектакля. И я могу по-разному перевести — могу как Пастернак, а могу как Лозинский. Содержание то же, но осмысление, переживание и передача его — разные. Это только критики, которые ничего не смыслят в искусстве, но уверены, что все знают и могут всех учить, кричат, что это я специально Чайковского или того же Верди «уродую», собой подменяя. Но пусть кричат, я их не слушаю, потому что знаю — перед Богом я чист и не гордыня вела меня. Просто я делаю так, а не иначе потому, что иначе и не могу. Я так слышу, так чувствую. И может и нескромно это говорить, но я — труженик. И если у меня что-то не получилось, это не значит, что я просто так это наворотил — тят, ляп, и готово. Вот с Сашей Сокуровым мы задумали сделать «Гамлета», работали вместе, спорили, уступали друг другу, и я уступал тоже. Но пока мог. А когда почувствовал, что дальше уже будет совсем не то, — может, и хорошо, но уже не мое, — сказал: давай лучше сейчас расстанемся по-доброму, чем потом будем ссориться. И он тоже это понял и принял нормально, потому что он художник. Ему тоже не интересно работать иначе. Чехов один, но ведь каждый его читает по-своему. Это-то и прекрасно в искусстве. А раз так, то неужели же мне просто крутить репертуар, как в Мариинке или Большом? У меня же — «Н о в а я опера»! Вот, кстати, когда это название предложил Юрий Михайлович Лужков, это он его придумал, я случайно в словаре посмотрел, что такое «опера». Там пунктов восемь-десять, и один из них — «сочинение, произведение, творчество». Что мне очень нравится. Название попало в точку — я, ставя оперный спектакль, и правда создаю ведь н о в о е п р о и з в е д е н и е. Поэтому я и не смог работать в Мариинском театре, хотя был назначен туда главным дирижером. Это было в 88-м году. Я просто ушел из театра, потому что не мог уже больше просто махать,

прокручивая репертуар, и понимал, что других перспектив там для меня нет. Опуститься ведь можно по-разному — можно у пивного ларька, а можно за пультом великого театра. Да, театр великий, но мне там было неинтересно. Здесь, в Москве, тоже предлагали *великое*, но я сказал, что хочу умереть своей смертью. А в «Новой опере» я ни от кого не завишу. И могу делать свое. Пускай удачно, неудачно, но — могу. У меня контракт с Юрием Михайловичем Лужковым — до будущего года. Продлит он дальше или не продлит — это его дело, но пока я ни от кого не зависел и не завишу в своей работе. И это для меня самое важное, что бы мне наши знатоки-критики ни кричали. Хорошо ли, плохо я что-то делаю — один Бог знает. А может быть и Он не знает — это критики все знают. *Он делает тут вон что, а Чайковский-то вот ведь что хотел!* А я спрашиваю — вы что, водку с Чайковским пили? Откуда вы знаете, что он хотел? Я вот письма Моцарта сейчас читаю, когда он Реквием писал — и вот он оправдывается, что ему сочинять надо, а тут ему Марта некая понравилась... Понимаете, — простые, нормальные люди, хоть и гениальные. Вернее, потому и простые, нормальные, что гениальные. А мы из них иконы делаем. И на все времена. А они живые, творческие люди и сейчас оперы на пять часов не писали бы и не ставили. Я вот был у Гавадзени — великий дирижер, который 25 лет был главным дирижером в «Ла Скала», недавно он умер, уже престарелым. Я был у него на репетиции «Сомнамбулы» и просто обалдел — треть партитуры заклеена! А он лучший знаток итальянской музыки, мировой авторитет. Просто он понимал, что партитуры и раньше писались вовсе не для того, чтобы быть неприкосновенным каноном. Что вы думаете — люди приезжали на какую-нибудь оперу издалека, из своих поместий, они месяцами не виделись, не разговаривали друг с другом, телефона тогда не было, им хотелось пообщаться — и они высиживали по пять часов на какой-нибудь бодяге? Да нет, конечно! А мне, значит, шесть часов сидеть и слушать? Я слушал такого «Руслана» в Кировском театре. В семь часов — полный зал, в десять — уже ползала. А спектакль заканчивался без пяти двенадцать. Но зато все проиграли. По нотам. И декорации Коровина. А про что — я не понял. У меня «Руслан» — про Россию. Не Людмилу ищет, а образ России, которую потеряли. Поэтому у меня увертюра шла в конце, а начиналось с Бояна, который пел про то, что есть на свете край, Богом забытый... Хорошо ли, плохо ли это, но у меня была идея, и она давала жизнь спектаклю. А они — *сохраняют классику*. А я что же — не сохраняю? Почему я «Онегина» словами Онегина : «О смерть, о смерть, иду искать тебя!» — заканчиваю? Это мне наши всезнающие критики потом приписали, что это я-де и сочинил. А я закончил оперу так, потому что попытался понять, почему у самого Чайковского в первом варианте именно так и было. И так пели и в консерватории. Это потом уже поменяли — не знаю почему, кто ему посоветовал — тогда ведь тоже цензура была. А мне кажется, что не случайно Чайковский заканчивал оперу нотой такой обреченности.. Потому что «Онегин» — это трагедия. Во всяком случае, я так эту оперу слышу, так ее чувствую. Поэтому для меня этот спектакль и был спектаклем дуэли. Дуэли Онегина и Ленского, Ленского и Ольги, Онегина и Татьяны, Татьяны и Гремина... И все семь смертей — что, они случайны у Чайковского? Я говорю не о натуральных смертях — так только один Ленский умер.

Но возьмите мать Татьяны и Ольги, ей еще и сорока нет, а она поет (и это первая ария в спектакле!): «Привычка свыше нам дана, замена счастию она...» ... Это же мертвый уже человек, это ведь не жизнь уже, когда одна «привычка»... А Няня, которую в тринадцать лет выдали в чужую семью за сопливого мальчишку, а Ольга, похоронившая Ленского и себя вместе с ним, а Татьяна и Гремин в несчастном браке и, наконец, сам Онегин, которому остается только пулю в лоб?.. Ведь это же про то, как жизнь каким-то колесом роковым проехала по всем, всех раздавила! Это же и вправду — трагедия. И музыка такая. А они — почему да зачем так, а не как раньше! А мне только так и интересно.

И.В.: Евгений Владимирович, простите, я невольно возвращаюсь к началу нашего разговора. Это ведь все классика, верно? И вы по преимуществу в вашем театре только с нею и имеете дело. Это потому, что в современности вы не видите ничего достойного? И это как-то выражает ваше отношение к искусству XX века вообще? Ну, и к оперному искусству — в частности?

Е.К.: Видите, я, наверное, все-таки ретроград. Я вообще считаю, что все лучшее в музыке уже создано.

И.В.: И что же — никакого движения от Бетховена к Шостаковичу, например, не было?

Е.К.: Шостакович — да. Но после него я затрудняюсь кого-нибудь назвать более или менее уверенно.

И.В.: А в опере?

Е.К.: И в опере тоже. Но я подчеркиваю — это только мое, личное мнение. Я вам скажу так — меня и оперы Вагнера, например, мало интересуют. Я могу сказать вам еще более страшную вещь, меня и оперный Моцарт не интересует. Я обожаю Моцарта, его Реквием, его концерты, симфонии, но в опере... Может быть, я просто еще не дорос, не понимаю ничего в его операх, но мне ближе, например, Беллини. А я ставлю только то, что меня интересует и что, как мне кажется, я как-то по-своему слышу и могу это выразить. И думаю, что на мой век такой, близкой мне, классики еще хватит. Ведь столько музыки классической, которую мы просто не знаем по нашей лености и инерции! У того же Верди — двадцать пять названий, а мы крутим от силы пять-шесть. Даже «Сила судьбы», которая написана для России, тоже почти нигде не шла, я ее исполнил в Свердловске в 79 году и получил за нее первое звание. Верди тоже в свое время был награжден за нее царем — получил Станислава 3 степени. А она нигде не идет у нас здесь, да и по миру-то мало ставится. А Доницетти? 72 оперы, а что мы знаем? Только три — «Любовный напиток», «Дон Паскуале» и «Лючия де Ламмермур». Вот «Мария Стюарт» — мне пришлось просто с кассеты переписать всю партитуру, и потому она у нас и идет. Удивительная музыка! У Доницетти есть опера о Петре Первом, а о ней никто не знает, и даже знать не хотят. А «Валли» Каталани — кто знал о ней, пока мы впервые в России ее не поставили? А это великая музыка. Тосканини детей своих не случайно именами героев этой оперы назвал... Так что на мой век, повторяю, великой классики еще хватит. И потому мне не страшно быть — а уж тем более прослыть — ретроградом....

И.В.: Я вас хорошо понимаю, но в таком случае позвольте задать вам еще вопрос — он, в частности, прямо связан и с тем, что вы ставите по преимуще-

ству классику, а она, что называется, содержательно не так ведь *злободневна* и *актуальна*, как может быть какой-нибудь спектакль на темы современности, не правда ли? Как соотносится эта ваша театральная практика с кругом тех идей, которые стали достаточно, я бы сказал, привычны для эстетического сознания нашего общества после того, как в Россию пришла гласность и появилась возможность свободно и открыто говорить обо всем том, что раньше было доступно нередко лишь эзопову языку искусства? Например, у нас, в литературе, на каждом перекрестке можно услышать, как хорошо-де, что искусство вообще и литература в особенности освободились, наконец, от повинности так называемого *общественного служения* и могут заниматься своим собственным делом, оставаясь в кругу чисто эстетических задач и проблем. Что многие нынешние литераторы и пытаются осуществить на практике тем способом, что сознательно и демонстративно выправляют из своих текстов всякое иное *по-сложению*, кроме, как им кажется, чисто художественной игры образными конструкциями, словами, приемами и прочими компонентами формы. Другие, соглашаясь, что изменение общественной ситуации действительно избавило искусство от дополнительных обязанностей по расчистке сознания общества от тех химер лжи (в том числе и политической), которыми отравляла его советская власть и противостояние которым, почти невозможное для прямой публицистической мысли, и в самом деле воспринималось тогда всяким порядочным художником как его гражданский долг, — другие все-таки настаивают, что с изменением форм общественного служения, вовсе не исчезла сама по себе принципиально присущая искусству эта его функция. И что она несколько не противоречит и не противостоит его эстетической самозначимости. Словом, на новом витке нашей культурной истории опять происходит что-то вроде полуторавековой давности споров между сторонниками так называемого чистого искусства и искусства гражданского. Что думаете по этому поводу вы? Как вы понимаете проблему общественной ответственности художника перед обществом в нашей новой ситуации свободы? По-прежнему ли актуальна для нас старая традиция нераздельности Истины, Добра и Красоты, или дело здесь сегодня обстоит, на ваш взгляд, как-то иначе?

Е.К.: Нет, это вечная традиция, и иначе просто быть не может.. Для меня, во всяком случае, задача любого спектакля — это среди прочего обязательно еще и то, чтобы помочь людям, пришедшим ко мне, как-то очиститься, что ли, душою, вспомнить, что они — люди. Словом, то, что издревле связано было с понятием катарсиса, хотя и это слово, как и сотни других, в наше время истрепано и истерто... Чистота, добро, любовь, правда — это ведь в любой ситуации ценности неотъемлемые и неотделимые от красоты — как же может обходиться без них искусство? Дело же не в том, чтобы непременно показать оперу о Чечне или еще о чем-то болезненно современном, остром и горячем — зачем мне это надо? У искусства, в том числе и у оперного театра, свои возможности и своя область поддержания в человеке человеческого. Но если вообще без этого — то зачем тогда и искусство? И о какой Красоте может идти речь, если она не ведет к Добру и к Истине?. Красота вряд ли спасет мир, как верил Достоевский, — я в это не верю. Но она, по крайней мере, способна утешить и поддер-

жать человека в его желании оставаться и быть человеком. Я вот приведу вам такой пример — в Мурманске, за Полярным кругом, мы показывали «Марию Стюарт» — на итальянском языке. Так люди буквально плакали, рыдали после спектакля, благодарили, целовали! И это был вовсе не *чисто эстетический*, как говорят у нас, восторг каких-то тонких ценителей и знатоков музыки — это были, повторяю, простые люди, не знаю даже каких профессий! И это было то, что имеет отношение именно к нравственному очищению, к всеобъемлющему духовному катарсису. В этом и есть дело искусство, его общественное служение. Искусство — это всегда высокая философия в образах — художественная философия, обращенная к высшим смыслам жизни. Многого ведь здесь, знаете, и не надо — достаточно десяти заповедей как основы всего. Но это должно быть в искусстве всегда — не в смысле назойливой дидактики, а как его внутренняя глубина, напоминающая человеку, что он человек и должен оставаться человеком. Вот этого я и хочу — хочу, чтобы люди, приходя в театр, хоть немного становились лучше, чтобы в них пусть не надолго и пусть какой-то крупницей, но все-таки оседало какое-то иное отношение к другим людям и к миру. Отношение, которое можно даже назвать, наверное, внутренне религиозным, хотя бы это и было неосознанно.

И.В.: Евгений Владимирович, но зачем все это, зачем театру заботиться о том, чтобы сеять в душах людей, по слову поэта, разумное, доброе, вечное, если все равно ничего хорошего, как вы сказали, вы ни для мира, ни для России не ждете?

Е.К.: Да просто для того хотя бы, чтобы не предавать своих родителей. И всех тех, кто сделал меня таким, какой я есть, кто научил меня и добру, и красоте и доверил продолжить эту традицию — не зло проводить и передавать людям, а ту доброту, которую в меня вложили. Вот такой, если хотите, парадокс: я не верю в конечное торжество добра, но делаю все, чтобы его стало больше. И считаю, что должен это делать. Для людей, которые живут в этом мире, где торжества добра не будет, — которым приходится жить в этом мире. И прежде всего для людей, которые живут в м о е й стране. Ведь это же м о й народ, какой бы он ни был, кого бы ни выбирал. Ведь ни один русский писатель не может не любить Россию, верно? Он может ее любить и одновременно ненавидеть — но только ненавидеть? Тогда он не был бы русским писателем. А мы, музыканты, — в чем мы здесь другие? Вот почему я так не люблю гастроли на Западе. И даже считаю, что очень часто это вообще проституция. Мы пропагандируем там русское искусство! А почему вы не пропагандируете его в Ярославле? Съездите в тот же Омск, в десятки других городов провинциальной России — как там нас ждут! Там люди не хуже, чем на Западе. Просто они бедные. Но душой-то они, может быть, и повыше той вашей публики, что рукоплещет вам в Нью-Йорке. Так что не надо рассказывать сказки. Почему мы ездим на Запад? Потому, что там платят. Я не говорю, что этого вообще не надо делать, потому что у нас, в России, жизнь нищенская. И я своим, когда есть возможность, всегда даю подзаработать. Не надо только врать самим себе. И не надо превращать это в главное дело своей жизни, клянясь еще при этом верностью русскому искусству. Если у тебя великий театр — поезжай в Новосибирск, еще в какой-то город, где твой народ, где твоя Россия. И что до меня

лично, то я вместо того, чтобы зарабатывать на гастрольных панелях где-нибудь в Америке, лучше поеду еще раз в Кострому, где мы дважды уже были. Потому что знаю — там на ушах будут стоять, последнюю рубашку отдадут, но в театр к нам придут, и это и для них, и для нас будет потрясение. То потрясение, ради которого только и стоит жить.

И.В.: Но все-таки театр ездит же на гастроли на Запад?

Е.К.: Да ездит, и артистов я отпускаю — именно чтобы подзаработали. Но я лично, например, доволен, что вот недавно из-за каких-то просчетов импресарио сорвались запланированные гастроли в Швейцарии, хотя я заработал бы там тысяч шестьдесят. Ну и черт с ними. Лично я поэтому почти и не езжу, когда приглашают. Да теперь, правда, почти и перестали уже — знают, что не поеду. Я хочу здесь пропагандировать свое искусство. И хочу любить свою родину не по телефону. Для меня ведь если мать моя сегодня больна — что же, бросить ее поэтому? К тому же если что и произойдет хорошего в России, то, помоему, только благодаря провинции. Тут уж все прогнозируют — и в Москве, и в родном моем Петербурге. Но там еще остается какая-то надежда. Там люди чище и целомудреннее. Вот почему мне к ним поехать интереснее, чем за границу. А так — что же? У меня были варианты, я мог бы, как молодежь говорит, *смыться* очень хорошо. И был бы очень хорошо *упакован*, как опять же принято сейчас говорить. Но это меня не интересует. Я хочу жить дома, пусть у меня нет машины и земли всего шесть соток. Но я ими вполне доволен. Я хочу жить дома и работать для людей, которые меня понимают и которым сегодня я нужен больше, чем публике где-нибудь в Рио де Жанейро.

И.В.: Да, я тоже так думаю — России вы сегодня куда больше нужны, чем Западу. Как и вообще — русская интеллигенция. Ведь существовало же когда-то такое понятие, и оно вовсе не было умозрительно-призрачным. Даже при коммунизме существовал этот, как в старину говорили, *орден* — неформально, но существовал. И честь страны, честь нации своей как-то спасал и поддерживал. А вот сейчас, при *демократии*, ощущение такое, что не то что ордена никакого нет, а даже и все то, из чего он мог бы образоваться, куда-то подевалось, расплозлось по разным политическим квартирам и вообще готово чуть ли не продаться — кому угодно и по первому посвисту... А как юбилеи свои празднуют иные наши «властители дум»?! Ведь смотреть же стыдно — это в нишей-то стране... Не все, конечно, но многие, очень многие...

Е.К.: Да, вы правы. Вот у Бориса Зайцева есть мудрая фраза — я бы хотел горсточку скромности моего народа... А сейчас у многих потеряны стыд, совесть и скромность. И что всего горше: потеряли и очень многие из тех, кто считает себя интеллигентами — то есть те, кто, кажется, должны были бы быть нравственным примером для своего народа. Я говорил уже — даже у многих вчерашних больших художников вместо зрочков — доллары. Всем сладкой жизни страшно захотелось. А что — сладко было жить Микеланджело? Или Леонардо да Винчи? Или Пушкину? Или тому же Моцарту? Моцарт похоронил за 12 флоринов своего скворца, а когда он умер, на его похороны нашлось тоже всего 12 флоринов. В этом есть даже какой-то страшный символический смысл. Я вовсе не хочу сказать, что интеллигент должен непременно голодать и бед-

ствовать. Но вспомните — ведь почти все действительно великие всегда жили очень скромно, даже тяжело. Да и сегодня — как живет, к примеру, Виктор Астафьев? — я был у него под Красноярском, видел его избу — без многих привычных городских удобств. А что — велика ли и роскошна была дача у Лихачева под Ленинградом? Но ведь только такие люди и сегодня обладают настоящим нравственным авторитетом. А их — раз-два и обчелся.

И.В.: И все-таки, мне кажется, если и может Россия на что-то надеяться, то не в последнюю очередь именно на интеллигенцию. Потому что роль интеллигентных людей сейчас, по моему глубокому убеждению, как никогда велика. Даже, может быть, больше, чем раньше, — именно вот в этой страшной ситуации повсеместного нынешнего правового и нравственного распада, расчленения общества. А как смотрите на сегодняшнюю роль интеллигенции Вы?

Е.К.: Вы знаете, я вот вспоминаю, как Василий Васильевич Розанов в «Опавших листьях» сказал, что он бы пошел в ту тихую, бессильную, может быть и в самом деле имеющую быть затоптанной оппозицию, которая состоит в том, чтобы встать рано, помолиться и работать. Вот это я и считаю задачей любого интеллигентного человека — честно работать и не врать себе, когда остаешься ночью с подушкой и знаешь, что сделал какую-то гадость. А не бить себя в грудь — я интеллигент, я — русский! А у нас опять какая-то очередная интеллигентская оппозиция, на этот раз «конструктивная», собралась, — к чему это? Опять кодексы, уставы, декларации... А кодекс гражданский у интеллигента должен быть только один — кодекс чести. Но именно с этим-то как раз у нашей интеллигенции дела обстоят сегодня из рук вон плохо. Я не обо всех, конечно, говорю, но едва ли все-таки не о большинстве. Вот я по тому же Лужкову сужу — как с ним обошлись, когда выборы были. Сколько грязи было!...

Но с этикой в этом государстве вообще давно покончено. Дуэли, во всяком случае, у нас были бы нелепы. Потому что дуэли, как очень точно сказано в книжке Лотмана о Пушкине, возможны только в том обществе, где существует понятие чести. А у нас? Вот опять же в связи с Лужковым — вспоминаю концерт, который мы тогда в его поддержку устроили. Ведущий пришел, посмотрел и сказал — хорошо сказал: «Вот, — говорит, — раньше: едва только слух разнесется, что Лужков собирает интеллигенцию, как зал уже битком, не поспать. А сегодня смотрю — пустые места... Тот заболел, тот уехал, кто-то просто дома сидит».

Вот вам и интеллигенция — *совесть народа*...

Стыдно и больно за страну. Больно и стыдно и за народ — что же это он сам-то никак не поумнеет? Что же никак себя уважать не научится?...

Но это мой народ. И этим все сказано. Вот и прыгаешь, вот и вертишься, как белка в колесе. А что делать? *Свалить*, как выражаются в наше просвещенное демократическое время, туда? Свалить, конечно, особого труда не составляет. Но вот как я там жить буду? Чем? Сознанием, что умру в какой-нибудь красивой вилле на берегу солнечного моря? Но я уж лучше на своих шести сотках доживу со своей любимой женой, любимой дочкой и любимой кошкой. И еще поезжу, может быть, со своим театром по своей дивной, несчастной, ненавистной и любимой России...

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК каждый раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиально-

го, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

В этом номере — в связи с тем, что некоторые сотрудники журнала, работающие над разделами БСК, находились во время составления номера в отпуске, — мы даем сокращенный обзор художественной прозы и литературной критики, охватывающий лишь несколько журналов из нашего обычного ряда. Читатель не найдет здесь — по той же причине — и обычного для нечетных номеров обзора религиозной, философской и культурологической мысли в журналах первой половины 2000 г. И тот, и другой пробелы будут восполнены в следующих номерах журнала.

1. Художественная проза

Сказать, что ничего выдающегося в журнальной прозе за последние полгода не появилось, — значит сказать банальность. Но Бог с ним, с выдающимся... В литературоведении существует формула, согласно которой типологические характеристики в чистоте просматриваются в произведениях именно средних — что, в общем, совершенно логично: выдающееся тем и выдается, что ни на что не похоже, а среднее из всех сил тяготеет к общему ряду. Попробуем теперь внести в пресное тесто нашего обзора щепотку веселящего душу авантюризма и сравнить прозу в журналах максимально удаленных друг от друга направлений: «Нашего современника» и «Москвы» — и «Звезды» и «Волги».

Изрядную, может быть, самую весомую долю составляет в этих журналах *проза, построенная по принципу мемуаров*. В последнее время принято считать, что интерес к ней связан прежде всего со спросом аудитории: мол, не желает теперь читатель выдумок, а желает правду, как она есть. Отсюда, кстати, делается и умозаключение о девальвации самого принципа художественной литературы (fiction), построенной на художественном же вымысле. Осмелимся, однако, высказать одну догадку, не противоречащую, впрочем, факту действительного интереса к прозе, относящейся к области non-fiction, — описывать то, *что было на самом деле*, по большому счету все-таки несколько легче, чем создать полностью вымышленный и ни на что не похожий полноценный художественный мир, и потому (при том общем состоянии литературной, какое мы имеем на нынешний день) такого рода тексты действительно часто выигрывают — хотя бы тем только, что меньше лгут — в высшем смысле этого слова.

«Одинокие вечера в Пересыпи» Виктора Лихоносова («Наш современник» № 4) — нечто промежуточное между мемуарами и рассуждениями. Им явно не хватает осознанной автором сверхзадачи, каковую и для мемуаров никто не отменял. Автор печалится об уходящей жизни, о покинутой малой родине, о разных других утратах. Печали этой можно сочувствовать. Труднее разделить его тоску по отнятой *«вождями пятнистыми» «ласке морской»*, в представлении автора строго локализованной в пределах коктебельского Литфонда.

Этой же художественной сверхзадачи не достаёт и **рассказам** (скорее их следовало бы назвать очерками) **Светланы Шипуновой** (цикл «Русские погосты», «Наш современник» № 4). Первый повествует о посещении отдыхающей супружеской парой русского кладбища в Ницце, второй — о возложении цветов на могилу поэта-эмигранта Николая Туроверова на Сен-Женевьев-де-Буа и вручении \$100 смотрителю для ухода за ней. Однако по всем приметам очерки претендуют на многозначительность.

Валерий Хайрюзов в рассказе **«Амода миа»** («Наш современник» № 2) вспоминает послевоенное деревенское детство, школу, родителей, игры иделки.

Елена Тарасова в рассказе **«Потерянный город»** («Наш современник» № 7) вспоминает родной город и друзей детства. Иных уж нет, а те далече...

Гораздо интереснее **роман-воспоминание Валерия Курилова «Операция Шторм-333»** («Наш современник» № 1, 2) о событиях Афганской революции, о штурме дворца Амина советским спецназом. Конечно, играет на этот интерес и сама тема. Любопытно однако, что не профессиональный литератор, а профессиональный разведчик демонстрирует приличное литературное мастерство — повествование четко выстроено, динамично, полно ярких, запоминающихся деталей. А главное — лишено той пустопорожней многоречивости, которой страдают многие «вспоминатели», очевидно, полагая, что частным фактам и придает необходимую значимость именно она.

В этом смысле «Шторм — 333» небезынтересно сравнить с **романом Александра Проханова «Сон о Кабуле»** («Наш современник» №№ 3 — 6), где Афганская война (еще гражданская, без прямого участия наших войск) идет фоном для типично «боевикового» дискурса: советский разведчик под видом журналиста собирает данные; тут же любовь, тут же пиф-паф — и тут же российское настоящее, где он, убеленный сединами, борется против злых и плохих, пытаясь спасти попранное отечество. При таком сопоставлении искусственность сочинений Проханова становится особенно заметной, хотя и в нем попадаются отдельные впечатляющие страницы, где «сфотографированы» ужасы братоубийственной войны.

И оба же этих текста можно сопоставить с **«Афганскими рассказами» («Дождь», «Пуля», «Пыль»)** **Павла Андреева** («Звезда» № 4). Сам участник событий, призванный солдатом в армию в 1981 году, он пишет очень жесткую, принципиально не сентиментальную, качественную прозу, пропитанную духом своеобразного психологизма, вообще-то нехарактерного для нашей «военной» литературы. Война здесь — нечто вроде экзистенциального опыта, выявляющего (в том случае, если получателю опыта дано свое существование после

этого продлить) не просто сущностные характеристики личности (это было бы не ново), но принципиально иное мировидение. Более, чем естественно, что эта перемена порождает непреходящий диссонанс между личностью с таким опытом — и жизнью, от этого опыта отторженной, куда герой попадает после войны, которая для него как бы параллельно все равно продолжается. Это по-настоящему глубокая, *исследующая* проза. Тот случай, когда лично пережитое превращается в полнозначный художественный материал.

Повесть Владимира Еременко «Великомученица» («Москва» № 7) — это нечто вроде литературной записи «мемуаров», надиктованных теткой автора — с сохранением особенностей народной речи. Как документ — чрезвычайно интересно. В некоторых фрагментах обнаруживает поразительное сходство с древнейшими прозаическими текстами.

«Государство эзков» Владимира Смирнова («Москва» № 4) — хотя на это нет прямых указаний — больше похоже на фрагмент из книги. Это *очерки* современной зоны, куда автор попал как борец за права русских в нынешней Латвии. Условия стали получше (были бы деньги) и не в пример гуманнее, человеческая природа, однако, по наблюдениям автора, неизменна... Автор, слава Богу, ни о чем не рассуждает, записывает увиденное. Свободное владение словом позволяет ему создавать емкие образы, выходящие за пределы простого бытописания.

От первого лица ведет рассказ **Михаил Румер-Зараев** в повести **«Диабет»** («Звезда» № 2). Внезапно выясняется, что ребенок страдает диабетом. Все усилия побороть болезнь напрасны. Жизнь в Советском Союзе описана в самых мрачных тонах: лишь благодаря невероятным усилиям удастся доставить импортный инсулин, а еврей невозможно поступить в институт. Странно, однако, что все знакомые и родственники автора, фигурирующие в тексте — люди с высшим образованием. В перестройку становится еще хуже, и семья выезжает в Германию, где все хорошо.

«Очень интересный роман» Лидии Шевяковой («Москва» № 2) показывает главным образом то, что автор — бойкая особа. Эта дама с кокетством рассказывает о перипетиях своего жизненного пути, где она (журналистка) легко преодолевает профессиональные барьеры и меняет мужчин, следуя не столько прихотям сердца, сколько, кажется, своей взбалмошности. Текст представляет известный интерес как документ, фиксирующий среднестатистический уровень ментальности советского и постсоветского человека.

В несколько вычурной манере исполнен рассказ **Тамары Ломбиной «Степан и Стефания»** («Наш современник» № 7). Он повествует о супружеской паре, прожившей долгую, трудную и по-своему счастливую жизнь. Чувствуется налет назидательности — и одновременно какой-то неуловимой фальши. По всем приметам — житие, а вопреки всему проглядывает мелодрама. Никаких указаний на это нет, но кажется, что тут тоже использовано что-то вроде семейного предания.

Странное сходство с предыдущими мемуарами обнаруживает повесть **«Змея» Екатерины Мещерской** (мемуары этой княжны с начала перестройки печатались в разных толстых журналах) («Москва» № 3). Она тоже построена как

летопись подлинных событий. Влюбленный в бывшую княжну (дело происходит в 20-х годах) молодой, но уже известный певец заподозрен в краже фамильных драгоценностей — чтобы его возлюбленную с матерью не выкинули из квартиры, этот экзальтированный молодой человек оформляет их комнату на себя. Не снес недоверия возлюбленной, он кончает с собой. Много лет спустя выясняется, что драгоценности присвоила дочь старинной знакомой матери. Совмещение подробностей самого неромантического быта и мелодраматический сюжет, словно перенесенный совсем из другой эпохи, производит более чем странное впечатление. Неувядаемая мелодрама с явственным прикусом парфюмерии простодушно выглядывает с этих страниц.

А вот **Елена Чижова** в романе «**Крошки Цахес**» («Звезда» № 4) создает нечто вроде жития (в самом прямом смысле) любимой учительницы, которой в каком-то смысле отдала свою собственную жизнь. Своего идола и кумира автор описывает в самых превосходных степенях и прямо утверждает, что любая недооценка этой личности может быть интерпретирована только как следствие внутреннего дефекта критикующего. В ослеплении своего обожания автор между тем не замечает, что рисует портрет крайне холодного и эгоцентричного человека, глубоко равнодушного к любому существу кроме себя. Ей нужны лишь послушные проводники ее воли, марионетки (она создает в школе Шекспировский театр, где ученики не самовыражаются, но отражают ее одну). Автор видит во всем этом высшее служение Прекрасному, но больше всего это напоминает чертоги Снежной Королевы, пленившей пораженного в глаза и сердце Кая. Этот роман ни что иное, как свидетельство болезни — человеческой слепоты и страха увидеть мир таким, как он есть на самом деле.

Разумеется, перенесение личного опыта в плоть художественного текста есть основа литературного творчества. Однако постоянство в выборе *главным героем повествования именно писателя* (если брать шире — вообще некоего *фантазера*, управляющего миром второй реальности) зачастую свидетельствует сегодня уже не столько о том, что это непосредственная художественная задача, сколько о желании говорить о себе и только о себе.

Анатолий Байбородин в рассказе «**Соблазн**» («Наш современник» № 2) выводит деревенского жителя, который изо всех сил старается стать писателем, но его никак не хотят публиковать. Это довольно вялая проза с обилием штампов, в определенных кругах маркированных как признак народности. Герой страдает от непонимания окружающих, прежде всего жены, которая не желает понять, каким трудом ему дается писательский труд. Как антитеза рокою выведен деревенский художник-модернист, похабник и любитель рок-музыки, впрочем, тоже, кажется, непризнанный. Объединяет антогонистов слабость к водке, которую они, в силу катастрофической узости круга деревенской богемы, вынуждены пить друг с дружкой.

Марина Палей в повести «**Ланч**» («Волга» № 4) рисует образ крайне неприятного мизантропа-эгоцентрика, который отъединился от всего неприятного ему мира и пишет много лет один бесконечный «Трактат», содержащий разные рассуждения, в основном обвинительного характера. Местами повествование не лишено определенного остроумия, но в основной массе — это моно-

тонный (и оттого весьма скучный) в своей мизантропичности текст, заканчивающийся ожидаемым (почти с нетерпением) самоубийством героя. Несмотря на то, что повествование ведется от лица мужского персонажа, что вроде бы манифестирует дистанцию автор — герой, совершенно очевидно, что расстояние между ними на самом деле не так велико: именно обида автора на мир, который не содержит своих художников на должном жизненном уровне, кажется, и является главной идеей текста.

Иронический, можно сказать саркастический анамнез литератора (на личном опыте) предлагает **Николай Якушев** в рассказе «Моя литературная жизнь» («Волга» № 4). Пристрастие к литературному творчеству оказывается сродни болезни — так склонны относиться к этому окружающие, в том числе и редакторы тех изданий, куда начинающий автор пытается пристроить новорожденные тексты. Так готов смотреть на себя и сам автор. В принципе, это грустно, хотя написано легко и действительно смешно. Заметим, к слову, безусловную творческую выгоду от способности относиться к себе не слишком серьезно. Иной писатель ждет от читателя поведения Дездемоны, чтоб полюбил его за его творческие и прочие муки, тогда и он, глядишь, полюбит читателя — но только за сострадание к ним. Читатель же пошел черствый и от писательских мук все норовит отвернуться, так что самый верный путь к его сердцу оказывается куда каким околным.

Мизантропия вообще оказалась в этом сезоне довольно модным литературным аксессуаром. Характерно, что абсолютное большинство в той или иной степени пораженных (и порожденных) ею сочинений строится как монолог рассказчика — что, впрочем, как раз и понятно — любой другой голос неизбежно внес бы ненужную антитезу.

Своеобразным промежуточным звеном между прозой на тему «Я — писатель» и оной же на тему «Весь мир — фигня» может служить сочинение **Валерия Володина** «Исчезнувший. Повесть о настоящем человеке» («Волга» № 2–3). Это нечто вроде пространного конспекта гипотетической повести, которой не существует, о человеке, который захотел перестать существовать. У героя несуществующей повести нет ни имени, ни других личных характеристик, кроме одной — он желает во что бы то ни стало выпасть из своего прошлого и настоящего, что и осуществляет. Но только в одном из вариантов. В другом же эскапистские устремления ограничиваются ментальными путешествиями, ради которых не нужно даже слезать с дивана. При принципиально декларированном отсутствии персонажа в тексте по существу реализуется один автор, беспрерывно играющий с языком и литературными реминисценциями. Основная идея «Исчезнувшего» лежит, похоже, уже не в плоскости традиционного постмодернистского релятивизма, но простирается дальше — до самого нигилизма включительно.

Ощущение этической ущербности оставляет рассказ **Вячеслава Дегтева** «Псы войны» («Наш современник» № 7). Мать разыскивает сына на Чеченской войне (отстраненно и сухо описано изнасилование), чтобы, дав взятки начальникам, увезти в Москву. Однополчане из ненависти к слабаку и трусу взрывают их (плюс неприятного журналиста) гранатой. Начальник их покрывает. Автор — на стороне осуществившейся справедливости.

Герой рассказа Евгения Кушнера «Я стою и пью кофе» («Звезда» № 4) обрушивает на читателя несколько последовательных и исключających друг друга версий своей жизни, личности и взаимоотношений с окружающими. То он безработный, которого выгнала из дому противная жена, и он ждет встречи с любовницей, которая тоже изрядная сволочь, то никакой любовницы нет в природе, а жена наоборот ждет его не дожидается, зато он сам негодяй из негодяев и плюет в каждую подходящую душу, и так далее, и так далее. Смысл этого текста для автора, кажется, в самой его скверности.

Андрей Коровин в рассказе «Золотой шар» («Волга» № 2–3) пишет историю алкоголика, когда-то целеустремленного и талантливого человека, в ком любимая женщина чувствовала «настоящего мужчину», но он впоследствии внезапно потерял интерес ко всему, в том числе и к жизни. Его трагедия в том, что *ничто не мило*. Он вообще ничего не хочет, так что даже внезапно нахлынувшее желание покончить с собой воспринимает как благо. Самоубийства, однако, не получается, вклиниваются разные попутные обстоятельства, так что герой в финале с ужасом думает: неужели снова жить?

Но настоящий апофеоз неприятия жизни как таковой можно найти в рассказе Марии Рыбаковой «Фаустина» («Звезда» № 12, 2000). Автор предлагает свою версию личности Гете, реализованную через его взаимоотношения с сестрой. Молодые люди ведут страшно длинные и глубокомысленные беседы, при очень внимательном чтении выявляющие скрытую за многословием пустоту. Между ними, кажется, происходит инцест. Впоследствии сестра выходит замуж и умирает при родах. Это, по мысли автора, и является подлинной реализацией ее алкающей истины натуры. Брат же продолжает жить, умеряя свою страсть к самоубийству тем, что всегда носит при себе пистолет — постоянная возможность реализовать задуманное придает ему мужества переносить онтологическое страдание...

К счастью, не одно отвращение к жизни движет писательской рукой. Можно найти определенное количество прозы более оптимистического настроения, во всяком случае, предполагающей не столь одиозное ее отрицание. Весьма примечательно при этом, что и как «нигилистическая», так и более «гармоническая» проза в сюжетном отношении строятся по одному принципу — вглядывания в *мелочи жизни*, сознательно отказываясь от сколько-нибудь масштабных проектов. Современных авторов интересуют скорее детали, чем общая картина.

Ирина Безладнова в рассказе «Пес» («Звезда» № 3) описывает расставание супругов. Оставшаяся собака тоскует без хозяина. Она не понимает, что происходит. Зато это понимает женщина. Рассказ написан без надрыва, на полутонах. Присутствует некоторая доля сентиментальности.

Рассказы Дмитрия Притулы («Кинолог» и «Кочегар Николай») («Звезда» № 3) построены жестче, хотя оба — о любви. В первом — долгие отношения между мужчиной и женщиной прекращаются из-за того, что в изменившихся обстоятельствах женщина тоже меняется, приспосабливаясь к условиям жизни, а мужчина остается прежним. Во втором — женщина бросает своего мужа ради другого мужчины, но тот ее все равно любит, и, когда через несколько лет она переносит инсульт, именно он берет на себя все заботы по уходу за ней.

Алесь Кожедуб в рассказе «Гол» («Наш современник» № 2) показывает, как футбольный матч между командой руководства областного города и командой начальства из Москвы может пробудить нешуточный азарт даже в душах чиновников, настроенных поначалу исключительно деловым образом... В рассказе «Зардак» бывший русский, ныне мусульманский полевой командир в Таджикистане получает свою заслуженную пулю.

Николай Ивеншев в рассказах «Дикое мясо», «Шишиги» и «Чьямайка» («Москва» № 2) показывает хорошее владение стилем, однако, не всегда находит достойный этого умения материал. Автор, похоже, тяготеет к исследованию парадоксальных ситуаций. Наиболее удачен последний рассказ, повествующий о том, как крестьянин уводит с фермы колхозную корову, чтобы несколько дней покормить семью молоком. Нелепость в том, что разбогатевший друг, к которому он поначалу обращается за помощью, предлагает ему и работу и деньги. Однако гордость не позволяет ему принять ни того, ни другого.

Несколько натянутой кажется «интрига» в рассказе **Леонида Бородин** «Выйти в небо» («Москва» № 5). Старый летчик задумал своеобразное самоубийство: предчувствуя скорую смерть, он хочет напоследок подняться в воздух и выйти из самолета. В последний момент он спохватывается, что за случившееся придется отвечать летчикам, с которыми он договорился о полете.

Хотя рассказ **Сергея Сибирцева** «Чуточка» («Москва» № 3) обыгрывает печальную ситуацию, но общее настроение в нем скорее жизнелюбивое. Идет война. Голодная девочка все время трогает лежащую в парте булочку, которую хочет принести матери. Учительница сердится на нее, а сама от недоедания еле стоит у доски.

В рассказе **Петра Макаренко** «Лишенцы» («Наш современник» № 4) показан один из эпизодов в истории расказачивания. Повествование дано через восприятие молодой деревенской женщины, которая почти не понимает, что происходит. Не застав мужа, ее, несмотря на беременность, сажают в сырой подвал к другим арестованным. Мужу, однако, удается устроить ей побег, и они, бросив хозяйство, уезжают в город. Автор работает в системе традиционного реализма.

В рассказе **Василия Белова** «Данные» («Москва» № 5) две параллельные сюжетные линии — солдат на войне и его семья в тыловой деревне — пересекаются в финале: семья получает похоронку. В этом рассказе автор отбросил свойственную ему в последнее время агрессивность, и потому результат выглядит довольно впечатляюще.

В рассказах **Владимира Федорова** «Один день Дениса Ивановича» и «Орден весны» («Наш современник» № 7) чувствуется серьезная попытка гармонизации жизни. Первый представляет обычный день обычного человека, наполненный хозяйственными хлопотами и бытовыми неурядицами. Второй построен на «трагическом несовпадении»: через много лет после войны старику присылают орден — но в этот же день он умирает. Оба лишены какого бы то ни было протеста — важна не реальность, данная нам в ощущениях, а наши ощущения, перевоплощающие эту реальность.

Михаил Тарковский в повести «Шипштындыр» («Наш современник» № 3) описывает ситуацию, когда человек не может преодолеть раздвоенности: од-

ной своей половиной он стремится к одиночеству и свободе, другой — к любви. Положение осложняется тем, что гармоничное существование возможно для него только в тайге, куда он уехал из города, сделав раз и навсегда свой выбор, возлюбленная же — до мозга костей горожанка. Ни один не решается принести себя в жертву другому. Нарастающая неудовлетворенность выливается в нелепую измену, после которой окончательно рушатся из без того сложные отношения. Герой снова уезжает в тайгу и постепенно осознает размеры своей потери. В финале он видит сон, где несовместимое совмещается. При том, что реально проблема остается неразрешимой, в душе героя она разрешается на ином, более важном уровне.

Тайга, как исполненный особой значимости топос, вообще притягивает к себе пристальное внимание «Нашего современника». Занимательные подробности быта сибирских охотников можно почерпнуть из рассказов **Анатолия Горбунова «Чагора»** («Наш современник» № 2) и **Леонида Кокоулина «Валерка»** (там же).

Весьма интересный «фольклорный» текст **«Жутота и смехота села Тинзинна»** вышел из-под пера **Аллы Федоровой** («Волга» № 1). Автор не только имитирует народный язык (действительно богатый, еще сохранившийся в сельских медвежьих углах), но и сложнейшую систему народных верований, смешивающую воедино христианские представления (в данном случае в версии старообрядчества) с самым лихим язычеством. Текст настаивает, что наш народ был и остался язычником, в лучшем случае пантеистом, воспринявшим, быть может, христианскую этику, но так и не освоивший идеи единобожия — и оттого населяет окружающий его мир разной нечистой и нежитью, с которой, впрочем, при соблюдении известных правил, можно соблазнить некоторое подобие нейтралитета — и даже (при благоприятных обстоятельствах) вступить во взаимовыгодный контакт. Главное достоинство **«Жутоты...»** прекрасное языковое чутье автора и безусловное знакомство с материалом.

Журналы не оставляют попыток удержать при себе читателя приманками **авантюрных жанров**. Помимо упоминавшихся «Сна о Кабуле» Александра Проханова («НС»), воспроизводящего приемы, традиционные для советского детектива, и «Змеи» Екатерины Мещерской («Москва»), включающей — параллельно с мелодрамой — и детективный сюжет, можно поставить в этот ряд повесть **Анатолия Хруцкого «Такие времена — такие воспоминания»** («Звезда» № 3). Герой волею обстоятельств вовлечен в поиски пропавшего мужа крутой женщины из новых и всеми силами изображает из себя *знатока* (в том числе, и в советско-детективном смысле). Пропавший оказывается его близким родственником, так что поиски не слишком затруднены. Но триумфа не получается: герой — скорее пешка, чем ферзь. Примечательно, что здесь выявляется некоторая действительно существующая тенденция — социально неприспособленный мужчина и эффективно подлаживающаяся под изменившиеся обстоятельства женщина. (Эта тема звучала и в рассказе Дмитрия Притулы «Кинолог» («Звезда»)). Не сказать, что ее черты привлекательны (хотя герою нравится), но не более приятен облик *импотентного* мужчины, доходящего до мысли — раз ничего другого не остается — *паразитировать* на более удачливой в жизни самке.

Повесть Андрея Молчанова «Свора» («Москва» № 6) посвящена блатному миру. Никакой литературной обработки «фактура», между тем, не получает. Очень и очень дешевая литература, откровенно «ходовой» товар.

В повести **Андрея Столярова «Наступает мезозой»** («Звезда» № 2) действует ученый-фанатик, который стремится искусственным путем зародить жизнь в пробирке. Ценой невероятных усилий, а также благодаря цепи случайностей, ему удается вывести загадочное живое существо, которое убивает своего создателя и скрывается из лаборатории. Типичный триллер с открытым финалом, позволяющий до бесконечности длить парадигму — «... палеозой», «... палеолит», «... юрский период» — благо, геологических эр предостаточно.

Роман Александра Ржешевского «Тайна расстрелянного генерала» («Москва» № 5, 6) тоже построен на остроумной интриге. Ни описание тяжелейших боев начала Великой Отечественной войны, ни репрессии, ни смерти ничего не меняют. Для автора — это условная канва, а основу повествования составляют любовные похождения молодой и красивой дочери «расстрелянного генерала», характер которой прописан довольно поверхностно. Для такой литературы важны прежде всего сменяющие друг друга события, персонажи должны действовать — не важно, как и почему. Темен остается и смысл броского названия — о какой тайне идет речь, и какого именно из расстрелянных генералов?..

Сюда же можно отнести и роман **Евгения Каминского «Чудотворец»** («Волга» №1, 2—3). Действуют бесы и ангелы, которые борются за душу павшего алкоголика, который, однако, не совсем потерял для просветления, ибо полагает себя «хуже всех». Интрига разворачивается вокруг чудотворной иконы, случайно попавшей в руки героя, которому он всеми силами пытается продать, вместо того чтобы вернуть в храм. Множество темных личностей, руководимых бесами, всячески способствуют его окончательному падению, но бдительный ангел-хранитель при поддержке Николая Чудотворца, изображенного на иконе, в конечном счете одерживает победу, и алкоголик обращается в праведника. При всей «идеологической правильности» — сочинение весьма легкомысленное, и скорее игровое, чем серьезное.

Интерес к религиозной тематике породил и сюжеты для **рассказов Николая Коняева** из подборки **«Ангел-хранитель»** («Наш современник» № 4). Они так или иначе связаны с чудом — по большей части понимаемым в народно-утилитарном духе: нагрешил — наказали, помолился — получил. **Екатерина Сырцова** («Наш современник» № 3) тоже не обошла эту тему вниманием. Ее рассказы представляют собой странную смесь агрессивной антиутопии с не очень ловко привязанным религиозным пафосом.

Есть еще несколько *текстов*, написанных совсем уже непонятно о чем и для чего. Таков рассказ **«Слабые ноги большого человека» Марка Зайчика** («Звезда» № 3). На всем протяжении текста (а он, благо, небольшой) герой, ничем определенным не занимаясь, бросает какие-то малозначительные реплики, а в финале рассказчик узнает, что он умер — впрочем, его это нисколько не удивляет, ведь герой был не молод и чем-то болен.

Столь же невнятна и гораздо более объемная повесть **Владислава Муштаева «Говорящая голова»** («Наш современник» № 6), экспонирующая что-то

вроде мужского клуба по интересам. Объединяющий интерес персонажей повести — выпить и пофилософствовать, пофилософствовать и выпить. Фило-софичность бесед должна подчеркивать обильно цитируемая латынь, которую автор на свою беду приводит с ошибками.

Нина Катерли в рассказе **«Брызги шампанского»** («Звезда» № 1) довольно поверхностно рисует нечто похожее на образ современной Попрыгуньи — с той только разницей, что чрезмерная наивность в наши дни наказуема — те, кому Галочка с готовностью отдает душу, обводят ее вокруг пальца и оставля-ют в дураках. Впрочем, она продолжает верить в лучшее.

Вызывает сомнения композиция **рассказа Алексея Колесникова «Петушок»** («Наш современник» № 5). Автор слишком много внимания удивляет «совес-тливому петушку», которым любителю хозяйка, а потом вдруг перескакивает на много лет назад и скомкано рассказывает, как во время войны расстреляли ее мужа, на час опоздавшего из побывки домой. Эти части повествования плохо вяжутся друг с другом.

Набором банальностей с примесью мелодрамы, нанизанных на жизненный путь доморощенного дон жуана выглядит **рассказ Нины Куратовой «После-дняя весна»** («Наш современник» № 7).

Евгений Богданов в рассказе **«Люкс-мадера-фикус»** («Москва» № 6) пове-ствует о человеке, благородно уступившем сопернику жену вместе с кварти-рой. В финале выясняется, что она бы и рада обратно, да он не берет. Некото-рый интерес представляет подача материала — глазами сторонних персона-жей, однако, авторский замысел остается не совсем ясным.

Лидия Сычева в рассказе **«Ворона»** («Москва» № 7) выводит страдающую от одиночества и профессиональной несостоятельности преподавательницу, которая вдруг — словно по волшебству — находит свое счастье со студентом. Сентиментальная история.

Сходные и чувствительные **рассказы Ирины Ракши** (там же). **«Увезят ми-лых корабли...»** — мужчина с благополучной судьбой неожиданно встречает первую любовь и вдруг понимает, что счастье было так возможно, а теперь навеки упущено. **«Переписка на машинке»** — молодой провинциал нежданно-негаданно в лице машинистки обретает московскую поклонницу его стихот-ворного таланта.

Исключительно трудно выделить цементирующую мысль в **рассказе Марка Гиршина «Обида»** («Звезда» № 1). Актеры маяются неустроенным бытом в эвакуа-ции в Ташкенте и после войны в Одессе. Возлюбленная главного героя зачем-то становится любовницей новоприбывшего и всемогущего «главного инженера». Приводятся какие-то аналогии с «Бесприданницей», но, кажется, на пустом месте.

Так же неуловима авторская сверхзадача в **рассказах Владимира Шапко «Все началось с собаки Джека»** и **«Единые с летней природой, или Поле оду-ванчиков»** («Волга» № 4). Некоторые детали рассмотрены словно под лупой, другие же демонстративно опущены, оттого ничего не понять ни о мальчике, бабушка которого извела бездомную собаку, и он стал шпаной и гением биль-ярдной, ни про двух пацанов, убивающих время летних каникул на созерцание собачьей свадьбы и прочих сельских радостей.

Но подлинным шедевром жанра должно признать **вариации без темы Елены Скульской** под названием **«Рыбы спят с открытым ртом»** («Звезда» № 1). Что там происходит и с кем, понять не представляется никакой возможности, все какие-то перевоплощающиеся друг в друга голоса, да сочиняющие друг друга персонажи. Завершается текст описанием любовной сцены между двумя бутербродами, нашедшими приют для своей страсти отчего-то в кобуре, которая «всю жизнь пахнет осенним ботинком»... Чтоб они сдохли, эти рыбы...

2. Литературная критика

Печально, но приходится признать, что всю эту обширную «текстовую массу» критика практически не обрабатывает. Критики в журналах вообще удручающе мало, и по большей части она склоняет взор к чему-то уже ушедшему или уходящему, оставляя почти без внимания текущий литературный процесс. Вот что удалось наскрести за отчетный период.

Алексей Колобродов рецензирует роман Николая Климонтовича «Последняя газета» («Волга» № 1), показывая, насколько автор, переживший искушение высокоплачиваемой журналистики (каковое является и главным стержнем романа), не может справиться с художественным воплощением полученного опыта, срываясь в производственный роман и дотошные воспоминания с явным самооправдательным уклоном.

А. Курский, исследуя романы Дмитрия Липскерова «Сорок лет Чанчжоэ» и «Простарнство Готлиба» (там же), собственно, демонстрирует *идеального читателя* для данного автора — который готов интересоваться «эстетической реальностью вневременного суперпространства» больше, чем реальностью, его окружающей.

Статья **Вячеслава Десятова** «Клон Пушкина, или Русский человек через двести лет» («Звезда» № 2) имеет подзаголовок «По страницам современной прозы», но рассматривает всего трех прозаиков — Татьяну Толстую, Александра Жолковского да Андрея Битова. Все попытки так или иначе «воскресить» Пушкина (в сюжетах, разумеется, — аннулировав дуэль, оживив его тело, зачав его двойника) оканчиваются крахом — мир не меняется.

Пространную статью **Михаила Кононова** «Богоборец, или Черное пламя», посвященную творчеству Александра Мелихова (там же), корректнее было бы назвать дифирамбом. Автор видит в Мелихове атеиста, который подменил Бога любовью и бесстрашно выставляет ему счет за счетом, не удовлетворяясь предложенным мироустройством, взыскав какой-то «правды ума». Но, во-первых, не о той любви, что у Мелихова (заметим мы от себя) шла вообще-то речь, а во-вторых, лучше бы атеистам вообще не ввязываться в такие материи — ни прозаикам, ни их литературно критическим апологетам: страшно много путаницы — и все, конечно, прекраснотушной...

Владимир Бондаренко в статье «Плач проходящего мимо родины» («Москва» № 3) выстраивает творческую эволюцию поэта Олега Чухонцева. Этапы: «почвенник убогий» — русский европеец — изгой, отвергнувший родину. Автор полагает, что далее у исследуемого поэта наметился поворот к «стихам искупления».

Капитолина Кокшенева в статье «**Больно жить**» («Москва» № 5) дает обзорный анализ прозы Олега Павлова, оспаривая ее оценку у других критиков — не в смаковании грязи и мерзостей, а в желании показать боль всех живых существ видит она главную задачу автора.

В статье «**Сергей Довлатов как зеркало Александра Гениса**» **Игорь Ефимов** выводит идейный императив известного эссеиста: борьба с идеологией выливается в проповедь безыдейности. Под эту идею он подгоняет все исследуемые «объекты», как, например, это происходит с Сергеем Довлатовым в его книге «Довлатов и окрестности».

Рейн Караст в статье «Два генерала» («Звезда» № 3) сопоставляет роман Георгия Владимова «Генерал и его армия» и фильм Алексея Германа «Хрусталеv, машину!», называя их «самыми значимыми художественными событиями 90-х» и определяя первый как трагедию, а второй как «жестокий фарс». Возникшая параллель между столь разными прочтениями одной темы представляется автору символичной.

Владимир Бондаренко в статье из цикла «Дети 37-го» «**Поединок со смертью**» («Москва» № 7) пытается разобрать феномен Владимира Высоцкого — в том числе, и как поэта. «Он выиграл свой поединок со смертью, достойно погибнув без всякой великой цели. Его жизнь и смерть, хотел он того или нет, стали столь необходимыми народу символами преодоления пустоты».

Обзор подготовила Мария Ремизова

ПАМЯТИ ЕЖИ ГЕДРОЙЦА

(27 июля 1906, Минск † 14 сентября 2000, Мезон-Лаффит)

«Не может быть!» — закричала я при первом телефонном звонке с таким ужасом, с каким узнаёшь о смерти кого-то еще молодого, скончавшегося, как пишут, преждевременно. Но Ежи Гедройцу в будущем году должно было исполниться 95 лет — немногие доживают до такого возраста, да и вообще смерть каждый день поджидает нас, а значит, и его. И все-таки не у меня одной была такая реакция, не мне одной он казался вечным — вечно на своем посту, работающий, немногословный, продолжающий дело жизни — «Культуру».

Полное значение «Культуры» — самого журнала, книжного издательства при нем, его авторов и целых воспитанных им поколений читателей, но, главное, духа и идей «Культуры» — для Польши, для всей Восточной Европы, включая Россию, и для того мира, который еще недавно был единственным «свободным», надо надеяться, вполне оценят лишь будущие историки.

Из 94 лет его жизни 53 последних были целиком и полностью отданы «Культуре». К его 90-летию я писала, что хочется сказать: «Культура» — это Гедройц, но поправлялась: мол, это все-таки не только он, это и весь ее круг, ее сотрудники, авторы, читатели. Сегодня, однако, как никогда ясно: «Культура» — это Гедройц. Не прибавляю «был», ибо 636 номеров «Культуры», как и все остальные плоды его издательской деятельности, остаются в настоящем времени.

Мне много раз случалось говорить о той роли, которую играла «Культура» и сам Ежи Гедройц (член редколлегии «Континента» с самого его основания) в изменении отношения поляков к русским, поэтому напомним об этом сжато. В своих читателях «Культура» воспитывала (а она не боялась воспитательности) умение отличать народ от режима, умение увидеть общность наших судеб во второй половине XX века и не позволить былым обидам лечь камнем на пути будущего сотрудничества свободных стран. Если сегодня на открытии «катынских» кладбищ в самой Катыни, в Харькове и Медном польские государственные деятели и церковные иерархи не преминули напомнить о том непревзойденно большем числе советских граждан, убитых теми же «органами» и лежащих тут, рядом с поляками, или в других местах массового уничтожения, то это один из уроков «Культуры».

Последний, сентябрьский номер «Культуры» за 2000 год был разослан подписчикам в день смерти Ежи Гедройца. В его, как всегда, кратких, скромных, но необычайно твердых, местами даже резких «Заметках редактора» на этот раз ничего нет ни о России, ни о «восточной политике» Польши. Случайное исключение? Или, быть может, ре-

зультат того, что за последние годы «восточная политика» у Польши наконец появилась? Не всегда разумная и последовательная, о чем Ежи Гедройц неоднократно писал, но появилась — и, думаю, в огромной степени благодаря его неустанно подаваемому сигналу тревоги.

Вольную и независимую Польшу редактор «Культуры» одарял конкретной или, как говорят, конструктивной критикой. Всегда ли ее выслушивали? Пожалуй, первые лет семь, охваченные эйфорией свободы, непочатыми возможностями действия, многие из тех, кто раньше говорил: «Мы выросли на «Культуре»», — приобрели известное самодовольство и отмахивались от критики, раздававшейся из Мезон-Лаффита. «Ну, — говорили они с высокомерной усмешкой, — князь совсем с ума сошел». Когда не видеть того, что видел «князь», стало невозможно, многие из них возвращались в «Культуру» просить прощения и признавать его правоту.

Я бывала в «Культуре» все годы моей жизни в Париже — почти четверть века. И никогда я не встречала человека более ясного ума и более очевидной мудрости — таким он оставался до конца.

Он заслужил кончину «мирную, непостыдную и безболезненную» и умер во сне.

Наталья Горбаневская

Редакция «Континента» разделяет чувства и оценки, высказанные Натальей Горбаневской в ее отклике на смерть Ежи Гедройца, и глубоко скорбит о потере выдающегося польского общественного деятеля и журналиста, бессменного редактора знаменитой «Культуры» и старейшего члена редколлегии «Континента», много сделавшего для становления нашего журнала в период его эмигрантского существования в Париже (1874-1991)

Художник В. Лаврентьева
Компьютерный набор и верстка С.Точкиной

ЛР № 066469

Подписано в печать 27.04.2000. Формат 60х84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 25,0. Усл. печ. л. 23,0. Тираж 3200 экз. Зак. 757

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография «Наука».

121099, Москва, Шубинский пер., 6

СЛОВО-WORD

Демократическое издание на русском и английском языках.

Издатель: Центр Культуры Эмигрантов из Советского Союза.

ЛИТЕРАТУРА. ИСКУССТВО. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ.

Главные задачи журнала — обмен идеями и всемерное содействие сложному процессу взаимопонимания между людьми русской и американской культур.

Слово-Word выходит с 1991 года.

Главный редактор журнала — Лариса Шенкер.

В составе редколлегии: Михаил Эпштейн, Александр Межиров, Владимир Гандельсман, Александр Сумеркин.

Постоянными авторами журнала являются: Андрей Битов, Фридрих Горенштейн, Соломон Волков, Светлана Василенко, Дина Рубина и многие другие известные писатели, а также молодые авторы, живущие за границей.

Журнал выходит 4 раза в год.

Цена одного номера:

для жителей США — от 6 до 8,5 долларов США,

годовая подписка — 35 долларов США;

за границей — 45 долларов США (включая пересылку).

Для читателей России — скидка 30%

Читайте СЛОВО-WORD! Подписывайтесь на наш журнал!

Адрес редакции:

139 E. 33 Street, 9M, New York, N.Y.USA 10016

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ “ГРАНИ”!

С момента основания, в течение всей своей более чем полувековой жизни журнал помогал выжить русской литературе под коммунизмом и доносил до тысяч и тысяч российских интеллигентов в СССР великие традиции русской культуры, которые не только сохранились, но и развивались в эмиграции.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники.

Логотип ГРАНЕЙ — и сегодня знак качества высокой пробы.

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, мы просим и зарубежных и русских наших читателей поддержать журнал и помочь ему.

Деньги (для Америки и Австралии по USD 22.5 за номер, включая доставку авиапочтой, и для Европы и Азии USD 20) следует отправлять чеком по адресу:

**PO BOX 4360 BURLINGAME,
California 94010-4360. USA**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег в США убедительно просим известить по адресу:

**Россия, 127322 Москва, 322, а/я 59.
Редакция журнала ГРАНИ.**

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

**ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»**

принимается во всех отделениях связи России.
Спрашивайте красно-бело-синий каталог «Роспечати».
Наши подписные индексы

73218

и

71682

(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал. В 2001 году она составит всего

100 руб. – годовая подписка;

50 руб. – первое полугодие.

В помещении редакции «Континента» (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции «Континента» можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал «Континент» продается в книжных магазинах:

«AD MARGINEM» – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7

«БИБЛИО-ГЛОБУС» – Мясницкая, 6

«ГИЛЕЯ» – Большая Садовая, 4

«ГРАФОМАН» – ул. Бахрушина, 28

«ЛЕТНИЙ САД» – Большая Никитская, 46

«ЭЙДОС» – Чистый пер., 6

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА “КОНТИНЕНТ”
РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

Новые стихи

Надежды Болтянской
Фаины Гримберг
Льва Дымарского
Владимира Лапина

Инны Лиснянской
Сергея Пашина
Игоря Петрова
Сергея Шабалина

Новые романы, повести и рассказы

Сергея Алиханова
Сергея Бабаяна
Владимира Баранова
Александра Вьяльцева
Ирины Васюченко
Алексея Домбровского
Алексея Иванникова
Юлия Кима

Бориса Козлова
Рээт Куду
Владимира Маканина
Евгения Попова
Вячеслава Пьецуха
Марии Ремизовой
Евгения Федорова
Елены Холмогоровой

В разделах

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС

- ♦ Статьи и очерки Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Фаины Гримберг, Андрея Зубова, Наума Коржавина, Якова Кротова, Ирины Петровской, Марка Пераха, Ларисы Пияшевой, Лидии Польской, Григория Померанца, Леоня Тайвана, Виктора Тополянского

В разделах

ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- ♦ Статьи и очерки Павла Басинского, Элиота Боренштейна, Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Марии Ремизовой, Льва Ойзермана
- ♦ Беседы о современном искусстве с Сергеем Арцыбашевым, Анатолием Васильевым, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским



«КОНТИНЕНТ» № 105, 400 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (годовая подписка)